

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал



Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят пятый год издания

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман

Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер, Илья Куксин

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; C.Geacintov;
V.Galitzine; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; N.Lobanov-
Rostovsky; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; O.Radish;
I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 285, Декабрь 2016

© 2016 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

<i>Дмитрий Исакжанов</i> – Доля ангелов. Повесть	7
<i>Владимир Лидский</i> – Слепая любовь. Повесть	98

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Виталий Амурский</i> – Стихи	150
<i>Марк Зайчик</i> – Памяти объятий и поцелуев. Рассказ	155
<i>Анастасия Юркевич</i> – Стихи	172
<i>Марина Эскина</i> – Три посвящения с предисловием и послесловием. Стихи	179
<i>Леонид Левинзон</i> – Рассказы	182
<i>Владимир Друк</i> – Стихи разных лет	189
<i>Валерий Сосновский</i> – Стихи	194
<i>Ирина Машинская</i> – Эвридика. Стихи	199
<i>Татьяна Ананич</i> – Стихи из новой книги	202
<i>Генрих Иоффе</i> – Невыдуманные истории	204

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>М. М. Карпович</i> – Герберт Уэллс о России (Публ. – <i>М. Адамович</i>)	213
<i>Юрий Мандельштам</i> – Четыре эссе (Публ. – <i>Е. Дубровина</i>)	225

К 100-ЛЕТИЮ С. С. МАКСИМОВА

<i>Сергей Максимов</i> – Рассказы 1950–1960-х годов (Публ. – <i>А. Любимов</i>)	244
---	-----

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Сергей Шиндин</i> – Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету. Часть II	260
<i>Елена Дубровина</i> – Юрий Мандельштам. Детство, юность и музы поэта	289
<i>Т. В. Гордиенко</i> – Старший брат Ивана Бунина	304

<i>Никита Кривошеин – Просвещения плоды</i>	317
<i>Джон Боулт, Юлия Горячева – «Верю: сближения не миновать!»</i>	
Интервью	328
<i>Александр Кедрин – Встречи</i>	336

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Елизавета Петровна Глинка. 1962–2016	356
<i>Евгений Соколов – Памяти Елизаветы Глинки</i>	356
ОБ АВТОРАХ	358

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА посвящена памяти Марка Алданова (1886–1957), выдающегося писателя русской эмиграции, одного из основателей «Нового Журнала». Премия утверждена во имя сохранения и развития традиций русской литературы в контексте мировой культуры и призвана поддержать писателей русскоязычной диаспоры, живущих в рассеянии по всему миру. Премия присуждается прозаикам, создающим свои произведения на русском языке и живущим вне Российской Федерации.

В 2016 году в конкурсе за соискание звания лауреата принимали участие прозаики Русского Зарубежья из Арабских Эмиратов, Бельгии, Беларуси, Израиля, Испании, Кыргызстана, Молдовы, Украины, США, Черногории. Особенно активно участвовали писатели Украины и США.

ШОРТ ЛИСТ ПРЕМИИ:

Белозеров Андрей – «Галерея ПМР» (Республика Молдова)
Зайчик Марк – «Легенда о комиссаре Мордвинове» (Израиль)
Исакжанов Дмитрий – «Доля ангелов» (Арабские Эмираты)
Колесниченко Дмитрий – «Четвертая смена» (Украина)
Лидский Владимир – «Слепая любовь» (Кыргызстан)

Решением членов жюри Премии призовые места распределены следующим образом:

1-е место:

Исакжанов Дмитрий – «Доля ангелов» (Арабские Эмираты)

2-е место:

Белозеров Андрей – «Галерея ПМР» (Республика Молдова)

3-е место

Зайчик Марк – «Легенда о комиссаре Мордвинове» (Израиль)

Победителям конкурса присвоено звание «Лауреат литературной премии им. Марка Алданова». За первое место будет вручена денежная премия в 1 (одну) тысячу долларов. Всем лауреатам будут высланы дипломы и подарена бесплатная подписка на «Новый Журнал» на 2017 год. Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте журнала.

Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов Литературной премии им. Марка Алданова и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2016 году были: профессор русской литературы Елена Краснощекова (Атланта), журналист, корреспондент «Голоса Америки» Виктория Купчинецкая (Нью-Йорк), куратор Русских программ Центральной Бруклинской библиотеки Алла Макеева-Ройланс (Нью-Йорк), председатель Комитета «Книги для России», журналист Людмила Оболенская-Флам (Вашингтон).

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ В 2017 ГОДУ:

1. На соискание Премии могут быть присланы тексты на русском языке на следующие темы: история России, история русской эмиграции, жизнь современной русскоязычной диаспоры. Жанр – короткая повесть.
2. Рукописи, присланные на конкурс, не должны быть нигде опубликованы (в том числе – он-лайн).
3. Принимаются рукописи только от авторов, живущих вне пределов Российской Федерации.

Прием рукописей на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2017» начинается с 1 марта до 30 июня (включительно) 2017 года. Рукописи принимаются как в бумажном, так и в электронном виде по адресу редакции (с указанием: «Премия Алданова» / Aldanov Award):

The New Review
611 Broadway, #902,
New York, New York, 10012, USA
newreview@msn.com

Оргкомитет просит участников указывать свой обратный почтовый и электронный адрес. Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2017 на сайтах НЖ и ЖЗ. С историей проекта можно ознакомиться на сайте НЖ: www.newreviewinc.com (ПРОЕКТЫ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ им. МАРКА АЛДАНОВА)

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова и редакция «Нового Журнала» благодарят коллектив ЖЗ и «Русского Журнала» за помощь в освещении конкурса на звание лауреата Премии им. Марка Алданова.

Дмитрий Исакжанов

Доля ангелов

I

- А помнишь те руины на Маркса, сразу с моста – налево?
- Сталинскую пятиэтажку-переростка, со шпилем рогатым, облезлую...
- Да-да, облезлую до кирпича, в стручьях штукатурки...
- И с карнизом над цоколем, узким и кривым, если смотреть сверху, кривым, как...
- И таким пыльным! Ведь его никто никогда не чистил – да и мыслимо ли это! – а дом в самом центре, и движение там...
- И ветер с берега!
- Да! И ветер! Поэтому карниз был просто черным...
- И весь в валиках пыли...
- Да, пыли! Такой липкой и рыхлой...
- И со всякими интересными непонятными штучками в ней...
- И таинственными обрывками бумажек с расплывшимися письменами...
- И окурками, сухими, как куриные косточки...
- А на стеклах подъездных окон снаружи можно было писать...
- А почтовые ящики внутри были похожи на маленькие гробики для кошек...
- А кошки обходили по этому карнизу весь дом и, возвращаясь, ловко впрыгивали в распахнутые окна...
- А с торца – помнишь? – облезлая лестница, повисшая на одной руке, у самой земли...
- Да-да, на одной руке, пожарная... Но с земли до нее было не допрыгнуть, зато можно было смотреть на тусклый шпиль: в гулких летних сумерках и особенно в холодных сумерках осени казалось, что облака кружатся вокруг шпиля, разматываясь перьями...
- А когда темнело, в лужах красный свет светофоров отражался далеко-далеко, до Маяковского и до Жукова, и...
- Да, до Маяковского и до Жукова...

И казалось с той стороны – что так будет вечно, а с этой – кажется, что вечность – это то, куда невозможно вернуться.

Огоньки на приборной панели дрожат, сияют по левую руку, как угольки, подпрыгивают на ухабах вверх и, описав дугу, проваливаются вниз. И возвращаются на место. Машина летит вперед, я тоже смотрю вперед. И подают мне из ночи стволы берез и особняки с заборами, и обносят ими, а мне – не жаль, мне все равно, что так. Со дна своей памяти я гляжу равнодушно, как утопленник.

«+7 999.....»

«Даже если мы не будим вместе, у меня все равно будит от тебя ребенок.»

Только тонкие стекла с нежными вертикальными царапинами отделяют меня от ночи, льнущей справа и слева, как вода. Не дают смешаться, развеяться, раствориться. И я с усилием жмурюсь, словно вгоняю в себя ускользящую волю, и затворяю дыры, через которые она может улетучиться, если ночь посмотрит мне прямо в глаза; я сжимаю губы, помогая сохраниться привычному порядку вещей. Все в мире связано, нет в нем ни одного лишнего движения. Жмурясь и цепенея, можно сохранять баланс сил.

Внутри себя.

Хватит уже распыляться, хватит! Как истекающее семя лишает сил, так и мысль, растекаясь вовне, укорачивает дорогу жизни с того конца, что еще не виден. Нужно сжаться, нужно остановить мысль и, повернув взгляд к сердцу, смотреть только в себя. Ничего не отдавать сверх того, что уходит само.

Мне страшно. Мне хочется жить вовнутрь. Я съеживаюсь, вжимаясь в кресло, и стискиваю ключи в ладони, чувствуя, как гряда зубцов оставляет отпечаток на влажной коже. Я откликаюсь на бормотание водителя и вглядываюсь туда, где различим красный отблеск: это встречный свет пронизывает веки, это кровь омывает глазные яблоки. Красный. Цвет запрета. На холодных гребнях тают отсветы, до Маяковского и до Жукова. Стоять. Там, где только сны и чьи-то голоса. Куда не вернуться. И я ничего никому не отдам, ничего, разве только то, что само найдет себе дорогу через поры, с длинными извилистыми горловинами. Сил у меня нет, чтобы брать от мира; мне хочется плакать, и непроизвольно текут слезы.

Я не люблю женщин.

Когда она входила в дом, от нее веяло дождем и холодом. Перед тем, как раздеться, она бросала сумку на комод, потом замирала, словно размышляя, с чего начать сегодня... и нагибалась расстегнуть замки своих сапог из искусственной кожи. Или изгибалась, выползая

из плаща. Или байроническим жестом касалась рукой лба, обтянутого косынкой. Из каждой ее позы, как царапающая арматура из гипсовой пионерки, выпирала надменная отстраненность дрогнувшего стойка, не простившего своей слабости миру и себе. Избавиться от такого надлома невозможно, как невозможно спрятать свою судьбу. И кислый запах одиночества тянулся за нею, как нескладная, диковинная для наших северных мест фамилия, принятая ею от мужа в далеком прошлом и утопившая в глубокой тени всю оставшуюся жизнь.

Она вносила себя в дом, словно старинный выцветший гобелен в отсыревшей раме, громоздкой и тяжелой, – на исходе сил прислонялась к стене и на несколько мгновений замирала. Из-за штор изображенное на гобелене оставалось всегда невнятным, будто видимое сквозь толщу воды. Но стоило попробовать задержаться и посмотреть боковым зрением – как бы нехотя, как бы не желая видеть, но в то же время цепко, – блеклые нечеткие линии предчувствий, то возникавших, то вдруг обрывавшихся, хаос догадок и наваждений, – все эти тревожные пунктиры тотчас оживали, и разрозненное начинало сплетаться, соединяясь во властвующей где-то над миром гармонии; сюжет гобелена начинал обретать законченность и смысл событий, коих, право, лучше бы не знать никому вовсе. Событий, свершившихся в прошлом, вершащихся ныне и вершимых в будущем.

Да, благодаря моей матери, а я говорю именно о ней, с самого рождения наполняла меня нетвердая стихия изломанного мира, существующего на границе двух сред. С самого рождения мир виделся искаженным, – и душе, созревшей позже тела, потребовалось время, чтобы понять, что для всех событий, происходящих с нею, угол падения не равен углу отражения, потому что одиночество в этом мире намного плотнее, чем текущее сквозь человека время. Что именно поэтому в прошлом всегда звучит эхо грядущего, но нужно потратить целую жизнь для того, чтобы научиться слышать их; чтобы понять: если ничего не берется ниоткуда и никуда не уходит бесследно, то сколько бы сюжетных линий ни начиналось – общая картина все равно будет та же, – а раз ход времени не линеен, то расплата может предшествовать греху, наказание – преступлению, а история, раз начавшись, может начаться с середины, – как и прерваться на время, но закончиться не сможет, пока не исчерпает себя, не изживет, как вино; что не отпустит судьба и что начало может располагаться где-то ближе к концу, либо в начале начал, когда действующих лиц этой истории еще и на свете не было, а была только сцена, и на ней – круг спящего света.

Ее приближение я предчувствовал задолго до того, как в замочную скважину втыкался ключ, дверь рывком вдавалась вовнутрь, и

сквозняки в зале начинали метаться, натываясь на оклеенные голубой бумагой углы, как на собственные ошибки. Это предчувствие, предощущение ее появления клетками кожи было подобно чуду сверхъестественного осязания незримых силовых линий магнитных полей, оно было всепоглощающе, как подчинение тайной гравитации всего моего тела, плывущего где-то за космическими орбитами. Она вваливалась в дом с дождем на плечах, с мокрыми автобусными билетиками, облепившими ее сумку и на сквозняках отпадающими и кружащимися, как моль; осенняя тоска вставала поперек прихожей. Я заглядывал из зала в прихожую почти не поворачивая головы, чувствуя, как тяжесть и пустота еще несбывшегося, но непременно несчастья уже скребут меня по тонким ребрам, – так аквариумные сомики чувствуют землетрясение, свершившееся в будущем и несущее свои разрушительные волны в настоящее. И мне хотелось бежать, схорониться, скрыть себя, я бросал свой выдуманный мир на полуслове и, словно в поисках убежища, – каждый день, в шесть часов вечера – суетливо оглядывал зал: все в порядке? Я ничего не забыл? Накидка на диване, мусор, цветы, газеты, пыль по периметрам?... Взгляд метался от стены к стене, не находя ничего *такого*. Натюрморт Хруцкого, лоснящийся угол серванта, ламповый «Минск», драпированный кретоном от старого кресла, сигаретная позолота Стивенсона (потускла, стерлась, захватанная алчущими), малиновый палас с несмываемым пятном отцовской блевотины на полу, малиновый же ковер над диваном на стене, подоконник, оснащенный керамическими горшками, – и снова книги... Книги, книги... Цветы и плоды знаний. Все то же – все, как всегда. Острые грани серванта и стола, шторы, к вечеру напитавшиеся теньями. Все вроде бы в порядке, но... я не знал, отчего на этот раз, но знал точно: буря разразится. Опять. Иначе не бывало никогда.

«+7 999.....»

Кот расскажи мне про сибя.»

Дом, полный книг. Воздух его был густ и дурманящ. Прозрачный, с тонким привкусом корицы с утра, с первой страницы, он вяз к середине книги, и в полдень, когда голова начинала кружиться, как от домашнего виноградного вина...

– Ты тогда уже попробовал вино?

– Да, в десять лет. Случайно. История была комической: отец ездил к матери во Фрунзе и привез оттуда две трехлитровых банки: одну с домашним вином, а другую с виноградным соком. Но милая бабуля перепутала наклейки и я, таким образом, целых полторы недели причащался, когда хотел, в то время как отец хлебал из своей

банки и дивился некрепкости. Узнав, в чем дело, ворчал потом: «Попил ты крови...»

...как от домашнего виноградного вина; к вечеру воздух становился плотен и слоист, и пах тяжело и тревожно. Здесь, в зале, окнами обращенными к северу, солнца не бывало никогда, но желто-коричневые шторы были задернуты с мая по сентябрь. Я просыпался рано, когда чай в стакане еще растворялся в сходном по составу спектре, и муха, справа под цветами, висела, как точка опоры всего мира. Того мира, что и сейчас – только закрою глаза – встает передо мной. Мира, который не нужно «вспоминать», как не нужно вспоминать все, что в жизни есть истинного, потому что оно всегда со мной. Мой мир набран выцветшим «таймсом», снесен кеглем в подвалы, на его блеклых задворках хранится все золото вселенной. Он исчислен и поименован мною с детства, с тех самых пор, когда меня за руку отводили в сад и, коротая время, я ходил там, давая имена всему, что видел.

Не разнимая век и не вставая, я через голову тянулся к столу за новой книгой и, открывая ее одновременно с глазами, начинал бегать по строчкам не останавливаясь, как канатоходец, напитываясь до одури пульсарами, радиоляриями, теориями бректиальных денег, геотермальными водами, похождениями Жиль-Бласа... – так, что, поднимая голову от страниц в полдень, не узнавал уже ничего вокруг своим ячеистым, фасеточным зрением. Маревое стояло передо мной, и в нем то там, то сям возникали символы, образы, представления, не связанные друг с другом ничем, кроме источника их происхождения. Мир, единый и цельный, был мне не под силу, я не мог удержать его и, тем более, носить его в своем сознании, но я был вполне счастлив своими разрозненными чудными находками, чудесными осколками этого мира. Витражи Собора Парижской Богоматери были для меня лишь набором цветных стекол, разделенных свинцовыми переплетами. Но какими переплетами! Мягкими и жирными, как свеча, и тяжелыми, как вещество нейтронных звезд. А стекла! Красное, желтое, фиолетовое, зеленое, черное... Детали, подробности, мелочи. Достоинства и грехи. Роланд никогда не становился Роландом, дважды разъятый на части, а химеры, несмотря на тесноту балконов, соседствовали в гордом одиночестве; Одиссей лишь смутно соотносился с Пенелопой, Бытие расплзлось на главы и стихи. Но я смаковал каждую деталь, наслаждался ими по отдельности, тропами переходя к каждой последующей, и стоило встряхнуть головой, как перед моими глазами из обыденных невзрачных деталей, словно в калейдоскопе, тотчас слагался новый дивный мир.

Стекло, крошка, пластик, металл, песчинки, прах, сор!

Раздражающие зрение, воспаляющие разум, заставляющие галлюцинировать наяву... Книги, иссохшие, переломанные, как жизни их прежних владельцев, глубокие, как сны! Вряд ли из этих книг я узнал что-то полезное о способе передвижения по жизни, но я научился прекрасному бегству от нее. Какому захватывающему бегству! И в долгом этом бегстве знания, как житницы, хранящие впрок, кое-как питали меня. Начав нищим, в пути я стал собирать удивительную коллекцию диковин, попадавших мне в самых неожиданных местах: в лесу, на свалке, просто при дороге и бог еще весть где, – там, где бывали и другие, знавшие меня. Коллекция эта множилась долгие годы и перестала пополняться лишь тогда, когда я убежал из родительского дома навсегда. Но до того, за стеклом серванта, в пространстве, отвоеванном у матери, добытые сокровища повергались к основаниям книг неиссякающим потоком. Жук-рогач и жук-скарабей, красные, синие и желтые стрекозы; шип гигантской белой акации, рыба-черт, потерявшая на суше свое оперение, грациозная офиура, игла дикобраза, конский каштан и ртуть, вселенная в пустующий пузырек, жилистый свиль, мурманская рогулька, кабаньих клык, течением лет расщепленный надвое, рапана, снаружи похожая на камень и манящая человечески-розовым исподом, прочие малые жилища улиток, заведенные тайной силой жизни, как часовые пружины, и раковины пресноводные, закрученные в свиток, словно маленькое небо...

А над книгами, на шкафу, у самого потолка стояли мои самолеты. Еще одна моя страсть, моя любовь. Роскошные гдээрзовские красавцы от Пластикарта, с цветными полосами и надписями по всему борту, как и серое советское убожество стояли ровным рядом от самого начала и до конца полированной «стенки», привезенной отцом из Фрунзе. Сам факт наличия всех этих «Каравелл», «Ил-62», «DC-10» и прочих доводил мать до белого каления. Я хорошо помню, как она бесновалась, трясясь и подпрыгивая, пытаясь во время «воспитательного процесса» ухватить какую-нибудь из этих птиц за крыло.

Прибежище мое и защита! Мечущийся взгляд останавливался на куполах и навершиях голконды. На сокровищнице, защищенной от глухих рук нечутких моих товарищей, от глупых пальцев глухих рук их, от черных обгрызанных ногтей глупых пальцев глухих рук их, – отъединенной зеленоватым стеклом. Мне нужно было время, чтобы смириться с тем, что она опять сейчас будет здесь. Опять будет носиться, как Эриния, по всему дому. Будет грозить моим сокровищам полным уничтожением. И мне нужно согласиться с тем, что

опять будет вопль и сотрясение стен втуне. А может быть, и не втуне, – я вновь и вновь лихорадочно перебирал в памяти все, что было велено сделать за день, – и сверял с содеянным. Воздух комнат становился совершенно тверд, так что мне приходилось с силой продираться через него в коридор. Колени подрагивали, и потные ладони оставляли на косяках влажные отпечатки. Позорная метаморфоза: бесстрашный космонавт и летчик-испытатель превращается в слизняка; негибачей, как сталь, разведчик становится чем-то податливым; целеустремленный ученый развоплощается в тычущееся нечто... Моя блистательная жизнь кристаллизовалась вокруг страха. И как я ненавидел тогда этот свой дар предвиденья, – он лишил меня последних безмятежных секунд! Я знал, что каждый рабочий день, в восемнадцать ноль-ноль, мне остается одно: стать, по возможности, незаметным и уповать на то, что сегодня она будет недостаточно раздражена для порки.

Вот – резко вращается ключ, и с хрустом, зло выламывается входная дверь из своего тесного проема, и лицемерно я плетусь в прихожую: «Привет».

А в выходные я просыпался так же рано, как и в будни, от грохота ее ненавистных кастрюль, шума воды и истошных воплей, адресованных отцу и Господу Богу: ничего особенного, просто дело в том, что мамочка привыкла просыпаться рано. На завтрак всегда была рисовая каша – она подавалась под грохот прыгающей по всему коридору стиральной машины. Не то, чтобы она придерживалась какой-нибудь очередной диетической рации, – отнюдь, просто она была очень бережливой и считала глупым тратить на что-нибудь «этакое», если можно набить брюхо за куда меньшие деньги. И когда отец тайком покупал окорок или ветчину, она пилила его за это, как за украденное. Впрочем, ветчину я любил не очень, – она была жирная. Помню, один раз мать вернулась откуда-то довольно поздно, около полуночи и, разбудив, потащила меня в кухню, где заставила достать из помойного ведра и съесть кусок сала, вырванный мною из ветчины. Ничего личного, просто, с ее точки зрения, нерационально было разбрасываться продуктами.

Летом ли, когда я тыкался носом в оранжевое ситцевое платье, зимой ли, когда обнимал цигейковую черную шубу и слизывал чуть ниже ворота уцелевшие снежинки, – мы жили на третьем этаже и, пока она поднималась, не все успевали растаять, – я раскидывал тяжелые руки, осторожно прижимался к ней, вдыхая горьковатый аромат цветов лимона – так пахли ее духи – и замирал, пока сверху

не слышалось раздраженное: «Ну хватит, пусти и дай раздеться. Иди, я устала».

Зачем я это делал?.. Обьятья спадали, как обруч с разохшейся бочки.

– О какой бочке идет речь? О той самой? Ты помнишь ее?

– Помню ли я ту бочку? Помню ли я ту... Позволь я закрою глаза. Я хочу присмотреться. Разглядеть то, что внутри. Что собрано по крупицам в муравьиной крошечности моих страхов, примет, обид. Душной тоски. Хочу еще раз взглянуть на то, на что в сокровенной тьме наша память от дней Господних наброшена думкой, сквозь которую выпирает – проведи! – *оно*. Время, бессильное сравнять углы, огибает его, уходит и возвращается с прежней стороны, – виток к витку приставляя и приставляя себя, пока не сгниет и не исчезнет под покровом все.

Как и эта бочка.

По верху я легко мог обхватить ее руками, привстав на цыпочки, и вода в ней – всегда до краев – тотчас хватала за пальцы и жамкала их докрасна в любую жару. Дна бочки видно не было. Черное зеркало, обращенное к небу, было очень отзывчивым и откликалось мелкой дрожью на все самое важное, что происходило в этом мире: касание листа, трясение почвы, поцелуй паутинки. И, конечно, на наше появление.

Помню, как я до судорог в щиколотках подолгу тянулся, чтобы заглянуть в самую глубину, – *туда, где должно быть дно...* «Неизвестное манит». Когда я это понял? Тогда или чуть раньше?

– Стремление заглянуть туда, в самую глубину, на дно...

– Даже, скорее, *желание*, а не стремление. Желание пассивно, оно женственно и имеет как бы страдательный залог, стремление же направленно и деятельно. Агрессивно.

– А ты не был агрессивным ребенком?

– Агрессивным? Нет. Агрессия свойственна любви, а мать меня не любила, и поэтому я не любил никого.

– Значит, по-твоему, женщина не способна любить?

– Думаю, что нет. Скорее, женщине дано лишь отвечать на любовь... Но недостаток любви я научился компенсировать. Я полюбил себя, как умеет любить ребенок, не знающий, что такое любовь. Вернее, даже не себя, а то нечто ускользающее, что могло бы содержаться в оболочке хлипкого тела.

– Душа?

– Вряд ли я называл это так. Я вообще не задумывался тогда над такими вещами. В конце концов, я был нормальным ребенком, и, хотя и был повернут на книжках, мировоззрение мое оставалось вполне себе материалистическим. Просто однажды... лет в десять меня осенила мысль, что не все так просто: кости эти вот, кожа, волосы, ногти, слизь... Сначала эта мысль была смутной, но чем я дольше ее думал, тем отчетливей она становилась: на мир изнутри меня, через мои глаза, смотрит что-то другое. То, что боится и плачет. Страдает. Иногда – радуется. И мне было жаль это «что-то». Я представлял это себе таким эфемерным мальчиком, заключенным в тело мальчика земного. В меня. Болезненным, мягким, как дым. Вообще, я был довольно болезненным ребенком: сколько себя помню, попеременно болели то уши, то зубы. То все сразу. И еще эти простуды – мои бесконечные уроки внеклассного чтения. Вполне возможно, что вся моя меланхолия и чувствительность к страданию, вся моя мечтательность имели сугубо телесную причину, и если бы я, например, мог за раз сожрать столько же яблок, сколько мой приятель Доцент, то вряд ли бы я когда-нибудь задумался о тех деревьях, что заключены в коричневых капельках, внутри. Тогда же, когда я осознал существование в себе эфемерного тела, я стал панически, просто до ужаса бояться пораниться: стало страшно, что во мне тогда умрет это нечто. Вытечет из раны, из глубины, по разорванным синим трубочкам, вытечет вместе с кровью... Я разглядывал свои телесные отверстия и думал о том, что если чем-нибудь продвигаться по ним туда, вглубь, миллиметр за миллиметром, то вскоре погрузишься в настоящую глубь жизни, в самое нутро тела, кроваво-красное, трепещущее, подкожное, как... как... трепещущее, кроваво-красное, отзывающееся на прикосновение электрическим разрядом боли в животе.

Со временем то, что было чувством, без любви умертвилось и стало мыслью. То, что было мыслью, позже окаменело и стало символом. Но особых сожалений по этому поводу я не успел испытать, – так лишь, легкая тень промелькнула, словно краем прошло грозное облако, и вскоре ослепительное солнце снова засияло надо мной. Это сияние я заметил не сразу, как не сразу замечаешь, засидевшись над книгой в саду с самого утра, что уже полдень, и что печет немилосердно, и все заливают ослепительный, нечеловеческий свет. Точно так же, не сразу, однажды я заметил свое отличие от других. От всех других – и от ровесников, и от взрослых. Отличие заключалось в том, что я стал *посвященным*. Мне трудно сформулировать, что это значит, я... я был воплощен в мир, как незаконченная статуя воплощена в кусок мрамора, я уходил в него корнями. Питался его подземными

водами, покоился в его гравитации. Суeta людей, особенно броуновское движение сверстников, меня утомляли, и я старался избегать их, но все же иногда поодаль от них я замирал, с неясным чувством, похожим на зависть, наблюдая за звонкими играми и роением в летних сумерках, волхованием над кострами в осенних парках и весной – на пустырях за домами, и зимой – в темноте, пахнувшей взопревшей шапкой и слюной, – замирал, пристально наблюдая за вызреванием их новых звериных подноготных, и думая о том, что я бы тоже, наверное, мог бы так, если бы захотел...

Свою инакость я чувствовал давно, но чем было то чувство без подтверждения моей власти над вещностью? Я мог оценить красоту вещи, но был бессилён создать такую же. Я мог восхищаться совершенством какого-либо произведения – но и только; восхищаться чужим трудом – будучи бессилён сделать что-то свое, а ведь я чувствовал, я знал, что я тоже могу! Между осознанием возможности и реализацией моего дара оставалась лишь тонкая преграда, хлипкая фанерная дверь, и я бесился, сходя с ума от невозможности распахнуть ее, сорвать и отбросить, шагнуть туда, за нее, и взять руками эти сокровища, приручить их, приучить к рукам, а руки – к вещам, – и стать им настоящим хозяином и повелителем. Гипс и дерево, воск, акварель, металл, стекло, бумага и глина расплозились, разваливались и превращались в ничто; слова, клавиши фортепиано бубнили, как мерзкие гугнильцы, не становясь чистым звуком, а электричество самовольно выжигало себе новые тропы и плевать хотело на тщательно вычерченные для него схемы. Я скисал, я превращался в укус. Я томился, как король в изгнании, и проклинал свои предчувствия, с неохотой я продвигался вперед с повернутой назад головой, отсчитывая дни, которых уже нет, и не зная, что уже я хотел бы увидеть. И в тот год, когда мои руки научились делать желаемое, а разум – читать в формулах тайны мира, я понял: вот оно, случилось. Обетованное.

Довольно быстро я удалил от себя всех друзей, оставив лишь двоих приятелей, наименее посягавших на мое свободное время и на личное пространство. Я наконец ворвался в ускользающую майю, чувствуя, как сопротивляется ткань, как трещат и поддаются ее нити! В двенадцать лет я стал алхимиком и магом. Собирателем, коллекционером, – ведь прежде чем научиться повелевать вещами, нужно сначала окружить себя ими, нужно приучить их к себе и научиться обладанию ими. И вот – разрозненные фрагменты начали собираться в единое целое. С усмешкой и превосходством я поглядывал на восхищенных моими драгоценностями приятелей. Колыванские пятаки, заточенные временем с одного края, как орудие писаря; марка коро-

левы Виктории, краснеющая между страниц насосавшимся клопом; синюшные австро-венгерские кроны времен Фердинанда... Стопки каменной слюды, найденные на развалинах авиационного цеха, – сверкающие черные бусины и алые трубочки, которыми моя мать начиняла радиостанции на заводе, – вдобавок к прежним экспонатам. И, наконец, чемоданчик с принадлежностями для фотографии, который купил и уснастил я сам, на заработанные сдачей «чебурашек» деньги. Я стал изучать искусство фотографии по учебнику «Двадцать пять уроков фотографии», горюя, что не могу достать урановую соль для виражей. Учебник этот мне подарил сосед. Как одержимый, я кинулся фотографировать вещи. Не сразу они проявили на снимках свой характер: для того, чтобы стакан с водой на снимке выглядел как стакан с водой, я потратил три месяца! Но мне это удалось. Однако этого было мало, – я хотел создавать материю сам! Я подвесил самодельную колбу, сделанную из электрической лампочки; тисками в дровяном сарае я стирал гранит в порошок и отделял воду от тверди; я наблюдал бракосочетание маслянистого глицерина с перманганатом калия – внезапное и разрушительное, как безумие, и одним прикосновением горящей спички обращал двуххромовокислый калий в гнездо аспидов... Я батареями разлагал воду и самостоятельно открыл электролиз. Я нагревал азотную кислоту и молился Богу. Задолго до собственного созревания я узнал запах мужского семени, стряхивая с брюк обратно в таз с позитивами сероватую слизь карбоксиметилцеллюлозы. Я жег магний и, наощупь блуждая в фосфенных миражах и клубах дыма, натываясь на кухонную мебель, выходил вон, ожидая, пока свет не отделится от тьмы и очертания вещей не заключат меня в привычный круг мира. Пятна натриевой селитры, стекающей с газетных листов, высыхали и покрывали пол, как падавшие звезды – землю. Я узнал число Ро и число Авогадро. Я окружил себя хрупким миром стеклянных сосудов и свинцовых сочленений, я полюбил музыку гармонических колебаний волн света, воды и воздуха, но больше – воздуха, одного только воздуха, входящего в меня через четыре отверстия и сообщающего *тому, кто внутри*. «Радуйся!»

Реторты, аламбики и алькитары...

– Ты говоришь, что свет делал тебя слепым?

– Да, на некоторое время – совершенно слепым.

– А ты не боялся ослепнуть навсегда? Не думал, что из-за какого-нибудь крошечного кусочка оксида магния ты мог лишиться самого главного в своей жизни – возможности читать? Помнишь, как постоянно тебе говорили: «Не смотри на сварку, не смотри, отворачивайся...»

– Нет, дети боятся только того, что знают. Мало знают – мало боятся. И совсем не боятся того, чего не знают вовсе. Но... Наверное, процесс пошел бы в обратном направлении...

– То есть?

– То есть, не имея возможности читать книги, я стал бы книги писать.

– Как это? Слепой?

– Ну, диктовал бы брату.

– И не жалко его? Кем бы он стал, сызмальства чирикающая под чужую диктовку?

– Да ведь он и был задуман всего лишь как мой дубликат. Копия. Дублер, как в отряде космонавтов, понимаешь?.. Ну, такая история... Я сам ее узнал от отца только тогда, когда что-либо менять было уже поздно, когда брат стал братом. Таким, какой он есть. В общем, у матери была подруга, ровесница Диана. Дама импозантная, но зело повадливая до спирту. И, видать, не только до него: родив сына, она сделала операцию по перевязке маточных труб, – чтобы не осложнять процесс последствиями, так сказать. Ну, а мальчика в восьмилетнем возрасте сбила машина. Насмерть. И все. Мать же моя, убоявшись того, что восемь лет ее собственных мыканий с оболтусом могут из-за какой-то случайности пойти псу под хвост, решила на всякий случай перестраховаться, и вот – родился мой брат. Так сказать, моя сохраненная копия. Я никогда не сходил с ним близко, не интересовался ни им, ни его жизнью, – она проходила в стороне, как чужая свадьба... но, думаю, при необходимости он мог бы мне послужить. Впрочем, не знаю...

– И что бы ты писал в двенадцать лет?

– Да, в общем-то, то же самое, что и сейчас: благодарность.

Впрочем, потребности рассказывать у меня тогда еще не было. Когда ты один, слова не нужны, а людей вокруг я воспринимал, скорее, как помеху, чем как собеседников.

– А те *песенки* и *рассказики*?

– Да... но то были... спазмы. Спазмы переполненного сердца, но никак не изложение опыта. Хотя... Опыт не обязателен... Тогда любая песнь была песнью торжествующей любви. Я боялся людей – и любил мир, пел только ему и о нем. Это бывало нечасто, но случалось. К тому же – слова... Считанные с листа, они продолжали звучать внутри, долго не затихая. Они звучали, звенели, кололись, переполняя мою голову, спускаясь в нижние этажи, болью поселяясь в животе. Я видел их – видел цвет каждого звука. Скажем, шепот, который я слышал по утрам из-за закрытых двустворчатых дверей, – это

разговаривала бабушка с моим отцом, – был нежно-голубым. Слова входили в меня и распирали, наполняли до краев и тот, кто был внутри меня, разрастался до бесконечности, до запредельного. Проснувшись утром девственным и чистым, вечером я ложился в кровать беременным, несущим в себе завязь жизни. Ночами я *вытворял* слова из себя до полного опустошения, до усталости, до сна.

– Это что-то гомосексуальное...

– Отнюдь. Душа, принимающая в дар, хранит этот дар в себе и приумножает. А потом отдает, рождает новую форму. Каждую ночь я разрешался и снами, но сны эфемерны; слово же, которое я однажды родил, было...

– Но почему «родил», почему «беременный»?..

– Ну а как? Почему вас это смущает? Мальчики душою гораздо ближе к женщинам, чем девочки. В мальчиках есть женское начало, которое в мужчинах исчезает бесследно...

– Хм...

– Да. Исчезает бесследно, тогда как у девочек оно просто развивается дальше и перерастает в то, что делает ее нормальной женщиной.

– То есть теряя, тем самым сохраняешь потерянное навсегда?

– Да, то, что я теряю, я сохраняю навсегда. То, что остается с нами, – безнадежно теряется, меняясь.

– Девочка, становясь женщиной, теряет в себе женское начало?

– Оно перерастает самое себя, вырождается во что-то хищное, что ведет любовь на поводке. Понятия «женщина» и «женское начало», они... означают разное. Женское начало – это... то зеркало, помните? Я рассказывал про него, вздрагивающее зеркало воды. Память о том, что было до тебя, – о чуде. Девочка становится женщиной, теряя в себе ощущение чуда... Сбивает с толку общий корень «жен». Понимаете, преемственность – она теряется. Но это ничего, это природа... Агрессия всегда начинается с чистого листа, не может быть агрессии там, где есть память о хрупком чуде. А тут – просто следующий виток ее персональной истории в прежнем естестве, с полностью обновленным сознанием, – это все гормоны, телесное, понимаете... Сознание обнуляется, – ей ведь не нужно никого одухотворять, оплодотворять... наоборот. Конечно, исключения...

– Скажите «спасибо» мужчинам.

– Да не за что. Знаешь, когда я спустя двадцать лет услышал Наташу по телефону, я понял, что еще минута разговора – и я потеряю огромную часть своего детства. И положил трубку.

Я стоял, опершись на стол с телефоном, и все пытался сглотнуть пересохшим горлом. Горечь захлестнула меня. Та самая горечь, что

переполняла в детстве, когда я чувствовал свое бессилие перед движением жизни. Я стоял и вспоминал, как любили мы запускать в ту самую бочку сделанных из желудей водолазов. Самые лучшие водолазы получались из еще чуть-чуть зеленоватых желудей: у них шляпки держатся прочно. Мы запускали водолазов до тех пор, пока покрасневшие от холодной воды пальцы не сводило в щепоть так, что их уже невозможно было разжать. Имена мы давали своим водолазам... ох, Господи, прости нас грешных!

– Ну уж, грешников нашел...

– Ей тогда было семь, а мне девять. Удивительная пора жизни. Когда вдруг понимаешь, что большая часть мира существует все же вовне, а твое тело – лишь часть его. Когда пробуждается истинное любопытство, готовое рискнуть благосклонностью взрослых и собственным покоем. Когда краски начинают бить по глазам, а тело реагирует на открытия непредсказуемо и резко, как на боль. Когда, спрятавшись в самой глубине сада, ты замираешь, чувствуя, как тебя снова и снова неудержимо тянет касаться нежного, запретного, и это так больно, так завораживает, – и хочется почувствовать это опять, медленно, по клеточкам, чтобы убедиться, что теперь и это – твое, и ты полностью владеешь им и можешь вызвать его к жизни, когда захочешь. Когда, не зная, как называть неизвестное, ты даешь имена спонтанно, ориентируясь на форму и цвет. Не зная назначения, – придумываешь свои версии и сам подбираешь место в настоящей и будущей жизни. Иррациональные, странные ощущения; страшные, чудовищные мысли... как, например, мысль об *операции*.

Про операцию я узнал год спустя, когда Люба, по страшному секрету, взяв с меня клятву никому ничего не рассказывать, показала мне шрам. Мы тогда сторожили с ней кукурузу, в Николаевке. Почему она выбрала именно меня, я не знаю. Хотя... может быть, дело в возрасте? Ей было уже почти четырнадцать, а мне – десять. А Юричку и Наташе – по восемь. И хотя вся наша ночная работа была, скорее, развлечением, но брать младших с собой... А вдруг они просто испугаются и заревут, затребуют домой? Наша сторожка стояла на самой середине поля, среди вымахавших уже под два метра стеблей, и ночью, когда луна плыла над самыми головами, казалось, что сторожка стоит на самом краю земли и дальше нет ничего, дальше – только тьма, только тишина. И мир, теряя во тьме всего себя, обретал новое: тишину и бесконечность, становящиеся самим веществом ночи. До бабы-валиного дома было где-то с километр по этим джунглям, – ну и как бы мы их вели тогда домой? Да там заблудиться – раз плюнуть. Даже для такой взрослой девушки, как Люба. И мы были одни.

В общем, на вторую ночь, уже усевшись на досках, покрытых чем-то вроде старых фуфаяк (при свете керосинки, стоящей, от греха подальше, в противоположном углу), мы заговорили о самых жутких и невероятных травмах в своей жизни. Я показал ей шрам на левой руке – от гвоздя в заборе, она – синяк на плече, который посадила, зацепившись за улей в сумерках. Этот жалкий синяк я с усмешечкой крыл вырванным весной коренным зубом. Тогда она, помолчав, с улыбкой спросила меня, *а что я знаю об операции?* Я поежился, вспомнив виденные в процедурном кабинете поликлиники блестящие жуткие лопаточки, клещи и бутафорских размеров шприцы и, вздохнув, сказал, что *ничего*. Ничего, слава богу, не знаю. Я не стал признаваться ей в своем страхе перед кровью, ранами, и о тех *глубинах*, в этих кровоточащих ранах, которые ведут в самое сокровенное, – туда, где обитает *душа*. Люба отвернулась, словно потеряв интерес к разговору, и стала смотреть в сторону, в один из темных углов, где шевелились наши тени и где особенно сильно пахло какой-то кислятиной, застоявшимся куревом и сухой травой. И так же, не поворачивая головы, она слезла с лавки, повернулась ко мне и сказала: *смотри*. Ее рубашка была снизу без одной пуговицы и, освобожденная из трико, легко, широко разошлась в стороны, а пальцы с короткими грязными ногтями, как крючки, зацепились за резинку с правой стороны и быстро оттянули ее вниз. «Аппендицит!» – сказала Люба торжествуяще. «В прошлом году вырезали». От слова «вырезали» у меня, кажется, ослабели не только колени, но и позвоночник. Я бесильно провис, склонился к самому шраму, едва ли не касаясь его носом. Он был багровый и узловатый, как кусок веревки, с белесыми короткими прожилками. Пересекая живот по правому краю наискось, нижним концом он доставал до редких рыжеватых волос, вившихся из-под резинки. Машинально я отметил, как пергаментная смуглая кожа живота внизу становится рыхлой... И отступил. Пересохшим горлом говорить было трудно, и я выдавил: «Ничего себе... Больно было?» «Не-а», – залихватски воскликнула Люба и ослабила пальцы-крючки. Резинка щелкнула, возвращаясь на место, и полы рубашки сошлись вместе. «Это ж под наркозом делали. Я заснула – сделали, а проснулась – уже все готово.» Я молчал, пытаясь представить себе, как *руками* проникают *туда* – в трепещущее, красное. То, что *оно* трепещущее, я знал, поскольку не раз видел, как разделявают кур, потрошат рыб, запуская пальцы во вздрагивающие тела. Но с теми-то было проще, – у них не было души, а вот человек... И еще эти... волосы... То, что они должны быть, я теоретически знал, но вот увидеть... Какие-то плоские, жесткие...

«Все-таки странная она», – думал я, глядя себе под ноги.

Вспоминая, как вчера Люба поймала этого киргиза – сама! Схватила и стащила с лошади за ногу, хотя он был на год ее старше. Сын степей верещал, что он все расскажет папе, что он больно ударился локтем, но Люба перехватила его за шиворот, потом как-то ловко скрутила ему руки за спиной и позвала нас. «Бейте, – сказала она. – Он вас тогда напугал, а теперь вы ему отомстите.» Разжалованный наездник выглядел совсем не так, как вчера, когда, сидя в седле, правил лошадь прямо на нас. Мышиные глазки уже не сияли, а щеки ввалились, словно он вынул все свои зубы. От слабосильных шлепков Юрчика и Наташи он вяло ойкнул, а я бить не стал. Восхищение Любиным поступком как-то внезапно прошло, и мне стало противно. Все противно: и вчерашняя история, и сегодняшнее ее продолжение. Я просто захотел все разом прекратить. И ушел. Люба догнала меня и спокойно сказала: «Ну и дурак. Они только так и понимают...» И я мысленно согласился с нею: «Наверное да, наверное, дурак...»

А еще через три дня – или ночи? – уже перед рассветом я ревел, не стесняясь, и вдавливал свое сопливое лицо ей в живот, и твердил, что не хочу уезжать. Она растерянно гладила меня по голове и говорила, что не надо так, что мы обязательно еще встретимся, конечно же встретимся! И – может быть – я просто испугался грозы? Но я говорил, что нет, не испугался, и она понимала, что нет, конечно же нет, ведь она чувствовала, что я не трус и не боюсь ни этой грозы, ни хлещущего дождя, но... Как трудно ей было поверить, что это – не из-за грозы. Она вникала в то, что происходило, как в чудо, как в сложную формулу.

Больше мы никогда с нею не встречались.

«+7 999.....»

Да ты никогда ни любил меня я всегда была для тебя только любовницей!»

Сад радостей земных...

Много лет спустя, уже взрослый, я увидел эту картину и понял, что она – аллегория моего детства. И Наташиного, и Юрчикова, поскольку их детство было вовлечено в мое, как пересекающиеся орбиты планет – в общую механику сфер. Эта способность притягивать чуждые тела, взятые ненадолго взаймы; способность ненадолго входить в чужой мир и влиять на него своим присутствием... Сколько лет нам было, когда мы встретились? Не помню. Можно, конечно, высчитать, но зачем? Меня выпустили в сад, – в саду я бывал и раньше, отец мне потом часто рассказывал, как я, трехлетний, в нем однажды заблудился, – но я говорю о сознательном вхождении в этот

сад, о памяти, способной хранить и нести с собой это чудо: девочку, которую подвели ко мне и сказали, что она – моя сестра, и мальчика, выбежавшего нам навстречу из угольного сарая. «Это твой брат», – сказали мне.

И мы бросились играть. В саду были веревочные качели, лежал свернутый черный шланг, из которого можно было брызгаться, у ворот, под абрикосовым деревом, жила собака Альфа, которая взбиралась на свою будку и объедала абрикосы с нижних веток, и через все великолепие влажной жирной земли пролегал арык, на дне которого, под прозрачной водой, торчком стоял и колыхался «живой волос». А еще на краю сада были амбар с сундуками, полными пшеницы и кукурузы, сарай с пузатыми банками и столярными инструментами деда, свинарник и дом, на чердак которого вела ржавая тонкая лестница и трогать которую нам было строжайше запрещено. «А то цыганам скажу, они вас заберут», – так сказала бабушка.

Мир этого Эдема открывался нам не сразу. Мы открывали его и узнавали по частям, весь долгий день исследуя темные углы и сонные закоулки сада и дома, пахнущие сладко и тоскливо, как воск, а вечером, по частям уносили в свои сны. Именно тогда я впервые утратил способность быстро засыпать, подолгу лежа на жестких простынях, пахнущих пылью, с открытыми глазами и ворочаясь, словно некое насекомое, опрокинутое навзничь в бессонницу. И узнал, как звучат и поют в воспаленном сознании слова, пытаюсь связаться, сцепиться друг с другом во что-то бесконечно прекрасное... А утром я прокрадывался по уже обжигаящим доскам веранды на самый порог и смотрел в пустой без наших игр и криков сад, и думал о том, что он глубок, как омут. Может быть там, со дна его, кто-то невидимый так же легко смотрел на меня.

– О, какие тебе мамка трусы купила! Прямо настоящие девчачьи! – шлепала меня по спине проходящая мимо с чашкой комбикорма тетя Галя.

Я смущенно улыбался, и мне было приятно и радостно оттого, что пусть чья-то чужая (но ведь не совсем же!) мама может со мной так разговаривать. Как приятель. От радости все во мне напрягалось, и, возбужденный, я всем своим существом ловил каждый миг и жест пробуждающегося дома, оживающего мира. Запахи отделялись от красок, слова от дней. Я чувствовал, как остро пахнет от ведра, служившего нам всем ночным горшком, как упирается в мизинец сучок доски, как звенит цепью Альфа. Как проходят дни лета.

Ликование и чудо явленного сада было дано нам всем. И каждый, в меру своей души, благодарил Бога за эту радость восторгом и удивлением. Не в силах осознать грандиозность своего открытия в

целом, мы, как мирмидоняне, переносили его образ в нашу повседневную жизнь по частичкам, творя свой космос из сухих веточек, страшных рассказов, листков раскрашенной бумаги, услышанных историй, монеток, склеивая эти частички за перевернутыми стульями, тяжелыми столовыми покрывалами, спускающимися до самого пола, скрывающими, что у нас там...

– А картина? Почему ты не расскажешь про картину? Гобелен. Тот, что был слегка подмочен. Который уподобил ты воспоминаниям, лежащим поверх прошедшей жизни.

– Да, я и хотел как раз...

Живая картина... Просто мистика какая-то. Спустия много-много лет, уже в Москве, я однажды случайно достал из альбома ту старую черно-белую фотографию, размером с тетрадный лист, и стал рассматривать ее. Чувствуя, как начинает колотиться сердце, а в голове – звенеть тишина... Та бочка с водой стояла в саду, под персиковым деревом. Набранная из узких, темно-коричневых досок, сверху она была сухой и горячеей, а снизу, примерно на ладонь от земли, от поднимавшейся по ночам сырости, – черной и бархатистой, как велюр. Рядом, прислоненная к стволу дерева, стояла картина. Вернее, натянутый на подрамник гобелен. Это я тогда, в детстве, называл его «картиной». Портрет девушки...

– Не так...

– Да-да, не так! В том-то и дело! Вот именно, что не так...

Вот как все было: земля тогда была уже густо усыпана туго скрученными листьями, – словно желтые червячки млели под жарким к полудню солнцем, и пусто было в саду, и безлюдно в доме. Только гуканье горлиц, настойчивое и пронзительное, звучало еще совершенно по-летнему, только стены дома были еще горячи и терпко пахли ушедшим временем. В тот раз я приехал во Фрунзе поздно, в конце октября, отслужив, оттащив свои два года. И визит мой был печален, а на душе было горько, словно я приехал на кладбище: не было ни брата, ни сестры. Город сменил имя – я узнал об этом от родных как стыдную весть. Альфа умерла, умер и дед, который появлялся в доме лишь утром и вечером, пропадая все остальное время в сарае, что-то постоянно чиня. Что можно чинить столько времени? Разве только свою жизнь... Бабушка сильно постарела, и за домом в Канте смотреть уже было некому. Впустивший в себя за эти годы столько людей, он разрушался от многочисленных жизней, творившихся внутри него, сам ставший подобием человека, и потому, как человек, – смертным.

Юрчик только-только начал служить, а про Наташу, уехавшую учиться в Новосибирск, тетка сказала что-то мельком, второпях, как-то нехорошо перескакивая на одних глаголах, что, де, учится, что все нормуль. И я подумал, что быть мне здесь и сейчас одному (хотя мог ведь высчитать это и заранее), но печальнее уже не стало.

Я не любил своих близких – не любил, как люди любят людей, – они были дороги мне лишь как часть, как обстановка *моей* жизни. Да и картина грусти была уже полна. Одна-две детали ничего не меняли в пейзаже. Ужаснее было то, что я бродил по городу и не узнавал его. Искал свои отражения в окружении привычных с детства вещей, в давно решенном лабиринте улиц, бывших мне некогда впору, – и не находил себя. Ни города, ни себя. Будто я начисто лишился памяти. Новые улицы, новые имена. Это было похоже на сон, в котором привычная, давно знакомая дорога вдруг выходит на какую-то нелепую, голую «Площадь согласия». Эркиндик с баранкой над головой. Я ходил пешком по когда-то знакомым, «нашим» местам, угрюмый и сосредоточенный. Панфиловский парк. Дубовый парк. Исторический музей с каменными бабами у парадной. Поодаль – башня Т-34, пустая, без люков, прямо на траве – как оторванная голова насекомого. Мертва, обжигающая и смердящая в нутре облезлом. Подарок засранцам. Где-то там, в покоях музея, стоит саркофаг со стеклянной крышкой, а под нею – мумия царицы. Я помню ее с детства – маленькую, как мы, обернутую во что-то ломкое, коричнево-серое, осиной выделки. «Как мы» – может быть, поэтому мне было тогда ее особенно жалко? Я относился к ней, как к ровеснице, заболевшей чем-то непонятным и неизлечимым. Едкий воздух прогоревшего костра лез мне в ноздри, дурманил так, что в голове начинало что-то пульсировать и раскалывать ее изнутри болью, ослепительной, как солнце. Я склонялся над крышкой и заглядывал ей в лицо: «Вот, она умерла, – думал я, – неужели она сейчас, и вправду ничего больше не чувствует? И ей не больно? И она не могла сопротивляться смерти тогда, как сопротивляются сну?» Я знал, как это – «сопротивляться сну», – наш самолет всегда вылетал в три ночи, и для того, чтобы не заснуть, мне разрешалось не раздеваться и не ложиться в постель, смотреть телевизор до тех пор, пока он не завоет, а экран не подернется безжизненной серой пленкой; пить чай, разговаривать с отцом долго-долго, обо всем на свете: о мамлюках, о люминофорах, о кольцах Сатурна, синегалках, венгерском восстании...

И сон одолевал меня все равно: незаметно и стремительно.

Глазницы этой девочки были пусты, а остренький подбородок и широкие скулы делали лицо похожим на кокор. Давно уже иссохший.

«+7 999.....»

Я сплю после ночи. Пазвани мне в пять.»

Еще через год наш дом в Канте продали. Взамен него тетка купила новый, в самом Бишкеке, в Красноярском переулке. У греков. Белокаменный, словно акрополь, он был безлик и чужд мне. Наш старый дом, помнящий голоса всех нас и впитавший все наши запахи, настоятельно требовал ремонта, но, безрукая и легкомысленная, тетка пропипикала его легко и без сожаления, очарованная новизной побелки и изяществом кофейных чашечек, натрафареченных на стены. Я приехал тогда со своей первой женщиной, ставшей вскоре моей женой. Тетя Галя ничему не удивилась, а бабушка долго не могла понять: с кем это я? На Наташеньку вроде не похожа...

Я помню, как в первое утро она растолкала меня и показала на грушу, висящую высоко среди веток за распахнутым окном. «Смотри!» – ликующе воскликнула она. Мы выскочили из-под одеяла и подбежали к подоконнику. Не стыдясь, не думая, что сюда могут сейчас войти и увидеть нас. И тогда, касаясь горячего плеча, так никогда и не ставшего родным, чувствуя горький и острый запах остывшей страсти, я понял, что больше не нужно приезжать сюда, потому что больше уже ничего нет.

Этот город был не просто точкой на карте, муниципальным образованием, скоплением жилищ, накипью садов, желтою пеной жителей, напомаженными руинами административных зданий, россыпью музеев и жаркими трещинами улиц, начинающихся внезапно, как сон, и так же внезапно обрывающихся, – он был точкой отсчета моей жизни, начавшейся, тем не менее, далеко-далеко отсюда, и центром расширяющегося круга моей памяти; к дому в Канте члены двух наших семейств слетались со всех концов страны, стараясь не пропустить ни одного лета. Азиатского, тяжкого, пьянящего домашним вином и бесконечными семейными историями по вечерам в театрально освещенных виноградниках, где в сумерках выкликали то «лебединое озеро», то «муравьи», то, прости господи, «туда-сюда», а по ночам, дождавшись, когда дети уснут, взрослые куда-то уходили и возвращались лишь на рассвете, с таинственными полуулыбками на опустошенных лицах. Этот родительский обман нам не был в тягость и проходил легко, как случайные слезы. У взрослых была своя жизнь, о которой мы шептались за закрытыми дверями амбара, на мешках с зерном, и мы знали, что потом и мы так же будем оставлять в неведение своих невинных детей, а пока что это неведение вяжет нас. Как круговая порука. И мне было сладко и тепло от этой беспомощности и привязанности к брату и сестре, в колышущемся зыбком мире дре-

весных крон, сохнувшего на веревках белья, в тонком мире невидимых токов и наитий. Но иногда где-то там, в самом-самом нежном месте схождения груди и ветра, некий колючий холодок царапал кожу, когда я замечал, какими нечуткими и грубыми бывали брат и сестра. Их глухота и равнодушие к тонкому очарованию жизни меня ранили так, что я поворачивался к ним спиной и надолго замыкался в себе, переживая эту незрячесть как личное предательство, и уже всем телом ощущая холод отчуждения. Потом тревога проходила, и я забывал о царапинах, как о случайности, но со временем это ощущение возникало все чаще и чаще, пока однажды я не заметил, что они от меня тоже отвернулись. Может быть, мое изгнание тогда и началось? И длилось все эти годы, длилось – и в то прекрасное утро, с женщиной, ставшей мне женой, но не ставшей от этого ближе, наконец закончилось.

Незадолго до того, как они от меня отвернулись, я прочитал, что наше солнце погаснет через восемь миллиардов лет. И узнав это, я готов был рыдать. Я хотел лечь и лежать в ожидании смерти, мне было безумно жаль людей, которые будут жить через восемь миллиардов лет – и погибнут! Жаль произведения искусства, которые есть и которые еще будут, – я представлял, как корежатся в огне полотна картин, как песок заметает изъеденные ветром статуи, как уходят под землю дома, в которых уже никто не живет. И не мог понять: зачем жить, если все равно через восемь миллиардов лет все умрет? Если восклицает во мне и звучит эхом: «Пал, пал Вавилон!..»

Что мне были их интриги, их равнодушие? Подумаешь, «посторонним вход воспрещен»!

«+7 999.....»

Кот, я в кинатиатр еду с подругой. Можно? Ни тиряй, там связь касячит.»

Воспоминания о саде у меня неразрывно связаны с воспоминанием о себе. Первые бессвязные отрывки начинаются примерно с трехлетнего возраста и не имеют ни длительности, ни смысла, ни общей тональности. Они звучат во мне какофонией: всплески красок, ворожба арыка, запах ванили и к облакам поднимающийся бабушкин дом... Ее выцветший передник виногретного цвета. Ощущение истончившейся материи под плотно прижатым к ее огромному, мягкому животу лицом. Животное движение ее грузного тела. Сладкий газовый дурман на кухне. Лоснящийся жирный шланг, лезущий от баллона куда-то под юбку плиты. Тускло-желтые оклады икон под потолком, плохо запертые шкафы с книгами. Внезапная гроза – и

отец, мывший меня во дворе в тазу, как есть голого, в три прыжка заносит на крыльцо. Именно с тех пор при слове «гроза» я представляю себе гремящего стального Мой-Додыра, со сверкающими рогами в полнеба...

Осенние дни были подобны друг другу и ложились, как блеклые растрепанные карты, в одну нескладную колоду, и не было дня прошедшего и дня грядущего, но всегда был день один – нынешний. Ночей же не было вовсе. Моя подруга, не сказав ни слова, через три дня собрала вещи и уехала. Я остался один. И какая-то недосказанность, неопределенность стали копиться в доме, как слухи и долги, как предчувствия, о которых знаешь, что они вздор, но – страшно повернуться, тяжело встать и невозможно куда-нибудь выйти прочь из дому. Юрчик, по слухам, после армии возвращаться сюда не собирался, Наташа тоже после учебы планировала остаться в Новосибирске, и даже ее родители, из года в год собиравшиеся вернуться на родину, все еще оставались в Красноярске. Мать же Юрчика – тетя Галя – человек нрава веселого и характера ветреного, недавно оставленная очередным мужем, искала теперь счастья во дворе знакомого автомеханика, невозмутимого корейца Кости (и, как рассказывали мне много позднее, таки нашла его, однако ж доведя Костю своими похождениями до рокового инфаркта), поэтому дома появлялась редко, влетая во двор на своей выдавшей вида «копейке» на полчаса – на час в день. Не дольше. Неслась по комнатам, крича матери: «Привет, как дела?!» – по пути на кухню; гремела там, готовя, – и трясущаяся, выжившая из ума старуха, слышавшая голоса давно умерших предков уже гораздо лучше, чем голоса живущих, выползала в коридор и, стоя на четвереньках, долго смотрела в темную глубину, не говоря ни слова. Ее второй муж и отец тети Гали, дед Василий, в войну дважды бежавший из немецких концлагерей и привлеченный родиною в Магадане, после освобождения так и не смог избежать обиды на несправедливость бабкиного Бога и три года назад, не без помощи оковитой, отправился сводить с ним счеты лично.

Я перебрался в маленькую комнатку налево от кухни, – такую же, как в Канте, в которой останавливался с детства. От общего коридора она была отделена лишь занавеской, в общем-то ненужной: не было посторонних глаз, от которых стоило скрываться, и не было ничего, что стоило скрывать. Дом был пуст, как школа летом. Я просыпался рано утром, наспех завтракал и отправлялся бродить по городу с фотоаппаратом. Снимки делались спонтанно, самозабвенно, даже тогда, когда громкий хруст явственно означал: «пленка закончилась, пленка вырвалась и убежала из своего домика!», – я далеко не

всегда слышал, что мне говорят. А еще я массу времени проводил в букинистических отделах книжных магазинов, — у меня не было денег, но было воображение, и я брал книги как знаток, как библиофил, раскрывал их на последней странице и смотрел тираж, год издания... Когда никого рядом не было, я нюхал их, сверяя запах этих, чужих книг с тем, что помнил с детства. Иногда запахи совпадали, и я замирал, представляя себе, где, в каких шкафах и каких домах они могли бывать.

Еще я подолгу слонялся по улицам. Без цели и без усталости, без мысли, воображая себя некоей мыслящей фотокамерой, объективом, управляемым кем-то невидимым. Зрение выхватывало совершенно случайные объекты, фокусировалось на них и вело наблюдение до тех пор, пока объект не скрывался. Иногда я даже незаметно преследовал его, отмечая все мельчайшие детали поведения. «Почесал нос. Скомкал и выбросил билетик. Купил мороженое...» Город был не такой уж и большой, и я смело бродил по его улицам, не боясь заблудиться. Как лунатик, я уходил иногда далеко-далеко, к самым окраинам и там, словно проснувшись, вдруг обнаруживал себя стоящим перед прекрасными домами, перед золотыми шарами, покачивающимися на ветру, перед арыками, выложенными будто бы куриными яйцами. По рассказам отца я знал, что где-то здесь живет мой настоящий, родной дед, бывший министр не то водного, не то рыбного хозяйства, потомок бухарского эмира, человек вспыльчивый, на любовь и на действия скорый, в расцвете лет в дубовом парке застреливший из именного револьвера хулигана, пристававшего к девушке. Как раз в то злосчастное время моя бабка, бывшая его третьей женой, едва разрешилась вторым сыном, моим отцом. Деда посадили, новорожденного назвали Константином. После недолгой отсидки дед вернулся домой и развелся с бабкой, женившись в четвертый раз. Вообще, сдается мне, если кому Господь и обещал: «размножу тебя, как песок морской», — так это, в первую очередь, ему, деду Арипу. Бабку же взял тогда замуж дед Василий, после войны и Магадана оставшийся совсем один, и в этом новом браке и родилась их дочь Галина. Константин, сызмальства снедаемый завистью к своим друзьям из нормальных семей и поклявшийся никогда не разрушать будущей своей, достигнув совершеннолетия, поменял отчество, чтобы вычеркнуть память об отце навсегда. Судьба отомстила ему: городу, где он родился, изначально известному как «город кузнецов», в 1991 году, словно девушке, насильно выданной замуж, вдруг сменили имя, — и родины у отца не стало. Ничего в жизни не проходит бесследно, поскольку ничего не появляется просто так. Меняя имя, человек меняет самого себя. Что меняет он, изменяя отчество? Страшно подумать... Он меняет прошлое и пресекает будущее.

Искал ли я деда? Пожалуй, нет. Или искал, но не его, настоящего, реально живущего человека, а лишь следов той короткой встречи, желая повторить заново то ошеломительное чувство встречи с настоящей семейной тайной, пережитое мною в детстве: однажды я увидел маленького, сухонького старичка, копавшегося в саду своего частного дома где-то в районе двенадцатого микрорайона. Мы шли по улице, у отца на руках был мой брат, который проголодался и все время канючил, а я, десятилетний, едва попевал за скорым отцовским шагом, вприпрыжку догоняя его тень. Внезапно отец остановился у какого-то сквозящего забора и, дождавшись меня, сказал: «Вон, оглянись, – это твой настоящий дед». И тут же снова устремился вперед. Я торопливо повернулся посмотреть, но, услышав удаляющиеся шаги отца, бросился догонять его, стараясь не выпустить бешено заколотившееся сердце. Желто-коричневая шея, тубетейка, согбенная поза тщедушного тела – вот все, что я запомнил тогда.

Теперь, впитав и пережив память своих предков заново, прожив ее своей собственной жизнью, я просто поражаюсь, как легко в нашей семье из поколения в поколение отрекались друг от друга, как изощренно мстили и предавали. Ничтоже сумняшеся. При том, что у нас считалось греховным уточнять степень родства братьев и сестер и не существовало «двоюродных» и «троюродных» номинаций: брат – значит брат, сестра – значит сестра. Но сын предавал отца, и жена отрекалась от мужа, сестра крала у брата, племянница отказывалась от тети, – все, надеясь начать с красной строки, избежать семейного проклятия и предстать пред Богом и судьбой чистыми, перекраивали и подчищали свои судьбы в меру бесстыдства и таланта, – но Бог видел и помнил всё и не прощал ничего. Через многие годы судьба сводила вместе беглецов и клятвоотступников, жертв и палачей, предавших и преданных ...

«+7 888.....»

Стрекоза, ты где?»

По иронии судьбы, тот самый мой настоящий дед Арип заведовал рытьем того самого канала, на котором трудилась раскулаченная и сосланная с Иргиза, в числе прочих, мать его будущей жены, а моей бабки Евдокии Артамоновны – Домна Ерофеевна Дюкарева. Муж Домны Ерофеевны, Артамон Кузьмич, был убит на Первой мировой войне двадцати пяти лет от роду, где и как – неизвестно, и из поколения в поколение, ныряя из альбома в альбом, кочевал лишь единственный его дагерротип: как водится, франт и красавец офицер

в окружении однополчан. Ни звания его, ни имени полка семейные предания не сохранили. Там же, на берегу канала, ссыльными было основано и наше родовое селение, и в конце его главной улицы, впадавшей в БЧК (Большой Чуйский Канал – спустя десятилетия превратившийся из образца рукотворного имперского чуда в заросшую ивняком и камышами речушку с бродом), был поставлен первый дом, где сначала все и жили.

Увлечшись еще в армии нашей фамильной историей, я лежал, не зажигая света, на диване и представлял себе, как некогда в одночасье были сорваны с родных Иргизских болот все эти люди. Они считались «кулаками», к тому же были староверами. Их собрали и выгнали со старого места без вещей, без денег. Но судьба была к ним благосклонна, и в Годы Процветания умерли не все: из четырнадцати детей Артамона Кузьмича в живых остались три дочери: старшая Зинаида, средняя Ефросинья и младшая Евдокия. Выжившие стали плодиться и размножаться, возводя собственные новые дома по обеим сторонам от того, самого первого дома, а со временем перебравшись и на противоположную сторону дороги. Сначала – бывшей единственным путем к их жилью, стараниями селян и природы превращенному в живописную пастораль, но потом рядом появилась еще одна дорога, потом еще... Постепенно короста палаток и временок стала расплзаться, являя миру образец удивительного и жизнестойкого симбиоза различных культур на теле молодой братской республики. Да, как бы то ни было, колода была брошена, и расклад вышел неплохим. В прикупе были истовость и вера раскольников, принесшие добрые плоды: из песка был собран поселок, и имя ему было дано «Кант», что значит «сахар».

Если стоять к БЧК спиной, то по левую руку улица начиналась церковью, старейшей прихожанкой которой была баба Зина. Осевший постный дом ее, пребывавший нелицемерной твердыней веры, с одной стороны был укреплен стенами Крепости Господней, с другой же – нагло попирался роскошью особняка мамы Фроси, и только виноградники их на задворках в изобильном и тайном перемирии сливались свободно и были суть одна плоть и одна кровь. По правую же руку, на самом берегу, по-прежнему стоял тот самый Первый Дом, обиталище матери трех сестер, позже перешедший по наследству к Евдокии, моей бабушке. Дом величественный, дом благодатный, щедро делившийся благодатью своей с соседствовавшим домом дочери мамы Фроси – тети Иры, красивой несчастной женщины, всю жизнь тайно любившей иноверца. Воздух дома тети Иры был печален и темен, как последний вздох флакончика давно выплаканых

духов. Ребенком мне нравилось бывать в нем, но оставаться там надолго я боялся. Когда ослепленные солнцем глаза привыкали к полутьме и дневное зрение уравнивалось с сумеречным, в полутьме маленьких комнат этого дома ему открывались высохшие цветы в вазах, стоящих на самых немыслимых плоскостях сгрудившейся мебели, картонные коробки с пудрами, фарфоровые безделушки, таящиеся под сухими листьями пионов. Постепенно я начинал различать в тишине медленную речь ковровых узоров. Ковры были везде: на полу, на стенах, на диванах и кроватях, никогда не знавших любящих или просто влюбленных. Они шептали об этой тоскливой пустоте, о ледящем страхе чужих пересудов, о том, как велик дом для одного человека, – и лишь об этом, только об этом твердили и плакали, и жаловались их шепотки, их препинающиеся вздохи, словно кто-то набирал полную грудь воздуха, чтобы выдохнуть вместе с пылью и горечью гнили и перстью мелкого куриного пера, но ему не доставало сил побороть беззвучное рыдание, и тогда открывались, как пропасти, внезапные обрывы плачей, и подолгу зачинались тщетные попытки начать жалобу сначала, с нового места, столь же безнадежно траченного молью и временем, как и прежде. Все громче, все зазывнее. Провалы, паузы, длинноты, прихотливые отступления, сбои, повторы и витиеватость восточных любовных даров. Постепенно речь звучала все настойчивее, все громче и требовательней, и, когда из стен начинали выходить призраки тех, кто при жизни душил преступную страсть, когда сумерки начинали *выть*, я, натываясь на углы, оскользаясь на плетеных дорожках, бежал прочь из проклятого места, прочь к родным, к бабушке и отцу, к солнцу, – домой.

А еще подальше стояли дома Жуков, Фишеров, Агеевых, Донских, а что было за ними, того я не ведал. Я доходил до черты оседлости нашего рода и возвращался домой.

Да, дом был огромен. Мне, до пяти лет жившему в жаркой и тесной, как воспоминание о постыдном, коммуналке, а после – в двухкомнатной хрущевке трамвайного типа, он казался просто восточным дворцом. Без возраста, как и положено таинственному артефакту, единожды сложенный из кирпича и выбеленный снаружи, никогда он более не знал ни обновления, ни мела. Крыша его, несшая на себе бремя лет, осела и прогнулась в середине, как седло, а зной и ночная влага, кропотливо, миллиметр за миллиметром, выписывали на его стенах свою собственную печальную повесть, разрывая вязью хрупкую известковую оболочку, отдирая целыми пластами неудавшееся и принимаясь за желтовато-серый палимпсест. Монотонно, невнятно, почти неслышно говорили письма о том, что все в мире меняется,

тратится, исчезает и даже то, что было мертвым изначально, постепенно становится еще мертвее. Душное нутро чердака и периметр карниза были густо увешаны осиными гнездами. Грязно-серыми, в цвет прошедших лет, – дед их периодически сбивал струей воды из шланга, и мы потом разбирали для своих игр эти хрупкие чешуйки. Фундамент дома бесконечно крошился, как неправильная дробь, ежедневно осыпаясь мелкой горячей галькой: неисчислимым и неиссякаемым остатком после запятой, поставленной временем и отделившей свое от целого. Ставней, по южной традиции, дом не имел, и позлащенные тайны внутренних покоев по вечерам берегли лишь буйно разросшиеся терновник и виноград. Их лозы и плети, отбившиеся от слишком близко поставленных к стенам шпалер, самонадеянно лезли вверх, но бессильно падали и снова, опираясь о стены, прядали, как безумные, опираясь друг на друга и друг друга топча, ломались в окна, бесстыдно засматривая в чужую жизнь, заслоня собой все и не позволяя изнутри комнат разглядеть, что происходило вовне. Лишь изредка, когда гремел гром, резная завеса разрывалась порывами ветра надвое, и в просвете мелькало низкое свинцовое небо. Тогда во всем доме торопливо гасили свет, по комнатам разносилось шепотом тревожное «гроза, гроза», выключался телевизор, бабушка крестилась, а мне мерещилось что-то непомерное, рогатое и жуткое. Мы, все трое забирались на диван – поближе к бабушке, и ждали, когда, наконец, гроыхнет самый громкий гром, когда под восторженный троекратный вопль хряснут, остановившись в метре от испуганных лиц, кинутые наотмашь о стекло огромные капли, и витым бичом собьют осевшую на окнах пыль. И поминали цыган; и стекла в оконных рамах, как зубы в бескровных старческих деснах, шатались; и цедились на подоконник увертливые струйки.

Во время грозы дом гудел и завывал, как пузатая морская раковина, больно прижатая к уху, – я ложился прямо на пол и, повернув голову набок, слушал, как, изменяясь до неузнаваемости, взлетают под самый потолок голоса, как стучат где-то в самой переносице босые пятки Наташки и Юрчика, касаясь крашенных досок, и ликуя хохочет дед: «Что, испугались, поросята шелудивые?!» Было слышно, как большие и твердые яблоки, сбиваемые ветром, падали *там*. Гулко и звонко – на жестяную крышу сарая, глухо – на толевый скат свинарника, хрустко – на гравий дорожек. Поодиночке и россыпью. Переходя из комнаты в комнату, эти звуки можно было слышать то отчетливее, то глуше. В средостении дома они терялись, поглощаемые многолетней застойной тишиной. Мне не сразу пришло в голову сосчитать количество комнат, но когда я сосчитал их впервые, то оказалось по числу лет моих – семь.

В обеденные часы, когда бабушка дремала в своей келье где-то на самой периферии, а дед был на работе, я бродил в мерклом лабиринте коридоров, переходов, комнат, осторожно ступая ногами с катышками пыли между пальцев по крашеным доскам, плетеным дорожкам, истертым коврам. Огромные залы, большие комнаты и маленькие каморки, переходящие одна в другую, одна в другую, одна в другую... соединяющиеся несколькими переходами, оканчивающиеся тупиками, скрытые за занавесками или таящиеся за навечно закрытыми внутренними дверями... Чтобы попасть в них, нужно было выйти на улицу и зайти с тыла, но делать этого не позволялось никому. И ключи от замков тех были потеряны навсегда.

«+7 999.....»

Кот, я думаю послы училища я приеду в Москву и мы будем жить вместе.»

Утроба дома была забита вещами. Варварски, непроходимо, словно добычей. Вещами, назначение которых мне было хорошо знакомо, и такими, о роли которых в жизни людей я мог только догадываться; новыми и не очень; старинными, старыми, либо вовсе не имеющими возраста; но даже то новое, что случайно заносило сюда течением жизни, стремительно перенимало черты своего окружения, утрачивало память, обретало забвение, становясь в один ряд с безликими и идущими в вечность. Растрескавшиеся шкафы, облитые шеллаком диваны с вспученными зелеными и синими животами и комоды цвета охры, английского красного, сепии; продавленные стулья, чьи тонкие ножки отливали басмой, и шаткие скрипучие столы масти «коричневый ван-дик»; трюмо, высокие, как алтари, и даже купола абажуров, – все было покрыто жирными липкими пятнами варенья, пролитых супов, сока и свечного стеарина, и осевшая на них пыль шершавилась отвратными струпами. За захватанными стеклами сервантов грудились в беспорядке безделушки, посуда, потускневшая мелочь, сломанные очки; ерошились пожелтевшие счета и квитанции, а днища ящиков секретера были выстланы доглевающими, остро пахнущими газетами, и бодря скороговорка мельком выхваченного на них текста звучала, как глумливый смешок в церковном причете. На неподъемной ламповой «Радуге», с годами показывающей мир все более пастельно, лоснился серебристый численник: химерическое изобретение поры совнархозов и укрупнений, напоминающее о быстротечности века сего беспечным и забывчивым. Если повернуть его вокруг своей горизонтальной оси, в квадратное окошко, откуда-то из хромированных недр, сверху, с сухим щелчком выпадал

прямоугольник цвета слоновой кости, с цифрами. Число и день. Ррраз, щелк – и сутки прошли. Канули. Внизу колесико: покрутишь – выползает название месяца. Точная настройка. Для особенно счастливых. И каждый вечер мы яростно, с криками и драками, боролись за право начать новый день. И новый день начинался в девять часов вечера дня предыдущего, потому что потом нас по одному уводили мыться в ванную. Сначала мальчики, по старшинству, потом – Наташа. В «бане» – хотя никакая она не была баня, а просто огромная ванная комната размером с хрущевскую «однушку», с монументальным «титаном» в дальнем углу, подножием, утопающим в дровах и в тазаках с углем, – было сыро и гулко, в углах жили нестрашные паучки, и мне, и Юрчику позволялось мыться самостоятельно. Наташу же всегда мыли или бабушка, или тетя Галя, – у нее были, видите ли, «волосы». После бани, в ожидании позднего ужина мы смотрели новости и строили планы на завтра, читали, ходили на двор собирать паданцы, когда же мыться уводили сестру, во двор выходить не позволялось никому, ибо путь туда шел мимо больших беззащитных окон ванной комнаты, и ненароком можно было увидеть то, что нам было видеть «еще рано», что могло смутить наши умы и привести в смятение души. Но умы наши уже смущались и души волновались, вопреки радению старших. И дважды мы укрывались под скатертью, свисающей со стола, в дальней комнате, и в полумраке, пахнущем лавровым листом и солоноватым потом, я подносил свой огонек на восковом стебельке поближе к смуглому гладкому животу Наташи, стремясь разглядеть внизу его узкую щель, в которую нежная кожа сворачивалась, устремлялась, втягивалась, словно в скрытую где-то там, в глубине, воронку. И она смотрела внимательно, не решаясь коснуться горячего рукой.

Одно или два лета в детстве я гостил у бабки один: Наташиных родителей не отпускали дела, Юрчик же, живший с матерью, в этом же доме... слабый, плаксивый мальчик, с оспинкой в уголке левого глаза, от чего выражение его лица казалось вечно обиженным, укоряющим... он был мне неинтересен. Мало читал, много играл, но игры были все тихие, спокойные: машинки, вонючий пластилин, от жары расплзающийся под пальцами, как творог, лото, альчики. Он был безнадежно, непоправимо скучен, даром, что я настойчиво пытался разнообразить его жизнь обучением матершинным словам и началам занимательной анатомии. Науку он старательно усваивал, но не давал взамен ничего. Ей-богу, – клапан в какой-то потусторонний мир. С садистским спокойствием и педантичностью он резал собранные в огороде тугие помидоры на четыре части, солил, выстраивая в ряд по десять-пятнадцать штук и методично поедая их. Аккуратно,

не торопясь, ни единой эмоции не отображая на лице, тогда как мы, набрасываясь на свою добычу, пожирали ее, не тратя времени даже на то, чтобы потянуться к солонке. Потом, осоловевшие, отрывая, смотрели, как молча и неспешно он довершает начатое одновременно с нами. Юрчик любил «кино про войну». Еще ласковый и хитрый Юрчик словно таил обиду на весь мир и стремился оставить его, в наказание, одного. Без себя. Просто уйти, тихо и незаметно, наказав своим отсутствием. С возрастом это удалось ему почти в совершенстве: он бросил свою разудалую мать, родственников и с женой – соблазненной им семнадцатилетней девочкой – уехал в Тулу, где зажил починкой автомобилей. Скрытно, буднично и если бы не сверхъестественные, нечеловеческие способы распространения слухов между родственниками, то даже об этом я бы никогда не узнал.

«+7 999.....»

Ко мне дядя Саша приходил, пагаварить нада была.»

«+7 888.....»

Четыре часа разговаривали?»

«+7 999.....»

Да.»

Однажды во сне ангел коснется моего сердца, чтобы забыл я эту жизнь, – как касается он губ младенцев, чтобы забыли они, рождаясь, жизнь прежнюю. Но я уже не боюсь этого, мне только жаль, что некоторых вещей, которые произойдут позднее, я не увижу. И еще мне интересно: куда денется тот чудесный мир, который столько лет создавался во мне? Наверное, исчезнет... По крайней мере, с лица земли. «Наверное», – говорю я потому, что мне трудно представить, как исчезнет без следа тот нежно-розовый цвет утренних снежных вершин, что я ношу в себе вот уже сорок лет, – с тех пор, как впервые увидел его. Что станет с тем душным воздухом амбара, в котором золотом вспыхивали на солнце пылинки, где почему-то в двух огромных сундуках дед хранил зерно и мы, сидя на сундуках верхом, – Оксана боялась мышей, – говорили о том, кто кем хочет стать, когда вырастет, куда уйдем мы... Зараженный материализмом, я понимаю, что, согласно третьему закону термодинамики, никакой вид энергии не исчезает бесследно, лишь переходя из одного вида в другой. Через восемь миллиардов лет исчезнет наша Земля и погаснет Солнце... Но ведь бессмертие – это еще не все. И если та субстанция, что, предположим, называется «душой», перейдет потом в некий новый вид энергии и сольется – согласно утверждениям новых алхимиков – в единый океан любви и молчания, то что мне в том, если я утрачу

свою индивидуальность, если мой голос уже никто не услышит, как не слышим мы голосов новобранцев, сливающихся в новые, чуждые привычной жизни массы? *Кем я хочу стать?* Или возьмется душа ангелами, как добыча, а семя, истекающее паче крови, – терпкое вино в аламбиках и малькитарах... И не страшно вверять.

Я смотрел на пыль, кружащуюся в луче солнца, и думал о том, что я, вообще-то, совсем не хочу расти и кем-то становиться. Я доволен тем, что есть, я счастлив и не хочу покидать ни бабушкиного дома, ни сада. И пускай Наташа с Юрчиком все чаще предпочитают играть вдвоем, не принимая меня к себе, – я хочу качаться на самодельных качелях, вскидывая ноги в небо, и строить планы по исследованию чердака, когда дед, как всегда пьяный, спит в сарае; я хочу наконец-то доехать на велосипеде аж до Белинского и, вообще, добраться до самых снеговых вершин, купить такой же «Вартбург», какой у Юрчика в коробке, поймать настоящего рака и снова посмотреть «Кортик» и «Бронзовую птицу». Что я хочу всегда возвращаться сюда, – потому что мне ненавистен этот Кабырдак, его тоска и подсолнухи, и даже само название его, похожее на отрывку, над которым смеется всякий, слышащий его.

А еще, конечно же, я хотел быть умным и веселым, как отец. Обаятельным ловчилой, ловким пройдохой, как тот самый Жиль Блас, или капитан Блад, книги про которых я недавно нашел в одном из шкафов и утрамбовал в себя – по два вечера на каждую, и которые, как пообещал отец, мы заберем с собою домой. Мне до ужаса хотелось, чтобы у меня был такой же негромкий хрипловатый голос, как у отца, и чтобы я тоже умел так смешно и интересно рассказывать какие-нибудь истории, которых он знает огромное множество. Печальные, веселые, поучительные, простые и иногда столь удивительные, что они казались мне, с одной стороны, *полуправдой*, а с другой – чудом. Незримым, но непременно где-то существующим, как город Ниса, в котором он однажды побывал, привезя оттуда облезленную на весь свет мою мать и старинную монету, впоследствии исчезнувшую, канувшую в небытие так надежно, что я даже не запомнил ни вида ее, ни веса и запаха, а только удержал в голове, что она когда-то у нас *была*. Побыла и исчезла, словно вернулась в свое заочное существование в мертвом городе, замыкая эволюцию чуда: от небытия к несуществованию.

Рассказы отца были короткие, как анекдот, и длинные, как счастливая любовь, но время сделало так, что понятие продолжительности перестало к ним относиться, и теперь любая из его историй – стоит только ее вспомнить – вспыхивает в памяти, как пылинка, попавшая

в луч света. Мне кажется, что я уже давно, рассказывая *свои* истории, говорю голосом отца. Я не крал его голос, он сам отдал мне его.

Пожалуй, наряду с жизнью, – это лучшее, что он смог мне дать.

Отец до сих пор жив – за что я искренно благодарен Богу, – и я часто думаю о нем, когда вспоминаю о себе, когда ловлю себя на том, что *я живу*. И иногда мне даже удается разгадать истинные причины своих поступков и чувств, если я достаточно прилежно, не отрывая пальцев, провожу по тем бороздкам своей ворочающейся души, которые год за годом нарезал на ней его голос. Мне очень жаль, что я не знаю тех людей, кроме бабушки, чьи голоса живут в душе отца. Однажды закончится его завод, и я знаю, что буду в тот день плакать. Так, как тогда, очень давно. А пока мне периодически звонит мать и жалуется, что отец становится совсем неуправляем, что он плевать хотел на ее медицинские советы, а у него давление, спина, катаракта. А еще, кажется, он снова начал попивать в этом своем чертовом гараже со своими дружками, которые наливают ему за компанию, за хорошие байки, то есть почти даром, если считать даром такую жизнь. И я обещаю ей повлиять, позвонить, убедить, настоять...

«Хорошо, мам!» – бодро кричу я ей по телефону из Дархана, из Парижа, из Фуджейры, Праги, Каира. И думаю о том, что я все-таки стал что-то значить для нее, что я смог доказать свое право на существование, победил, но мне не становится от этого ни радостно, ни легко. Потому что я понимаю, что человек, добившийся победы, отрезает себе последние пути к любви. И мне уже никогда не пройти их вспять. Что все осталось при мне, а я – при своих. В конце концов, это я и полюбил. Снеговые вершины, прохлада осени, красные блики на черной воде, вспышки пыли в солнечном луче, садящийся, потрескивающий, как церковная свеча в полумраке, родной голос. И вот этого мне и будет жаль, если оно исчезнет бесследно. На что уповать мне, на Бога? На закон сохранения энергии? Может быть, это одно и то же...

Ведь, в конце-то концов, если моя память до сих пор воспроизводит ту атмосферу, значит что-то воздействует на нее снова и снова, – то самое, что впервые уколело меня тогда, когда я на рассвете прислушивался к яростному шепоту за прикрытыми створками зеленых дверей: бабушка яростно ругала обоих своих сыновей, только что вернувшихся домой, – и я запомнил это, как сложное чувство ликования и счастливого облегчения, *избавления* от страха непоправимой потери, охватившего меня поздно вечером, когда они после ужина ушли, а меня положили спать с Наташей, и я всю ночь отодвигался от ее отвратительных горячих ног, тяжелых рук, влажной маечки, от ее дыхания. И до сих пор где-то рядом острие охвативше-

го меня крошечного, оглушающего ужаса, оттенки которого я научился чувствовать тонким своим животом в совершенстве за последующие десять лет, совершенствуя молитву Ему о том, чтобы с отцом ничего не случилось, нанизывая на страх просьбы и обещания, как двухцветный стеклярус; останавливаясь каждое утро и продолжая каждый вечер растить заклинание, пока оно не стало таким длинным, что начинать мне приходилось почти сразу после обеда, а заканчивал я только уже за полночь, теряя слова в бездонной тьме; я творил молитву до тех пор, пока не оставил свой дом вовсе и не отпустил любовь к отцу, – а она все-таки есть, я надеюсь, – как неверного мужчину, или как птицу.

Ведь если мы можем простить любого человека – пускай не сразу, пускай иногда принимая это за измену себе, значит, есть в каждом из нас та часть, что равна части другого, и все они равны человеческой части винотворца из Каны, и тем делают нас не одинаково скучными, но – одинаково ценными для Него со всем тем, что в нас зреет на протяжении жизни и что заставляет ангелов веселиться и петь, когда к ним поднимаются наши души.

Хотя мне жаль, что я не могу отдать своему сыну все целиком...

«+7 999.....»

*Завила почту для тебя кот. Большие веть ни с кем не абцаюсь.
Вот зайди праверь.»*

«+7 888.....»

Я верю тебе. Заходить не буду.»

«+7 999... ..»

Нет праверь. Если любиш то праверь.»

Но ту интонацию голоса – монотонного, поднимающегося, не сбиваясь, все выше и выше – туда, где холод и одиночество, а иногда словно осекающегося, замирающего на мгновение и снова продолжающего свой путь в королевстве, куда на зиму улетают ласточки, где живут одиннадцать братьев и единственная сестра их, Элиза, – первая, кого я полюбил в своей жизни и знал, что полюбил, – я похороню в себе. Я уже похоронил его голос – простил и отпустил на все четыре стороны, и однажды – совсем скоро! – я возьму в руки эту книгу и перечитаю эту историю уже своим голосом, снова, для него и для себя, – так, словно никогда еще не слышал ни о ней, ни о той, к кому всю жизнь испытывал жгучую жалость, – ведь ей давала жизнь тоже *она!* Моя мать.

Как долго, как невозможно долго, даже когда все уже кончилось хорошо и последняя рубашка пошла в ход, любовь и жалость были

для меня почти одно... Как странно, что для меня оказались связаны понятия «любовь» и «мать». Хотя и не напрямую.

«Я прижимался к ней, вдыхая кислотоватую сырость...»

Сколько раз я подходил к ней, пытаюсь заговорить; встречал, надеясь снискать внимание; даже иногда, словно невзначай, касался ее руки, приближаясь... Все надеялся, что когда-нибудь – а быть может, вот сейчас! – я сяду напротив нее и смогу, наконец, объяснить, что я тоже человек, что у меня есть – правда есть! – свои желания, надежды, мечты. Что меня тоже нужно любить. Что у меня есть достоинство, которое не нужно унижать. Я думал, что все можно *объяснить*, нужно лишь найти правильные слова и, может быть, даже нужную интонацию, такую, как у отца, нужно лишь *сказать* ей об этом, вот взять за руку, посадить перед собой – и *сказать*. И она, наконец-то, все поймет и не будет больше меня ненавидеть. В этом меня убеждали и поддерживали все: и Карамзин, и Диккенс, и Вальтер Скотт... И я долго-долго сочинял свое *обращение*, месяцами удерживая партитуру выступления в голове, а когда никого не было дома, даже согласуя мимику со смыслом перед зеркалом, но... Мать не видела ничего, она смотрела сквозь меня. Впрочем, иногда она все же смотрела и на меня. Смотрела... с каким-то отстраненным любопытством: дескать, ну что этому существу нужно? Что оно будет сейчас делать? Чего от него ждать?

Кажется, больше всего она хотела, чтобы я не мешал ей. Мать очень не любила незапланированных вещей.

Когда же она увидела меня впервые? Думаю, что когда мне уже было лет тридцать. Да, примерно так. Той самой весной, когда я развелся после десяти лет неуклюжей семейной жизни и сказал об этом родителям. Похоже, «маман» – как называл ее тогда отец – это заценила. Еще бы – сама она всегда только желала того же, но сделать не могла: моя шелкопрядающая бабка – ее мать – настойчиво и плаксиво убеждала не делать этого, ссылаясь на собственный пример. Я узнал об этом случайно, однажды прочитав оставленное на тумбочке письмо, и надолго увяз в тех словах...

Впрочем, тогда мне было уже глубоко плевать на ее признание. После того, как лихорадочное строительство мира в первые двенадцать лет моей жизни внезапно сменилось сонной апатией, упавшей мне на голову, как летний зной, под которым, корчась, быстро умерло все прежде посеянное. А затем, после окончания школы, в моей голове вдруг однажды заговорило радио, и я услышал музыку необычайной красоты, – такую, которой я мог управлять сам, как полетом

воздушного змея. И с тех пор, надо сказать, я сильно изменился. Я понял, что жизнь – это набор условностей, и моя жизнь – такой же набор декораций, в которых мы блуждаем по воле обстоятельств, как и у всех в этом мире. И ничто от меня не зависит – я игрушка в чьих-то руках. Если что-то происходит, значит так кому-то нужно, и глупо сетовать на то, что иногда происходит совсем не то, что хотелось бы. Все, что остается, – это пытаться плыть по течению так, чтобы тебя не шваркнуло о берег. И все эмоции – радость, страх, надежда, уныние – по сути, одно: возмущения души, лишь с разным знаком. Имея желание и сноровку, можно очиститься от этих лишних подробностей, от этих знаков, и тогда, свободный, ты будешь лишь бесстрастно наблюдать, как рождаются и гаснут всплески сияющей энергии. Тогда-то я *понял* любимую поговорку отца: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Понял я и его фатализм, ведь это оно и есть: невозмутимое следование открывшимся путем. Единственный раз, когда я после этого открытия подумал о реакции своих родителей с волнением, это когда моя дражайшая сестрица пригрозила, что если узнает, что мы с племянницей снова вместе, то расскажет всем нашим. Хотя и тогда я испугался не за себя, а за отца: мне стало жаль его, его последнего покоя, и той картины благостного мира, что, как папиросная бумага, стала настолько прозрачной, что через нее понемногу уже начал проникать нездешний свет.

Я, кстати, потом долго думал об этом. Вообще, обо всей этой истории, что приключилась со мной, и о совпадениях, что играли в ней какую-то необходимую, а значит совершенно не случайную роль. Со своей первой женой я развелся первого апреля. (Помню, ерничал еще тогда: «Моя лучшая шутка!») Ею, как выяснилось, была внучка того самого хулигана, которого завалил мой пылкий дед из именного оружия во Фрунзенском парке. Об этом мы с ней узнали случайно на каком-то семейном сборище, уже почти перед самым разводом. Именно благодаря мне она оказалась – в широком смысле – в доме убийцы своего деда. В том самом, в котором единственное наше окно было распахнуто в сад. Такой же, в котором я когда-то осознал себя как сущее.

II. ДИПСАЛМА

Родились мы с нею день в день и год в год. А жалить и мучить друг друга дано нам было ровно десять лет в браке, не оживленном ни каплей любви, но прочном, как печать. Едва увидев ее, приехавшую учиться в наш город из Казахстана, я сказал своим друзьям, свидетелям нашего знакомства, что женюсь на ней. И женился. И если

они подумали тогда, что я – хозяин своего слова, а я, вращаясь в дурмане, вообще ничего не подумал, но через неделю сделал ей предложение и получил согласие, которым обычно бывают довольны лишь цыганки, то потом-то я уж понял, кто тут был истинным *хозяином*.

А через десять лет своей второй семейной жизни, которую я уже сам чуть не убил той смертью, что называют «смерть за смерть», тоже первого апреля, королевой шутки стала моя сестра Татьяна, допрежь давшая нам с племянницей приют и индульгенцию на недельную любовь в своем доме. Всем нам, вечеровавшим в тот день за круглым кухонным столом, она вдруг сообщила, что пригласила на вечер и моего отца, и ее. Даже Дана, которую, вообще-то, звать Дианой, поверила и недоуменно уставилась на мать. А племянница подпрыгнула на месте и, кажется, захотела сей же час рассеяться в воздухе. Я же пожал плечами и, признаюсь, вымученно, ибо не знал, зачем это, – улыбнулся, но искренне сказал: «Ну что ж, прекрасно. Вот и познакомятся. Надо же когда-то начинать». И мне стало пронзительно жаль отца. Всю жизнь он бежал от несчастий, боролся с ними, а когда ни бежать, ни бороться было нельзя, – терпел их. С юмором осужденного, он все повторял эту свою шутку: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Ах, зачем он кликал фатум...

Но несчастья – несчастьям рознь, и если с мистической стороной судьбы есть у меня возможность договориться, признав ее невидимую силу, то было ведь еще и другое несчастье, не менее удивительное, но рукотворное, – то, которое он создал для себя сам и потому победить не мог. Я говорю о своей матери. И длилось это несчастье всю жизнь. Воистину, судьба не бывает столько упорной в своей нелюбви к человеку, как человек сам к себе. Долгое время меня поражала та необъяснимая, просто иррациональная ненависть, которую мать питала к отцу. К человеку, который дал ей, в общем-то, все: новую жизнь – забрав из деревни от лихо пившего отца и, по случаю ежедневного праздника, смертным боем бывшего и державшего в хлеву домочадцев; новый дом, на который он заработал своим беспробудным трудом на заводе; новые вещи, новых друзей и новые интересы. Впрочем, оставшиеся невостребованными. Я до сих пор слышу ее злобное шипение: «Ссссын миниссестра...», – в ответ на просьбу переменить рубашку или подать вилку. И вижу ее багровеющее сморщенное личико. Я слышал это почти половину жизни, и обида за отца, и гнев, и необъяснимость судьбы и тайны, с нею связанной, лишали меня веса и отрывали от земли, как чужое имя лишает человека его отражения в зеркале; и я держался двумя руками за стол, гоня во рту вместо слюны уксус.

Отец же терпеливо улыбался.

Выросший с отчимом, он, по мере сил, старался сделать так, чтобы я был счастлив даже тогда, когда я вырос и мое счастье могло зависеть уже только от меня самого; он жил так, словно счастье сына – это одежда, за которой нужно следить, чтобы она не износилась и всегда была ему впору.

«+7 999.....»

У меня никакo кроме тебя нет. Я хачу наскаррей к тебе.»

Мать же покупала мне повседневные тряпки или модную одежду, не задумываясь, нужно ли мне это; отправляла на все лето в деревню, не спрашивая, каково мне там, и покупала билеты на какие-то представления в ТЮЗ, даже не интересуясь после: что там было? А однажды – до моих одиннадцати оставалось три месяца – на пустынной улице, ведшей от рощи к дому, у стены которого мы с друзьями играли в «кашевары», я, случайно обернувшись, увидел в желтеющей перспективе ее и ее спину, скособочившуюся влево от огромной коробки в правой руке. Она купила аквариум. Для того, чтобы я, злостно избегающий людей, учился искусству общения на братьях наших меньших. Так сказать, «начинал с малого». И вот, на трехногой подставке, словно магический хрустальный шар, утвердилась на моем столе стеклянная круглая банка для рыб, купленных вскорости (меченосцы, гуппи, неонки, скалярии, барбусы), коих я много лет потом должен был ублажать ежедневно кормами (мерзкие розовые рогатые черви из морозилки и сухой золотистый прах, пахнущий, как простыня, напитанная поллюциями) и менять им воду еженедельно, – и стояла незыблемо, пока однажды, уже перед самым призывом, среди ночи, вдруг с оглужительным звоном не исторгла из своего бока абсолютно круглый, размером с суповую тарелку, кусок прозрачной позеленевшей плоти, с горстью песка и прыгающими в разлившейся воде мелкими немymi, издохшими в руках не сразу проснувшихся брата и родителей. Я же, подскочивший резво, не предпринял ничего: сидел на диване и смотрел на свои ноги, на эту водную феерию, гадая, достанет ли вода до пальцев, или нет.

Нет, не достала.

И до души ее не достучался. Никогда.

Спустя три десятка лет, уже сам имеющий семью и детей, я понял, что странствия мои в поисках души ее были напрасными. Сейчас, видясь с нею один-два раза в год, я понимаю, что ее вполне устраивает плавное скольжение по поверхности обыденных дел, и

глубины эти дела не имут: деньги, вещи, простые действия. И вопросы ее пусты, и глаза.

– Дать пять тысяч? – Без проблем. – Пятьдесят? – Да пожалуйста. – Взять это или то? – Да забирай хоть все.

И только время течет, и она стареет, и только тщета струится в чайных глазах ее, да с годами множится в зрачках рой чаинок, словно это птицы в осеннем небе: все больше их, становящихся на крыло.

Она выплатила этой жизни ясак суетным трудом своим и отдалась от нее вовсе, не дав никому – ни мужу, ни детям – ни единой искры бескорыстного тепла. Словно, став женой, подобрала паронимическую рифму к смыслу своей жизни, да рифма оказалась фальшивой, и она это почувствовала. Невысокая, худенькая, болезненно-самолюбивая. Детские стихи про жука ей удавались лучше... Только еж да собака ненадолго внесли в мой детский мир живую радость, но ежа зарезал пьяный отец в воскресном лесу, а щенка, повзрослевшего и за то сосланного в Кабырдак, по оплошности насмерть придавил стогом сена дед.

И еще однажды летом через раскрытое окно в зале к нам залетела черная птица и сразу забилась под диван. И сидела там, пока я, переполошенный, носился по дому, прикидывая, чем бы ее оттуда достать. Не найдя ничего, я сунулся под диван по грудь и схватил ее голыми руками. Она позволила себя вытащить, и я помню удивительную тяжесть ее тела и пульсирующее тепло в руке. «Словно сердце», – подумал я тогда.

Еще я помню, что на том заднем дворе, куда волокушей затащили стог, была большая, мне почти до колена, глыба темно-серой каменной соли, и теленок с коровой лизали ее. Соль пахла живой плотью приглушенно и как-то прерывисто, и нужно было сосредоточиться, чтобы уловить ее запах. Гораздо сильнее пахла грязь под ногами: терпкая смесь навоза и соломы, сверху кропимая кислым дымом: в бане вечно топилась печь.

«+7 888.....»

А тебе нравятся картины Саврасова?»

«+7 999.....»

Саратова? Да, красивые.»

Дом ее родителей стоял на самом краю деревни, и по вечерам, когда солнце цеплялось за рогатки телеграфных столбов и оттого долго не могло уйти за край земли, я выходил в галошах на босу ногу на задний двор и подолгу стоял там, слушая и смотря, чувствуя, как

от земли поднимается холод и забирается под футболку и в штанины. Понимая, что я здесь потому, что надоел матери, и она от меня хотя бы на время, но избавилась.

Удобнее всего было подойти к самой горюдьбе и опереться на нее руками, вынув одну ногу из тепла и ступив ею на березовую жердь. От этого соприкосновения кожа на подошве и пальцах становилась шершавой, как сама береста, и потом, уже лежа в постели, двигая ногой, можно было почувствовать, как цепляется и льнет к ней ситцевая простыня.

Женщина, не позволявшая обнять себя, моя мать была зачата офицером артиллерии, никогда не снимавшим сапог, и родилась под знаком Рыб в Ашхабаде у худой терпеливой женщины, скоро евшей и быстро работавшей. Настолько скоро, что когда другие только разламывали хлеб, она уже вставала из-за стола; настолько быстро, что расшивала скатерть цветами (поскольку была вышивальщицей) прежде, чем новоселы покупали стол. Имен у них не было, не было и лиц: только глаза. У деда – цвета пустого, как неродившееся небо, у бабки – зеленые (после ее смерти этот цвет унаследовал я, а до того глаза мои были прозрачны), берегущие тревогу как единственный полученный от жизни дар. Дар этот, вместе с цветом, я принял от покойной тоже: постепенно и незаметно, будто спился.

О судьбе этой семьи, о странствиях ее по стране, мне не известно почти ничего. Знаю лишь, что дед вышел в отставку в звании майора, и осели они, как южная пыль, близ дороги, соединяющей русскую деревню Солдатка с татарской деревней Кабырдак, почти на самом выгоне, там, где табуны черноглазых лошадей пасутся сами, а окаменевшая грязь веками хранит полумесяцы их копыт, как тавро.

После двенадцати лет я проводил там все летние дни оставшегося детства и ненавидел эту деревню так же истово, как и свою мать.

И вот теперь она устала ругаться, злость выкипела, и на дне ее жизни осталась только сухая слезная соль. Мой брат женился и зажил сам, квартира стала принадлежать родителям безраздельно, и они, наконец, окончательно разбрелись по углам, войдя каждый в свое одиночество, которое начали репетировать по ночам уже давным-давно, лет сорок назад. Таким образом, к старости они стали жить если не в согласии, то хотя бы в покое.

Я прекрасно помню эти шумные репетиции, от которых просыпался в два, в три часа ночи и лежал, покрываясь холодным потом, пустой внутри, как моя любимая кукла Катя, ожидая, что сейчас меня поднимут и призовут *судить*: кого я больше люблю? И идти к тому, чтобы остаться с тем навсегда. И навсегда потерять другого. Без отца

я не мог помыслить своей жизни, а внимание матери безуспешно пытался снискать. Я так никого никогда и не выбрал. Я начинал плакать, и дело кончалось тем, что мать, вырвав из постели свою подушку, убежала спать ко мне в зал. Поскольку гнев не терпит промедления, она ложилась на диван прямо так, не разбирая его. «Валетом». Мне было страшно ее порывистых движений и радостно, что *она выбрала меня*. Когда ослепительно щелкал выключатель, и все падало во тьму, я долго не мог уснуть, чувствуя, как мое сердце колотится где-то аж в голове. От волнения и гнетущего чувства некой страшной тайны, вершащейся рядом. От страха. От жалости к себе. От возбуждения.

Я лежал, водя пальцем по невидимому узору диванной обивки, размышляя о том, когда же все это кончится, о том, как хорошо бы было, если бы родители жили мирно, – у меня был пример моего друга: *они даже ходили вместе в кино!* – и о том, думает ли сейчас моя мать обо мне, лежащем у нее в ногах. Потом я уставал лежать на правом боку и осторожно переворачивался на левый, и снова размышлял, повторяя, проговаривая в сотый раз свои собственные мысли, поправляя их так, чтобы они казались четче, различая во тьме, становившейся уже пепельной, силуэты ее щиколоток, ступней, вдыхая их чуть кисловатый, пряный запах. Радуюсь тому, что я наконец-то обладаю ею, и охраняю, как верный рыцарь.

Тайнопись.

Искусству тайнописи меня научил мой отец, когда в очередной раз принялся вылепливать из слов то, что хранилось в его сердце. В этот раз он нырнул так глубоко, что добрался до лета одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года – года, когда узнал из книг об удивительном свойстве лукового сока. И проглаживая в этот же вечер горячим утюгом тетрадный листок, отсвечивающий перламутровой нерезберихой, я смотрел, как возникает под его подошвой горячая вязь цвета охры, и обгоняя чудо, дополнял по памяти то, что еще не проявилось. Как странно было это видеть: появление уже существующих, но не видимых еще слов. И вот, прочитанный, листок остывал на столе.

А потом пришла с работы мать и как всегда устроила тарарам, почитая его за воспитательный процесс. Еще бы: на полу валялись коричневые чешуйки шелухи, луковый жмых смердел на всю кухню, накрытый в ведре куском марли, отхваченным кое-как ножницами от большого полотна, купленного для глажки брюк и юбок; уроки сделаны не были, а на обеденном столе пощелкивал перегоревший и уже остывающий утюг. Но криков ее я привычно не слышал, соображая,

как бы применить свое новое открытие и, переживая вновь это явление, словно назревающее, словно проступающее из небытия, написанное – ну как будто бы – неизвестно кем, как будто бы есть кто-то невидимый, кто пишет послания только для меня... Словно стали наконец-то видимы те слова, которые я слышал в тишине каждой комнаты *того* дома. И этот восторг двойного проявления – сначала в уме, а потом на бумаге – я помню сейчас так же ярко, как тогда.

– А когда ты стал лучше понимать свою «маман», ваши отношения улучшились?

– Станный вопрос... Нет, лучше они не стали. Я оставался для нее все таким же невидимым... К тому же, подрастал мой брат. И чем старше он становился, тем больше он превращался, в ее глазах, в непрозрачную пелену. Он, моя тень, все рос и рос, пока не закрыл меня полностью...

– Ты ревновал?

– Нет, что ты! Только вздохнул с облегчением, – она переключилась на него и оставила, меня, наконец, почти в полном покое. Если бы мой брат был человеком из плоти и крови, то занимал бы гораздо меньше места в пространстве, и тогда, помимо него, мать видела и что-то еще, но он не был им... А потом, когда ему исполнилось тридцать, он внезапно сдулся. Схлопнулся, как газовая туманность, превратился в черную дыру и оставил мать ни с чем. С тех пор он ходит где-то, невидимый, периодически возмущая наш небольшой семейный космос.

– А ты?

– А я... а я, уйдя из того сада, отправился, через Кабырдак, в себя и через двадцать с лишним лет, на максимальном удалении от всего человеческого, встретил Бэтси.

«+7 999.....»

«О ты мне мамин прошлым тычиш! Было и было понял?»

Сегодня – третье августа две тысячи десятого года. Два года назад, почти день в день – первого августа две тысячи восьмого – началась эпоха Полного Солнечного Затмения. Период полураспада, время агонии. Она изменяла мне. Металась. Рвала отношения и просила дать ей еще один шанс. Исчезала и появлялась. Снова и снова. И каждый раз – последний раз. И оба мы понимали: это все. Время упущено. Теперь... Теперь горят торфяники и все в дыму, всюду запах горячей помойки. Багровое солнце, как рдеющий флаг, видится сквозь пелену.

Теперь полно времени, чтобы подумать. Чтобы вспомнить и сопоставить. Но чем больше я думаю, тем меньше понимаю: что это было? Кто она? Она действительно такая непроходимая дура или целеустремленная стерва? С кем она была в доле? С Татьяной? Со своим «любимым красавчиком» (мерзость какая; похоже, все-таки дура), о наличии которого я, как водится, узнал последним и совершенно случайно? Или, с детства малость тронувшись умом, она была просто «божий человек», доля которого – забота ангелов, а дело веков – простить ее, не взявца?.. Много позже, когда я рассказал об этом своему врачу, я услышал от него определение, показавшееся мне забавным: она – дырявая бочка. Как никогда не наполнишь дырявую бочку, так и она никогда не будет сыта любовью. И, услышав это, я рассмеялся. И ветка клена, стучавшаяся о ржавую решетку в раскрытом окне, рассмеялась изумрудно на осеннем солнце. Я вспомнил о Данаидах и расхохотался еще сильнее и громче.

Господи, ведь даже тогда уже, даже тогда!.. Помнишь этот разговор? Ей кто-то позвонил, и она, молча выслушав, ответила:

– Я? Гуляю со своим молодым человеком.

Я спросил ее потом, снисходительно, как первоклассницу, о ее «жутких» тайнах:

– Кто это был?

– Это?.. Это... Миша.

– А кто такой Миша?

– Да знакомый. Мы с ним у подружки познакомились. Так, ничего особенного. Теперь вот названивает...

И выключила телефон. Потом я обратил внимание: она всегда выключала на мобильнике звук. Была все время напряжена и никогда не делала двух вещей, сколько я ни пытался ее увлечь: не строила планов о нашем будущем и не интересовалась моим прошлым. С обсуждением будущего я тогда решил повременить, решив, что если эти планы просто осуществлять, даже по чуть-чуть, то это будет уже хорошо, а что-то грандиозное мы все равно пока сделать не можем, – так что пусть уж текут себе мелкой струйкой небольшие насущные дела. Но попытавшись несколько раз рассказать ей о себе и не заметив с ее стороны ни малейшего интереса, ни малейшего сочувствия, я почувствовал себя как сумасшедший, который на первом же свидании в парке пытается снять с себя штаны.

Я не мог понять ее поступков: писать смс, звонить в три часа ночи, – это что? Это любовь, о которой она постоянно твердила мне, даже не утруждая себя посмотреть, который сейчас час? Или элементарная неспособность разобраться с часовыми поясами? Среди ночи

я просыпался от того, что рядом, на уровне глаз, экран телефона вдруг начинал сиять небесно-голубым светом, и сквозь него слепые глаза ловили проступающие строчки: «Забери меня отсюда, я уже не могу без тебя». И, выхватив стилус, я тыкал, тыкал в буквы, словно давил тараканов, стискивая челюсти и чувствуя, как вздрагивает диафрагма: «Скоро уже. Еще чуть-чуть».

Или это равнодушие, или мелкая бабская месть, или неумение строить отношения? – Когда день, два, три она не выходила на связь и не отвечала мне. Впрочем, начиналось все с часов. Тогда, когда мы считали каждую минуту...

О себе она рассказывала мало. Если время жизни человека уподобить морю, растворившему в себе соль его пота и слез, то островами в нем будут события такие, появление которых предчувствуешь задолго до их свершения и помнишь даже тогда, когда они давно скрылись из виду. О них, конечно, любой путник расскажет в первую очередь, даже когда не стремится произвести впечатление: просто о чем-то отдельном рассказать легче, чем о бесконечной и ровной глади дней, похожих в пути один на другой. Но если понимаешь толк в пространстве и времени, то, в первую очередь, обращаешь внимание именно на эту протяженность, без четких очертаний, без границ. Начинающуюся задолго до слов, где-то сразу за плачем и любящими руками. Потому что это и есть ткань жизни. Ткань, которую потом, начав с подражания, мы творим сами из ускользающих сквозь пальцы мгновений. У кого-то от горизонта до горизонта ткань получается безликой и унылой, украшенной лишь событиями, в свершении которых участие Улисса минимально, у кого-то – играет глубинными красками. Однажды на берегу ее дней, сняв с себя все одежды, я ступил в ее прошлое. И, словно с размаху, уперся в разбухшую осклизлую дверь. «Жалеешь, что тогда все так получилось?» – «Да нет. Ну, было, и было».

Ступил в ее прошлое, как в мутную, затхлую воду.

– Что волнует, что вздымает и опускает грудь, дышащую во сне? Что управляет приливами и отливами ее любви и гнева? Что гонит волны к берегу и прочь от него и посылает ветер то в грудь, то в спину, то окрыляя, то бросая человека на землю, как птицу? Кто, незримый, восходя в зенит и спускаясь к надиру, увлекает ток жизни за собою, как жениха, и отвергает его со смехом? Зажигает с вечера свет и ждет до зари, не отводя сердца от дверей? Молится на Луну и, зная запретное имя, поднимается в воздух и уносится прочь, кто?

– Знать того не дано, спи. Догонят, но не вернут. Не дело живущих светом знать тайные циклы, скрытые движения, незримые при-

тяжения. Сила гравитации поднимает за волосы из постелей живущих по ночам, а Господь – не знает пятниц и суббот. Закрой свои глаза – чувствуешь? Все время кто-то рядом: тень моя, между мною и матерью; он, искусивший и увлекший потом играть в другую комнату, – вот, звенит их смех!.. Кто-то еще? Кто-то еще... Кто управляет приливами и отливами гнева, любви...

Чувствую, как кровь поднимается к голове и затем стекает в икры.

«+7 999.....»

Я на виласипеде каталась. Знакомава встретила, он катался.»

«+7 888.....»

Он катался в два часа ночи?»

«+7 999.....»

Да. А позже ты уже спал.»

Трогательная забота. Как мерзко. Как мерзко спрашивать, как мерзко узнавать!

Первую ночь, когда я понял, что она изменяет мне, я запомнил наизусть, как длинную, отчаянную и прекрасную поэму. Утром, не спавший, обалделый, я чуть свет вышел из дому и пошел. Бесцельно, по дорожкам, в парк. Светало, телефон все так же молчал. По пути мне все попадались битые бутылки, использованные презервативы, сигаретные пачки. Господи, сколько тут этих презервативов! Такое впечатление, что ночью половина города выходит в парк, чтобы совкупиться в ближайших кустах. Задумавшись, я шел все быстрее, разогнялся, и вот – полетел. Я летел, размахивая руками, облетал мусорные кучи, и в голове пульсировала, стучала молотом мысль: «изменила, изменила, изменила!» Я остановился, чтобы перевести дух и утихомирить этот вопль в голове и, в наступившей тишине, вдруг отчетливо и спокойно подумал: «А ведь она действительно этой ночью спала с кем-то...» Холодно, как прозектер, я представил себе ее острые колени, пот, хлопанье. Возня, трусы на полу. Зачем-то в усмешке я скривил губы...

А может быть, нет? Может, правда, как идиотка, визжа от радости, она крутила педали, а потом, пошатываясь, – ноги нараскоряку – пошла спать? И дрыхнет сейчас, и будет дрыхнуть до четырех? Она теперь просыпается поздно... Я помню ее дыхание во сне: смрадное, тяжелое, как у старухи. Как мало мы с ней разговаривали... А о чем? Как мучительно было писать ей поначалу: будто примеряешься загукать с младенцем. Бэτσι, увидев ее фотографию, сказала мне без ревности, без злобы, но с каким-то содрогающимся разочарованием: «Да это же быдло... Обыкновенное быдло». Может, она правда, выросла

там в своем алкосовхозе, ни черта не знает, не ведает, ведет себя, как звезда из «Дома-2» и думает, что истерики и обиды – это и есть она, «любофф». Помнится, даже дорогая моя сестрица Татьяна, глядя на нее, пребывала в перманентном шоке. Вот бы перебороть чужую судьбу, сделать ее человеком, объяснить, научить, втолковать... Расколдовать бы ее, тому, что в душе написано тайным пером, дать разумные знаки, чтобы проявилось это языком человеческим, удивительным и простым.

«+7 999.....»

А на миня в детстве дерево упало. Груша. Чуть ни убила.»

Наконец-то выбравшись погулять, уже совсем-совсем поздно вечером, мы шли по Прибрежке и еще издали услышали, а затем и разглядели в темноте странную пару: отец с сыном лет десяти, разделенные бесконечностью, длиной примерно в двадцать метров. Отец с надрывом кричал ему: «Подойди сюда! Я кому говорю! Почему ты сюда не хочешь подойти?! Почему?!» Мальчик молчал. И отец кричал снова. Безответно, ибо чем можно ответить на крик? Только эхом. Наверное, мальчик был не эхом, а камнем.

Фонари горели редко, и Обь была черна. Она шелестела слева так, словно по земле волокли огромный брезент, и я невольно умолк, прислушиваясь. Возле церковной ограды мы свернули и пошли вдоль. «А вот здесь мы жили», – показала она на длиннющую, безликую девятиэтажку справа. Маленькие плитки, вдавленные в ее бетон, фальшиво блестели в желтых лучах. «У нас была трехкомнатная, и у меня – своя комната!» И в голосе ее гордость была свежа, словно не десять лет назад это пошло прахом, и не прошло вообще. Кажется, тогда я уже не в первый раз подумал, что, в сущности, она – ребенок. Все тот же шестилетний ребенок, которого изнасиловал случайный «друг семьи», пока счастливые родители на кухне пускали пузыри в тазаках с «оливье».

Позже я узнал, что был уже не первый, кому она рассказала об этом «по большому секрету». И когда при случае поинтересовался у Татьяны – знает ли она что-нибудь об этом, та равнодушно ответила: «А, да... Но, правда, так толком и неизвестно, то ли изнасиловал, то ли попытался... Но после этого Люба уже и развелась, и пыталась завязать, а примерно через год они вообще вернулись в Николаевку». Я помолчал, вспоминая, как темно было в моей голове, когда я прочитал *ту* ее эсэмэску. Вообще, меня просто поражала эта ее особенность: молчать, когда мы вместе, а потом телеграфировать короткими откровениями. Мы ведь почти и не разговаривали с ней. Да и о

чем?.. Лишь один раз она изменила своей привычке. В тот раз, который чуть не стал последним. А честно сказать, лучше бы и стал им, но кто же знал, как все повернется и сложится. Уж точно – совершенно не так, как я себе воображал. Тогда я оделся и вышел из своей комнаты совсем рано, когда на улице еще гудела глухая темень, а голова кружилась то ли от полубессонной ночи ожидания, то ли от качающихся на улице фонарей. С улыбкой, презрительной к себе, я торопился на первый автобус, идущий до ВДНХ. Уже завязывая у порога шнурки, я оглянулся и увидел, что племянница тоже встала и сидит за столом, в кухне, молча наблюдая за мной. Мне совсем не хотелось ни говорить с ней, ни даже здороваться. Так что я только поблагодарил Бога за ее молчание и начал перед выходом проверять карманы: не забыл ли чего? Довольно нервно. Сочиняя в голове инвективы и филиппики, однако же стараясь внешне оставаться невозмутимым. И только взявшись за ручку двери, я повернулся к ней и коротко попросил: «Закрой за мной, пожалуйста». Краткостью выдавая обиду: ведь договаривались! Стараясь удержать рвущуюся злость у самого истока речи. Она же, сидевшая до этой минуты в каком-то равнодушном оцепенении, вдруг подскочила, бросилась к сапогам, к пальто – прямо так, на футболку! – и вынула, как перво-классница, из рукава эту свою дурацкую шапку с хвостами. И вышла со мной, просто притворив дверь. Я ничего не сказал. Мы шли, я молчал, стараясь не потерять равновесия и не расплескать молчания, – но фонари качались! – равновесие было потеряно, и я не выдержал:

– Ну что, наигралась?

Она прошла еще два-три шага молча, потом заступила мне дорогу, остановилась, заглянула в лицо и сказала: «Я люблю тебя». И прижалась, обняв. Я поцеловал ее и тоже обнял. И почувствовал, какое грузное и тяжелое у нее тело, как холодно пахнет пальто присутственными местами, какие узкие у нее губы. И подумал, что ее зеленые выпуклые глаза похожи на ципреи. Или на глаза римских статуй, с которых время стерло зрачки.

А потом я ехал в автобусе, привалившись плечом к окну, чувствуя, как намокает от испарины стекла рукав куртки и как подбрасывает меня на ухабах, а голова бьется о какую-то железяку, но я не удерживал головы, и даже приятны были мне эти болезненные толчки, это чередование теплого и холодного, и это медленное течение времени то в обратную сторону – от утра к вечеру, через ночь, полную мучительного ожидания, то броском – вперед, к отчаянию утра, и снова назад – к елке, бумажному ангелу, крутящемуся, как флюгер, в поисках того направления, откуда грядет Благая Весть. И над всем этим ее «люблю» стояло, как ранний рассвет.

Я ждал ее всю ночь, а эту ночь я ждал с конца лета, каждый день представляя встречу, и каждый день радуясь, словно встреча уже случилась. Так много хотелось ей сказать и так много услышать... Но все, конечно, случилось совсем не так и, конечно, гораздо лучше. И я был счастлив. «Пусть намок, пусть бьет, пусть то холодным, то горячим...»

Времени же от нашего знакомства до рассвета прошло полгода, с августа – по январь. Это была та половина года, в течение которой я пытался отречься от своей любви и семьи, сея ненависть на камнях. Часто лили дожди, вода была ледяной, и ничего не росло. Я подолгу бродил по разбитому асфальту, по лужам, вздрагивающим, как сердце, и с отчаянием смотрел на бесплодные перспективы. Подолгу отвечал на ее нелепые смс, выискивая нужные буквы на мокром экране и накалывая их на заостренную палочку. А дома, содрогаясь от ужаса, прятал телефон подальше, как улику уже состоявшегося убийства. Только потом, спустя годы, когда отстоялась вода и я смог увидеть дно, я понял, насколько эта вода была мертва. Но, как когда-то, наши руки, скрытые в черной воде той уходящей ночи, встречались теперь друг с другом и цеплялись холодными покрасневшими пальцами; словно шла она за мной по пятам из детства, таясь, принимая образы то Наташи, так желавшей узнать что-то запретное в обмен на свою тайну, то бабушки, иногда проваливавшейся в свою юность прямо на чердачной лестнице, как *тогда*, когда в семнадцать она сорвалась с треснувшей перекладки и ступила правой ногой на стекло, и стекло осталось там, под кожей навсегда – в подтверждение она предлагала мне потрогать свою ступню, и там, в глубине мышц и сухожилий, действительно пошевеливался какой-то треугольный желвак размером с копейку; то – своей матери, Любы, в последнюю грозовую ночь нашего бдения в сторожке, когда отсветы молний сверкали где-то далеко-далеко, будто в будущем, а она прижимала меня, ревущего, к тугому животу под распахнувшейся фуфайкой, истово обещая мне, что мы когда-нибудь еще встретимся, обязательно встретимся...

Что это было, одержимость? Сумасшествие? Кризис среднего возраста, тоска по чему-то свежему, сильному? Животный азарт? Может быть, и азарт. Потом, когда я... увидел. Все-таки семнадцать... Ну, а в начале? Ведь это же гомункулус в чистом виде, пособничество «животворящей силы»! Или вправду «известная человеческая жидкость» семь суток гнила в тыкве, а после – питалась кровью? И вымахала. Она часто любила вспоминать, как я первый раз ее увидел

спящей, как разбудил громким шепотом: «Дай ключи!» Чем это ее так зацепило? Я тоже помню этот момент, но... ничего в нем романтического не было: здоровая девка в трусах и задравшейся футболке дрыхнет на спине, выставив пятки в проход... Тогда что? Может быть, жалость? Накануне, на дне рождения Татьяны она рассказывала, как в двенадцать лет сбежала из Николаевки, жила у бабы Зины в Канте, потом подалась к отцу, но скоро сбежала и оттуда, из-за мачехи... Что-то многовато крупных побегов для такого возраста и за короткий, в общем-то, срок. А может, задела во мне что-то животное, когда после, уже прилично закусив на самом дне рождения, жаловалась на то, как обделила природа ее парня? («Теперь уже бывшего», – уточнила она). Нет, мимо все, не то, не то... Если бы это все было так просто, так поверхностно, то не случилось бы со мной того, что случилось, не потянуло и не вывело на свет божий из тайной глубины всей моей мерзости, не открыло бы написанного в душе тайно. Вот, провела она горячей ладонью – и стало явно все. Кто она, Господи? Кто научил ее открывать predetermined?

Ее ногти были обкусаны коротко и неровно, как у первоклассницы. А бахрома вокруг вызвала бы, пожалуй, у Петра Первого преждевременное извержение «Зеркала». Я в шутку посоветовал ей оставить руки в покое, а потом сделать маникюр, на что вдруг последовала преувеличенная реакция испуга: «Мне нельзя длинные, я повар!» И она отдернула руку, спрятав толстые пальцы в кулачок. Я рассмеялся и чокнулся бокалом с Татьяной и Даной, не спрашивая, почему она не пьет с нами. (Татьяна уже успела мне по секрету шепнуть, что позавчера она сделала аборт, так как ее «пихачос» развел ее как последнюю дуру, соврав, точно ему «можно», ибо бесплоден, но в конце концов оказался достаточно порядочным, чтобы выслать пять тысяч без лишних проволочек.)

Огромный балкон был вознесен над Братиславской на тридцать оглушающих метров, и огни внизу, мерцаая, плыли, не сдвигаясь с места, как покрывало, отделяющее избранных от смертных. Великолепие Татьянинного быта поражало меня очевидем сбывшейся волшебной сказки. Разбитная бабенка, прибывшая сюда несколько лет назад откуда-то с севера, без денег, без прошлого и будущего, из крохотного отрезка своего настоящего, она регенерировала, как морская звезда, новую жизнь. Жизнь основательную и благообразную, сытую, прочную, с повзрослевшей дочерью, выписанной из отчих мест, и с планами перевезти сюда же выращившую ее бабу. Источник, питающий весь этот истеблишмент, был тухловат, но, как подтвердила не утратившая юмора ни на нарах, ни на северах сестри-

ца, «деньги не пахнут». И если есть желающие получить одноразовую любовь и желающие ее предоставить, то всегда будут востребованы и те, кто умеет свести концы с концами.

Племянница, слушавшая эти откровения не в первый уже раз, захлопнула рот и убралась на исходную позицию. Туда, где в впервые в своей жизни ее и увидел: в соседнюю комнату, на пол, к пьедесталу телевизора с сериалом во лбу. Два часа назад она сидела там: оплывшая, босая, с мокрыми белыми волосенками, и, провожаемый хозяйкой к балкону, я взглянул на ее широкую спину и сразу угадал: пэтэушница.

Признаться, я был немного разочарован. По рассказам Татьяны, я представлял себе другое существо: юркое, худенькое, видом своим вызывающее сочувствие, и – доброе, но обманутое в своем безвредном мышинном любопытстве, вроде Наташи. Хотя, почему? При чем тут Наташа? Даже тогда она предпочитала все же играть с Юрчиком, а для меня писала и развешивала у дверей своей комнаты альбомные листки с неровными печатными буквами: «Посторонним вход воспрещен»...

– Опять Наташа... Кажется, все становится понятно: просто соблазн, ошибка. Ложная возможность повторить Золотой век?

– Да нет... Думаю, что нет... Тут глубже. И она, и Юрчик были вовлечены тогда в *вещность* мира, по большому счету, они не были для меня людьми, не были индивидуальностями. Просто живые придатки материальной культуры. Даже несмотря на то, что я... как бы это сказать... интересовался ее э... в общем, несмотря даже на такой интерес, меня, в первую очередь, влекла очередная загадка природы, то, что прежде мне было неизвестно... а вообще честно скажу: общение с людьми меня всегда очень утомляло, люди мне мешали.

– И ты...

– И я обходил ее (*их*) комнату и шел себе дальше. Обходил дом, выходил на террасу, разговаривал с Альфой. Вспоминал с нею Кант, его солнце и виноградник, воспаряя на пахучих токах воздуха, выносящихся из дома. Запахи человеческого жилья напоминали мне о книгах, об их пряных желтых листах, и я возвращался к ним, опять в сердце дома, мимо их комнаты... По мере того, как я удалялся с террасы вглубь комнат, запахи корицы и ванили бледнели, теряясь и уступая место другим запахам. Запаху пыли и половой доски, исподволь пожираемой черной плесенью и грибок на веранде, и террасе дома, запаху старой материи, тонкому, как наваждение, запаху мебельного лака, год от года тающего, словно лед в темных комнатах. Каждая комната пахла по-своему. В зале – виноград, яблоки, абрикосы,

алыча, собранные с утра в саду и сваленные в большую терракотовую чашу; к вечеру они уже начинали дрябнуть и разлагаться, наполняя жаркий воздух острым, кисло-сладким ароматом гниения. Липкая влага сочилась из трещин на лопнувшей кожуре, и мошкара на пуантах беззвучно кружилась над пиршеством. Котлы мяса египетские. В наших детских комнатах пахло почти одинаково, но в моей был отчетливо ощутим голос ладана и восковых церковных свечей, потому что над головой у меня был поставец со старинными родовыми иконами и пожелтевшими свертками, перевязанными нитками. Именно они и пахли так возбуждающе и таинственно. Однажды, когда никого не было дома, мы с Юрчиком и Наташей залезли туда, под самый потолок, и развернули бумажки. Там и были они: ладан, свечи, какая-то земля. Земля пахла землей. Пылью. Перстью. А от икон пахло старым сухим деревом и чем-то кислым, чем часто пахнет от стариков. Я смотрел на потускневшие лица, на истрепавшиеся края одежд, и думал, что *они* тоже старики, что им больше трехсот лет. В комнатах у брата и сестры этого не было, и я чувствовал себя единственным обладателем и хранителем семейных преданий. Наследником. Историй запутанных, долгих, засвеченных временем дочерна, как «святой сплав», и таких важных, что говорить кому-то чужому о них даже и нельзя, жаль только, что и *наши* уже почти забыли о них и вспоминали лишь иногда вечерами – намеком, понятным для посвященных, за столом с вином и лагманом, когда лампочка светит изо всех сил, делая листву винограда натриево-желтой, а ужин превращая в театральное действие.

У Юрчика и Наташи в комнатах этого не было, там лишь отчетливо пахли пылью тяжелые портьеры и обивка кресел, в других же комнатах я бывал редко и не запомнил их запахов по именам.

Сквозняки, проходя по комнатам, собирали их дыхание в общий поток и выносили на кухню, где он мешался со сладким дурманом баллонного газа и вытекал на улицу широкими слоистыми волнами, разбавляясь ветром в общем котле двора. И, даже сидя на крыше курятника или качаясь на качелях, я улавливал поднимающееся разноголосье токов, похожее на голоса церковного хора, но над всем главенствовал камертоном запах упадка и запустения, запах небрежения. Забвения. И в грозу весь наш дом охватывал еще один, новый запах. Острый, как память о редком госте, и глубокий, как вздох от испуга, – зыбкий, солоноватый. Долгий. Это было, когда бабушка зажигала лампаду в моей комнате и шептала без зазрения пред оглушенными истовой верой нами:

«Заступнице наша Дево Богородице, честный образ Твой, имже подсолнечныя концы земли удивляеши и мир мирови даруеши, во образ

бо Святыя Троицы являеши трие руце: двема убо Сына Своего, Христа Бога нашего, носиши, третиею от напастей и бед верно к Тебе прибегающих избавляеши, и от потопления изымаеши, и всем полезная даруеши, ...и всех всегда милуеши...»

Уповая. И дом превращался в ковчег и метался, маялся на ухабах стихии. И каждая тварь молчала, и шепот просыпался, как мелкая соль, на наши головы. И кропило, и хлестало, и веяло. Долго, долго, долго...

«Прославляет Тя, Владычицу, и умильно вопиет: не остави милость Твою от нас, но пребуде с нами во веки.»

И когда гроза кончалась, запах этот потихоньку истончался и иссякал, как плачь.

Тогда в моей комнатухе, где хранились Псалтырь и Библия, с особенной силой начинало пахнуть чем-то ветхим, музейным, оставившим на зубах привкус металла. Я задираю голову, стремясь рассмотреть средства индивидуального спасения, и волглый ворот рубашки охватывал шею, как петля. Вверху кружились раскольнические иконы, эти негативы лучшей жизни, свидетельствовавшие о том, что где-то *там* есть и позитивы, и где-то существуют люди в белых одеждах, мудрые старцы и кроткие женщины, исполненные любви. На черных квадратах были различимы черты тех, кого хорошо знаешь лишь в детстве. Одигитрия. Исус. Святых на периметре было почти не различить – тоннельное зрение богомаза оставило нетронутым одну центральную фигуру. Крохотные человечки, тулящиеся под, над, справа и слева. Таинственный вертеп, невидимое действо. Связные. Малые сии. Зеркала два и два, поставленные против. Мои, влажные, блестящие, аспидные, алчущие и преходящие. Его – невидящие, сквозные, вечные. Прощение средошающим. Но сморгнул – и фокуса нет. Встретимся на середине. Господи, помилуй мя.

...яко отвсюду врагами окружени есмы...

Не сразу, но ступив однажды, смущаясь и медля, я ползал улиткой по комнатам, пересекая невидимые, но ощутимые границы холода и тьмы, озноба и мления, отвержения и торжества. Разбирал сплетения переходов, пронимал каморки и, дойдя до последней, шел далее, углубляясь в тайные уголки своей души. Открывал, исследовал. Ничего, кроме полумрака. Неосвященные углы...

– Тогда ты полюбил сумрак?..

– Нет.. Просто, я открыл для себя еще один оттенок бытия. Пепельно-серый. Оттенок, в котором ты слышишь, как вещи говорят с тобой. И тебе совсем несложно внимать им и отвечать. Сложнее

привыкнуть к самому оттенку после ликующего света дня. Это напоминает конец урока, когда звонит церковный колокол и тебя наконец-то отпускают играть, и ты суешь пыльные ноги, которыми тайно чертил в пыли «Гервь» и «Оук», в горячненные сандалии, встаешь, закрываешь эту книжищу...

– Какую «книжищу»? Псалтырь?

– Да, рукописную Псалтырь – по ней бабушка учила меня читать – закрываешь и уносишь сделанный дедом табурет в дом, прихрамывая оттого, что в сандалии набились камешки... «Гервь» и «Оук». Тайное становится явным.

А потом Псалтырь нужно было относить через улицу, бабе Зине. Ну, или отдать Тагьяне, чтобы она занесла книгу в дом. Мне заходить в их дом не хотелось – чтобы двигаться там, требовалась аккуратность, мне несвойственная... Да и, вообще, я предпочитал быть на солнце. А с некоторых пор у меня появилась новая страсть: я стал исследовать угольные кучи. Дома в Канте топились углем всегда, с самого его основания, и отец мне рассказал, как в детстве, набирая в ведра уголь для печи, он однажды нашел на куске угля отпечаток листа какого-то древнего растения. «Отпечаток листа древнего растения! Целый!» Я потерял покой. Я завидовал отцу и проклинал его, потерявшего где-то в переездах этот обломок. Я сходил с ума, снедаемый жадной открытиям, жадной обладания, жадной приобщения к *этой*: к тайне, ставшей явью. Я представлял себе лоснящуюся поверхность с тонким силуэтом вдавленных проволочек ксилемы, испарившейся под дыханием веков. Негатив жизни. Где-то там, в кровеносном нутре себя, как в толще угольных пластов, я видел застывшие в бешеном токе времян листья, ветви – да что там! – целые стволы исчезнувших папоротников, хвощей, и дрожал от предвкушения находки. Вынести на свет Божий древнее, сокровенное, невиданное – каково? Взять в руки жившее миллионы лет назад, это же – как спуститься *туда!* Тайные внутренности, внутренности мои и внутренности земли, – все это соединяли сны, не кончавшиеся ни ночью, ни днем. Мысленно я касался их, вздрагивая, словно запускал пальцы в собственные отверстые раны на животе, и ощупывая округлое, овальное, протяженное, *заповедное*. Какая она, *та душа?* Я перебирался от кучи к куче, от дома к дому, день за днем, год за годом, пока, тридцать лет спустя, не нашел своих первых аммонитов в глинистых ундорских сланцах на Волге, чьи теплые воды бережно омывали тяжелые пластины со спиральными отпечатками на самом мелководье, у поросшего соснами берега. Моментальные снимки вечности. Какая, однако, выдержка!

«+7 999.....

У меня проблемы. Ты можешь дать мне денег?»

«+7 888.....

Пятнадцать хватит?»

«+7 999.....

Да.»

Хотя время шло, и я менялся. К тому же, сколько ни воображай, солнце – это все же была стихия Юрчика, а я, как уроженец северных мест, большую часть жизни обитал под облаками. Сначала я тешил себя мечтами, что мы, наконец, переедем сюда с отцом, как он часто обещал мне и своим друзьям, чтобы жить одним, без матери, но потом я понял, что мечты эти никогда не сбудутся, а его разговоры будут бесконечными. Ничего не оставалось делать, как смириться с домом, где я жил. Со своей сумрачной комнатой и с одиночеством – друзей, как я сказал, тех, что еще оставались, я с легкостью утратил сам. Со временем мне даже стало нравиться в моем углу, хотя как-то исподволь начало тревожить ощущение присутствия в доме кого-то постороннего, того, кто бесшумно проскальзывал по самому краю зрения, когда я был один. Этот «кто-то» не чинил мне вреда, но при одной только мысли о нем моя кожа словно покрывалась рябью. Думаю, что ужаснее всего было понимание его *инакости*. Понимание того, что он появляется здесь из какого-то другого мира. Это вселяло панику. Я не знал, что делать с этим открытием. Что делать с мыслью о том, что помимо нашего мира есть мир иной. Ни возможный вред, который могли мне причинить тот мир и этот некто, ни даже сама встреча с ними, а простое осознание того, что *это* есть, обездвигивало меня. Потом мне стали сниться чудесные летательные аппараты, которые возникали в небе над нашим поселком вдруг и из ниоткуда, надолго зависая в воздухе, а потом стремительно падая и разбиваясь, горя бездымно, бесшумно и страшно. И со временем непроницаемая стена, отделяющая мир этот от мира иного, стала для меня как бы тусклое стекло, и я совсем перестал быть одиноким и начал слышать голоса тех, кто был здесь и ушел задолго до меня, и стал видеть, что было и что будет и что происходит с близкими ныне, но живущими далеко.

– Стал провидцем?

– Нет, не провидцем... У меня появилась способность видеть, *что* произойдет, но я не мог знать – когда. Я знал, *с кем*, но не знал *как*. Стекло было тусклым... Не я говорил о будущем, но оно само говорило через меня. Помнишь, я рассказывал о том, как женился в первый раз? Я ведь не понимал тогда, *что* говорю друзьям, просто

это из меня выскочило само, я даже не успел осознать смысл сказанного. Но со временем я научился лучше понимать эти озарения, а сами они стали уже не столь спонтанными. Мало-помалу я наловчился приподнимать завесу именно над тем, что меня...

– Интересовало...

– Нет. *Волновало* больше всего. Язык времени – это язык эмоций, и разум ему чужд. Поэтому у времени можно только *выпросить* что-то, но не убедить его дать это «что-то». Я научился выпрашивать. Но иногда это приходило само. Я чувствовал... Хотя нет, раньше... Раньше... да, сначала меня просто замучили дежа-вю – это началось лет в десять – причем, если обычно так называют лишь пассивное ощущение того, что события, происходящие сейчас, уже случались, то есть как бы только с оглядкой назад их можно назвать повтором, то я в такие моменты доподлинно знал и что произойдет дальше. И часто «предсказывал» своим приятелям поступки, которые они совершат сей же час, чем доводил их до белого каления, – ведь они не знали об этой моей способности и злились, считая, что я просто издеваюсь над ними и над их предсказуемостью. Но бывало и так, что я не видел ни озарений, ни вещих снов, но день за днем томился неясным предчувствием, словно был беременен...

– Опять? Как словами?

– Да, именно, как словами и стихами, что стали мне сниться. Но только это ни к чему хорошему не приводило: тяжесть предчувствий просто парализовывала меня, и я замирал, как осенняя муха, когда они накатывали, почти не двигаясь. Однажды отец с утра отправил меня окучивать картошку на делянке за домами поселка и, придя в обед мне на помощь, застал меня с тяпкой в самом начале грядок – за три часа я не сдвинулся с места, вытягиваясь вверх и обнимая солнце, наблюдая, как слюится перед глазами воздух. К четырнадцати годам стихи, озарения, тоска и загадочная женская плоть слились для меня в одно и стали океаном, на волнах которого я качался с утра до вечера. Должен сказать, что для меня это было мучительное время, поскольку все постоянно пытались помешать моей нирване. Тупые друзья, злобные одноклассники, учителя, которым было наплевать на все, кроме своих учебных планов, и мать, которая просто озверела к этому времени. Мне было хорошо только с отцом. Я помню, как однажды мать, забрав брата, уехала на курорт, а мы остались с отцом вдвоем. Я дожидался его вечерами с работы, и мы смотрели кино. «Мамлюки», «Лимонадный Джо» – любимые фильмы его детства, и он мне рассказывал свое детство как самую лучшую в мире книгу, полную приключений и смешных историй. Кстати, в один из выходных дней мы сходили с ним на черный рынок, который дважды в

неделю раскидывался на татарском кладбище, прямо среди могил, как роскошный восточный ковер, и купили там один из томов «Мира приключений». Днем его читал я, а вечерами – он, забегая далеко вперед и смеясь в каких-то местах, а я мучился и завидовал, выспрашивая: «Что там, а? Там смешно, да?» И следующий день начинал с поиска этих самых смешных страниц... И он снова говорил, как скоро выйдет на пенсию – она полагалась ему досрочно, за вредность, и мы уедем жить во Фрунзе. А мать пускай остается здесь – его же здесь ничего не держит. Я радовался, представляя себе, как мы уедем и заживем все вместе у бабушки, но никак не мог понять: какие планы у него насчет моего брата? Оставить с матерью или забрать с нами? Брат был такой прозрачный, почти бесплотный, но я все никак не мог разглядеть, что у него внутри... А однажды нас разбудила гроза: жирные молнии замирали в небе так надолго, что, наверное, можно было сосчитать до десяти, а грохот стоял просто оглушительный, и в зал сквозь раскрытые окна хлестали такие широкие струи, что стекло под ними совершенно не было видно, и сначала мы подумали, что окно разбилось, а осколки его лежат теперь на полу и, сев на диван, мы смотрели то на рамы, то на пол и, в отблесках молний, лужи на полу сверкали, как битое стекло.

Тогда, замершим духом, я не ощущал ничего, кроме восторга и изумления, но теперь, когда я вспоминаю это, я чувствую счастье. Я принимаю его теперь как удержанный вызов. И четко, по буквам могу разобрать: счастье – это восторг и изумление.

Тогда я осознал, что мир – прекрасен, и что эту красоту можно сохранять и уносить с собой. Раньше я пытался рисовать, но это было все не то: я очень любил цветы и, сколько себя помню, постоянно рисовал их, но меня никто не учил делать это правильно, а потому все мои рисунки были ущербны – с горечью я видел это сам. Пока однажды меня не осенило: фотоаппарат! Как же я раньше не догадался! Ведь я уже глянцевалял однажды летом с каким-то нашим родственником его фотоснимки! Он доставал неповоротливые, рыхлые, как замоченное сало, картонные листы из ванной и подавал их мне, а я налепливал их на металлические тонкие зеркала, пахнущие жаркими батареями, пристегивал полотном и замирал, стараясь не дышать, чтобы не пропустить тот миг, когда под тряпкой начнет шуршать и потрескивать. Тогда я отстегивал тряпку и подбирал с нее упавшие навзничь глянцевые фотографии, ставшие вдруг совсем *настоящими*! Зеркала – думал я, разглядывая глянец, передают свои зеркальные свойства фотографиям, если их плотно сложить вместе и нагреть.

Главной проблемой в исполнении моей новой затеи были деньги, необходимые для покупки фотоаппарата, фотоувеличителя и всяких таких штук, необходимых для колдовства без изъянов. У матери просить деньги было бессмысленно, а отец с недавних пор почему-то стал каждый день приходиться пьяным, поглупевшим, и от него противно пахло табаком и чем-то прокисшим и, едва войдя в дом, он сразу падал спать – хорошо, если успевал добраться до своей кровати. Но эту проблему я решил легко: я стал собирать в гаражах бутылки и сдавать их, копя мелочь, которую потом подсовывал в кассе вместо бумажек, с которыми меня посылали за продуктами. Бумажки оставлял себе. «Вилия» стоила двадцать рублей, «УПА» – семьдесят. С остальным было проще. Одноклассник-хорошист контрабандой провёл меня однажды на занятия своего фотокружка, где я в полумраке, с другими сектантами, изучал гематрию диафрагм, экспозиций, светосил и наблюдал в купелях чудо явления на красный Божий свет маленьких Съюзи Куатро, Чингиз-Хана и полных некрасивых женщин с неряшливыми кружевами над устьем раздвинутых ног.

Потом я повторил это дома. Раз, другой, третий, осваивая ритуал разливания кипятка по блюдам – для скорейшего остывания, свивания в крошечной тьме улитки из плодоносного целлулоида, зарядания его в металлический футляр, простого счета до пяти, разведения гомеопатических доз, пахнувших жареной курицей, мочой, содой, и попутно совершая открытие других близких тайн в свете красного фонаря дрожащими пальцами, мокрыми от остро пахнущей слизи, обмирая от удивления и озноба. Умирая от внезапных приливов блаженства и медленно воскресая в полной темноте. Так началась моя новая жизнь в красном свете.

Сейчас у меня осталось совсем немного фотографий той поры. Ваза с цветами на фоне уходящих рука-в-руке отца и брата; мать – очень издалека, сидящая на лавочке где-то в Саду Офицеров; я в дамской шляпке (баловался) и – она: та Девушка. Та самая фотография, которую я сделал следующим летом в полупустом уже, без Наташи и Юрчика, уехавших в пионерский лагерь, лабиринте умолкшего сада: бочка под персиковым деревом, к стволу которого приставлено зеркало в массивной раме.

– Так зеркало или гобелен? Сначала ты сказал, что...

– Зеркало, зеркало. Я же сказал потом, что все на самом деле было не так...

Уже зимой, дома, разглядывая эту фотографию, я присмотрелся к этому зеркалу, и... И присмотрелся к нему еще раз. И еще, и еще – взгляд мой пробежал изображение, как текст, который, бывает, все

читаешь, но никак не можешь понять: что же там это такое написано? – словно разум отказывается воспринимать что-то непривычное. Но все же бег свой остановил и присмотрелся: вместо зеркала в раме был портрет девушки. Из-за большого увеличения изображение было зернистым и походило на гобелен...

Я точно знал, что когда я делал свой натюрморт, никто в зеркале отражаться не мог, а больше я о чуде не знал ничего и, раздумывая о нем, первое время ходил в его власти как оглашенный, но потом дела и время отвели меня в сторону. А фотография отправилась в альбом, откуда я ее случайно вынул уже накануне отлета.

– Скажи, скажи... А ты почувствовал что-нибудь? Ну, когда увидел эту девушку, почувствовал? Что-нибудь, как тогда, перед приходом матери: предчувствие беды, волнение, страх? Или дыхание чуда, подобное побежке сквозняков через комнаты дома?

– Нннет... Нет. Ничего не почувствовал.

Я ведь не отрезал себе пути к отступлению тогда, – не поверив в чудо. Лишь *допустил* его возможность. Струсил. Глядя на пятнышко серое, подумал: «Может амальгамы обман?» Чешуйка коллоида, легшая как раз туда *случайно*, где была амальгама зеркала. И вот – глаза, будто навывкате, как у римских статуй, волосы, как недоокисленное серебро. Посмотрел, усмехнулся. А если бы и поверил? Что тогда, жить в ожидании? А вдруг – обман, помстилось? А тут – тью-тью, годики и прошли! Вот если бы как тогда, когда самолеты со шкафа посыпались градом, скинутые невидимой, но несомненной рукой, и уже разбивающиеся вдребезги за спиной у меня, выбегающего в одном ботинке в подъезд...

– Ну, так ведь вот, было уже... Неужели мало?

Блям-блям-блям...

Бом-боом-бооом-боммм!!!

Это колокол, издавелека начавшись, нежной мелодией сквозь листву сочась, напитал мой сон и распух, расколол мне грудь горем. Горьким горем, словно шарил я подошвами под табуреткой по камешкам, а найти сандалий не мог; словно нашел, оглянулся, а некуда идти – нету дома; словно дом на месте появился да взрослые все уехали, и остался я с Псалтырью один, а страницы ее такие синие, что хоть плачь, и погребом пахнут строчки, написанные тушью. А слово там написано: «Увы». И пахнут мочой высохшие в вазе цветы, что я подарил Бетси, мирясь, – это я помню крепче, чем имя свое. Не думая ни о чем и не приветствуя дня, я пробежался по гаснущим

строчкам. Преклонил, пробираясь возвратно. Ступил на дымчатый лед, да в страхе повернул назад, пока не забыл, где та дверь, в которую вошли мы вместе, а выбрел я один. Еще стояли *те*, сказавшие, что уехала на такси с кем-то, те же, но головы их уже растаяли, и каверны в телах пропускали отсвет фонарей ртутный, катучий, отсвет на чужих черных улицах. И улицы бледнели, словно время пустилось вспять, пока не увидел я день и не понял, что во рту моем – горечь. Откинул одеяло и полежал еще немного. «Как тогда», – подумал я. Как тогда, когда она вдруг приехала к Татьяне в самом конце марта и я, обмирая от ужаса, помчался в Шереметьево встретить ее, проводить до дома и остался там, *с ними*, зная наперед, что будет: будет этот завораживающий ужас предательства окончательного, безо всяких шансов отыграть...

И было так. Три дня было так, три дня, менявших свой цвет от голубого до черного, такого черного, какой была та ночь апреля, за стеклами машины, несшейся обратно в Шереметьево. Машины, в которой я уже не находил ее горячих рук, да и ее самой тоже, – лишь тень метнулась от двери к двери и за стойку регистрации. (А еще причитала все: «*Не дай, Божи, снова!..*») И только на Планерной меня, пребывавшего в покойной отрешенности, воскресшего на суд, легко толкнул телефон.

«+7 999.....»

Я все равно тебя люблю.»

«Все равно...» Почему «все равно»? Почему на второй день был такой холод? Что творили вы ночью языками, за прикрытою дверью, языками сизыми и губами, сизыми от вина? Я вошел тогда в вашу комнату, на свет, которым отгородились вы от меня, уснувшего, отгородились – мне было знакомо это с детства! – чтобы что-то тяжелое ворочать, тайное, постыдное, постыдней, чем наши соития, и не впустили меня к себе, не позвали: смотрели обе молча, пока я не отступил и не ушел обратно. Посторонним вход... А вечером наставшего дня я напился. Стократ пьянее и каменнее был, когда подступала ночь, в которую я упал, как в колодезь, – почему вы не шептались в эту ночь! – тогда не томилась бы так, не горела бы преданная душа предавшего. Хоть бы одним боком касалась Божьего мира, да не болела так.

«+7 999.....»

Кот мне квартиру снимать новую нада будит можшии денег выслать?»

Это уже на Беговой.

Господи, какие чудовищные ошибки, какие чудовищные ошибки!

Сначала у меня просто сводило челюсти. С самого начала, с сентября. Потом привык...

Я полежал и встал. Сегодня – лететь. Ночью, а завтра утром будет все решено. Уже почти ровно год длится этот морок, то вспышкая, то угасая, чадя. Бетси. Как жалко Бетси. Как жалко себя. Ее. Всех жалко. Только ту тварь не жалко, – нет для нее жалости, и гнева нет, потому что больше нет ее, и в семье нашей теперь – дыра. Меня нет для нее, и ее – для меня, а оба мы – два штришка в небе далеком-далеком, невидимом нашим родным, как Москва из Канта, как Остров Буян за Морем-Окияном, один штришок – не штришок, а другой штришок – дурачок. Дурачок-дурачок, во что ты вляпался... *Простым народом* обаялся? Ну и как он тебе, внук министра? По зубам ли? По вкусу? Вот и ты тайн добавил в семейный живот.

Помнишь, белый, слобный – *ее*? Светлела ночь. И текло, как из колбы песочных часов, – сверху вниз. Сверху вниз, сверху вниз... Редела ночь, таяла тьма. Вот – дно уже видно! И что там, внизу... Посторонним вход. Ужас, ужас и жуть. И луна где-то здесь, рядом. Свет ее вижу. Поднимает к себе, дыбит незримые токи. Кровь своя. Помнишь, боялся, что вытечет через рану? И ужас охватывал при мысли об истечении ее неостановимом. Вот – тело белеет. Смерть близка и жизнь близка. Обморок белый. Как постель, как снег за окном. Как луна в головах. Ужас, ужас. «Что делаю я!» – только подумать успел, как – жуть. Своя жизнь. Жизни сок, из подвалов темных. Ах, ангелам – что? Жуть, жуть... Там, в самом низу – огни пылающие, треугольником выбритым раскинувшиеся, и светится серая мгла, и дрожат и качаются тьмы, и все ниже, ниже, и в животе обмирает, словно падаем мы, и вот – то, что предчувствовал: сейчас, сейчас, скоро уже: где-то там, в самом низу – толчок! Первый, второй, и – содрогание, крупно встряхивает, как животное шкурой, бросает прямо аж, и дрожь охватывает, и восторг: все! Земля. Реверса рев.

Господи, зачем?

Опять этот бег, эта погоня за ускользающим миром... Началось еще в детстве, когда мир из цельного самородка, неделимого ни временем, ни мыслью, мир, пропускающий янтарный свет сквозь себя, как совесть пропускает боль, стал слиться слюдой, расщепляясь на отдельные странички. Лепестки топорщились ветром и разлетались, а я хватал их, стараясь удержать или хотя бы успеть черкнуть на них

пару фраз. Где-то там, в темно-красной глубине моей, под натиском впечатлений слова, выходившие по ночам сквозь кожу, стали трансмутировать. Сначала они стали терять форму и смысл, расплываясь в сознании, сливаясь друг с другом и звуча то колоколом, то голосами, случайно подслушанными, то назойливым жужжанием, сводящим с ума с самого утра, стоило только проснуться и вполоборота повернуться к уходящему сну. А потом они утихли совсем и вдруг – новый смысл наполнил их! Момента его зарождения я не помню, просто однажды он стал быть, стал заметен. Как появляются вдруг за одну ночь, на невидимых точках, кристаллы на дне чашки с рапой, в которой целую неделю до того ничего не происходило. Этот новый смысл уже сам собирал слова в гроздь, – мне оставалось только успевать их записывать. Эти гроздьи были стихи, опьянявшие меня, как вино. А на другом лепестке были картины. Понимание живописи пришло ко мне тоже внезапно: сколько раз, сидя за столом, я смотрел на висевшую справа литографию брюлловской «Всадницы», не видя ничего, кроме коня, девочки, всадницы и собаки. И вот однажды я заметил, как тяжелы тени деревьев позади их, как тревожно небо в просвете между кронами и стеной, как пылает занавеска в глубине анфилады – чем-то запретным и обреченным, сжатым метаморфическими силами загрудинной боли. Я понял, что все это *связано*. Что само пространство картины есть действующая сила и первичная материя космоса, в котором разворачивается игра всех остальных вещей мира. Тогда я понял, сколь неважен бывает передний план и какие удивительные вещи могут существовать в животворящей рубенсовской тьме – почти невидимые, гораздо больше видимых. Это понимание, прочтение языка живописи вызвало во мне еще большую страсть к фотографии, но скоро я понял, что живопись и фоторафия – не одно и то же; что фоторафия – это умение увидеть то, что есть, а живопись – то, чего нет. И конечно же, продолжались книги, много книг, на самые разные темы, от былин до космологии Дирака, а еще – история народов, удивительная и свирепая, и история земли, и история кристаллами, прозрачными, как глаза, и тяжелыми, как стопа великана, образцами пород на ВДНХ, сказки, занимательная физика, волхование Квятковского и ужасные продавцы воздуха... Как я был заворожен красотой минералов! Они покоились в музеях и на выставках, недоступные и, одновременно, открытые, как нечто ординарное. Одно время я совершенно серьезно вынашивал планы хищения хотя бы крохотного кусочка *чего-нибудь* с выставки, но Юрчик меня отговорил, убедив, что меня обязательно посадят, невзирая на юный возраст. Я долго и болезненно переживал недоступность разноцветных камешков, пока не переболел этим, вернее, пока не преодолел свое

нетерпение. И, говоря о кражах, – я был страшно горд собой, когда уже дома, год спустя, в возрасте двенадцати лет переписал печатными буквами в общую тетрадь повесть Крапивина, которую мне посчастливилось найти в библиотеке; мысль о хищении редкой книги я прогнал из своей головы уже легко, как несусветную глупость. И тогда же я узнал, что значит на самом деле «сводит пальцы от письма» – это совсем не то, от чего ноют изнеженные одноклассники, когда их заставляют переписать пару страниц на уроке. И я узнал, что значит: «письмо входит в руку». Это когда буквы пускают корни в пальцах, когда начинаешь мыслить фразами и абзацами, и слышишь речь видишь как бы набранной мелким текстом.

Так я прожил третью фазу своей жизни: словно в филармонии и церкви одновременно. Но однажды музыка в моей голове кончилась, и умолкли голоса в ней звучавшие. Это случилось в месяц Тишрей, в день моего двадцатилетия, и взамен того, что отнялось, дана мне была власть над третьей частью мира, частью змеящейся и лукавой, текучей, непостоянной и прельстительной. Я познал женщину, и женщина познала меня и нашла приятным для себя, а я – ее, сколько бы лиц она не имела. Все лица мне были желанны, а совестью угрызаем я не был, как не дававший ни отражений, ни надежд, ни обещаний. Очарование же миром и любовь к миру у меня были отняты. Я смотрел, как бледнеет и исчезает моя юность в лучах ослепительного смеха: «Ах, смотри, как блестит на солнце этот кварц, как сверкает халькопирит! Как настоящее золото!»

«Ой, из твоей корнуги вылетел комар и укусил меня прямо в ухо! А ты обещал, что там будет шуметь море!»

И таяло серебро, вынесенное из темных покоев, и умирало, проявленное без покровительства красных лучей.

«Посмотри, какие у меня груди! Разве они не полнее Тигра и Евфрата?»

«Мои бедра упруги, как ветер!»

«Что видишь ты оттуда, от самых нежных ступней моих, запрокинувшийся лицом?»

Я вдыхаю соленость моря и исполнение желаний...

«Нравится ли тебе тяжелый шелк моей кожи и обман, даруемый тебе твоей собственной глупостью?»

«Ты можешь проливаться в меня, сколько хочешь, ведь я владею тайной зачатий и всходов...»

«Что, уже не боишься, что выскользнет твоя душа, мальчик?»

«На вкус ты, как терпкое вино...»

Как много голосов... Дрожащих, томных, капризных, игривых, серьезных, соблазнительных; шепотов, криков, восклицаний и стонов, уходящих обратно в исторгавшую грудь, как вода в песок. О, тщета, тщета! О, прах! О, высохшие полупрозрачные чешуйки, слетающие с живота! Как много слов, сколько лишних движений! Растрочена сокровищница, продано первородство! Этот мир перестал быть цельным, раскрывшись мне навстречу, как раскрывается казавшийся сплошным ядром мягкий алый бутон, но две трети мира, над которыми власть у меня отнялась, – пространство и время – закружились, закружили меня и отбились от моих рук, и отнялись от моего сердца. Долго, в силу худобы своего тела и погруженности во что-то, в чем это тело пребывало вместе с головой, я оставался невидим для искушения. Но вот – увидели меня, настигли и искусили...

Поймали, поймали меня на бегу, уловили за край одежды!

«А за одним не гонка!..» – помнишь это?

– Да-да, ангел мой, помню. Помню эти забеги в твердеющих сумерках, и крики, и смех, и хохот в них, и в небе, и везде, – а под освещенными окнами дома они вспыхивали особенно, и тогда, и в животе отдавались удары бегущих ног, и в ушах – грохочущий топот кожаных подошв по асфальту, а в правом боку мучительно и сладко кололо – слаще, чем у Себастьяна! И, держа себя рукой за невидимую рану, я даже не боялся, что *она* вырвется, выпадет оттуда, хлупнется в пыль и гравий к ногам Наташки и Юрчика, и даже – Татьяны, и к моим ногам, означая смерть, потому что счастье охраняло меня от несчастий... Счастливый человек глуп, глуп и доверчив, и потому в горячем жирном воздухе распускались мои крылья, и смех становился острым, как огонь. На смех поймали меня, на смех, на смех...

Хотя от знакомства, перешедшего в брак, я был не в восторге, мягко говоря. Но, что интересно, даже друзья говорили мне, что наш брак был очень гармоничен. «Гармоничен», видите ли! Впрочем, в главном они были правы: он был *присущ* мне, был естественен для образа и вида моей жизни, одноименен ей, со всей своей мучительностью, неприспособленностью, томлением и мечтами о чем-то большем. Я вышел из этого брака, когда понял, что время его закончилось и он стекает с моих ног последними каплями. И вины я не чувствовал. Разве виноват я в том, что от меня никак не зависит? Две судьбы сошлись по касательной и разошлись. Длительность их скрежещущего контакта определялась радиусом изгиба орбит, а он, даже по космическим меркам, был достаточен.

Упоминания о моих родственниках по отцу впервые появились в летописях Хорезма в четырнадцатом веке. И самозародясь в глубине

истории, этот витиеватый след худо-бедно тянулся сквозь время и царства, пока не дотянулся до СССР и до революции, где мой прадед, спасая свою жизнь, – а все же хочется верить, что и не только свою, – отрекся от своей царственной фамилии и принял имя слуги, пахнущее лошаадьми и тесное, как бедная юрта. С тех пор пало на наш род проклятие, и утратил он покой и разум. Это неудивительно: родовой фатум, набравший за шестьсот лет чудовищную инерцию, невозможно растворить без остатка ни в чьей жизни – любая из них будет для этого мелка и при первом же касании разлетится от чудовищного напора сил вдребезги. Так происходит вот уже сто лет, и у моих родных жизнь ломается за жизнью, корежится и воет воем, и неизвестно, когда это закончится, когда иссякнет, а когда иссякнет, – то чем станет? Бог весть... Чем-то другим. Но и сейчас уже я чувствую, как теряю с годами вес и имя, и все чаще мне приходится стоять перед тем зеркалом, ожидая, когда, наконец, в нем появится мое отражение, все чаще мне приходится задаваться вопросом: кто я?

Меняюсь я год за годом, и еще быстрее меняется мир – день за днем, лишь остается неизменным чувство потери, которую искал я когда-то подростком в зеркале, один, на Новый год, вглядываясь в мерцающую за спиной тьму, да бросил потом и забыл, а теперь даже и бреюсь наощупь – все равно мне, все равно...

«+7 999.....»

Мы сблизим с тобой в Турцию от всех и будим там жить вместе.»

Мир продолжал ускользать, как рифма, таять, как силуэт на засвеченной фотобумаге, теряться, как мелодия. Мир отступал от меня, как вода в отлив. Что поделать, реки жизни мелеют... Да, первоуродство мое было продано за самую простую и самую обманную из тайн: за никчемную любовь женщин и секрет их полых тел, явленных мне, наконец, в совершенстве, в исчерпывающей полноте, до руковожления, – как Фоме.

А может, я обманул, переиграл время? Успел продать то, что вот-вот обесценилось бы само, испарилось бы, оставив жгучий осадок известной жизненной субстанции в алеющих недрах, в канальцах, в средостении. Но что получил? Все то же: змеящиеся тела, чресла цвета сандала и бальсы, рождающие ложесна... Прекрасные пальцы рук и ног их, глухонемые лица, хищные глаза охотниц. Глупые речи. Алчбу. Вот, вот она, похоть пробудившихся тел, знающих предел своего цветения и срок смерти; утроб, спешащих зацвести и усладиться завязью и не знающих ничего больше. Неизящные времена

настают, мальчик, нечуткие годы. Окружись остатками тонких крыл – видишь, Земля поворачивается к Солнцу спиной, невидимое тело близится, возмущает гумор, и делает дыхание трудным, как надменные ступени Менкаура. Холод и пустошь поспешает – окружись цветными лоскутами детства, флюидами света; прячь себя, укрывайся! Цыгане идут, цыгане идут! Вон, кибитки их, вон, тень чья-то корчится! Прячься в кокон, таи то внутреннее, красное, что вытечет, если рассечь шелк кожи! Пение птиц и дуновение стихов спешит схоронить под хитиновой оболочкой. Веют уже, кружатся осенние ветры месяца тишрея! Сохрани то, что сможешь, то, что вошло в кровь и плоть и стало телесным соком, горьким, как отвергнутая ангелами доля, – даст Господь, его примет жена твоя, передаст ночью почтой в ветвящийся род, даст Бог – выпрастает побег. Зажми уши, зажмурь глаза: соблазн ходит рядом, наполовину удовлетворенное тщеславие восклицает: «Меня тоже любят!» А другая половина шепчет: «Не-ет... не любят, жадают...» Из всех радостей, из всех сокровищ осталось мне одно: любовь к светописи. Радость видеть, как свет становится тайной и тайна снова выходит на свет. Даст Всевышний – вернется тепло, вернется пора, спадет кокон, расцветет сад, и мать полюбит своего сына. Вот – дни поспешают, годы летят, – здание растет над бездной, крепки стены и нищ фундамент его. Кто положит камень в основание его? Кто? Кто? Кто? Страх погоняет, ищут глаза, простираются руки, и душа вопиет: «мама!»

Но есть страх и есть ужас, когда душа в коме, а тело тяжелее земли, и только владеющий тобою говорит: «Встань и иди!», и ты чужими руками вынимаешь из черных вошенных пакетов рентгеновские снимки себя. *Себя!* Кто, когда сделал этот потусторонний портрет? Зачем? Нет ответа. Кто-то невидимый, в занавешенной комнате, в красном тревожном свете. От головы и до пояса, от пояса и до ступней. И отдельно – руки. Никто не говорит, все хранят эту тайну. Мать и отец. Отворачиваются, хмуρο молчат. Страшная загадка. Огромные конверты лежат в шкафу, за книгами. Словно нет их в жизни – спрятаны от нее. Словно нет того, от чего они появились, прилетели осенней ночью, роняя холодные капли с немкнувшего воска. Словно имени им нет, – стерли карандаш в верхних правых уголках, стерли и стряхнули имя носителя жизни. Подули – и вот, нету имени моего, и жизни нет. И, пытаясь проглотить свинец в горле, долго смотришь через синюшные листья на деревья и дома за окном, но видишь лишь белесые сизые разводы, слоистые, как табачный дым, от которого болит голова и хочется кричать, – светлые, как облака, сгустки с границами нежными, как молоко. Округлы и мягки их очертания. Никого нет дома, только ужас. И давясь констриктора-

ми (мышцами, хрящами) собственной глотки, когда металлический привкус уже сокрушает зубы, я продолжаю смотреть на свет, однажды выведший из небытия мои *внутренности*. Да – однажды я понял – это *оно*. То, что внутри. Ребра и лучевые кости. Позвоночник. Череп с черными дырами, зубы, гайморовы пазухи. Силуэты, лежащие на силуэты. Очертания за очертаниями, как экспонированная пленка неумехи: перемотать забыл – и укладывал пачками друг на друга. Разряженные и уплотненные области. Голени. Кисти. Берцовые кости, над ним – огромная бабочка, тоже с дырами глаз. Это – *он*? Где же он? Нижние углы крыльев плавно обведены нефритовым лекалом. Я догадываюсь – это ягодицы. Это – я. Это – внутри меня. Или это – он? Тот, что внутри меня? Я чувствую, как во мне закипает ледяной ужас, поднимаясь от колен к животу дрожью возбуждения. Я щурюсь, пытаюсь разглядеть те пустоты, где может обитать *он*. Тайный. Текучий. Незримый двойник, которому я обязан своим существованием, потеря которого грозит мне смертью. Серая лунная поверхность. Тень моего существования, существо моей гравитации. Альфа и омега. Оно манит к себе, и тогда я совершаю то, что существует уже за пределами ужаса; то, что немислимо, что нельзя творить; то, что может лишь *допускаться* – как математическое отрицательное значение. Я раскладываю листы на полу. Голову и ноги, туловище и руки. Собираю себя воедино. Край к краю, кость – к кости, плоть – к плоти. Я приседаю и внимательно смотрю, чтобы ничего не сместилось. Ни на миллиметр. Затем встаю и снимаю футболку. Трусы и носки. Медленно, чтобы не спугнуть *его*, я сажусь на пепельную бабочку, не тревожа ее зыбких границ, затем опускаю вытянутые в воздухе ноги и бережно опускаю назад туловище. Затылком я чувствую холод, мягкие волосы неприятно скользят по шершавой поверхности. Руки сами ложатся так, как лежали *тогда*. Лопатки, плечи. Теперь он надежно прижат. Я замираю и лежу так долго-долго, впитывая его, проваливаясь в черную тайну. За красными отсветами закрытых век, за пределом реальности я чувствую, как пульсируют мои виски, как стынут холодные пальцы ног, как мягкий желатин эмульсии липнет к влажной коже. Как увядает напрягшийся уд. Глаза, которых *там* нет, подрагивают за бежевой ширмой. Тихо и страшно, как на ложе любви. «Мама!»

Но нет ответа. Дни спешают, годы летят – никто не выходит навстречу, только светопись, только тонкой кисти след... Из-под толщи времен, из-под груды песка не слышен уже голос. Только трое посланных следом и не вернувших знают те приметы в стылом воздухе, которым ушла она; знают и молчат, взяв с нее обещание.

Приметы, по которым однажды душа поймет: та! И знать не будешь, куда идти, а она будет знать; глядеть будешь и не увидишь, что это она, – а голос шепнет: она! Надмеваться будешь умом и смеяться, а – глядь! – ума-то и нету! Только крылья бабочки развернутся, только *он* внутри отзовется, отзовется и выйдет приливом.

На берегу я встретил Бетси. Помню, как мы долго сидели тогда на топляке, напротив Тарских ворот. Ветер опрокидывал чаек и срывал с губ слова. Наутро я охрип, потому что весь вечер орал против ветра стихи, а Бетси – долго слушала, и я снова выкрикивал волшебные слова. Вскоре недрогнувшим голосом она дала мне согласие выйти замуж. И, восклицая: «Подальше, подальше от всех твоих блядей!» – побросала вещи в чемодан, чемодан поставила в вагон поезда «Барнаул–Москва» и поехала вместе со мной, вслед за чемоданом.

После морока и шараханий первого брака, я блаженствовал. В Москве мы зажили жизнью буржуа, глянцевого извне, мелованной с испода. У Бэтси была замечательная способность легко сходитьсь с людьми – мне недоступная, как искусство хождения на руках и вкус к хорошим вещам, поэтому дом наш скоро стал довольно гламурным пристанищем для посиделок, разговоров, попоек и прочих всяческих суарэ. И где-то на антресолях уже плесневели мои альбомы с марками и бонами, пылились в шкафу книги – я еще иногда покупал их по инерции, из почтения к фамилии автора, – нераспечатанные, в целлофане, как пупсики, да висели на стенах, словно окна в иной мир, репродукции голландских мастеров. Жар детства и юности, и первой фазы молодости остыл, и вот уже ясной головой можно было, осмотревшись, подумать, понять и постичь этот новый мир, что простирался передо мной, как лунная поверхность: безжизненный, но интригующий. Я присматривался к людям и к их жизням, прислушивался к их разговорам. Почти все мне было непонятно и многое противно из увиденного, но... видимо, тот стержень, на который когда-то накалывалось мною все – от бабочки до страницы, то любопытство осталось и, пустуя, не давало мне покоя. Любопытство требовало накормить себя, оно хотело быть удовлетворенным, оно *жаждало*. И я спустил свое любопытство на окружавших меня (в буквальном смысле, дом всегда был полон гостей), «простых людей». Менеджеры, учителя, чиновники, продавцы, – мне были интересны все. Признаюсь, меня сначала подташнивало от их разговоров, похожих на выдохшуюся «Колу», и брала оторопь от предметов обожания, но ежели – сказал я себе – проанализировать и понять *систему*, то, в общем, с этим можно жить. Это может быть даже интересно. В конце концов, мне *придется* с этим жить дальше, и иного не дано. И,

наверняка, в этом что-то есть, раз они с таким жаром обсуждают жизнь селебрити, курорты, тусовки... Я стал вникать во все это и даже интересоваться. «Брать от жизни все», – как сказала одна знакомая. Впрочем, так... двумя пальцами. Уже через год после свадьбы я мог почти на равных обсуждать достоинства диеты Дюкана, стоимость нового «Ауди А7» и лауреатов очередного «Оскара». Светская жизнь поперла. Преуспеть в этом мне помогла Татьяна, просочившаяся в нашу новую жизнь по телефону: оказывается, она теперь тоже жила в Москве, и мои родители дали ей мой номер. Мы оказались в приятном соседстве: наш дом был на «Войковской», а она жила тогда в «Отрадном». Встреча не заставила себя ждать, и моя основательная, но еще шероховатая новая база получила финишную отделку: я узнал об основах декантирования, бинарных опционах, и – когда Бетси вышла в туалет, – вполголоса, о достоинствах анальной щекотки. Татьяна во всем разбиралась профессионально.

«+7 999.....»

Нинавижу тебя. Ты искалечил всю мою жизнь!»

Родителям первое время я звонил часто, каждые выходные. Своих мобильных телефонов у них тогда не было, я звонил на домашний. Я хорошо представлял, как в маленькой сумрачной прихожей раздается громкое курлыкание, как спешит на зов отец или неторопливо идет мать. Кто ответит, чей голос я услышу первым? – это была своего рода лотерея. Но кто бы ни брал трубку, разговор длился недолго. После обмена вопросами о здоровье, возникали длительные паузы, и, если разговор был с матерью, она с легким раздражением интересовалась: «Будешь говорить с отцом?» И, передав трубку, уходила обратно в свою спальню, а если первым был отец, то после пары пустых фраз он торопливо восклицал: «О! Вон, мать идет! На, поговори с ней». И тоже поспешно исчезал. Так и представляется мне, как стоят они у телефона и перекидывают друг другу телефонную трубку, как мафиози – зажженную бомбу в мультике про капитана Врунгеля. С каждым разом длительность разговора ставила все новые рекорды. Я расстраивался, недоумевал: почему так? Неужели им неинтересно? А отец – ведь мы же с ним дружили... Я прекрасно помню, как однажды он впустил в наши отношения слово «друг». Мне было тогда уже шестнадцать: «Будь другом, сходи...», «Сделай по-дружески...» Я тосковал по его голосу, по уходящему теплу. Абсолютный рекорд был поставлен в сентябре две тысячи пятого года: три минуты ровно, включая время ожидания. После этого желание слышать родные голоса у меня пропало. Я не обижал-

ся на родителей, я понимал, что эти спринтерские диалоги тоже были приметой уходящих времен, свидетельством печальных перемен. И здесь, и на этом фронте, мир ускользал. Однажды, приехав в отпуск домой, я не застал на привычном месте в шкафу свою модель парусного фрегата, которую делал около десяти лет. Смущаясь, отец признался, что отнес его, по требованию матери, в гараж.

– Но он там в полной сохранности!

Фрегат сгнил там, на полках, заваленных ржавыми железками, пыльными журналами и трехлитровыми банками, искажающими все на свете.

Тогда, стоя на сыром бетонном полу, я вспоминал, как когда-то отец с гордостью показывал знакомым этот парусник, как еще более когда-то, в моем отрочестве, после его ссор с матерью мы уходили на весь день гулять: в кино, в столовую, опять в кино... Как выбирались тайком по воскресеньем на барахолку, где на заначенные деньги покупали Стругацких и Крапивина, как иногда по выходным по утрам бегали в парке. Эти воспоминания были живы и окрашены осенним солнцем. Потом они стали мертвы, как тот изящный мир у подножия книг, что собирал я в детстве. К жукам и рыбам, тоже перешедшим теперь в новое агрегатное состояние, – в воспоминания, добавились воспоминания в чистом виде. Ничего вещного, никаких материальных следов...

Я узнавал мир обычных людей, я привыкал к жизни в призрачном мире воспоминаний. Кажется, вот он, тот незримый параллельный мир, о котором писали Дирак, Гейзенберг, Капра и многие адепты новой алхимии космоса. Жизнь среди двух миров... Земной мир прельщал своими нехитрыми радостями, простыми схемами жизни. Чувственная любовь, надежность и уверенность, возможность обрести нехитрые радости за деньги, – соблазны, противиться которым не хочется, а воспоминания о зыбком существовании прошлых теней, страхов и детских домыслов придавали дополнительно измерение потусторонности, неуловимое, как интуиция. Именно в этой новой системе координат мне стала понятна муторная механика существования родительской семьи и прозрачный механизм их симбиоза. Когда отпустило, когда вынесло меня вон из родительского гнезда и моего убогого города, где еще ребенком я мечтал жить в доме на Маркса (сразу с моста, налево), я увидел покойной душой, как был слаб мой отец, как отчаянно билась мать над неподъемной глыбой его себялюбия, зверея от неуспешности. «Он никогда ее не любил», – сказал я себе однажды и, сказав это, закрепив словами открытие, пожалел приговоренных. Он ее не любил, поэтому и не расставался с нею никогда,

не давал уйти ни ей, ни себе, сберегая ту конструкцию, что некогда возвел из своего собственного неудавшегося детства, устремив ее в будущее, как макет всей своей грядущей жизни, и которая проржавела и сгнила гораздо раньше, чем закончилась жизнь; и если бы не годы, облепившие ее, как ракушки, и цементировавшие собой, конструкция бы давно рассыпалась сама, превратившись в еще одну кучу мусора, – вроде той, где догнивали когда-то все мои «сокровища», выброшенные родительскими руками. Мне было жалко моих бедных стариков, и я плакал над ними, как над своей самой большой потерей.

«+7 999.....»

Да я для тебя всегда была только любовницей!»

«Чем зацепила она меня, каким крючком, какую сеть поймала? На что купился я, искушенный, на эти ее пошлые эсэмэски? М-да. Метаязык сериалов. Новое средство общения быдла. Новая речь. Помню, как я торопел, вникая в ее «рамсы», «моросит» (в смысле «не работает»), «полюбасу»... Дивился вскипающим, как газировка, пузырькам слюны на губах, когда звонили ее друзья. Приторно-сладким. Думаю, что не могут быть глубоки ни добрые чувства, ни недобрые у людей, больных косноязычием. *«Кот я за тобой хоть на край света...»*

Или это рабоче-крестьянский язык заморозил меня своим уродством, и пошел я за ним, как за гаммельнским Крысоловом? Нет, несомненно, именно непохожесть ее, их речи увлекла меня за собой, блазня своим нечеловеческим обликом и обещаая удивительные открытия в новом таинственном мире морлоков.

Или... не только?..

На край света летел я. Умирать. Там, внизу, среди тайги, inferнальным огнем пылали наверх нефтяных вышек, и соединяющие их просеки были начертаны ровно и уверенно, руками поднаторевших. Выбранные треугольники, тонкие дороги. А справа – луна соглядатаем. Вниз, вниз уже спускаюсь. Умирать лечу. В тьму угольную, в пласты греховные! Душ сонмища стонут. Тропы. Тьма! Тьма разрывает легкие! Тьма-тьма-тьма! Господи, не оставь. За нею лечу, за руку схватить лечу, вывести, вывести! Сколько горечи, соли сколько! В волнах черных тону. Нефть и уголь. Адова кровь, плоть земли. Внутрь плоти! Ниже, ниже еще. Огни. Уголь и нефть! Вот тьма и грех, вот тени и ропот, и стон. Где искать ее здесь? Такси! Такси, перевези меня! Туда, где улица Рабочая, вез меня перевозчик. По пустой ровной трассе, по спящему городу. Наверняка, она еще спит,

глаза, наверняка, закрыты и живот ее горяч, и дыхание гнилостно. Не узнает. Не узнаёт. «Кто? Подожди». Удалились шаги, стихли.

Во грехе жили.

Во грехе, как муж и жена. На черный свет ее нелюбви душа летела, как слепой от рождения мотылек, на знакомый с рождения свет. Обманной. И верил, и уповал, что Бог простит, верил, потому и грешил, и уповал, что раз верую, то можно грешить, – простит по вере моей, воздаст мне сполна и дочиста. Господи-господи-господи... Она же не верила ни во что и сказала: «Это – грех. Нам нужно расстаться». Пряча в сумочке ключи от чужой квартиры.

Касмеи, лавочка. Воздух на утренней заре порывист и холоден уже. Расплывшаяся, бесформенная спина, мелкие волосёшки цвета марли (сквозь просвечивала розовая кожа), голые до дряблых плеч руки и ноги с плоскими ступнями, – такая же, какой я увидел ее и в первый раз. Увидел и забыл, несмотря на то, что она постоянно крутилась рядом, молчаливая, но все равно видно – неумная. Через день, на дне рождения Татьяны, она, напившись вусмерть, жаловалась мне на своего «друга», на его маленький член и «скорострельность», на его обман, на мачеху, на отца, одноклассников и, вообще, на всю свою неуклюжую жизнь, а я слушал, стараясь изобразить сочувствие, и все искал глазами ушедшую куда-то Дану, чтобы передать несчастную с рук на руки. А когда она улетела домой через месяц, от нее, как грязная моль, посыпались эсэмэски. В первый раз я опешил, но ответил, из вежливости, на ее «Как живешь?», потом удивляться мне пришлось еще больше на ее уже не столь скромные послания, но азарт и любопытство быстро овладели мной. И еще, конечно, тщеславие: еще бы, какая-никакая, а все-таки молодая девица, «запала», что называется, на довольно немолодого уже дяденьку и уже чуть ли не в любви признается, и это при том, что никаких усилий для этого я не совершал, все произошло само!

Так, может быть, все-таки именно они: азарт и тщеславие?

Поток смс иссякал, только когда у нее кончались деньги, и тогда я, растроганный, немедля бежал и клал ей на счет побольше, чтобы этот телеграфный роман не прерывался в самый неподходящий момент. Племянница не возражала, а потом и сама стала предупреждать о том, что лимит иссякает. Заранее. Очень любезно с ее стороны.

Я ликовал. Мало того, что приключение приятно щекотало нервы и поднимало градус в паху, так я еще мог безо всяких табу – племянница была, как говорится, «без комплексов» – в деталях узнавать жизнь этого самого «простого народа». Причем настолько простого, что «проще» могли быть только уже совсем маргиналы. О, это любопытство! О, жажда незнаемого! Поражаясь одновременно и

подлости человеческой природы и животному бесстыдству, видимым воочию, я упивался ее рассказами о том, как ее теперь уже «бывший» приходил мириться, но она его прогнала; как она заняла у мачехи деньги и «кинула ее»; как богато ворует она на своей работе в столовой. Она писала постоянно и постоянно требовала от меня ответов, не задаваясь вопросами разницы часовых поясов, не принимая во внимание разность наших рабочих графиков. Она заканчивала в два ночи и начинала строчить, злясь, если я мало писал ей днем. А с этим возникали большие трудности: я понятия не имел, что ей сказать, о чем с ней говорить. Все-таки я не смог еще стать настолько близким к «народу», чтобы мои интересы были тоже близки ему. А где-то в октябре моя дражайшая племянница прислала мне свою фотографию, на которой была одета в шляпу и сумку через плечо. И только. Через день она прислала смс, в которой написала, что любит меня.

Очень современно.

И мне было неловко за нее и стыдно, хотя фото я разглядывал с интересом. Ну, ладно фото, допустим, это элемент искусства, – говорил я себе, но признание в любви! Вспоминать об этом признании было мучительно, как о поцелуе душевнобольной. Мне вообще уже стала порядком надоедать вся эта любовь по телеграфу, эти вечные напруги с тем, что ответить на очередную ее благоглупость, попытки мягко убедить ее, что Шнитке все же несколько глубже, чем Мистер Кредо, и, по большому счету, интересней, а еще – ближе к прозе жизни – донельзя утомил давно уже укрепившийся страх спалиться со всем этим барахлом перед Бэтси. Я чувствовал себя дяденкой на трехколесном велосипеде. Внутри все протестовало, когда я слышал, как блякает телефон, и рука не спешила оживлять экран. К счастью, через месяц этой любовной лихорадки больная пошла на поправку. Помню, с каким удивлением я проводил первый день, в который от нее не пришло ни одного сообщения. И вечером, заинтригованный, угнездившись на своем лежбище и слушая поспывание Бэтси, долго вопрошал темноту: «что бы это значило?» Темнота пульсировала и молчала, а перед глазами стояло *то* ее фото. «Если тебе семнадцать, – подумал я, – то будь в тебе хоть сто килограмм живого веса, выглядеть ты будешь *интересно*.»

На следующий день я забыл о беспокойстве, но в обед она опять написала: «Прости, что заставила волноваться («это ты себе льстишь» – злорадно подумал я), – я ездила с подружкой на дачу, а телефон сел, а зарядку не взяла, я больше не буду», в общем, «целую до пятак».

Почему-то вот эту идиотскую фразу я запомнил так прочно, что

и теперь, когда уже нет никакой нужды помнить ничего из произошедшего потом, и того, к кому она применима, я помню ее и содрогаюсь. Почему? Почему мне стало не хватать ее тупых писем? – я даже стал испытывать что-то похожее на ревность, когда она стала внезапно и надолго пропадать. Я стал часто разглядывать ее фотографию – как ни смешно, это было единственное ее фото, которое у меня было. Словно в детстве географическую карту, я разглядывал ее грудь – довольно большие холмы с широкими, как у рожавшей женщины, темными кругами сосков, ее на удивление плоский живот и припухлый, как у маленькой девочки, гладко выбритый лобок с аккуратным узеньким штришком. Полноватые ляжки и икры, крупно вылепленные пальцы. Я изучал каждую черточку, уже отчетливо понимая, что я хочу ее и что уже совсем не «чуть-чуть» ревную. Совесть, голос которой я слышал всегда довольно отчетливо, умолкла, и к Бэтси – это я заметил однажды и равнодушно – стало расти глухое раздражение. Само. Без моих прежних усилий, как полынь на безлюдных развалинах.

Ближе к Новому Году мы договорились встретиться у Татьяны: она собиралась прилететь к тетке на каникулы, и я с нетерпением стал ждать встречи. Я представлял, как она живет на съемной квартире, пытался представить себе ее друзей. Видел ее бедной Золушкой, вынужденной работать по ночам в кафе, чтобы заработать себе на жизнь. Ее тяжелую жизнь я добросовестно облегчал денежными переводами, где-то с октября ставшими регулярными.

Белый живот ее, руки с короткими толстыми пальцами, короткая шея, мутноватый взгляд нахальных и выпуклых глаз, улыбка на узких губах. Племянница. Родная кровь. Взрослая женщина, познавшая мужчину. «Скажи мне тоже, что любишь меня, ведь я же тебе сказала.» – Каково? Оторопь. Оторопь и страсть. Ветвь общего древа. Дерзкий побег. Что у нее «нашего»? Сумасшествие. Покатые, как у моего отца, плечи. Всегда поражала его способность отрицать даже очевидные вещи. «Я не пью!» «Ты хоть раз видел меня пьяным?» Стоя ногой в пятне впитавшейся в палас блевотины. А в детстве меня восхищали истории, которые он рассказывал о своих приключениях. Замирая от восторга, я слушал, любуясь ими из далека прошедшего времени, интуитивно чувствуя, что подходить ближе и брать в руки эти игрушки не стоит – швы могут разойтись, а картон – лопнуть. Я чувствовал себя заговорщиком, повязанным с отцом единой тайной.

«Искушенный»... Господи ж ты, Боже мой! Я до сих пор мальчик. Хотя, признаться, чтобы это понять, мне пришлось довольно пожить на свете. Пожалуй, это одно из моих самых важных открытий. Мне – склонить свое ухо к внутреннему ребенку, мне – услышать

голос отца. Отца, рассказывающего истории. Тогда же я понял, что для каждой истории должны быть свои тональность голоса и темп повествования. Иначе не будет фокуса. И если чей-то чужой визгливый голос вдруг ворвется в укромный вертеп и брызнет истошным белым светом, и сорвет завесу – ну, например, простыню – с двери, то рухнет все враз, а чудесные целлулоидные иллюстрации к сказке хотя и перенесутся на эмаль и на стекла, и даже на граненую ручку двери, – то станут немые, оглушительно немые, как враз умолкший отец пред торжествующей матерью, уличающей нас в *непослушании*; но не в молчании дело, а в том, что фальшь зазвучала в чужом голосе, не дуэтом, не в унисон, – омерзительная фальшь, разрывающая шатры изнутри.

И так же я молчал, слушая, как разорвется в телефоне моя сестрица по поводу наших отношений, как негодует в адрес соблазнителя и соболезнует соблазненной, молчал, не пристыженный мешаниной слов, а ошеломленный самим разором и внезапностью его. И ее голос буйствовал, вырываясь сверху, а мой вползал, вздыхая, снизу...

– Если не ошибаюсь, это произошло...

– Да в том-то и дело!

В том-то и дело, что позвонила она только через день после того, как племянница сказала, что любит меня! Постепенно стараниями самой Татьяны мешанина слов и поступков превратилась в упорядоченную историю, одновременно и примитивную, и идиотскую: когда племянница ушла меня провожать, Дана, тоже проснувшаяся рано, пошла выгуливать собаку. Удивилась, что входная дверь открыта. Но подумала, что я ушел утром один и будить никого не стал. Потому, погуляв, вернулась и закрыла дверь на замок. Племянница же, вернувшись следом, поцеловалась с дверью и, естественно, принялась трезвонить. Дверь открыла уже Татьяна и, на недоуменный взгляд ее, та поведала, что ходила провожать меня. А ходила провожать, потому что любит меня.

Вот, такая вот «цыганочка с выходом». Как потом поведала мне уже сама племянница, оправдываясь, «тетя Таня» так накинулась сперва на нее, – дескать дура, он же дядя твой, а у тебя вот только недавний амур летом был, и до чего все дошло, да ты же учишься последний год, да о том ли тебе думать нужно... что она совсем растерялась. Ну и мне досталось, но уже вскользь, на излете: «старый извращенец, негодай, «чего он тебе наплел?» – и все такое... В общем, тяжелее всего было племяннице, – так она мне потом сама и сказала. И я сочувствовал ей, и жалел, и «не горюй», и «прорвемся!..» Только...

Только потом, уже весной, я как-то случайно подумал: а почему первые слова сестрицы были: «Ты какого хрена ей в любви объясняешься?! Какого хрена ей деньги даешь?!» Ведь сказать так она могла только со слов племянницы, а племянница – видит Бог! – прекрасно знает, *кто кому* объяснялся. И потом – вдогонку: раз она так спалилась, то почему же мне не позвонила сразу, не сказала, не предупредила? Ведь у нее в запасе, почитай, два дня и две ночи было, а она молчала.

«Искушенный»... Господи ж ты, Боже мой! Но ведь ничего ей тогда не сказал. Ни-че-го! Ни словом, ни взглядом! Ведь меня же тогда история эта уже увлекла, азарт тот самый разжег, что с отцовскими рассказами я узнал, приключение заманивать стало! Послышалось старое: «Заступнице наша Дево...», потянуло туда, потянуло в воронку, в детство, в амбар, полный золотой пыли, мышей и шепотов наших. На красный свет пошел, в котором узкие черные тени кажутся глубиною до сердца, а красное, такое большое – удивительно белым. Циник вшивый. Мальчик мой, мальчик, бедный мальчик...

«+7 999.....»

Я наверна ни приеду. Москва ни любит слабых.»

Дурные люди, плохие сны.

Он ведь сбылся, сбылся тогда, – оставили меня одного, она оставила! – чтобы сесть в такси и ехать с кем-то, – о том сказала мне баба при дверях. – О, как позорно и обидно он сбылся! Так сбылся, что даже не верилось, правда ли это, даже не мог понять, бегая по лестницам с этажа на этаж: со мной ли это происходит сейчас или читал я, слышал, видел в кино когда-то про кого-то другого *такое*, и только остановившись где-то между, не зная, куда еще можно сбежать, чтобы найти ее, отдышался и, держась за лоб рукой, подумал: «Кабырдак. Снова, как этот чертов Кабырдак...» Она тоже избавилась от меня, потому что я ей мешал. И за эту реальность я зацепился, схватился за нее, чтобы не несло меня неизвестно куда, в чужом городе, в оставшейся непонятной мне жизни, за это чувство я уцепился и почувствовал, как успокаиваюсь, как возвращаюсь в привычное русло, а кровь отливает от лица, и в груди стихает гул. Это мне знакомо... Куда здесь – я знаю. Как дома. Там, за окнами, такие же березы, как дома. Сибирь, она и есть Сибирь. По прямой – интересно, сколько? – наверное, километров семьсот всего будет до деревни. Рядом, по нашему. Звуки... Звуки становятся отчетливы и раздельны, мир перед глазами уже не мельтешит, уже не захлестывает меня, не

бросает своими волнами, я успокаиваюсь, возвращаюсь к столику и сажусь на это, вишневое, кажется, из искусственной кожи. Ее подруга без имени и лица удивленно глядит на меня и предлагает закурить, но я отмахиваюсь, полуприкрыв глаза. Веду пальцами медленно и легко. У самых ляжек. Джинсы. Ниже. Я их так и не подшил. Неровно, словно крупная ткань, грубой вязки сплетение. Подносит к уху – кажется, снова звонит ей, выискивает своими звонками ее в дымном хаосе соитий и случек. Даже в сортиры проникает, даже в служебные помещения и под лестницы. Везде. Везде, где можно. Где могут. Никогда не была там и не знает, но – проверит, просунет меандр. Как иглу сквозь ткань: легко, навывлет тканой картины мира. Туда, где испод, где темно и где пыльно, где узелками срastaются нити канвы, где изнанка любви... Зыбкость этого мира. Оглушительное шелканье детских сандалий в глубине тенистых аллей парка, на самом дне памяти, надежды и любви. Три источника жизни. Быстро-быстро-быстро! Смотрите, как быстро я могу бежать! Я, кажется, сейчас оторвусь и полечу! Нужно лишь бежать еще быстрее и не обращать внимания на то, как болит в боку. Может быть, тогда мама тоже обернется и обрадуется тому, какой я у нее быстрый? Поймет, какой хороший у нее сын и как он ее любит? И, может, тогда она тоже полюбит его? Меня? Ведь любит же она моего маленького брата... Брата, которого я почти никогда не замечал, ни против света глядя, ни по. Но это не потому, что я такой, – спросите у отца, он скажет! Просто... замечает тень. – Кто? Того, кто стоит за ее спиной, – увидит кто? Всю свою жизнь я бегу и бегу, чтобы мама меня заметила и полюбила. И я уже не сержусь, что случилось так. Я уже большой мальчик, я сам теперь люблю ее. Я прочитал эти страницы, написанные задом-наперед, от настоящего – к прошлому, от точки – к буквице.

«Я не сержусь», – говорю я спустя столько времени. «Я не сержусь, но мне это очень неприятно. Обидно.» «Прости, – говорит она, когда минует мы двенадцатый. – Я с подружкой болтала, давно не виделись.» Весь идиотизм ситуации в том, что она действительно все эти полтора часа могла болтать с подружкой. У народа «от сохи», того самого, которым я так заинтересовался, это, кажется, в порядке вещей: «Я ведь не изменяла тебе с кем-то, просто бросила тебя, приведи в ресторан, чтобы познакомить с друзьями, а сама ушла общаться с подружкой». А что? Нормально. Не изменяла же.

И прихожая темная, душные сумерки, рубиновый отсвет в листе. Светофоры. Пальто соскользнуло бесшумно, как кошка, со спинки дивана. Как зеркало, белая постель играет.

А ночью ей кто-то звонил, – я проснулся первым и, замерев, ждал, когда он перестанет, когда прекратится этот ужас, когда – хотя

бы! – проснется она и сделает с ним что-нибудь, отобьется, например, оборвет эту ужасную нить, которую кто-то протянул неизвестно откуда, откуда-то из своей темноты; и она проснулась, а я притворился спящим, – и пообещала: «Завтра», – и, надавив, уронила на пол и повернулась ко мне, и прижалась животом, и коснулась коленями и дыханием. Я подумал тогда, что язык у нее твердый и острый, как клюв.

Я обнял ее крепко-крепко, чтобы остаток ночи падать туда, на дно трех источников жизни с камнем на шее. Вместе падать, к началу, к буквице, как хотелось мне с самого детства, когда отоснятся васильки и отпустит жар, и слабые руки уже могут держать, а глаза – видеть: «Ай во том во городе во Рязанюшки...», видеть: мать дома, со мной; видеть: утренние тени еще не поднялись, не отделились от ночи; видеть: все-все по-прежнему, и время, бежавшее вперед, никуда никого не вывело, и я целую плечи, и живот, и спускаюсь ниже, до конца, до самого дна, где пахнет горьковато и кисло,пряно, знакомо... Так знакомо, с самого детства. И страшно, и радостно это: со мной. Наконец-то со мной! Но... кто это? Кто она, Господи?

Что делать мне? Оглушенный, я корежусь смущением, и ликование выгибает меня. Что, что делать, когда уже поздно, все-все на свете уже поздно? Уже и зрелость, и Бэтси, и дом с переездом, и молодость, выползшая из-под камня словом и музыкой, и детство в сумерках терпких, как йод, и на тонких своих комариных кольшешьях в нем от страстей, в воздухе звонком, холодном, летая над дорожками парка... Крутишь головой настороженно – там ли? Почудилось? Или – вот голос тот недостающий, чтобы сложилась, наконец, жизнь от начала? Кто призывает там – из темноты?

Столько новых дорог я увидел в тех сумерках, но ни одна из них никуда не вела: казалось, что все они кончались стеной или бездной. Наверное, бездной.

– А помнишь про *улицу* Фрунзе?

– Про нашу *улицу* Фрунзе? Конечно, помню! Завод, где работала моя мать, находился как раз на этой улице, и мы с отцом часто ездили туда встречать ее после смены. Мне было тогда лет пять... или четыре? Да, где-то так, четыре–пять. Туда ездил автобус шестьдесят третьего маршрута, как всегда, набитый битком, и зимой, и летом. Мне нравилось ездить: мне уступали место, водитель объявлял в микрофон названия остановок, а иногда меня даже просили передать деньги за проезд, и я радовался, принимая из рук горячие медяки и передавая их дальше быстро-быстро, чтобы они не успели остыть. Это была для меня такая игра. Поездки все же были довольно утоми-

тельны, от частоты своей они сливались в моем сознании в какое-то одно бесконечное, жаркое и веселое путешествие, но одну из этих поездок я запомнил отдельно и очень хорошо. Вернее, не саму поездку, а то изумление, которое испытал, когда услышал, как из динамика над головой прозвучало: «Улица Фрунзе». Пораженный, я встрепенулся. «Фрунзе». Я уже знал это слово, знал, что оно означает полет на самолете (а еще – кожаные чемоданы, веселые сборы, ночное такси), бабушку, ее дом и сад, ослепительное солнце и жар. И праздник. И свободу от матери. Раз в году. Как же так? Выходит, Фрунзе находится совсем рядом, и туда вовсе не обязательно лететь на самолете? То есть туда можно просто доехать на нашем шестьдесят третьем? И как жаль, что мать работает совсем рядом... Может быть, поэтому она никогда и не появляется у бабушки? Раз бывает там каждый день на работе? От такого открытия у меня захватило дух, и я радостно закричал: «Папа, давай мы зайдем к бабушке, мы же во Фрунзе!»

И еще долго потом я пытался вникнуть в объяснения отца и поверить, что чуда нет...

– Ты бы спился с ней, – сказала мне однажды Бэтси.

Я молча кивнул.

Или это было с Татьяной, когда раскурили мы славный паровоз на двоих и, выпустив дым первой, с отягечкой, прищурилась она: «А ты не думаешь, что у нее там кто-то есть? Дануля говорит, что она ей как-то проболталась, что снова начала встречаться с тем... с которым летом...» И благородный благородством своим, сладким возносимый дымом, я отвечивал ей, что не хочу обсуждать этот вопрос за спиной у нее. Татьяна хмыкнула и, помолчав, вдруг спросила: «А что, ты правда мог бы? Бросить все и начать сначала?» И я ответил, что «да». И это «да» было, как моя печать на сердце, крепкое и честное. И еще одно «да» я великодушно уронил, пообещав, что конечно узнаю насчет кредита. В конце концов шестьсот тысяч – небольшая сумма, думал я легкий и счастливый тем, что сестра меня поняла и простила. И даже сказала: «Ладно. За любовь вам нужно будет бороться. Ну... ничего. Все, что происходит в этих стенах, – она обвела, насколько смогла, свободной рукой забор перед помойкой и ворота сзади (но я-то понимал фигуративность этого жеста, улавливал условность этих обстоятельств: речь шла о стенах родного *очага*), – никогда не выйдет наружу». И ветер, завернув, кинул облако дыма нам в глаза, и, шурясь, я увидел, как расплываются огни фонарей, как лучи тянутся канителью, и мерцает мир, и дрожит, словно отражение на скачущей волне там, в пионерском лагере «Восход», где была она

старшей пионервожатой, а мы, мелкота, – с гордостью говорили в отряде всем, что она – наша сестра. На «День Нептуна» она была кем-то в белом и в этом же белом полетела в воду под дружный хохот дружин, а вышла из воды стройной девой, полунагой в намокших простынях, с черными, свившимися у плеч волосами. Такой она мне запомнилась и пребывала в памяти до самой встречи в Москве.

Да, до самой нашей встречи в Москве мы больше не виделись, но все мое детство меня преследовали ее портреты: с крышек чужих чемоданов, захваченная немецкими декалькомани, она смотрела оболстительно и лукаво; с обнаженных бицепсов сумрачных мужчин – с вызовом, умудряясь держать за ухом гигантскую розу; с мутных фотографий в кабинах грузовиков и автобусов – загадочно, и даже Вильям Бугро – как я узнал чуть позже – не брезговал ею, увлекая в вечность. Я изумлялся до полуобморока, думая о том, какая удивительная у меня сестра: если не брать в расчет последнего, то ее образ был видимым обозначением *той самой* жизни, материальной границей того самого мира, о котором проникновенно и громко пели у соседа за стенкой Михаил Гулько и Иван Кучин; на связь с которым двусмысленно и скользко намекал родной брат моей матери дядя Женя, подаривший мне настоящую финку; мира, окруженного тайной и ореолом несправедливого, а потому ужасно благородного страдания. Он незримо существовал где-то совсем рядом, внушая отвращение, страх и – любопытство. В нем существовали, с большей или меньшей степенью достоверности, старушки-матери, ждущие сына, неверные жены и надежные подруги, таинственные «дела», прокуратуры, автомобили «Форд» и вольная жизнь, к которой был причастен даже мой приятель, недавно изгнанный из пионеров за курение (так он утверждал). Этот мир казался мне отвратительным, как табачный дым и грязные стаканы, которые я иногда находил в подъезде, я бежал его... Но поворачивал голову, если видел знакомый «роковой» образ.

Может, я и вправду спился бы с ней, а может и нет. Когда мне грустно и жалко себя – не знаю почему, просто так, вот просто так, когда хочется заплакать просто так, когда хочется лечь, прямо, где стоишь, – просто так, без причин, – тогда я думаю, что да, наверное бы я спился. А когда в душе моей гостит ликование и держится за стенки, – чтоб не вывели, – то кажется, что нет. Что я смог бы сдвинуть ее, оживить, сделать покладистой и умной, объяснить, как нужно правильно любить и писать, что не нужно джинсы натягивать на каблуки и коротко стричь ногти, даже если ты повар, что взятое взаймы нужно отдавать; что говорить за спиной человека гадости о

нем, улыбаясь ему в лицо, неэтично, а обманывать и красть – нехорошо, даже если у тебя «детство было такое»: теперь-то ты взрослый, теперь-то можешь понять. Или хотя бы прислушаться.

А еще я часто думал: «Почему ей никогда не бывает стыдно? Вот ни за чтошеньки. Только усмехается: ‘Ну было и было’». Ужасался тому, что однажды угадаю – почему, а все равно думал, словно надеялся, что угадаю и ей расскажу, и научится она стыдиться, и станет от того совсем прямо настоящей женщиной. Но... слезы ее я видел: мутные такие, мелкие, а стыда – нет. Слезы – это когда уже про те фотографии речь держал. Когда уличил ее. Она сначала отпиралась, говорила, что они фотографировались еще прошлым летом, а дата снимка недельной давности потому, что так файлы скопировались, но на часах-то там, на стене – восемь с чем-то, а за окном уже темень! Такой темени, дорогуша, у нас летом и в одиннадцать не увидишь!.. В общем, плюнул я на это дело, забил, как говорится. Да и то: вечер, она с работы только пришла, есть хочет – сапожник без сапог, что ли? – а я тут с расспросами. В общем, пустила она слезу, а я пельмени ей накладываю и думаю, что слезы ее мутные, как этот бульон, только не соленый он – не нашел я соли.

Тяжелый был вечер, что уж говорить. У нее – работа внезапная (а ведь отпрашивалась на работе, предупреждала!), у меня – сон этот недавний, дурацкий... Хорошо, что позвонили ее друзья с работы и позвали в кафе. Она обрадовалась, слезы – одной рукой! – вытерла, «поехали!» – говорит. С друзьями тебя как раз познакомлю!

А у меня тоже: как отлегло прямо. Поехали! – говорю. Вчера вот погуляли у Оби, дом твой посмотрел, а сегодня друзей твоих увижу. А потом – даст Бог – и ты на Иртыш согласишься. В общем, оставил я это. Зря, может быть, но – как тут? Она вот, стоит, улыбается, а фотографии эти... ну их к шутам. Так мой дед из Кабырдака всегда говорил. Что-то не получается у него – «Ну его к шутам».

«+7 999.....»

Пашел нах- придурок. В сваих ящиках шарься понял.»

А может и не зря: все равно ведь ничего не вышло... Не судьба, видать. Но жаловаться мне на это – грех. Да, боюсь, спился бы я с нею, ей богу – спился бы, и жизнь свою за пустяк бы отдал, а так вот миновал-то мели да окольным путем на глубину попал такую, что и захотел бы – не придумал. Все само открылось, все так близко прошло, что задумаешься лишь, – мурашки бегут стадами и дыбят волосья, как тогда, когда механизм этот в первый раз мне во всей своей красе явился, во всем величии. Когда все-все колесики, все зуб-

чики их и оси я разглядел, все пружинки-анкеры услышал. Шелест этот неслышный и страшный, метания и маяту латунную, когда я понял, что Бог – это Бог, а человек – человек, и нет у Бога ничего человеческого, а есть лишь Правила Игры, установленные им, и если ты следуешь этим правилам, то – живешь, а если нет, то увы тебе, а о морали можешь и не думать, забудь ее, мораль эту.

Я потом, когда от депрессии лечился, много чего передумал, прежде чем понял это. Когда письмо ее получил – даже обрадовался! Честно слово, обрадовался! Вот когда читал: «У меня теперь есть муж, и я на втором месяце беременности...», – просто блаженствовал! Потому что тихо, наконец, стало, тихо-тихо в моей голове, и отдохнуть я смог наконец-то. Все эти полгода у меня в ушах стоял такой звон, что башка просто раскалывалась, я и ни спать не мог, ни думать, ни читать, и не слышал никого даже. Только если меня потрясут за плечо, тогда напрягусь, понимаю, что сейчас говорить мне будут, – услышу. А так – нет. Бэтси намучилась со мной, конечно. Хорошо, что не бросила. Хотя имела право. Я бы не роптал. И не потому не роптал, что «имела право», а потому, – что, значит, это тоже по Правилам было бы. Нарушил – получи. Тут все просто. Жалко, что я это не сразу понял. Эх, мне бы вот с бабой Зиной об этом поговорить, да где уж теперь... Хотя не факт, что она смогла бы что-нибудь рассказать мне об этом. Даже если бы и захотела. Возможно, что она просто интуитивно следовала тому, что китайцы называют «путь», а словами можно выразить только как «хорошо» и «нехорошо». Сюда пошел – обжегся, а сюда пошел – исцелился. А может, баба Зина и вообще бы говорить со мной не стала. С годами она становилась все более капризной и крикливой, и у собеседника при взгляде на нее все реже возникали в голове слова «божий человек». Я хорошо помню последний год ее жизни: худенькая детская фигурка, маленькая головка в белом платочке, слезящиеся, красные глаза. Кисти рук, хранимые у пояса, крупно дрожат, и пальцы словно солят перед собой землю. И еще помню – жара, виноградник, зеленый только у веранды, а дальше, в глубине – сад, запущенный ее дочерью и внучкой, выползавшими из пут равно и приличий, и социализма резво и удачливо, и беленый домик – внутри и снаружи, но только со стороны солнца пахнущий горячей извешкой, а изнутри, со стороны жизни – ванилью и свечами...

Что бы она могла сказать, если бы и захотела? Она, на протяжении последних двадцати лет наблюдавшая, как расплывается по швам реальность и рушится, как стены Иерихона, от безмолвного натиска врага рода человеческого. Она стоически пыталась переносить крах мира и семьи, молча, не унижаясь до упреков, но иногда прочные

затворы не выдерживали, и я через улицу слышал, как кроет баба Зина матом дорогую внучку Таню, четыремя годами допрежь меня рожденную бывшей партийной активисткой Галиной Вагиной, находившейся в состоянии вечного боя со своей постыдно уповающей на Иисуса, а не на КПСС, матерью, – за то, что та даже помидоры на салат режет лежа на кровати, прямо в поставленную себе на живот тарелку; слышал иногда, как за стенкой молится она о том, чтобы Бог вразумил хотя бы ее дочь и внушил ей ценности семейной жизни, либо попросту сотворил чудо и даровал ей мужа, раз сама она во грехе безбрачия упорствовала до старости. Все было напрасно. Дом без мужских рук ветшал, как женское тело, а тетя Галя Вагина жила как закоренелая феминистка и из мужчин признавала и принимала в гости только нас, малолетних племянников да своего брата Николая. Как удавалось продолжаться сему роду? Бог весть. Вероятно, это-то и было настоящим чудом.

Но бурьян порождает бурьян, и Татьяна, когда настало время, повторила путь своей матери, а мать, соответственно, – путь бабки: партийная активистка, гордящаяся тем, что некогда зачитывала в Ленинграде свадебный приговор самому Иосифу Кобзону, тихо окончила свои дни в московской провинции, куда была с почетом сослана погрузневшей дочерью, дабы не мешать аферам, вершимым на рынках недвижимости и проституции, там уверовав и истово молясь неотзывчивым образам, а сама Татьяна, уже привычно пренебрегая семейной жизнью, родила дочь Диану, девушку молчаливую, скрытную и волевою. Иногда я пытаюсь вспомнить взгляд этой двадцатилетней девушки, но не могу. Лишь помню ее глаза: словно два рождественских шарика. Колыхнутся – и летит, кружится в них то белый снег невинности, то серый пепел забвения...

«+7 999.....»

Ни нада прилитать. Я нукуда ни паеду.»

Все – под покровом, все втайне и в тишине. Все негласно и незримо. Ссоры и примирения, ненависть, любовь, ошибки, озарения – вполголоса, и даже шепотом. Всю жизнь все наше многочисленное семейство, как сорняки, ведет свою скрытую и упорную борьбу за жизнь на общем поле, и если кому в последних трех поколениях и удалось воспрянуть вверх, то именно как сорнякам: дерзко и ненужно. Бесполезно.

– Это как в том разговоре ночью, когда появился ты?

– Да, когда Татьяна, взяв паузу, вдруг вдохновенно зашлась в живописаниях красивой жизни каких-то знакомых ей мафиози, тор-

говавших оружием по всему миру, а потом скупое, намеками дала понять обалдевшей племяннице, что она, Татьяна, и сама – ого-го, и вот только дай срок, и она развернется, если все дело выгорит...

– И племянница...

– И племянница кивала, покачивая босой ногой, а я, присев на край постели, сам, дерзко – раз не приглашают, – то усмехался, слушая, то пытался понять: что это? Спектакль? О чем они говорили до полуночи, ведь не об этой же галиматье! Тогда о чем? На полу стояла пуста винная бутылка. Вяли бокалы рядом...

Как можно вдохновенно врать и слушать это, когда за стеной храпит и молится обрюзгший человеческий шлак, еще совсем недавно тоже считавший себя вхожим во всякие небесные горкомы и райкомы, а теперь – слава богу, хоть не брошенный в своей деревне оперившейся дочерью. Может, то – свет под сурдинку лампы? Мерцание снега за окном? Шепот? Покров тьмы и скрип половиц дурил головы? – Все, все негласно и незримо. Я помню, как начинала с Вагиными поиски этой «красивой жизни» в конце восьмидесятых другая тетя Галя – мать Юрчика, и как потом все пошло как-то не так, как уцелели только *эти*, а Юрчик, повзрослев к тому времени достаточно для того, чтобы жить самостоятельно, прихватил юную жену и новорожденную дочку, уехал, скрылся от чего-то страшного прочь, в небытие, став именем и тенью, как и мой младший брат. И с какой злобой говорила о неудачнице Татьяна... Через силу. Шепот и покров. Зыбкий мир, в котором, как оказалось, нормы и правила существуют не для всех, в котором можно, открывая пинком нужную дверь, получать многое, не давая взамен ничего. Как я восхищался в безмозглой своей юности ими, потрясавшими устои, как я хотел быть среди них! И как они отличались – мой мир и их мир – от той школьной, газетной тягомотины, которую возводили на каждом углу убогими декорациями нового светлого будущего вожатые всех мастей... Видимо по признаку несходства с официальным полуживым убожеством, два полнокровных таинственных мира объединились в моем сознании в одно, вот только... Вот только ночные споры, тихие скандалы, беззвучные слезы... Вот только дележка громким шепотом, дележка, на которой делили меня... Это ведь тоже оттуда, из одного из тех миров. О чем думали тогда мать и отец? Что кому-то из них удасться перетащить меня на свою сторону? Что я останусь с кем-то из них и начну новую жизнь, на новой стороне? Но с кем бы я ни остался, я падал, я проваливался в щель между двух миров туда, где есть только я и мой страх, и пот, и еще – вещи, удивительные, фантастические, выдуманные вещи, которые танцуют и подпрыгивают перед закрытыми глазами, в такт моему скачущему сердцу. И в этом падении сол-

нечная, ликующая родина моего отца притягивала меня сильнее, чем холодные и неприветливые земли матери. Однажды, лет в двадцать с небольшим, я тоже попробовал осуществить свою мечту о «красивой жизни», занявшись легонькой спекуляцией, – благо время перестройки этому тогда способствовало, и с удивлением обнаружил, как легко мне это дается, как легко расходуется товар, как необыкновенно множатся деньги. Моя любовь к вещному миру добилась взаимности.

Чего не скажешь о людях, тех странноватых и страшноватых темных людях, которые крутились рядом со мной и так же плевали на святую социалистическую законность, которых я побаивался и лишь издали наблюдал их ведьмины круги, даже не пытаясь войти вовнутрь; они глядели на меня пренебрежительно, как на удачливого дурачка, не принимая всерьез. Смеясь над моими принципами и доморощенными представлениями о порядочности. Зыбкие миры с жесткими правилами. Я поражался их одежде, их повадкам и языку. Более всего – языку. Он был груб и неповоротлив, не признавал никаких правил, он одновременно и коробил своей уродливостью, и в то же время поражал своей убогой беспомощностью в попытке выразить что-то человеческое. Им пелись песни про тоску по воле и столы, ломящиеся от вина; там, где пелись они, с каждой плоской поверхности размером чуть больше ладони паялился из обшарпанных овалов с виньетками лик Татьяны, а перемещения в пространстве совершались исключительно на такси, но именно чуждость этого языка меня сначала насторожила, а потом и вовсе отвратила прочь. Я, познававший к тому времени мир языком, как змея, отверг его. Вещный, рукотворный бранный мир. В нем было мало воздуха, не хватало пространства. Я, уже к шестнадцати годам научившийся не только брать, однажды подумал, что этот мир так тесен, что будь у меня крылья, мне было бы здесь не повернуться. То драгоценное содержимое, что созревало во мне, как из коньячной бочки, сквозь поры канителю тянули чудными словами ангелы, сматывали, как пряжу, денно и ночью, – и только! Но ни всеблагостью Господь бабы-Зины, ни бранный этот мир пряжи не принимали. Где была та Элиза, которая могла бы скроить рубашку, хоть одну? Не в этом мире, рушащемся на глазах, переходящем прежде жизни, в мире, который живущим в нем приходится, чтобы не рухнул сам смысл их существования, наполнять все новыми вещами, новым достатком, а то – уж! – в зияющие черные бреши хлынет пустота и страх, страх, страх... Цыгане, цыгане придут и украдут!

Аскеза и самоотречение бабы Зины оказались не впору и Татьяне. Вероятно поэтому, едва повзрослев, она устремилась в жирную, зыбкую Москву.

– Ты помнишь? Тогда, в санатории Русакова, вы стояли на балконе арендованного ею таунхауса, и она восхищенно стонала: «Москва, Москва!»

– Конечно, помню. Была весна уже следующего года, около часу ночи, было тепло, и был легкий ветер. Облокотившись на перила, мы держали в руках бокалы, похожие на маленькие антенны ностальгии.

– Что вы пили?

– Не помню. Скорее всего, как обычно, «Ля Круа дю Пэн», мерлушку, – я принес с собой пару бутылок.

Вернувшись на кухню, продолжили осаду минувшего уже тяжелой артиллерией, но с прежней смолистой ноткой прошлого – это уже Татьяна расцедила на «Бомбей-Сапфир» и колючие слезы «Хосэ-Куэрво Репосадо». Ей постоянно звонили, и она произносила томно, игриво: «Да, двести... Нет, если полностью, то пять тысяч. Одну?» Я пьянел, и в голове моей эти слова звучали, повторяясь на все лады, звуковым фоном всего вечера. Потом она кому-то перезвонила сама и сказала, что на сегодня хватит, приехал в гости брат, нужно посидеть. Повернулась ко мне: «Бросить я хочу все это, братишка. Осточертело. Всех денег не заработаешь, да и накрывают наших постоянно, вчера вон на Новокузнецкой облава опять была, троих взяли. Я риэлтором решила стать, на курсы с нового года хочу записаться. Машину нужно будет купить, я уже присмотрела себе ‘мазду’, троечку. Поможешь с деньгами?» «Конечно», – беззаботно ответил я. Как не помочь сестре? Той самой, что пела и играла на баяне и была старшей пионервожатой моей смены? И вот сейчас: вечерние посиделки, *те самые*, как тогда, в Канте. Только где они, баба Зина, баба Дуся, мама Фрося?.. И где-то там, в нефтеносных своих северах, заканчивает учебу и собирается переехать сюда *она*. Татьяна вздохнула. Легкая горечь...

– «Бифитер»?

– Да, потом был «Бифитер». Диана сидела рядом, доцеживала вино безмолвно. Незримо. Присутствовала, как черная дыра, стягивая на себя течение мысли, ток тяжелых воспоминаний: «Они же там все пили по-черному. И Маринка, и муж ее, и Люба, когда вернулась. На что пили? Непонятно. Ну, сначала-то, пока деньги у Любы оставались от проданной квартиры, гуляли на них, а потом-то? Никто же не работал, баба Валя уже тогда совсем старая была, по хозяйству и то управлялась с трудом. Да, там и хозяйства-то осталось... Одна корова. Землю киргизам продали: самогон-то надо было на что-то покупать. Я пока жила там, моталась туда периодически с дядь-Колей, денег подбрасывала, чтоб хоть ее-то на что-нибудь могли кормить, да продукты привозила – один хрен, деньги пропьют. Ну так тоже ведь, от Канта до Николаевки почти двести километров, много

не накатаешься... Приезжаю как-то – она вся грязная, луковицу жуёт: три дня ничего больше не ела, нечего. Ей сколько было-то... Девять? Да, девять. А потом сюда уехала. Да и с Данулей тоже тогда проблемы начались: она ж чуть в секту не угодила... Да! Пока в Канте с матерью да баб-Зиной жила. Я как узнала от матери, срочно все бросаю, лечу к ним, а тут звонят – баба Валя умерла. Ну, мы с Вагиным на машину – и туда. Приезжаем. Марина, Саша и Люба просто никакие, спят. Пили, не переставая, уже почти неделю. Баба Валя лежит в зале, на столе, рядом банка с остатками черного, как деготь, самогона на дне. Под столом – черный целлофановый пакет: досок нет, денег, чтобы купить гроб или доски, – тоже нет, так они в пакете ее этом хоронить и собрались. Ну, Николай мужик здоровый (хотя и у него от всего этого сердце прихватило), пинками их поднял. Были выходные и купить что-либо было негде, да и поздно уже – пора хоронить, третий день. Полезли на крышу, разобрали ее, из досок сколотили ящик, в котором Валентинку и похоронили...»

Эту Николаевку и дом Зиминых я помнил относительно отчетливо. Первый раз туда мы с Наташей и Юрчиком попали летом восьмидесятого года. Бабушка забрала нас из лагеря на три дня раньше, и человек, бывший Юрчику за отца, сразу повез нас в Николаевку на своем служебном «пазике». Бабуля ворчала, но улыбалась. Я помню, как трясло на колдобинах автобус и как подпрыгивали, хохоча, мы на заднем сиденье, пока не устали, пока не заснули, разбредясь по свободным от вещей местам. Пазик ехал долго и уже ближе к ночи въехал на главную площадь перед сельсоветом, немного покружил и остановился у самого последнего дома, на самой последней улице. Оттого, что движение наконец прекратилось, мы разом проснулись. Вышли. Водитель с опаской открыл ворота, но собачья будка пустовала, и мы вошли в сени, а дверь из сеней в комнату нам открыла уже сама хозяйка дома, баба Валя, медленно выбиравшаяся навстречу. Муж ее, Петр Зимин, пивший в течение всей своей сознательной жизни, недавно повесился в сарае, оставив неизвестно кому в наследство целую пирамиду опустевших ульев. О смерти деда Петра нам шепотом, отведя в сторону, сказала бабушка, предупреждая, чтобы мы не спрашивали о дедушке у Валентинки.

Сарай оставшиеся жильцы разобрали, ульи перенесли в сени, где расставили вдоль стены, как сундуки, набросали поверх тряпья, и ульи стали лежаками. Пахло в сенях, как в церкви, и было темно. Бабушки, приходившиеся друг другу теткой и племянницей, занялись устройством ужина и ночлега, шепчась о своих печалях, а мы... Не могу вспомнить. Может быть, слонялись по дому в ожидании, пока

позовут за стол, может быть сели смотреть телевизор. Да, скорее всего, – телевизор. Показывали Олимпиаду. Потом были новости, в конце которых диктор сказал о том, что вчера умер певец Владимир Высоцкий. Еще я помню, как после ужина нас повели на двор – мыться, как во дворе поставили таз и рядом керосинку. Керосинку, приподняв стекло, зажгли, а в таз нагаскали из кухни теплой воды. Бабушки велели нам с Юрчиком раздеться (свои майки и трусы можно было бросать прямо на землю, рядом с тазом), и пока мылся один, другой, в колеблющейся темноте, стоял рядом уже наготове, в ожидании своей очереди. Наташа крутилась рядом, но когда стали мыть ее, нас с Юрчиком загнали в дом.

Спать нас положили в зале, на полу. Прямо над головой стоял цветной ламповый телевизор и, чтобы смотреть его, лежа на животе, приходилось сильно запрокидывать голову. Но долго мучиться нам не пришлось: скоро телевизор выключили, выключили и свет, и в упавшей темноте я видел, как блуждают на умирающем экране цветные полосы, сливаясь в белое пятно, медленно тающее, уходящее куда-то в глубину. Дом свернулся клубком и замер, набрав в рот тишины. Той же, что была и вне стен его. «Спите, а то цыгане украдут», – привычно прошептала нам бабушка и тихо ушла в комнату племянницы.

Утром я проснулся первым, осторожно выбрался из горячей свалки тел, которые беспокойные сны разметали далеко за пределы матраса и, перешагивая и глядя под ноги, направился в прихожую, к сумкам: где-то в одной из них лежала моя зубная щетка. (Изуродованный тюбик «Поморина» еще накануне вечером я приметил во дворе на рукомойнике.) На пороге прихожей я вдруг замер от неожиданного стука и поднял голову: за столом сидела девушка. В руке держала кружку с чаем, рядом лежал нож и батон хлеба.

– Привет. Я знаю, вы вчера из города к бабуле в гости приехали.

– Не, не из города. Мы из лагеря, нас раньше забрали.

– А я – Люба. А вон Маринка спит, – я глянул в направлении протянутой руки: из-под лоскутного одеяла, брошенного прямо на ульи, торчала копна пегих волос. – Моя сестра. Младшая. Мы ночью пришли. Кукурузу сторожим. Колхозную. На поле.

Говорила она отрывисто и с каким-то нажимом. Помню, что это было мне неприятно. Не знаю, почему: вроде общение было дружеским, но вот акцент этот... Словно доказывала что-то. Втолковывала. Вдалбливала. Ставила отгиски и, прищурившись, любовалась впечатлением. И взгляд больших выпуклых глаз был каким-то невосмым, нечеловеческим.

Я спросил ее тогда: «Что для тебя самое важное в семье?» И она ответила «Взаимопонимание». Она, уже давно вравшаяся кромешно, бесовски, валом, масть на масть, покрываясь ложью ложью, ложью все более глупой и беспомощной от раздачи к концу игры. И я промолчал, и молчала она. До тех пор, пока течение сна не развело наши «полуторки», втиснутые в двуспальную раму, в стороны и одеяло, бывшее одним на двоих, не потерялось где-то в ногах, и не упал в пропасть между нами золотой крест с ее шею, упал не потому, что разорвалась цепочка, а потому, что замок, скреплявший два ее конца, разъединился вдруг, и – соскользнул крестик, исчез, словно след улетевшей птицы.

И уже не хочу я знать, о чем думала она и какого взаимопонимания хотела, что заставило ее тогда, среди ночи, вдруг проснуться, подскочить и сесть на кровати, уставясь в темноту, а секунду спустя упасть обратно; и уже радостно я прохожу мимо призраков ее, не откликаясь, с облегчением таким, с каким следующим утром позволил ей из «Внуково» затеряться в собственной бездне расстояний и лжи. Провел только рукой по лицу, словно касалась щеки еще зеленая ткань футболки, да лихо запрыгнул в отходящую уже до «Югозападной» маршрутку, а там – вышел, и след мой таял за мной, едва успевал я убрать ногу, и вскоре я затерялся и исчез совсем.

Время оранжевых фонарей...

Дни, словно мелодия, поставленная на повтор. Мелодия на диске, который давно искал купить, диск – в плеере, который давно мечтал занять. Ну, например, «Tascam». Плеер – в квартире, собственной квартире, которую возделел (с моста – налево, на Маркса). Все детство, вся молодость ушла на погоню. Теперь все это есть, теперь звучит, крутится и живет легко. Повторяется каждый день, как мелодия, поставленная на повтор: легкая и прозрачная. С утра – чуть прохладная, к полудню набирающая страсть и умиротворенно затихающая к ночи. Август, благостное время. В Сибири светает рано и темнеет поздно, в домах прохладно и тихо, в пустыющих душах прохожих – томление и сквозняк. Еще в подъезде сверху донизу пахнет остро и дразняще: гниют и бродят брошенные в мусоропровод фрукты и цветы, но ступени лестниц уже чисты, вымытые недавно, и свежий аромат сырого бетона исчезает стремительно, как случайное воспоминание. Все уже есть, и все можно опять утратить. Пастельные краски, далекие звуки. Шумы, доносящиеся из-за закрытых дверей сейчас, равновеликие тем, что живут в прошлом. «А ты не боишься все потерять?» – спросила меня тогда Татьяна. Тогда, когда от «корабля» осталось уже меньше половины. «Нет», – ответил я ей. Восхи-

щенный своей мужественностью и ее искренним, до слез, участием. Мне нравилась ее прямота. Их прямота. Никаких этих интеллигентских околичностей. Отец, даже если иронизировал над кем-то, то делал это так осторожно, словно боялся разбудить объект своей насмешки. Мать была поразмашистой, но, к сожалению, меня для нее не существовало. Но милые мои девы, мои грации, мои мойры! Вы – та трехгранная призма, которая смогла соединить, собрать рассеянный большой свет воедино, вы стали для меня чудесным окном, волшебным кристаллом! Нашлась, нашлась та недостающая линза, которая выпала из фильмоскопа и закатилась куда-то на долгие годы, – мама-мама, зачем ты его так швырнула тогда! Все работает снова, я вижу эти цветные тени снова и слышу *этот* голос – для всей родни по отцу он общий, лишь раздваивается на мужскую и женскую стороны, но один шепот, сдавленный тьмой и смехом: «Цыгане, цыгане украдут! Тише!» – и едина пришепетывающая первая дрожь: «Я в тебе, мышуля», и едины рассказы страшные и смешные, рассказываемые вполхриповатого голоса в дальних комнатах, тогда и сейчас; длится повесть, как единая на всех история, утопающая в густой тени углов и лет, и одни на всех здесь предательства, обманы, гордыни, прелюбодеяния, пустые надежды и пышные мечты, опадающие раньше, чем сядет солнце; творимые бездумно и бессчетно, как единое же упование на то, что «Бог простит».

– Все квартиры, что мы с тобой снимали, находятся на четных этажах. Ты заметила?

– Нет. А это что-то значит?

– Нет, ничего не значит. Просто у тебя там, на Дзержинского, на Северной, на Ленина (из окна была видна Обь) и здесь – все разваливается пополам...

Я почти уже задремал, когда открылась дверь и вышла она. Вздрогнула, увидев. Замерла на секунду. Не сказала: «Привет», но – «Я знала, что ты прилетишь». И отступила, смущенная, скрылась за дверью. Что она там делала? Когда она вскоре вышла снова, я не стал спрашивать ее, и на то была причина: на лице своем она уже не несла ни смущения, ни тревоги, лицо ее было теперь непроницаемо. И, шагая рядом, глядя сбоку, я наконец-то его рассмотрел.

– То есть ты хочешь сказать, что раньше...

– Нет. То есть да. Не только не разглядывал, но и почти не говорил. Не говорили. Мы не говорили. Вообще, порой мне кажется, что все прекратилось не тогда, когда нас сдала «тетя Таня» и она начала истерить (хотя, признаться, я боялся, что она воспользуется тем чер-

ным ходом, которым в свое время ускользнул Петр Зимин, потому и прилетел к ней), и не тогда, когда я стал что-то подозревать, а тогда, когда у нас кончился общий словарный запас. Именно его дефицит, именно разное течение речей развело нас в разные жизни. Много лет спустя, кажется, в Калбе я, слушая как мои приятели обсуждают «ту симпатичную мулатку» или «вот эту стройную негрityяночку», поражаюсь: как они могу воспринимать их сексуальными, с их птичьим щебетом? По мне так они были не желаннее немых магазинных манекенов.

– И тогда ты...

– И тогда я вынырнул. Вынырнул и отдышался в чужом мире, неподалеку от Кабырдака. Огляделся и увидел узкие губы и несколько веснушек у носа, мясистые уши, маленький лобик. И одно за другим разглядывая, подумал, что я ее больше не люблю. А еще секунду спустя подумал, что я это не подумал, а осознал. Потому что о том, что я ее не люблю, я думал, еще сидя в салоне, ожидая приглашения к выходу (а рядом, параллельно с нами стоял еще один «Боинг», но готовящийся к вылету в Москву; последние пассажиры на моих глазах поднялись в его салон, и я подумал, что смешно будет, если окажется, что она решила лететь ко мне, и мы только что разминулись), и даже раньше, еще когда только думал лететь к ней, да все ждал ее смс со словами, что она сама, наконец-то, летит сюда, ведь учеба уже закончилась и пора подавать документы в ВУЗ; когда боялся за нее, когда еще дома думал и чувствовал за нее, пытаюсь отделить боль прошлого предательства от налипших пластами дней, но той же ночью был разбужен ее звонком: «Кот, я с подружками в боулинге, мы выпили немножко. Ничего? Тут так хорошо! Кот, приедь, забери меня, а то я здесь останусь», – под визгливый смех на заднем плане. И под тенорок. Когда, наконец, подумал однажды, что ее письма и смс чудовищны по своей глупости, а грамматические ошибки – просто идиотские.

И когда вспомнил то, как закончилась история с ее пропажей в кафе: уже спрашивая с нами, на лестнице, одна из ее подруг, лучась, предложила мне прилетать в гости почаще: парень я, кажется, хороший, а в Москве к тому же хорошо зарабатывают, так что в августе, например...

Я шагал и думал о том, что надо бы что-то сказать. Но говорить не хотелось. Хотелось спать, есть и просто молчать. Спать хотелось больше всего – глаза прямо на ходу закрывались, и я чувствовал, что еще чуть-чуть и у меня просто отвиснет челюсть. От усталости, от перенапряжения. Быстрым шагом мы отошли от дома и свернули за угол. Лавочка. Космеи. Ветерок. Умиротворение и покой: можно рас-

слабиться, с нею все в порядке. И даже, судя по тому, что в дом она меня не пустила, и мы удалились от него на «первой космической», – очень даже в порядке. Пусть. «По крайней мере, не повесилась, как ее дед, и не подохла от самогона, как мамаша», – безразлично подумал я. Значит, хотя бы этого греха на мне нет, а с остальными я как-нибудь разберусь.

Она что-то заговорила – до слуха долетало «прости», «останусь», «тетя... в ярости»... Исчерпывающий репертуар российских сериалов и кино про любовь. Я перебил ее и спросил, где мне можно снять гостиницу до утра. Она замолчала и молчала долго. Потом деловито встала и повлекла за собой: ларек, газета, телефон. «Однако, опыт есть. Видать, не в первый раз.» Я шел и вспоминал ее письма, смс. Первые. Потом – те, что были потом. Свою реакцию на них. Азарт, тщеславие... Я не подозревал их наличие у себя, я сомневаюсь и сейчас: были ли они присущи мне изначально? Или появились потом, возникли как обертона, когда зазвучало во мне... Что? Что во мне зазвучало? Что проснулось? Может быть, это *они* заразили меня? Горгоны. Две бессмертных и одна смертная. Младшая. Мать всегда покровительствовала, воительница. Любительница Кучина. Забрала тогда с собой в Николаевку, укрыла. А было или нет? Она говорит, что было. И что? Всего-то и делов, что интерес к этому делу проснулся с младых ногтей. В пятнадцать, после того, как мать умерла, – сбежала обратно к отцу. Прожила год с отцом и с мачехой и ушла, стала жить одна. Сколько у нее уже было? А я-то растрогался. Хорош... Еще вопрос, кто из нас идиот, она или я. А ведь умным себя считал. Считал ведь, а? Значит, тщеславие было. Было-было, не юли. Что-то где-то пошло не так. Не по правилам. Бэтси, когда узнала обо всем... ждала. Перетерпела все. Ведь она самая сильная оказалась. Ведь и не ушел, и прощения не попросил. Сидел все, думал: «Все идет по правилам». По правилам. Интересно, сестрица меня тоже «по правилам» сдала? Не туда ты полез дружок, не в тот ряд. У нее – «зуб за зуб», и все в расчете. Ветхий Завет. А ты? «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий...» Видел ты его? Вот тогда, с отцом вдвоем, ночью, когда молния? Видел? Что это было, теперь-то ведь понимаешь, понимаешь, почему плакал тогда, а? А совесть – потому что, Он, Христос, – совесть. В мир пришла совесть, и талион этот чертов уже не нужен стал. Значит, и они смертны. Она умерла давно и ходит так, как живая, а эти – обе – умерли, когда предали. И бытие бывает разным, как у нас с братом, и небытие – не равным. А эта мне: «Грех это»... Давно спохватилась? Тем-то бабки нужны были, а этой? Или вправду идиотка, или в доле была.

И... если есть теперь только совесть, то... что же, правил нет?

Правая рука моя дернулась и невольно сжала телефон в кармане куртки. Как тогда, когда дорогая сестрица позвонила и попросила к телефону Бэтси. Я еще удивился: зачем это? Голос ничего не предвещал. Я дал телефон жене и, стоя напротив, наблюдал, как в тишине меняется ее лицо...

Вспомнил, как подыгрывала матери Диана: за день до звонка на ВДНХ встретились, чтобы последний раз попытаться взять кредит. Безумная затея: на машину, которая будет оформлена на троюродную сестру. Может, они тоже рехнулись? Как и я... А эта – сделав скорбное лицо, заявила, что «мама уже золото свое собралась нести в ломбард». Все в себе... Родишь только бурьян, попомни мое слово: ваш мир особый, из него не вырваться никому. На вас только так можно, со стороны смотреть, как на крыс в зоопарке. Как хороните своих мертвецов, как ворочаете косными языками...

Мы нашли, наконец, этот дом – хозяин нетерпеливо открыл дверь, кивнул, с первого взгляда опознав своих клиентов, взял деньги, отдал ключи и вышел. Привычно. Мне даже показалось... Хотя нет, показалось. Темно в коридоре. Уже шатает просто. Какой загаженный пол. Тут явно никогда не разуваются. Интуитивно мы выбрали самую маленькую и дальнюю комнатку в квартире. В остальные даже не заглядывали, – миновали пустоту и тишину, и уперлись в конец коридора. Разобраный диван, кресло. Я набросил простыню, разделся, лег. Она села в кресло – по-мужски, широко расставив ноги, подавшись всем корпусом вперед и опираясь на сомкнутые лежащие руки. Не говоря ни слова, сидела так долго и словно всматривалась во что-то, потирая ладонью лоб. Скоро мне надоело наблюдать за ней, и я перевернулся на живот. И уже сквозь забытие почувствовал, как она разделась и легла рядом.

Дубай

Владимир Лидский

Слепая любовь

Я ехал на электричке в маленький городок Смоленской области, переименованный, кажется, совсем недавно в честь первого советского космонавта, – и Москва, со своим подтаявшим, почерневшим на обочинах дорог снегом, давно уже осталась позади, а впереди, – насколько видно было из окна вагона, – простирались заснеженные пустоши, лишь изредка помеченные обугленными вешками заледеневших деревьев. Электричка неслась, вместе с нею неслась молочная поземка, вырывающаяся из-под колес; я смотрел вниз и рассеянно думал о том, что все мы, медленно замерзающие пассажиры этого состава, резво бегущего к назначенной станции, – лишь безвольные щепки, взвихренные и отправленные в общий полет причудливой волей случайных обстоятельств.

Совершенно замерзший за три часа пути, вышел я на своей станции из замызанной электрички, и вместе со мной вышли под серое ненастное небо мои попутчики, несколько ожившие и встряхнувшиеся в предчувствии скорого тепла и горячей домашней еды. Мимо бюста первого космонавта, стоящего на платформе и глядящего в сторону железнодорожных путей, я пробрался в здание вокзала. Здесь было не менее тоскливо, чем в электричке: на кафельном полу расплзлась бурая каша нанесенного снаружи снега, вдалеке стояли ряды обшарпанных кресел, а в высокие вокзальные окна вползал мутный свет пасмурного дня, не умеющий разогнать полумрак помещения и легко вязнущий в густой вате темных углов.

Мне захотелось поскорее выйти на улицу и я, сунув руки в карманы куртки и с рефлекторной опаской взглянув на милиционера, двинулся к выходу на привокзальную площадь, а потом в поисках нужного автобуса пересек ее и... услышал испанскую песню, сопровождаемую гитарным перебором: чуть резкий, но очень красивый женский голос выводил вовсе не известную мне мелодию, в которой посреди влажной русской зимы, холодного ветра и тоскливого одиночества звенел зной сиесты, благоухали цветущие апельсиновые сады и бродили волшебные женщины в разноцветных сарафанах.

Между пирожковой и газетным киоском под стеной «Оптики» сидела женщина лет, наверное, семидесяти, рядом с ней расположил-

ся мужчина с гитарой – намного старше ее; лица их были обращены вверх... женщина пела, мужчина перебирал струны. И столько было в этом напеве горькой жизни, такая звучала в нем долгая судьба – со своим черноземом, да со своей вечной мерзлотой, что я остановился, замерев, и со сбившимся от волнения дыханием вгляделся в странную пару.

В ногах у них стояла жестянка из-под монпасье, куда прохожие время от времени бросали монеты и мелкие купюры.

Замерев, я слушал в волнении; они, кажется, почувствовали это.

Вглядываясь в этих людей и пытаюсь уловить какие-то тайные смыслы, связанные с ними, я видел матерчатые прохудившиеся сапожки женщины и подвязанные оборванными шнурками ботинки мужчины, драный платок на ее плечах и подобие шарфа на его полуоткрытой жилистой шее... Оба были слепые; женщина носила рваные шрамы на щеке, руки мужчины покрывала глянцевая пленка давнего ожога; лицо тоже было обожжено... они сидели, запрокинув головы, словно две горлинки возле ручья; она пела, он играл... я подошел ближе и вслушался...

...сидя на теплых, залитых солнечным светом ступеньках родительского дома, Исабель пела свою Испанию: трепещущие под знойным ветром серо-зеленые оливы и красноватые холмы, покрытые бесконечными лентами виноградников, пыльные сельские дороги да кирпичное здание школы за чугунной оградой... Спустя всего несколько лет, в чужой стране, она уже почти не помнила прошлого, только чистенькие комнатки их патриархального дома, украшенного белыми накрахмаленными салфетками, маленький ухоженный сад, полный яблонь, груш и сливовых деревьев, да винный подвал отца, где ей иногда наливали стаканчик красного. Хорошо запомнила она первые бомбежки и тот животный ужас, который испытала, увидев на улице убитую женщину с оторванной рукой... остался в памяти и уход отца, который, собираясь, положил в свою почтальонскую сумку половину хлебной краюхи, кусок сыра и бутылку вина, а потом звякнул антабкой винтового ремня и вышел в густые вечерние сумерки... потом провал, тьма... и только постоянное ощущение голода и страха... потом вспоминала она порт Сантурсе, – это название навечно отпечаталось в ее памяти, – и большой корабль под названием «Гавана», по трапу которого подымались дети... то была лавина детей, они шли друг за другом, подростки крепко сжимали ручки младших, и на груди каждого ребенка висела табличка с именем и фамилией. Таблички были разного цвета, дети с красными табличками отправлялись в Советский Союз, с голубыми – во Францию, с

желтыми – куда-то еще... На груди Исабель висела красная табличка. Дети потерянно шли по трапу, родители надрывно кричали; те, кто оставался еще на берегу, обнимались и плакали... Потом пароход, прощально погудев, отчалил и шел два дня; она не помнила пути, но хорошо помнила голод, так как еды в эти два дня не было вообще. Спали на палубе, вповалку, прижавшись друг к другу, потому что ночью было очень холодно, а днем бродили по кораблю, чтобы хоть немного развлечь себя, изучали его потайные уголки, являлись непрошенными гостями в машинное отделение, в трюм, даже в рубку – как настоящие первооткрыватели... наконец, прибыли в Гавр, где часть детей должна была сойти на берег; и тут началось настоящее столпотворение: пристань была запружена народом, люди кричали, размахивали руками, хватали сходящих с трапа детей за плечи; портовые жандармы и официальные лица пытались хоть как-то навести порядок... через некоторое время, когда малышей и подростков рассадили по автобусам и увезли, пристань несколько поутихла, но дети, оставшиеся на палубе, продолжали кричать, и тогда пристань поняла – в их сторону полетели батоны, булки и просто куски хлеба. На палубе то тут, то там вспыхивали драки и побеждали, конечно, те, кто был постарше да посильнее, но тут же, заполучив еду, они спешили поделиться ею с малышами. В середине дня все, кто еще оставался на «Гаване», покинули судно и перегрузились на французский сухогруз «Сонтай», который обслуживали китайские матросы. На «Сонтае» имелся просторный трюм, где каждому маленькому путешественнику был предоставлен чистый матрас. Плыли девять или десять дней круговую, так как немцы не пустили в Кильский залив, и пришлось идти Северным морем мимо Дании.

Балтика встретила угрюмым пасмурным небом и небольшим штормом, но это негостеприимство вскоре искупилось торжественной встречей в Ленинграде – с музыкой и цветами, где, едва сойдя с трапа, дети попали в объятия ленинградцев – их обнимали, целовали и тискали, как котят, не уменя и не желая сдержать своих чувств.

Несколько дней Исабель вместе с другими детьми провела в просторном доме, где всех переодели в матросские костюмчики, хорошо кормили, а потом стали распределять по детдомам: кто-то остался в Питере, кого-то отправили в Москву, Харьков, Киев, Куйбышев... Исабель попала в Обнинское, под Калугой; дом был хороший, доставшийся в наследство от детской трудовой коммуны, созданной здесь еще до революции.

Приехав и расположившись, стали обживать, обзаводиться бытом; почти сразу появились учителя, воспитатели, и через короткое время в интернате начались обычные школьные занятия...

...Исабель шмыгнула носом и стерла кулаком набежавшие слезы. Ей так жалко стало себя детдомовскую, а пуще того – себя нынешнюю, сидящую на шербатых нарах холодного барака, – усталую, замордованную работой, потерявшую надежду хоть когда-нибудь снова увидеть улочки Альгорты или Бильбао с его пышными зелеными холмами, подвесным мостом и собором Святого Иакова. Она тронула скулу: вчерашний синяк, полученный ни за что ни про что от злобной Агриппки, сильно болел и не позволял глазу нормально смотреть на мир; впрочем, что особенное можно было увидеть в этом мире? на что действительно следовало смотреть? – На серые покосившиеся бараки, крыши которых были покрыты толстым слоем слежавшегося снега? На сторожевые вышки с сидящими на них «попками»? На дальние холмы, покрытые спекшимся за века непроходимым лесом? А может, на ржавые ворота, возле которых день и ночь топтались замерзшие насмерть вертухаи? Или на грязные барачные нары, тонущие в сизом полумраке, напоенном вонью мокрой одежды и прелых портянок? Что вообще хорошего, красивого, нежного можно было увидеть в этом мертвом мире призраков и теней? Федор? Да, Федя... он один только и мог погладить по голове, да пожалеть, когда от иных ничего, кроме тычков и оскорблений, нельзя было получить; он один мог дать какую-нибудь еду, – тогда, когда все иные отбирали последний кусок... кто еще, кроме него, оставался здесь человеком и пытался сохранить в этом безвоздушном пространстве, в этом бездушном пространстве, свою единственную непродаемую душу, свое человеческое достоинство; кто хотя бы просто использовал возможность быть человеком? Никто. Кроме него, Федора. Понятно, что он был такой же, как все. Но он хотя бы пытался, хотя бы делал над собой какое-то усилие. А другие никаких усилий не делали, оставаясь вполне скотами.

Федор не издевался над зэками и не стремился к ужесточению режима; единственной его слабостью были женщины, на которых он ломался, продавая душу лагерному дьяволу. Конечно, другие охранники были несравнимо хуже, они просто насиловали чуть не каждую из вновь прибывшего этапа; Федор же выбирал себе одну, *выдергивал* ее и никому не позволял к ней прикасаться. Хуже – лучше... где вообще критерий твоего падения? Федор действовал так, как действуют животные в стае, не как люди в человеческом общении, – по праву сильного забирал себе понравившуюся самку и делал с ней все, что хотел, – в силу своего разума и своей, надо признать, не шибко богатой фантазии.

У него была комнатка в здании администрации, где стояла металлическая солдатская койка с панцирной сеткой и убогий стол;

угол комнатки занимала большая неуклюжая печь с лежанкой, — и здесь в беспорядке валялись оборванные одеяла, покрывала, да засаленный овчинный тулуп, здесь же, возле печи, было некое подобие кухни, заполненной сверх меры помятой и закопченной алюминиевой посудой; среди грязных, выкрашенных белой масляной краской деревянных полок, заставленных мисками да пустыми жестяными банками, висела на гвоздике связка лука и пучок зверобоя...

В этой нищей комнатушке Исабель бывала обычно тогда, когда Федор делал ей наряд на уборку помещений, — она приходила в администратацию, драила ледяной водой выстывший коридор, убогие, жалко обставленные кабинеты, а потом — уж видно по его протекции — ее и вовсе сняли с общих работ, и стала она лагерной «придурочкой».

По большому счету Федор спас ее в ту зиму, потому что на расчистке просек, где нужно было весь день махать тяжеленным топором, голодные и плохо одетые эчки мёрли, как мухи, и их даже не хоронили, а просто утаскивали на самодельных салазках за ближнюю сопку да складывали в штабеля. По весне обглоданные диким зверьем тела обливали солярой и поджигали. Несколько дней над лагерем стоял чудовищный смрад, который вертухаи пытались занюхать, а потом и залить вытребованным у начальства легальным спиртом.

Днем Исабель была занята на хозработах внутри лагеря, а вечером вертухаи выпускали ее за ворота, и она шла в административный барак — длинное, почерневшее от времени здание, похожее на сарай с низкими мутными окошками. Выдраив и вылизав помещение, она потихоньку скреблась в угловую дверь, за которой жил Федор, входила, и он первым делом кормил ее. Исабель испытывала к нему чувство какой-то детской признательности, похожей на ту, какую испытывает ребенок, регулярно получающий от постороннего взрослого особые знаки внимания — ласковый взгляд, ободряющее прикосновение, улыбку или доброе слово, а то и непритязательный леденец; она знала, что это не любовь, а только подобие любви и, тем не менее, все готова была отдать этому хмурому человеку, таящему за душой что-то страшное, мрачное, может быть, какую-то даже и преступную тайну... Он глядел на нее исподлобья, молча наблюдая, как она ест, потом подавал ей нагретую на печи воду и так же молча, тяжелым взглядом следил за ее нехитрым омовением над искореженным тазом; в темных зрачках его была потаенная мысль, которую Исабель не могла понять, — он рассматривал ее, изучал, беззастенчиво шарил глазами по самым потайным уголкам обнаженного тела, и скоро в лице его появлялась плохо скрываемая жадность, он подходил к ней с полотенцем, вытирал ее, брал на руки, как совсем уж маленькую, и клал на свою скрипучую солдатскую койку.

Ночная тьма, лишь слегка подсвеченная узкой полоской огня, мерцающего в топке печи, становилась волшебным покрывалом, и Исабель забывала о том, что она в аду... властные губы Федора еще больше погружали ее в беспамятство... она целиком отдавалась его воле, и они плыли по волнам своих горьких чувств, укачивая, баюкая друг друга, чтобы забыться, забыться, забыться...

Панцирная сетка его койки скрипела так громко, что предательские звуки слышны были не только в коридоре, но даже и на улице; иной раз кто-то невидимый подходил к окошку, прислушивался и участливо говорил: «Молодца, Федя, молодца! А ну-ка, наддай-ка, капитан!..»

Потом они лежали в уютной темноте, и на потолке вспыхивали оранжевые блики от упавших из печки угольков... Федор гладил ее макушку, а она, уткнувшись в горячее плечо любовника, вдыхала его горьковатый запах... он пах крепким табаком, собачьей шерстью, влажными бурками, дегтярным мылом и лагерным бараком. Этот барачный запах неистребим был в каждом обитателе зоны, он пробивался даже сквозь мощный аромат «Шипра», которым пользовалось лагерное начальство, а уж от рядовых охранников завшивленными нарами несло, как от обычных зэков.

Исабель дышала своим мужчиной и не хотела думать о том, что вот сейчас, вот уже сию минуту ей нужно будет встать, надеть свое вонючее рванье и выйти на сорокаградусный мороз... потом брести узкой тропинкой меж высоченных сугробов до лагерных ворот, где ее обшманоют вертухаи, а то и разденут, облапают, снисходительно бросив в кучу снятой одежды найденный кусок хлеба... потом бежать до своего барака, слыша за спиной лай потревоженных овчарок... а там войти внутрь едва освещенного помещения под свист и улюлюканье товарок, под недобрые взгляды «жучек» и поскорее, поскорее забраться на нары, забиться в самый темный угол, лишь бы скрыться от посторонних взглядов, от завистливого шепота и сдавленного мата.

Так же точно хотелось ей стать невидимой в Обнинском, ибо всё вокруг нее было там чужим, непонятым, страшным, и даже участливые воспитатели не вызывали у нее доверия.

С особенной настороженностью относилась она к преподавателю истории, сеньору Верхилию, которого хорошо знала и помнила еще по Альгорте. У сеньора Верхилию была кличка Марксист, потому что в подпитии он любил поговорить о правах рабочих и всегда категорически требовал избавления пролетариата от оков и цепей. К слову, во времена монархии он выражал свои политические взгляды

красноречивым молчанием, а во времена республики заявлял о них во всеуслышание.

В Альгорте он преподавал в старших классах, малышей никак не касался, но Исабель боялась его, как огня. Встречаясь с ним в коридорах, она старалась поскорее прошмыгнуть мимо, потому что глаза сеньора Верхилио, если уж случалось ему заглянуть в ее лицо, – испепеляли. Они были черными, глубокими, колючими и не предвещали ничего хорошего.

Ходили по школе темные слухи и о том, что у сеньора Верхилио есть в старшем классе тайная зазноба по имени Кармелита, которая даже не считала нужным скрывать, по крайней мере, от подруг-одноклассниц, свои близкие отношения с учителем. Может быть, впрочем, рассказы Кармелиты были просто фантазией быстро подросшей девочки, но отец ее, дон Игнасио, как-то услышал от одного из своих товарищей по бутылке реплику, задевающую честь дочери. Это стало для благородного родителя не только оскорблением, но и болезненной новостью. Он очень серьезно отнесся к ней, сначала хорошенько врезав товарищу, а потом прилюдно пообещав убить при случае сеньора Верхилио или, по крайней мере, отрезать ему ухо, как отрезают его быку, заколотому на корриде.

И ходить бы школьному учителю впредь покалеченным, если бы в один вовсе не прекрасный день радиоприемники страны не передали сакраментальную фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо»... Хотя, может быть, никакой фразы про безоблачное небо вовсе не звучало, а все это только романтические байки заезжих журналистов. Так или иначе, но в конце июля 1936-го вспыхнули сначала отдаленные районы протектората, потом мятежниками была захвачена Севилья – главный населенный пункт юга, следом – соседний Кадис, и таким образом вся Андалусия вскоре оказалась под контролем путчистов. Но республиканцы реагировали решительно и быстро; премьер-министр Хосе Хираль приказал немедленно раздать оружие сторонникам правительства, и мятеж стали душить, не давая ему разрастаться. Однако через некоторое время возмутители спокойствия получили изрядную помощь от Германии, Италии и Португалии. Республиканцы, в свою очередь, заручились поддержкой Советского Союза, в Испанию стали прибывать добровольцы из других стран, и началось формирование интербригад.

Вскоре война полыхала уже на всей территории страны. Это продолжалось несколько месяцев, города и селения переходили из рук в руки, и прежней жизни в Альгорте уже не было.

Между тем, дон Игнасио, отец рано созревшей Кармелиты, узнал вдруг о беременности дочери, – это случилось ранним утром,

когда она в ночной сорочке выходила из своей комнатухи в туалет. Явно выдающийся живот, днем тщательно скрывааемый складками широких платьев, слишком красноречиво свидетельствовал о грешках дочери. Дон Игнасио сходу, не говоря худого слова, вклепил сонной Кармелите звонкую пощечину, немедленно достал из укромного уголка свой короткоствольный «Каркано», доставшийся ему от отца, и в знобком утреннем тумане побежал к дому сеньора Верхилио. Разбуженный криками учитель, спросонья глянув в окно, увидел стоящего напротив дона Игнасио, который, пытаясь утишить сбившееся дыхание, целился в его дверь из своего карабина. Сеньор Верхилио в ужасе схватил одежду, резво побежал в дальнюю комнату, открыл окно, выходящее на задний двор, и суетливо выбрался наружу. Он был уже далеко, когда со стороны дома послышался выстрел, следом – еще один, а через некоторое время – и третий. Путаясь в скрученных штанинах, учитель быстро оделся и побежал дальше.

На шоссеной дороге его подобрали военные, двигавшиеся в центр страны, и через несколько дней он на перекладных добрался до Мадрида. Правительства республиканцев уже не было в столице, Мадрид готовился к обороне.

Сеньор Верхилио явился к начальнику штаба командующего подполковнику Висенте Рохо и попросил дать ему винтовку. Начальник штаба поговорил с учителем несколько минут, узнал все, что необходимо было узнать, и высказался в том смысле, что такому вояке, как сеньор Верхилио, найдется другая, хотя и не такая почетная, как оборона Мадрида, но все-таки тоже весьма важная работа.

Речь шла о вывозе испанских детей в страны, изъявившие желание принять маленьких беженцев. Но винтовку сеньор Верхилио все же получил...

Исабель лежала на нарах, и сон уже охватывал ее; вокруг все спали, только в дальнем нижнем углу, на шконке Агриппки, попивая чифирек, резались в карты барачные «жучки». Оттуда слышались возгласы торжества или сожаления, матерные вскрики и смешки; Исабель почудилось, будто бы она услышала свое прозвище – Испанка – и вспомнила свою первую стычку с блажными.

По окончании этапа всех новоприбывших повели в баню, и одна из «жучек» грубо выхватила у нее из рук шайку, пробурчав при этом: «Не трепыхайся... зарежем нахер!» В ответ Исабель одной рукой сцепилась «жучке» в волосы, вывернув ей голову, а другую – сунула под нос: ладонь была испещрена глубокими порезами, в глубине которых светилось гноящееся розовое мясо. «Я никогда тебя бояться, – сказа-

ла Исабель и с ожесточением отпихнула обидчицу. – Я уже резала один урка...» Вокруг нее сразу образовалось пустое пространство, она ухватила покрепче шайку и пошла к латунным кранам, где женщины пытались набрать воду, текущую едва заметными струйками.

В бане было холодно, мыла охранники дали всего несколько кусков, мочалок не имелось вовсе, и в довершение всего вместо горячей воды текла холодная.

Из глубины помывочного помещения явилась Агриппка, просунулась меж мокрых банных лавок и прошипела ей в спину: «Уж это тебя никак не спасет, тварь жидовская!» Исабель выпрямилась и сказала надменно: «Я – испанка! Хотеть ты знать моя национальность?»

В дверях толпились одетые в полушубки вертухаи и нагло разглядывали женщин, отпуская в их адрес грязные шутки. Опытные лагерницы знали, что с этой выставки многие зэчки пойдут в употребление – на угольные кучи, в пустые станционные вагоны, в сараи и каморки, а кому повезет – тех разложат, может быть, на заледеневшей клубной сцене, подсунув с тылу какой-нибудь отсыревший на морозе занавес.

Женщины мылись, охранники жрали их глазами, вдруг один из кранов громко зашипел и исторг кипяток, сопровождаемый клубами пара, – в этот момент, растолкав вертухаев, загородивших проход, в баню вошел человек с обожженным лицом и капитанскими погонами на плечах, с натянутыми на руки перчатками, и остановился впереди полушубков.

Так Исабель впервые увидела Федора; он стоял, удобно расставив ноги в добротных бурках, покачиваясь с носка на пятку и сложив руки на груди; ключья пара придавали его фигуре загадочную размытость. Женщины старались спрятаться друг за друга или хотя бы повернуться спиной к нескромным взглядам, и только Агриппка, не обращая на зрителей ни малейшего внимания, исполненная достоинства прошествовала к кранам и набрала в шайку туманного кипятку.

Федор разглядывал женщин, – медленно и со знанием дела, взгляд его переходил с фигуры на фигуру, где-то задерживаясь, где-то скользя без интереса; вдруг он увидел Исабель и замер, словно охотничья собака, почуявшая дичь. Агриппка, между тем, обойдя угол лавки, осторожно подкралась к Исабеле и плеснула ей на ноги дымящийся кипяток. Исабель вскрикнула, Федор, растолкав женщин, подошел к Агриппке и взял ее за горло крепкой рукой, затянутой в черную кожу перчатки. «Ты что же это?...» – злобно сказал он и, отвернув руку, вlepил ей тяжкую пощечину...

Женщины посапывали на нарах; кто-то спал беспокойно, бормо-

ча во сне, кто-то постанывал; было тесно, но теснота давала возможность согреться о тела соседок... Исабель спала и видела себя в теплом классе Обнинского дома, – класс был залит весенним солнцем... она стояла перед сеньором Верхилио, который очень строго глядел на нее. Даже и во сне Исабель ощущала приливы безудержного страха оттого, что учитель знает о ней что-то стыдное и подлежащее безоговорочному осуждению, что-то такое, чему нет прощения и оправдания, что невозможно искупить, а если и возможно, то лишь приняв суровое, жестокое наказание. И боялась она в итоге не учителя, а этого самого наказания, которое, казалось ей, вынести просто невозможно, ибо за чертой его – гибель, небытие. Сначала тебя мучают, испытывая на прочность твою физическую оболочку, твой дух, твою обретенную в страданиях мудрость, а потом – просто смахивают в пустоту, как заснувшую осеннюю муху, нимало не заботясь о том, что ты – не муха, а напротив, – мыслящее, сомневающееся существо. Тебя смахивают в заледеневший на морозе штабель из человеческих трупов, который обгрызают зимой лисы и куницы, а по весне – поджигают человекообразные обезьяны. Вот как наказывает сеньор Верхилио: он наказывает пустотой забвения, не оставляя тебе даже надежды на могилу, и вот почему следует его бояться. Но если ты говоришь себе: «Я никогда ничего не буду бояться», значит, ты выступишь и победишь, чего бы тебе это ни стоило.

Сеньор Верхилио смотрел прямо в ее душу своими колючими глазами, только то был уже почему-то не сеньор Верхилио, а Федор, что-то невнятно приказующий и тыкающий в грязное ведро, которое она держала.

Исабель стояла в длинном коридоре административной части, справа и слева от нее были двери кабинетов, позади – входная дверь, из которой нещадно дул морозный сквозняк, – она вглядывалась в лицо начальника и никак не могла расслышать, что он говорит; голос его звучал бесцветно, смазанно, и, как ни силилась она, слов разобрать было невозможно. Исабель понимала лишь, что Федор чего-то требует и чем-то недоволен, но никак не могла вдуматься в смысл его приказов. Наконец он дернул ее за плечо, и она очнулась. «Убери ведро в подсобку, – сказал Федор, – и иди вон в ту комнату... вон в ту... видишь там в углу?» Он повернулся, прошел по коридору несколько шагов и открыл дверь, на которую указывал. Исабель поставила ведро и через минуту зашла следом. В комнатухе было тепло, душно и пахло так, как пахнет во всякой холостяцкой берлоге.

Стоя в каморке Федора и вглядываясь в ее душный полумрак, Исабель видела себя выбегающей на солнечную улицу под сень

шелестящих на ветру олив: впереди – грунтовая дорога и белые домики на взгорке, а она торопится по мягкой дорожной пыли с пустой корзинкой в руках и вдруг видит прямо перед собой... мрачного Федора, стоящего на ее пути, она останавливается и задумывается: почему в такой яркий солнечный день дорогу ей преграждает этот черный человек в кожаных перчатках? А черный человек пытается ее обнять, говорит какие-то слова, уговаривает, что-то сулит... Исабель не хочет его, но он настойчив, упрям, ей хоть и не по нраву это упрямство, однако любопытна сама ситуация, когда ей не угрожают, не требуют ничего, не пытаются достичь своего грубой силой, а просто настойчиво уговаривают, просят, может быть, пытаются чем-то подкупить... Она понимает, что если не довериться этим властным рукам, то судьба сулит ей орду вертухаев, которые не станут ничего просить, а просто дадут хорошенько по зубам, свалят на пол да раздвинут колени ударами грубых бурок.

И вот Федор уже заворачивает края ее лагерной блузы и лезет жадными пальцами в сумрак ее девических тайн, сминая кожу и тиская грудь. Ничего хорошего в подобном обращении, конечно же, не было, но она понимала, что другая возможность – просто стать мусорной свалкой, отхожим местом... выбирать не придется: тебя превратят в грязную лохань, которую, использовав вдоль и поперек, бросят потом в замороженный штабель.

А кого-то бросали в море, в ледяную штормящую пучину, – Исабель видела это своими глазами: медленно, тяжело, с натугой преодолевая гигантскую ширь и качаясь на волнах посреди колючей соленой взвеси, шел призрачный «Минск», – над его обледенелой палубой сгущались сумерки чужого северного неба, и обзленные, измученные вертухай, с натугой поднимая трупы, переваливали их за борт. Убитые и умершие от голода, холода и издевательств энтузиасты первых пятилеток, истовые коммунисты и восторженные комсомолки, – не то, что жалкой таблички с номером над расплывшимся холмом, а даже и самой землицы в каком-нибудь Богом забытом захолустье не достаивались эти страстотерпцы, ибо написана была им на роду океанская могила. Сколько трупов подняли на палубу «Минска» из зловонных трюмов, сколько молодых жизней оборвалось в том бесконечном путешествии...

Исабель годами вспоминала потом свое восхождение на океанский грузовик, специально оборудованный для перевозки невольников: серым потоком, угрюмой массой шли обречённые по дощатому настилу в чрево своей плавучей тюрьмы, мужчины — на корму и в носовые отсеки, женщины — в центральные трюмы. Спускаясь в

глубину сырого, остро пахнущего тухлой рыбой и нечистотами помещения, Исабель приготавлилась ко всему, — к любым тяготам, лишениям, мукам и твердила про себя: «Я ничто не будет бояться...»

Сзади кто-то грубо пихнул ее в спину, и она повалилась с трапа, увлекая за собой соседок, а внизу невидимая рука подняла ее за шиворот, поставила на ноги и встряхнула. Тут же получила она увесистую оплеуху, и теперь уже несколько рук ухватили ее кургузое пальтишко и принялись драть его с плеч, а она вырывалась и беспорядочно двигала локтями. Через несколько минут неравной борьбы пальто было сорвано, и взамен ей бросили вонючее ветхое тряпье, когда-то называвшееся бушлатом; едва сдерживая слезы, она натянула на себя эти жалкие обноски и поплелась вглубь трюма, надеясь найти себе укромное местечко. Пятярусные нары были уже плотно забиты спустившимися женщинами; Исабель высмотрела свободное угловое место и вползла в узкий проход между переборкой и вертикальной металлической стойкой нар. Отсюда виден был противоположный угол трюма, где толпились блатные, слегка освещаемые мутным светом, который проникал внутрь из открытого люка. В круг «жучек» время от времени вталкивалась очередная жертва, схваченная у подножия трапа, здесь ее раздевали, сдирали теплые вещи – шарф, шапку, джемпер; ограбленные блажили, пытаясь обороняться, но «жучки» быстрыми кулаками пресекали сопротивление. Особенный интерес вызывали у них женщины, имевшие во рту золотые коронки, таких валили на пол трюма и, держа со всех сторон, а пуще всего за волосы, чтобы жертвы не трепыхались, выбивали им зубы. А то жалели неясно по какой причине и не били наугад, но, царапая губы, протыкая язык и щеки, лезли ржавым гвоздем в рот и срывали вожделенное золото.

Исабель дрожала от холода и страха, вглядываясь в эту преисподнюю и дыша ее тошнотворными миазмами; могла ли она предположить в своей солнечной Альгорте, что на земле, украшенной садами, виноградниками и кустами жасмина, на этой цветущей земле есть территория ада, который простерся от столиц до самых дальних окраин империи? Но впоследствии оказалось, что в начале своего пути узники «Минска» еще не ступили в подлинный ад, а лишь стояли на его пороге. Они чуяли его смрадное дыхание, видели его неясные контуры и готовились героически преодолеть эту страшную полосу препятствий, но не знали, откуда же они могли знать, что ад намерен отобрать у них достоинство и самоуважение, вытоптать души, расчеловечить, смешать с нечистотами.

Вскоре погрузка была закончена, пароход постоял еще несколько времени, видимо, в ожидании команд, и, наконец, ожил: заработа-

ли турбины, застучали винты, и гигантский лайнер, дав несколько истеричных гудков, отошел от причала.

Сидя на нарах, Исабель пыталась успокоиться; глаза ее уже привыкли к сумеркам трюма, и она с напряженным вниманием стала осматривать огромное, плотно набитое людьми чрево «Минска». По холодному металлу днища перекачивалась с места на место ржавая вода, вдоль линии переборки стояли зловонные параша, с нар свешивались руки, ноги, головы...

Плыли долго, Исабель потеряла дневной счет и не чаяла уж сойти на берег, страдая от качки, голода и жажды, как, впрочем, и другие узницы. Днем в трюм опускали огромный котел со «шрапнелью», предоставляя женщинам возможность самостоятельно решать, как эту кашу употребить, ибо ни ложек, ни мисок скотине не полагалось; вечером давали протухшую селедку, от которой невыносимо хотелось пить... голод заставлял есть ее, а воды не было... как-то женщины взбунтовались, принялись стучать в переборки, кричать и требовать питья; крики и вопли продолжались довольно долго, но никто не обращал на них никакого внимания, а потом охранникам, видимо, надоел шум, и они, открыв трюмный люк, опрокинули в него ведро ледяной воды. Женщины плакали, «жучки» ругались последними словами, но жажда от этого не уменьшилась и, в конце концов, те, кто смогли победить в себе отвращение, стали пить вонючую ржавую воду, гуляющую по дну трюма с места на место вследствие бесконечной качки. Многие уже маялись животами, кое-кто и вовсе перестал вставать с нар. Воздуху в трюме, несмотря на открытый люк, было совсем мало, он казался густым и при вдыхании царапал глотки, а глаза разъедала едкая вонь от заполненных параш.

В один из дней узницы были потревожены звуками тяжелых ударов, доносившихся со стороны кормовой переборки, – в нее изо всех сил лупили чем-то очень тяжелым, явно намереваясь сокрушить препятствие, женщины напряженно сидели на нарах, с тревогой вглядываясь в едва видные контуры предметов, и думали, что в соседнем трюме затеян какой-то внеплановый ремонт, но... звуки усилились и переборка уже ходила ходуном, готовая обрушиться под бешеным натиском. Наконец она дрогнула и прорвалась. Те из женщин, кто быстрее других сообразил, в чем дело, ринулись по трапу наверх, подгоняемые ужасом, но стрелки на палубе прикладами возвращали их на место – били по головам, плечам, попадали в лица, круша носы и вышибая зубы; арестантки падали прямо в толпу, скопившуюся у подножия железной лестницы.

Между тем, со стороны соседнего трюма в дыру просунули большую трубу и, орудуя этим своеобразным рычагом, принялись

дальше разрывать и гнуть упрямый металл. Скоро пролом расширился настолько, что в него можно было пролезть; женщины в страхе кричали, а из соседнего трюма уже продирались один за другим полуголые, изукрашенные наколками блатные, набрасываясь на узниц, они увлеченно размахивали кулаками и силой смиряли непокорных; женщины кусались, царапались, отбивались руками и ногами, но силы были не равны, к тому же урки имели на вооружении бритвы и заточки, – тех, кто сопротивлялся, безжалостно резали... Трюм наполнился душераздирающими воплями истязуемых и звериными криками блатных; урки лезли из пролома по одному и, как тараканы, споро расползались по трюму. Их лоснящиеся от пота тела видны были уже на всех этажах нар, они хватали подвернувшихся под руку женщин и первым делом били их по лицу, стараясь сразу же обездвигнуть. Они творили все, что хотели, наслаждаясь не столько актом животного соития, сколько возможностью садистически мучить беззащитную. Их похабные движения, их вой, смрадное дыхание и горькая слюна, стекающая с подбородков, и вонючий пот, струящийся по татуированным телам, и выпученные в пароксизме страсти, налитые кровью глаза, – все это казалось Исабели жутким сном, ночным кошмаром, от которого можно очнуться, – надо лишь сделать над собой усилие, растормошить свое заснувшее сознание, заставить себя стряхнуть морок. Она в ужасе смотрела на эту чудовищную вакханалию, сердце ее колотилось от страха, но она не могла не смотреть – не хотела смотреть, но смотрела, смотрела, смотрела... потому что эта жуть втягивала ее в свою воронку, гипнотизировала, заглывала, и тогда она, не в силах более сопротивляться гипнозу, закричала диким утробным голосом, завопила, забилась в истерике, пытаясь стряхнуть страшное наваждение. И тут ее, почти незаметную в темной норе угла, вдруг заметили, – она сама со страху привлекла к себе внимание и, осознав это, обеими руками в ужасе зажала рот, но было поздно, – несколько блатных уже направлялись к ней воровской танцующей побежкой и, глумливо ухмыляясь, лезли на нары. Она заматалась, мгновенно вспотев, забегала на четвереньках по деревянному настилу этажа, тщетно пытаясь найти пути к бегству, но отступать было некуда, прятаться было негде.

Один из уроков, опередивший прочих, подтягивался на руках, подбегая к ней; она же, упершись ладонями в настил нар, изо всех сил ударила его подошвой тюремной бахилы. Блатарь слетел вниз, но на смену ему пришел другой, быстро влезший на нары и успевший ухватить Исабель за подол платья; она задергала в панике ногой, пытаясь освободиться, уркаган держал крепко, не выпускал и, подтянув ее щупленькое тельце к себе, навалился сверху всей своей тушей.

Одной рукой он сдавил Исабели горло, другой пытался порвать на ней одежду. Задыхаясь, она вонзила ногти ему в глаза, он взвыл и, яростно хрипя, выхватил откуда-то осколок бритвы! Сжав зубы, молча, чтобы не терять на крики остатки сил, она ударила его сбоку кулаком, дернулась и вывернулась из-под скользкой туши в последнем отчаянном усилии воли. Он беспорядочно размахивал перед ней бритвой, стараясь попасть в лицо, но она выставляла вперед руки и бритва мягко скользила по ее ладоням, легко рассекая беззащитные пальцы. На нары, между тем, карабкались другие урки, и Исабель, понимая, что через минуту-другую ее просто растерзают, безоглядно и отчаянно ринулась вперед, ни на что уже не надеясь, ни о чем не думая и повинуясь только животному инстинкту самосохранения... не обращая внимания на бритву, она впилась зубами в глотку блатаря и, как собака, принялась терзать ее, урча и задыхаясь от вони его давно не мытого тела; она вгрызалась в ненавистную плоть, но силы ее челюстей не хватало для того, чтобы прокусить твердую, словно резина, кожу, она давила и давила зубами, ощущая внутри какие-то сухожилия, какие-то хрящи и чувствуя вкус его прогорклого пота; блатной вдруг ослабел и уронил бритву... она быстро схватила окровавленный металлический осколок и суетливо ударила его по шее, по вздувшимся венам, по тому месту, где уже наливался чудовищный синяк ее укуса... горло разверзлось, и из него хлынула черная кровь...

Блатари, которые уже забрались на нары, замерли и попятились на четвереньках, а Исабель схватила зарезанного урку за волосы и приподняла его голову... рваная рана на шее насильника раскрылась и обнажила вскрытую трахею, неожиданно белую, клокочущую кровавыми пузырями... она обвела трюм безумными глазами, устроилась поудобнее и умостила его плечи на своих коленях, положив голову с открытыми остекленевшими глазами себе в подол...

...так, прикрываясь его телом, присидела она до вечера и всю ночь, а потом – еще долгих семь дней, пока «Минск» шел до места назначения, – просидела без еды, питья, не сходя с места, – мочилась под себя, время от времени впадая в болезненное забытие, и окончательно потеряла сознание в последний день плавания, не выдержав голода, жажды и чудовищной вони, исходившей от раздутого трупа зарезанного ею блатаря...

По прибытии в бухту Нагаево блатари отказались выходить на палубу и, чтобы выпустить их из трюма, пришлось опустить вниз брандспойты да полить всех узников ледяной океанской водой.

Очнулась Исабель от криков женщин, матерных проклятий блатных и шума хлещущей со всех сторон воды; люди облепили трап и, мешая друг другу, толкаясь и лягаясь, пытались выбраться наружу; в

воде плавали тряпки, щепки, вещи, какой-то хлам из прошлой жизни зловещего трюма, плавали люди, – живые и мертвые, задушенные, зарезанные, замученные; плавали упавшие и пролившиеся парашютисты...

Исабель осторожно подвинула убитого благняка, покрытого коростой засохшей крови, спустилась с нар и, обходя плавающие в воде нечистоты, двинулась к трапу... ее шатало, мутило, воспаленные глаза мучила нестерпимая резь, истерзанные бритвой ладони распухли и сочились недельным гноем; она с трудом пробралась к трапу, кое-как поднялась наверх, поддерживаемая кем-то из соседок, и, выйдя наружу, на палубу, без чувств повалилась к ногам охранников...

Из печки опять падали веселые угольки и освещали потолок неясными просверками; Федор дремал, мирно посапывая. Вдалеке взлаивали овчарки да перекликались время от времени охранники; неугомонный сверчок монотонно звенел за печью, а в топке весело потрескивали полешки.

Исабель лежала в уютной постели, положив руку на грудь своего покровителя и прижимаясь горячим виском к его плечу. Она давно разучилась плакать, душа ее окостенела, застыла и отогревалась только возле любимого. В каморке Федора терялись время и судьба, исчезал куда-то проклятый лагерь с его работами, «жучками», оскорбительными шмонами в ледяном предзоннике, со всей этой тягостной маевой подневольной жизни, которая и была теперь смыслом ее существования. Ее вырвали из привычного круга бытия, научили ненавидеть, бояться, отказывать в доверии ближнему, ее осознанно превратили в животное, в скотину, не имеющую права голоса. Ей запретили думать, анализировать, высказывать свое мнение; ее втоптали в выгребную яму и лишили звания человека. Она мочилась под себя, – это унижение невозможно было забыть; ее поставили на одну доску с человеческими отбросами и принудили к убийству... Только Федор был для нее светлым пятном в этой серой, погруженной в вечные сумерки жизни; только странное, большое, изломанное чувство к нему не давало ей окончательно погибнуть, потому что сколько бы она ни твердила: «Я ничего не буду бояться», сколько бы ни пыталась демонстрировать враждебному миру свой независимый и гордый испанский дух, все равно ее каждодневно сгибали и ежеминутно мучали. А Федор... Федор давал ей нищенские крохи любви, – это было такое подавание, какое дают нищим на паперти; он ее, пожалуй, и не любил вовсе, а только пользовался ею, по привычке. Что значила она для него? Была ли только новой сучкой, коих случалось в его жизни уже немало? Или все же эта женщина – чужая, непохожая на других – сумела стать для него вместилищем слез? Попыткой отчая-

ния? Той соломинкой, за которую схватывается же в последний миг потерявший надежду утопающий? Кто знает... Только видела Исабель этого человека вблизи и понимала, как тягостна ему его роль в этом трагическом спектакле эпохи. Конечно, Федор был плотью этой эпохи, страшным продуктом ее, и не будь в стране семнадцатого года, а пуще того – тридцать седьмого, пахал бы он до скончания века свою земличку на Тамбовщине, не зная иной кручины, кроме похмелья по прошествии престольных праздников...

Происходил он из села Туголуково, где отец и дед его испокон веков держали в аренде знатный чернозем, выращивая на нем столько хлеба, сколько можно было дать на прокорм даже и целому городку. И был он в те сытые да спокойные годы вовсе и не Федором, а Степаном, но пришли лихие времена, а с ними – комбеды, продотряды и прочая сволочь, и потеряла его семья все, что имела, а сам он потерял, в конце концов, даже имя свое.

В восемнадцатом году отец Степана ушел в партизанский отряд, к Токмакову, с которым воевал вместе еще в Галиции, и когда большевики стали разорять хутора да отбирать хлеб, крестьяне со всех тамбовских уездов потянулись в леса.

Поручику Токмакову сильно не нравились большевики со своей грабительской идеологией, и он не хотел терпеть их бесчинства. Безоговорочно веря в крестьянскую войну, он понимал, что силу можно победить только силой. Личной храбрости было ему не занимать, после Брест-Литовска вернулся дерзкий поручик домой с полным бантом Георгиевского кавалера, четырьмя крестами и четырьмя Георгиевскими медалями. И народец подобрался в его отряде борзый да бедовый. А уж когда в двадцатом совсем стало сельчанам невмоготу, да вспыхнули после реквизиций и убийств Каменка, Хитрово и Туголуково, тогда уж крестьяне повалили в леса счетом на тысячи, попрятывая отбитый у комиссаров хлебушко. И тут война разошлась не на жизнь, а на смерть.

Собрав три гигантские армии – числом более полста тысяч вооруженных до зубов бойцов, ненормальный поручик принялся с ожесточением громить большевиков на всей территории Тамбовской губернии: уничтожал продотряды, заходя в села, вешал местных коммунистов, чекистов и комбедовцев; захватил железную дорогу и не позволил ни одному красному бронепоезду зайти на свою территорию.

Следом за отцом пришел к Токмакову и Степан, оставив на хозяйстве крепкого еще деда, и так воевали отец с сыном вместе в 1-ой Повстанческой армии под командой полковника Богуславского, а потом, уже весной 1921-го, на Тамбовщину явились Тухачевский и

Уборевич, стянув туда войска, освободившиеся после разгрома Врангеля и окончания польской войны. Кремлевские кровопийцы дали Тухачевскому на полную ликвидацию мятежа месяц срока, и он рьяно взялся за дело. С этой минуты восстание было обречено.

В конце мая кавалерийская бригада Котовского полностью уничтожила два крестьянских полка, потом, под Инжавино, молодой Уборевич превосходящими силами раздавил 2-ую Повстанческую армию, которой командовал штабс-капитан Митрофанович, а потом... потом начался кромешный ад: красные до основания выжигали артиллерийским огнем села и хутора, травили повстанцев газами, брали заложников, не жалея ни стариков, ни детей. В июне появился драконовский приказ председателя Полномочной комиссии ВЦИК Антонова-Овсеенко и командующего войсками Тамбовского округа Тухачевского: по прибытии большевистских сил в ту или иную волость перекрывать входы и выходы населенного пункта, брать до сотни заложников, зачитывать на сходах требование о выдаче бандитов и оружия, на размышление давать два часа. В случае невыполнения требований – расстреливать заложников на глазах у всех жителей села. Сразу же после казни брать новых заложников и предлагать сельчанам на размышление еще два часа, по истечении которых ввиду отсутствия результата – снова расстреливать. Желających дать сведения о мятежниках включать в состав карательных экспедиций...

Каток репрессий прокатился по селам. Ставили к стенке за хранение оружия, за укрывательство мятежников, за отказ назвать свое имя; загоняли сельчан в концлагеря, включая подростков и даже младенцев, а крестьянские дома сжигали и раскатывали на бревна.

Отец Федора погиб еще на исходе зимы в лесном бою, деда замучили в селе – пытали, выведывая нахождение сына и внука, – таскали по камням, привязав веревкою к лошади, рубили шашками, а потом бросили на площади в назидание прочим...

И когда летом 21-ого в неравном бою с чекистами погиб командующий Токмаков, и армия стала рассеиваться, дробясь на маленькие нежизнеспособные отряды, Степан понял – пора спасаться. В одном из последних своих боев, обыскав убитого красноармейца, добыл он затрепанную бумагу с хорошей фиолетовой печатью, удостоверяющей личность погибшего – Федора Шмырова, и подался в Среднюю Азию, надеясь затеряться в чужом незнакомом краю, где его уж точно никто и никогда не найдет.

И получилось! Получилось у него спастись!

Решив затаиться в отдаленной местности, которая мало была знакома россиянам, думал он, что вряд ли туда попадут когда-нибудь те, с кем встречался он на полях сражений или возле лесных парти-

занских костров; и эти неведомые азиатские страны казались ему надежным укрывищем.

Больше месяца провел он в пути, двигаясь пешком, на подводах, а где и на поездах, забившись в грязные углы сиротских теплушек, и в конце концов прибыл в захолустный Пишпек.

Здесь поступил он в уездную милицию и вскоре в составе небольшого отряда отправлен был в город Ош, на юг Киргизии, – помогать начальнику волостного совета Камчибекову в борьбе против басмачей, заполонивших в те годы Ферганскую долину.

Кадырбек Камчибеков был не простым человеком, все знали, что он – прямой потомок Алайской царицы Курманжан Датки, и за доказательствами не нужно было далеко ходить: на юге хорошо помнили Датку и всю ее многочисленную родню.

Камчибеков занимался формированием местной милиции, и уже очень скоро его отряды выступили на борьбу с курбаши. Федор быстро сдружился с местными ребятами, молодыми милиционерами, и в первых же боестолкновениях убедился в их мужестве, смелости и самоотверженности. Воевать ему не хотелось, он уже навоевался у себя на Тамбовщине и видел, кажется, все, что только возможно увидеть живому человеку. Вдобавок он знал, что не может более переносить вида крови, и уж точно не в состоянии наблюдать картин мучительства и бессмысленной жестокости, которых и без того насмотрелся сверх меры.

Он думал, что ему удастся бежать за кордон, и использовал все возможности, чтобы осуществить это намерение. Путь был один: из Оша – в горы, далее – узкими чабанскими тропами наверх, откуда через перевалы Памиро-Алайского хребта можно было попасть в Индию и Китай. Но пока он, осторожно расспрашивая местных дехкан, собирал сведения о дороге и продумывал детали предстоящего путешествия, в урочище Бий-Мулла появился курбаши Юлдаш-Палван, и Камчибеков приказал готовиться к рейду.

Через короткое время басмачи Юлдаш-Палвана были разгромлены, но почти сразу на горизонте появился другой, не менее опасный курбаши – Джаныбек-казы, который также потребовал сил и внимания добровольческой милиции.

Потом наступила зима, и в горах выпал снег. Идти на Памиро-Алай в ноябре было равносильно самоубийству, и Федор решил отложить побег. Зима прошла в непрерывных сражениях и погонях; басмачи не желали слагать оружие, и Камчибекову во главе милицейского отряда пришлось изрядно попотеть, гоняясь за ними по горным ущельям.

А весной на перевалах появился жестокий и беспощадный хищник – самопровозглашенный Эмир Ляшкар Баши Муэтдин-бек Газы, то есть Верховный Главнокомандующий Муэтдин-бек Победоносный. То был не человек. И не зря жители Ферганской долины называли его Шайтаном. Еще до революции прославился он грабежами и убийствами, приговаривался к каторге и ссылался в Сибирь. Вероломство его не знало границ; он приходил в отряды известных курбаши, убивал их и сам становился курбаши, занимая места убитых. Дважды Муэтдин-бек переходил на сторону советской власти, служил командиром эскадрона в Интернациональной бригаде РККА – и дважды предавал, снова и снова убивая исподтишка командиров и рядовых красноармейцев, как это было в августе 1920-го, когда в ущелье Аранд он поставил под дула расстрельных карабинов своего заместителя Кара-Ходжу и двенадцать бойцов, не захотевших предать красное командование.

Он обложил непосильной данью айлы и кишлаки, громил города, штурмовал даже Андижан и Ош и во всех своих набегах демонстрировал неслыханную жестокость. Его нукеры живьем сжигали красноармейцев на кострах, женщин в аилах разрубали шашками, а детей разбивали о колеса арб. Десятилетние девочки становились наложницами маньяка, а потом, когда надоедали, шли на растерзание к его головорезам.

Всех, заподозренных в пособничестве комиссарам, всех, кто отказывался платить дань, безжалостно убивали. Благодаря грабежам и реквизициям новоявленный эмир стал баснословно богатым человеком, – в его владении были тысячи голов скота, усадьбы, мельницы, пастбища и поля по всей Ферганской долине, а золото и драгоценности он прятал в пещерах среди горных круч.

Муэтдин-бек был хитер и осторожен, охота за ним не прекращалась ни на минуту, и потомок Алайской царицы Кадырбек Камчибеков сбился с ног, пытаясь выйти на его след. В начале июля чудовищная армия Победоносного ворвалась в Ош, и город накрыло облако зловония, исходящего от тысяч давно немывтых тел; басмачи грабили, убивали, насиловали; разгромив кварталы ремесленников и торговцев, захватили огромную добычу и ушли в горы.

Но пока они становились лагерем в долине Кичик-Алай, из Гульчи в сторону Оша выступил со своим отрядом вездесущий Камчибеков. Красноармейцы и милиционеры преодолели перевал Чигирчик и уже глубокой ночью, сквозь вечные снега, едва нащупывая заледеневшими подошвами сапог зыбкие горные тропинки, вышли на высоты, окружающие долину. Противник оказался у них в тылу и к утру был надежно и прочно взят в кольцо.

Целых две недели продолжалась осада лагеря Муэтдин-бека, много бойцов полегло с обеих сторон, но в конце концов басмачам пришлось сдаться, а самого Победоносного захватил лично комиссар Камчибеков.

Федор видел плененного эмира и, глядя на него, испытывал чувство омерзения и гадливости, в точности такое, какое находил в себе, наблюдая захваченных в боях на Тамбовщине красных командиров, уличенных в жестокости и зверствах по отношению к крестьянам или к бойцам крестьянских армий. Он ненавидел насилие, потому что натура его была мирная, земледельческая, настроенная на любовь ко всему теплому и живому. Жизнь же столкнула его со зверьми в человеческом обличье, и странным казалось ему собственное отношение к ним: он не хотел подставлять правую щеку, только что получив удар по левой. При всей своей ненависти к жестокости он хотел отвечать ударом на удар, он хотел мстить. И когда Муэтдин-бек получил по решению суда единственно возможный приговор – «высшую меру социальной защиты», Федор сам вызвался в расстрельную команду.

Судила бандитов Выездная сессия военного трибунала Туркестанского фронта. Всего перед судом предстали двенадцать человек. В течение недели шли допросы свидетелей, прения участников. Со всех окрестных айлов и кишлаков съехались полторы тысячи обиженных дехкан, кочевников и городских жителей. Заседание велось на площади Хазратабал, недалеко от мечети, у самого подножия горы Солейман Тахта. В течение первых трех дней судебного разбирательства количество людей на площади удвоилось, народ все прибывал и прибывал, желая своими глазами видеть поверженного властителя Ферганской долины.

Эта гигантская человеческая масса, кипевшая от злобы и ненависти посреди сорокаградусного зноя, требовала безоговорочной смерти убийцам и насильникам. Полторы сотни свидетелей прошли перед трибуналом, – когда они рассказали суду о зверствах Победоносного, народ возопил, и его гневный вой стоял до тех пор, пока мулла Мухамед Умаров не призвал обратиться к Аллаху.

Люди попадали на колени, умоляя небеса о возмездии.

В глубокой тишине, нарушаемой только шелестом серебряных листьев тополей, мулла прошептал: «Сами а-ллаху лиман хамидах. Раббана ва лякяль-хамд...»), что означало: «Аллах услышал тех, кто воздал ему хвалу. Господь наш, хвала тебе!»

И народ встал с колен.

26 сентября 1922 года за полчаса до полудня суд приговорил бандитов к расстрелу. Конвоируя басмачей в составе взвода красноармейцев и внутри плотного кольца оцепления, Федор проследовал к

месту казни. Группу сопровождала разъяренная толпа народа, грозящего ежеминутно прорвать оцепление и кончить дело самосудом. Через головы конвоя в Победоносного и его нукеров летели камни и куски спекшейся земли, – если бы не винтовки, толпа затоптала бы мучителей.

У подножия священной горы Солейман Тахта была вырыта огромная яма, на краю которой поставили осужденных. Против них выстроились красноармейцы; Федор стоял на левом фланге. Сердце его неистово колотилось: на месте кровавого эмира видел он комиссара Купченко, взятого в плен партизанами полковника Богуславского в районе Каменки родного Тамбовского уезда. Купченко прославился массовыми убийствами заложников и, будучи пойман, без суда получил расстрельный приговор. Точно так же стоял он, задумавшись, на краю оврага, как стоял сейчас на куче земли спиной к своей могиле поникший Муэтдин-бек, точно так покачивал он, словно сомневаясь в чем-то, понурой головой и выглядывал у себя под ногами какую-то одному ему ведомую тайну, но... Купченко, смирившись с судьбой, мотнул тогда упрямым лбом, стряхнув смертное оцепенение, и гордо выпрямился под дулами винтарей, а Победоносный, неловко потоптавшись на бруствере своей могилы, вдруг засуетился и неожиданно вынул из кармана холщовых штанов замызганной кусок черствой лепешки. Протягивая хлеб напиравшей толпе, он просил – по древнему мусульманскому обычаю – посмертного прощения, но народ в ответ разразился проклятиями и взревел: «Будь ты проклят, собака! Сдохни, сдохни, сдохни!!»

Командир взвода поднял руку: «Готовьсь!»... и Федор увидел его намокшую подмышку... вскинул винтовку, примечая краем глаза, как вскинули винтовки его товарищи, и прицелился.

Один из подельников Муэтдин-бека упал на колени.

«Взво-о-о-д! – прокричал командир. – Именем революции!..»

Федор почувствовал, как дрогнуло его сердце, и кипящий пот побежал вдоль виска.

«По бандитам и врагам Советской власти...», – заторопился взводный, видя, как народ давит на оцепление, а молоденькие красноармейцы с трудом сдерживают этот напор...

Прижимаясь щекой к горячей винтовочной ложе, Федор чувствовал, как тягучая медленная струйка течет со лба и, минуя влажную бровь, попадает в его напряженно прищуренный левый глаз.

«Пли!!» – злобно выхаркнул в этот миг командир, и Федор в мстительном наслаждении медленно нажал на курок.

Муэтдин-бек, прямой как жердь, повалился в яму, следом за ним попадали его подельники... народ взволновался, зашумел, всей своей

многотысячной массой еще и еще надавил на оцепление и... прорвал его. Кто-то, подбежав к яме, плевал на окровавленные трупы бандитов, кто-то кидал в них камни, лил нечистоты и забрасывал собачьим калом. Ничего нет страшнее для почившего мусульманина, чем гниющие отбросы на его могиле, ибо так в Азии выражают крайнюю степень презрения и ненависти к врагу...

Федор опустил винтовку и почувствовал, как слезы набежали ему на глаза. Нет, не жаль было ему казненных басмачей, не жаль было ему обойденного народным прощением самопровозглашенного эмира, ему было жаль себя, вовлеченного против воли в этот чудовишный кровавый водоворот: за свою короткую жизнь он видел столько смертей и сам сеял смерть – вместо того, чтобы сеять хлеб; он защищал свой дом, родных, свою мирную жизнь, и для этого ему приходилось убивать.

Отвернувшись от беснующейся толпы, он смотрел на пыльный Ош, на его узкие улочки и дрожащие в знойном мареве белые домишки... песок скрипел у него на зубах, пот жег глаза и по щекам катились, оставляя грязные дорожки на коже, мутные слезы отчаяния и обиды.

И засыпая ночью в казарме, он все никак не мог отделаться от навязчивого видения: полдень, зной, колеблющийся в улицах раскаленный воздух, земляной холм над будущей безымянной и проклятой во веки веков могилой, и на этом холме – в белом запачканном исподнем, среди группы растерянных подельников – стоит молодой еще человек – лет, может быть, тридцати пяти, с черной бородкой, усами и коротко стриженной, уже начинающей сесть головой, – убийца и мучитель тысяч ни в чем не повинных людей, самопровозглашенный Эмир Ляшкар Баши Муэтдин-бек Газы или – Верховный Главнокомандующий Муэтдин-бек Победоносный...

И так почти еще десять лет гонялся Федор по горам, горным пастбищам, долинам, ущельям, по самым отдаленным кишлакам и айлам, вылавливая и уничтожая последних, еще несогласных с Советской властью врагов, забыв думать о побеге в Индию или Китай, вполне прижившись в Киргизии и свыкшись со своей опасной работой.

Его пытались двигать по служебной лестнице, хотели даже отправить как-то на учебу в Москву, потому что считали сметливым и отважным бойцом, но он отказывался, отнекивался и строил из себя дурачка, ссылаясь на малограмотность и неспособность к наукам. В конце концов его оставили в покое и после 32-ого года, когда последние недобитые басмачи ушли в Афганистан и Иран, он служил участ-

ковым милиционером в Гульче и наблюдал порядок на довольно большом участке Алайской долины, в том месте, где ее пересекал беспокойный Памирский тракт. На этой работе оставался он лет пять или немного больше, до тех пор, пока не зашатался на своем высоком посту доблестный командир Кадырбек Камчибеков. Сколько лет служил храбрый вояка верой и правдой Советской власти, но пришло время, и стал он неуютен ей, как и тысячи других революционных фанатиков. Его сажали, выпускали, снова сажали, и вся его вина состояла лишь в том, что он был внуком Алайской царицы Курманжан, генерала Кокандского ханства и Бухарского эмирата, а также полковника Российской императорской армии.

Камчибекова обвинили в попытках реставрации самодержавного строя, в сношениях с Кабулом, Кашгаром, Тегераном, в переговорах еще аж в 1922 году с самим Энвером-пашой и с эмиссарами английской разведки, словом, доказали множество компрометирующих Камчибекова фактов, даже и десятой доли которых вполне хватило бы на то, чтобы поставить его к расстрельной стене. И поставили, недолго думая, поставили бесстрашного героя войны с басмачеством под равнодушные дула винтовок Мосина. Федор же, будучи боевым крестником и одним из ближайших соратников казненного командира, хорошо понимал, что его черед тоже близок, и торопливо готовился к отступлению. Только чекисты оказались куда как проворнее: через день-два после расстрела Камчибекова они стали хватать всех, кто имел к нему хотя бы малейшее отношение и, само собой, пришли вскоре и за Федором. Дело было ночью; жил он последние три года в маленьком саманном домике на окраине сельца, спал уже давно в обмундировании, – услышав стук в дверь, выхватил из-под подушки заранее припасенный маузер, сиганул в окно, вскочил на лошадь и, дав несколько залпов в сторону погони, помчался к берегу Куршаба...

Спустя три месяца он был уже на Колыме, справедливо рассудив, что лучше поселиться здесь добровольно, нежели насильственно. Внимательно почитывая газеты и имея все-таки недюжинный ум, он понимал, что самое главное в неспокойное время – находиться подальше от столиц и столичного начальства. А далекий малоосвоенный край был в этом смысле идеальным местом. Как в свое время спасла его знойная Азия, неведомая черноземной глубинке, так, думал он, спасет теперь и медвежий угол Крайнего Севера. Дальше Колымы было некуда, но Федор понимал это «дальше» только в географическом смысле, не осознавая, что там – предел человеческих возможностей. Газеты и радио рассказывали об освоении забытого Богом края, о создании в долинах ледяных рек новых посе-

лений, о том, что на Сусумане нашли золото, и Федор, недолго думая, стал пробираться на восток.

Много разных дорожных приключений случилось с ним по пути, много людей встретил он на своей долгой дороге; люди были разные – веселые и грустные, открытые и недоверчивые, участливые и абсолютно безучастные, но каждый из них нес на себе печать едва уловимого, тщательно скрываемого страха, едва заметного лишь где-то в самой глубине настороженных глаз.

И никогда во всю оставшуюся жизнь не мог забыть Федор свой страшный этап и плавучую душегубку под названием «Дальстрой», которая, завершая навигацию, увозила в Магадан последнюю в том треклятом году партию заключенных. Он сам напросился в смертный рейс, потому что, раздумав хорошенько, решил не оставаться во Владивостоке, – уж больно много было здесь приметных мест, с которых даже и при осторожности легко слетали люди в преисподнюю. Ему нужно было забиться в такую нору, какая держала бы его заперти надежно, прочно, – и при этом оставаться как бы на виду, при людях, при делах. Необходима была даже не нора, а просто – щель, из которой его уж никак не смогла бы вылущить походя какая-нибудь случайная сволочь.

Девять дней шла по свинцовому Охотскому морю грязная тюрьма, до краев наполненная стоном и воплем, окутанная влажным туманом и обожженная штормовым ветром, и за это время Федор извелся так, словно то были не девять дней, а девять лет, словно шел он не рядовым пассажиром, а рабом на галерах.

Во все время путешествия корабль болтало на беспокойных волнах, и Федор, позеленевший, худой, всклокоченный, только и делал, что мотался от борта к борту, выворачивая свое бунтующее нутро.

В Магадане сошел он с «Дальстроя» совершенно больной, разыскал местную гостиничку и кое-как устроился туда. Гостиничка представляла собой покосившийся барак, наполненный всяким сбродом, – одичавшими геологами, рыбаками, какими-то темными командировочными, освободившимися урками, которым не было хода на Большую землю; женщин не было вообще; во главе этого тараканьего царства стоял благого вида то ли узбек, то ли татарин – страшный, заросший черной щетиной и густым волосом человек с безумными глазами убийцы. Он дал Федору старый засаленный матрац и указал место в коридоре, куда его можно было положить. Вечером в гостиничку набилось народу, мужики стали выпивать, закусывать, бесконечно гонять чай, устраивая короткие перебранки у титана, бродить по узкой коридорной дорожке взад и вперед, громко спорить, поливать друг друга отборным матом и угомонились далеко запол-

ночь, повалившись на свои койки, раскладушки и матрасы прямо в бущлатах да ватных штанах.

Прожив несколько дней в этом ковчеге, Федор быстро перезнакомился с его обитателями и стал налаживать полезные связи. Расспрашивал о возможностях работы, выслушивая попутно баснословные истории своих новых товарищей и почти ничего не рассказывая о себе. День ото дня разговоры становились все душевнее, водка и спирт лились рекой, развязывая самые неповоротливые языки, и через короткое время Федор стал поверенным таких судеб, которые даже и не во всякий роман можно было бы вместить. Держался он просто, естественно и одновременно с достоинством, что оказывало на коренных обитателей гостинички неплохое впечатление: его не задирали и быстро признали за своего, смутно ощущая за спиной новичка какую-то темную, может быть, даже и смертную тайну. Подобная тайна или, во всяком случае, подобная темнота стояла за спиной почти каждого местного жителя, ибо Магадан в те годы был местом скопления людей, выпавших из привычного круга цивилизации, людей с мутным прошлым и сильно опрошенных, возможно, даже приближенных, в каком-то смысле, к животному миру.

Федор был похож на них и вскоре стал одним из них. Его потащили вглубь колымского края, и он быстро понял, что Магадан – лишь преддверие ада, лишь ступенька над морем ледяной лавы. Ступив в эту лаву, он попал в выморочный околосмертный мир, где работали промышленные предприятия, шахты, прииски, геологоразведочные партии, совхозы, стройки, и где ему, пытавшемуся затеряться среди серой и безликой людской массы, как раз и было самое то место.

Так попал он на Сусуман, в Западное горнопромышленное управление «Дальстроя», и стал работать там экспедитором, а после и снабженцем. Первое время обслуживал прииск «Мальдяк», где добывали россыпное золото, потом его подключили еще к «Ударнику» и «Стахановцу», также входившим в состав Западного управления.

Три с половиной года мотался Федор по проклятой Господом земле и повидал немало, даже в сравнении с тем, что повидал раньше, на Тамбовщине или в киргизской глубинке; встречался с людьми, входил не без некоторой дрожи в ногах в начальственные кабинеты, выбивал материалы, оборудование, жратву, брал где лестью, где глоткой, а где и прямым подкупом; подворовывал приисковое золотишко, научился пить едва разведенный спирт, курить дичайший самосад и брать нахрапом лагерных невольниц, дрался, никого не боясь и разбивая соперникам морды в кровь, а порой и размахивая

урочьей финкой, – словом, образовался так, что просто врос в эту землю, скованную вечной мерзлотой, и не чаял уж вырваться отсюда. Никогда, никогда, думал он, не увидать ему уже родных полей да родной деревеньки, и придется, знать, помереть среди лагерных дохожд, среди голубых фуражек да сволочного колымского начальства.

Но судьба еще не сдала ему все карты...

В печке весело потрескивали полешки, берлога прогрелась, и Федор, сдвинув одеяло в сторону, осторожно, чтобы не потревожить Исабель, освободил затекшую руку.

Она дремала вполглаза, то просыпаясь, то вновь проваливаясь в дремоту, и снова видела Обнинский детдом... лестницы и классы, библиотеку, где были книги на испанском... видела себя, идущей по коридору, а навстречу ей шел сеньор Верхилио...

Школьные знания ей не давались. Преподавание велось на испанском, а русский изучали как иностранный, и она осваивала его с трудом. Большое облегчение в постижении наук давало ей то, что советские учебники были переведены на испанский, но многое в них все равно оставалось неясным. Самым мучительным текстом для нее был текст брошюры «Решения ЦК ВКП(б) о школе», который в обязательном порядке всех старших учеников заставляли изучать. А любимыми были у нее хрестоматии классической русской и испанской литератур, которые она с удовольствием читала даже и вне школы.

Большинство учителей были испанцами, прибывшими вместе с детьми на пароходах, – лучшим среди них был дон Антонио Линарес, которого все звали Антон Иваныч; он преподавал литературу и родной язык, занимая по совместительству должность директора интерната. Выделяясь среди прочих педагогов особым добродушием, вниманием и мягкостью, Антон Иваныч был, тем не менее, достаточно стоек в отстаивании своих жизненных принципов и подходов к работе. Видимо, это и послужило причиной его неожиданной отставки года через три после прибытия в Обнинское. До него уже трижды исчезали из интерната испанские учителя, но в среде учеников это как-то особо не отмечалось, – ну, пропали и пропали, перешли, значит, на другую работу, а вот исчезновение Антона Иваныча шепотом обсуждали по укромным уголкам и жалели об уходе хорошего человека.

Между тем вскоре стало ясно, что ушел он не по своей воле, а по чужой, да и не ушел вовсе, а помогли ему уйти.

Как-то утром явился на доске приказов объяснительный листок, в котором сообщалось, что директор Антонио Линарес не имеет должного уровня политико-идеологической подготовки, находится в

плену догматов буржуазно-католической школы и потому не может впредь заниматься обучением и воспитанием испано-советских детей.

То, что дети в интернате уже советские, Исабель начала понимать немного позже, учась в последнем классе, когда в течение всего года старшекласников вызывал к себе в кабинет новый директор дон Верхилио Контрерас и настоятельно рекомендовал подавать прошения о получении советского гражданства.

Это было уже в эвакуации, на Волге, куда интернат перевезли с началом войны.

Ехали через Москву, в столице была паника, на вокзале толпы обезумевших людей штурмовали поезда, и даже просто пройти по перрону было нелегко. С трудом детей посадили в теплушки и кое-как отправили. Ехали долго, медленно, с частыми остановками посреди полей; еды было мало, воду добывали в пристанционных колонках, а пили из чего попало. Грянула дизентерия, почти все мучились поносом, кое-кто лежал на полу теплушки уже без движения и без желания жить; в это время поезд загнали в тупик, где он простоял на жаре четыре дня. Сеньор Верхилио метался между железнодорожным начальством, местным исполкомом и горкомом партии, умоляя дать детям еды и выпустить их из тупика. Партийцы хрипло материли директора и сорванными голосами орали, что дети могут и подождать, а фронт не может, фронт требует, и для фронта все будет сделано в первую очередь.

На четвертый день из вагона вынесли два детских трупа, и сеньор Верхилио приказал воспитанникам нести их на руках в горком. Два худых, почерневших тела – мальчика и девочки – положили в вестибюле перед гардеробом – прямо напротив портретов вождей, воодушевленно и смело глядящих в будущее.

После громких криков и короткого разбирательства на железнодорожные пути, в тупик, где стоял вагон с брошенными детьми, загнали грузовик с хлебом, прислали канистры со свежей водой и к вечеру прицепили сиротский вагон к воинскому эшелону.

Сначала испанцев планировалось разместить в Саратове, но потом транспорт почему-то разгрузили в Базеле. Это было немецкое сельцо, в котором вовсе не осталось жителей. Председатель сельсовета как-то шепнул сеньору Верхилио, воровато оглянувшись, что коренных немцев вывезли отсюда в июле 41-го, дав на сборы сутки, и депортировали в Казахстан и Киргизию.

Разместили детдомовцев в здании школы, но места в ней оказалось маловато, кроватей не было вообще, и спали все в течение почти трех месяцев, как попало, – на досках, дверях, столах, а то и просто

на полу, подложив под себя верхнюю одежду. Здание не отапливалось, а между тем время шло, и холодный ноябрь уже набирал силу; бани и стирки тоже не было, хотя имелись в селе и помывочное помещение, и прачечная, но вода в водопроводе отсутствовала, а набранную в колонках нечем было греть. Питались плохо: на завтрак детям давали хлеб с желудевым кофе, на обед – пустые щи, иногда картошку, а на ужин – снова хлеб и морковный чай без сахара.

Из Саратова прислали врачей, которые на втором этаже школы организовали лазарет; детей лечили, но многим лечение не шло впрок, и дон Верхилио с трудом находил возможности хоронить умерших на заледеневшем местном кладбище.

Все жили, погрузившись в сонную апатию. Кое-как стали заниматься, но к школьным наукам ни у кого не было никакого интереса. Ученики на уроках клевали носами, потому что многие не могли уснуть ночами в холодных помещениях, мысли у всех были заняты едой, и учить уроки никто не желал. Испанские педагоги хоть и держались стойко, но тоже были сильно недовольны. По интернату ползли идеологически вредные разговоры.

На педсовете как-то зашла речь о низкой успеваемости, преимущественно в младших классах. Сеньор Верхилио сетовал на лень подопечных, отсутствие энтузиазма в изучении школьных наук, на нежелание, между прочим, не только учеников, но и учителей овладевать магическим учением Маркса-Энгельса. На что учитель математики сеньор Норьега иронически заметил: дети есть хотят, а при голодном желудке не только основоположники на ум нейдут, но даже «Решения ЦК ВКП(б) о школе» с большим трудом воспринимаются. Сеньор Верхилио резко побледнел и ответил в том духе, что испанцы должны быть благодарны советскому правительству за радушный прием и неустанную заботу. Конечно, сказал учитель математики, вот и дети не устают благодарить товарища Сталина, когда по вечерам пьют морковный чай без сахара. А еще они благодарны партии и правительству приютившей их страны за то, что у каждого есть пальтишко на рыбьем меху да худая обувка! Как вам не стыдно, возмущенно и гневно парировал директор, ведь сейчас идет война, а вы... вы... без вашего влияния, очевидно, дети не стали бы высказывать недовольство, ведь они должны же понимать, как трудно сейчас всему советскому народу! Но разве вам, сеньор Контрерас, не удержался снова учитель математики, разве вам легко всякий раз добывать новые гробы?..

Через пару недель из Саратова прибыл в Базель новый учитель математики Сергей Кузьмич, бывший интербригадовец, воевавший в 37-ом под началом генерала Лукача и потерявший руку в боях близ

Уэски. Он прекрасно знал испанский и мгновенно влился в новый для себя коллектив. А сеньор Норьега исчез, и никто из воспитанников о нем больше никогда в жизни не слышал...

По окончании курса средней школы юных испанцев определяли в фабрично-заводские училища, и в связи с этим вставал вопрос о принятии ими советского гражданства. Вступая во взрослую жизнь, они должны были стать полноправными гражданами страны Советов. Многие из подростков не хотели этого, понимая, что вернуться на родину им в случае получения серого паспорта уже не удастся никогда, но все-таки писали прошения, и ответы на эти прошения всегда были положительными.

Исабель тоже не хотела принимать советское гражданство, думая, что по окончании школы ей удастся вернуться в Альгорту. Однако сеньор Верхилио в течение последнего года уже дважды беседовал с ней на эту тему, и в мае перед выпускными экзаменами снова пригласил ее в свой кабинет для разговора. Исабель боялась идти, ибо этот человек внушал ей безотчетный страх, и она старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. Но тут вызов был официальным, настойчивым и не предполагал отказа или возражения.

Она подошла к директорской двери, тихонько постучала и, услышав разрешительное «да», бочком вошла. Сеньор Верхилио кивнул на стул перед своим письменным столом, но сам не сел, – прохаживаясь перед ученицей, он принялся в который уже раз объяснять ей преимущества советского гражданства, прославлять свободу личности, демократию, героизм социального обновления и убеждать в неперемнной победе СССР на всех фронтах войны против германского фашизма. Исабель сидела на жестком сиденье и заворуженно следила за медленно передвигающимся туда-сюда директором; он мерил шагами свой тесный кабинет и, назидательно подняв палец, втолковывал ей очевидные истины. Неожиданно он резко остановился и, взяв стоявший возле стены стул, уселся против Исабель. Она с опаской взглянула на него и увидела холерное лицо, бесцветные глаза... сеньор Верхилио, положив ногу на ногу, строго смотрел ей в лицо. Она с трудом выдержала этот взгляд, буквально ввинтившийся в ее зрачки, в самую душу, в самое нутро, и похолодела от страха. Директор медленно поднял руки и коснулся пальцами колен Исабели. Она вздрогнула и инстинктивно одернула юбку. Сеньор Верхилио стал сдвигать юбку, и через несколько мгновений его влажные ладони скользили уже по внутренней поверхности ее бедер. Ужас ситуации усугубляла обыденность происходящего: в открытое окно влетали звуки проснувшейся деревни, пели птицы, и в полумрак директорского кабинета просились недавно распустившиеся клейкие листоч-

ки дворовых тополей. Он так же пристально смотрел в глаза и продолжал гладить ее бедра, потом подтянулся, двинув стул, и ногами раздвинул ей колени. Она издала протестующий звук, но сеньор Верхилио мягко закрыл ей рот пахнувшей табаком ладонью, приблизил свое лицо и снова заглянул в глаза, вытягивая душу, – с усилием, сладострастно, жестоко, азартно, так, как вытягивает ошалевший от счастья рыбак попавшуюся на крючок гигантскую рыбу... Исабель, не в силах пошевелиться, словно заколдованная, смотрела на него; обеими руками он взял ее голову и приблизил свои губы к ее губам... Затхлый запах перестоялого самца поднял в ней волну омерзения и, почувствовав его поцелуй, она задохнулась от ненависти. Отчаянно дернувшись, Исабель вывернула голову, оттолкнула его руки и ногтями вцепилась ему в лицо. Сеньор Верхилио коротко вскрикнул и завыл, как подраненный кобель... Исабель продолжала драть его лоб, щеки, нос, разрывая острыми ногтями мягкую кожу, он пытался сломить ее сопротивление, размахивал руками и, как-то неловко извернувшись, ударил ее кулаком сбоку, попав в скулу. Исабель грохнулась на пол. Директор опомнился, вскочил со стула и бросился поднимать строптивую ученицу. Оттолкнув его, она бросилась к двери и мимолетно оглянулась на пороге: сеньор Верхилио растерянно стоял посреди кабинета...

Она побежала в умывальную комнату, долго и яростно смывала следы его поцелуев, а потом выковыривала из-под ногтей ломкие крошки его засохшей крови...

Вскоре она сдала экзамены и в компании своих однокашников поступила в фабрично-заводское училище при саратовском самолетостроительном заводе. Училась на фрезеровщицу, и успешно, потому что за станком не нужно было много разговаривать, а хорошо понимать металл научил ее личным примером мастер производственного обучения Иван Пантелеич Корольков. Закончив училище, Исабель стала работать здесь же, на заводе, – сначала ученицей, а потом уж, получив разряд, и самостоятельно.

Происшествие в директорском кабинете не имело никаких последствий, – Исабель промолчала и не стала подымать скандал, а сеньор Верхилио сказался больным и, получив бюллетень, исчез из интерната до тех пор, пока не зажили царапины и ссадины, в изобилии украшавшие его лицо...

Впоследствии он проработал в Базеле еще несколько лет, выпустил всех испанцев, поголовно получивших, к слову, советское гражданство, и переехал в Саратов, где ему поручили возглавить обычную среднюю школу.

Исабель долго еще не могла забыть его, и этот человек был одним из самых неприятных воспоминаний ее жизни. Она думала, что, слава Богу, уже никогда, никогда больше не увидит его, но он всплыл из небытия, – как упырь, как черт, которого ненароком помянули к вечеру.

7-го ноября 1949 года, в день празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на сцене Дома культуры авиастроительного завода состоялся концерт художественной самодеятельности, в котором участвовали работники завода и школьники саратовских школ.

Исабель давно уже пела на сцене Дома культуры и даже выезжала с другими заводскими артистами в соседние области – на смотры, гастролы, дружеские встречи. Ее всегда хорошо принимали, потому что она пела песни интербригад – на испанском, аккомпанируя себе на гитаре, а выходя на «бис», читала светловскую «Гренаду» – порусски, уже без аккомпанемента, просто перебирая гитарные струны. Пела она всегда самозабвенно, полностью погружаясь в мелодию песни, прикрывая глаза и ничего не замечая вокруг. В эти мгновения не было для нее ни сцены, ни зрителей, притихших в полутемноте зрительного зала, ни помпезной красоты его убранства, не было ничего; она видела себя на улицах Альгорты, в тени олив или на залитой солнцем площади, видела веселые домики под черепичными крышами и заросли жимолости вдоль их побеленных, слегка прикрытых голубыми тенями стен.

В тот вечер, закончив посреди грома аплодисментов очередную песню и с трудом покинув любимые улочки родного городка, она открыла глаза и увидела со сцены знакомое лицо чуть-чуть постаревшего, но такого же холеного, как и прежде, сеньора Верхилио. Он глядел на Исабель своими белыми безумными глазами и блаженно улыбался...

Через несколько дней ее арестовали, обвинив в создании молодежной контрреволюционной организации, в попытках подрыва социалистического строя, в подготовке террористических актов и в шпионских сношениях с тайными службами франкистского режима. Особый акцент следователи делали на ее изначальную враждебность стране, на черную неблагодарность, проявленную ею в отношении родной партии и любимого правительства, на ее нежелание в свое время принять советское гражданство, – словом, обличили ее как матерого, закоренелого врага. Она ничего не хотела подписывать и даже под угрозой расстрела отказалась сотрудничать со следствием. Как водится, ее били, не давали спать, гноили в одиночке, но она только твердила день ото дня: «Я никогда бояться... я ничего

бояться...», – и в конце концов от нее отступились. Получив пожизненный *тюрзак*, она восемь месяцев просидела во Владимирском центре, а потом дело пересмотрели и гуманно изменили приговор на *двадцать пять* в зоне вечной мерзлоты... Так она попала в зловонный трюм «Минска», в котором должна была закончиться ее земная жизнь. Но не закончилась... а последний этап привел ее в эльгенскую зону, к Федору и к тем сукам, которые навсегда вышибли ее из жизни...

Это было много позже, уже в пятидесятых, а Федору, прежде чем снова попасть на Колыму, нужно было пройти военные дороги, быть дважды раненным и даже гореть в танке, волею чудесного случая избежать неминуемого плена и едва не попасть под расстрел по навету обиженного особиста.

В первых числах июля 41-го приехал он с прииска «Мальдяк» в магаданский горвоенкомат, и в августе 42-го сражался уже возле Сталинграда, а потом и в самом городе, попав с группой солдат в район тракторного завода. Немецкие танки стояли в полутора километрах от цехов и обстреливали здание администрации и производственные корпуса. В городе был хаос, улицы и дома, не устояв под ударами авиации, превратились в руины, пожары охватили центр; но солдаты и городское ополчение яростно сражались за каждый переулок, за каждый лестничный пролет полуразвалившихся строений, из последних сил цепляясь зубами за свою истерзанную землю. Немецкая авиация продолжала методично бомбить квартал за кварталом и вслед за фугасами обрушила на еще сохранившиеся окраины зажигательные бомбы; огонь сметал на своем пути все, пожирая людей, – и живых, и мертвых... Тракторный завод еще держался, и его конвейер двигался, продолжая гнать сборку танков, артиллерийских тягачей и движков; прямо из цехов машины выходили в город и дальше – на поля сражений, но танкистов не было, и экипажи оперативно собирали из заводских рабочих, техников и инженеров. В один из танков на место механика-водителя сел Федор, вместе с ним расселись по своим местам двое пожилых рабочих – моторист и сварщик, а мастер смены Четвертной занял командирское сиденье в башне. На броне танка справа начертали его грозное именование «Беспощадный», слева вывели неровными буквами «За Родину, за Сталина!», и новенькая «тридцатьчетверка» влилась в колонну несущейся на север 12-й отдельной танковой бригады, получившей приказ нанести контрудар по прорвавшимся с Дона немецким войскам.

Бригада вышла в степь, и двадцать восемь стальных чудовищ собрались в стаю, – авангард заняли пять танков, ставших клином, остальные рассредоточились на флангах.

Сидя перед открытым нижним люком и всматриваясь в горизонт, Федор дрожал от возбуждения и страха. После ночной артподготовки, казалось, насмерть проутюжившей фронт, был получен приказ готовиться к броску.

Светало. Федору видна была широкая полоска степи, раскрашенная оранжевыми всполохами пожаров и прикрытая сверху, словно шапкой, черными тучами густой гари. Силуэты мрачных, как бы надушенных машин, стояли слева и справа; впереди слышны были артиллерийские выстрелы и автоматные трели.

В небе показалась зеленая ракета, в тот же миг ожили танковые переговорные устройства, и почти одновременно взревели все дизеля бригады, окутав позиции сиреневым, светящимся в темноте дымом. Передовые танки сорвались с мест и, лязгая траками, двинулись к чадающей полосе горизонта.

Четвертной скомандовал: «Вперед!» Федор захлопнул люк и рванул за своими ведущими. Танк шел по степным ухабам, вертикальная качка была довольно сильной, и теперь в смотровой прибор Федор видел попеременно падающие то вниз, то вверх предугтренное небо и черно-ржавую землю. Справа от него шел Т-70 командира взвода, слева, в самом углу прибора, неслась «тридцатьчетверка» ротного. Позади бежала пехота. На всем видимом пространстве степи летали рои трассирующих пуль, похожие на фантастических жуков, прожигающих своими раскаленными телами темно-синее задымленное пространство...

Через несколько километров бригада попала под плотный артиллерийский огонь; Федор почти сразу потерял из виду и ротного, и взводного, но другие танки по-прежнему неслись в углах перископов, вспышки возникали то справа, то слева; Четвертной в башне начал работу: сначала «Беспощадный» стрелял на ходу, потом командир изменил тактику и всякий раз приказывал остановиться, чтобы дать прицельный залп; выполняя команду, Федор заставлял машину замереть, застыть, и тогда слышнее становились звуки боя: глухо ухали разрывающиеся совсем близко снаряды, истерически выли в небе самолеты, визжали, подлетая, противотанковые гранаты, а по броне бесконечным горохом сыпались осколки и пули. Вновь получая приказ «Вперед!», Федор срывал «тридцатьчетверку» с места, быстро набирал скорость, и «Беспощадный» снова летел к пылающему горизонту, яростно расшвыривая траками комья дымящейся земли.

Атака!

Федор чувствовал, как кровь начинает klokотать в его жилах, закипая, и нетерпение бешенства захлестывает мозг; впившись глазами в смотровой прибор, он высматривал вдалеке артиллерийские

вспышки и направлял танк прямо на них! Командир, сидевший наверху, в башне, понимал его без слов и, пользуясь приборами наводки, только успевал подавать команды заряжающему; внутри танка уже проник будоражащий запах пороховой гари, и весь экипаж, взвинченный азартом боя и бешеным движением вперед, втягивал дрожащими ноздрями этот запах куража и смерти... если бы танкистам сейчас врукопашную, с какою бы яростью кромсали они штыками ненавистного врага, как упивались бы его ядовитой кровью и плакали бы навзрыд от горючей ненависти! Но они неслись вперед на своей израненной снарядами и охваченной облаком дизельного выхлопа машине, и этот грохочущий латами и ревущий на ходу стальной динозавр стремительно мчался на вражеские позиции, преодолевая по воздуху расстояния между кочками, пролетая над узкими балками, весь в яростном порыве – достичь, наконец, полосы артиллерийского заслона, ворваться внутрь и крушить, крушить все вокруг, давя гусеницами технику и людей!

Машину подбрасывало и кидало из стороны в сторону взрывной волной, снаряды рвались все ближе. Федор миновал уже несколько танковых факелов; впереди неслась только одна «тридцатьчетверка», но и она, напоровшись с налету на огненную вспышку, вдруг резко накренилась и стала, злобно урча умирающим дизелем... Федор добавил газу, вражеские укрепления были совсем близко, и уже различались впереди контуры маленьких, словно игрушечных грузовичков, крохотных пушек и суетливо копошащихся возле них фигур. Командир с заряжающим беспрерывно палили, и на фоне рассветного неба было хорошо видно, как взлетает на воздух разгромленная техника, как мечутся в панике, словно потревоженные муравьи, испуганные людишки... Федор гнал и гнал, и уже не видел соседних танков, впрочем, их и не было, он шел на прорыв в одиночку, ибо все машины бригады были давно подбиты, а их боевые экипажи погибли, сгорели, превратившись в бесформенные куски пережженного мяса! Он один мчался вперед, сосредоточившись только на позициях врага; фигурки впереди разбегались... посреди грохота взрывов и неистового рева моторов разъяренная машина ворвалась на линию вражеской обороны и принялась крушить пушки, автомобили, мотоциклы, снарядные ящики, давить людей... «Беспощадный» оправдывал свое название и никого не хотел жалеть; в этой мясорубке не было места милосердию; дико крича и безудержно матерясь, Федор сладострастно вершил свою кромешную работу... Размазав в кровавую кашу технику и людей, он вывернул машину и кинул ее дальше, по направлению к тыловым коммуникациям врага. Вдоль разгромленных немецких позиций, посреди непрекращающейся артиллерийской

пальбы и завывания летящих с неба фугасов он вел танк еще несколько минут и вдруг совсем рядом от себя, метрах, может быть, в пятистах, увидел немецкую самоходку, которая медленно разворачивала орудие в сторону «Беспощадного»... Командир, едва заметив врага, приказал остановиться. Чтобы не терять драгоценных секунд, Федор резко стал на той линии, по которой шел, не успевая уже развернуться фронтом к противнику. Четвертой, быстро переведя взгляд со смотрового прибора на прицел, стал судорожно доворачивать башню и менять возвышение орудия. «Беспощадный» и вражеская гаубица выстрелили одновременно, самоходка взорвалась сразу, а танк, испытывав чудовищный удар, кажется, даже подпрыгнул на мгновение и закрутился вокруг своей оси, так же точно, как подраненный пес вертится на месте, визжа и скуля; сорванная гусеница волочилась за грудой искореженного металла и дизель дико выл, вытягивая последние обороты... машина, крича от боли, круг за кругом выпаживала почву и наконец, накренившись, затихла... В тот миг, когда снаряд сокрушил броню танка, Федор успел заметить в глубине отсека неестественно-яркую вспышку, услышал грохот и ощутил страшное давление, словно бы на него обрушился гигантский заводской пресс... мгновение он был без сознания, а когда очнулся, увидел, что пожилого стрелка-радиста, сидевшего справа от него, кинуло на броню взрывной волной, и он лежит, истекая кровью... в башне стоял густой черный дым, сквозь который сыпались веселые звездочки искр, а в глубине мерцал оранжевый, и на вид вовсе не страшный огонь... За ворот гимнастерки Федора стекала кровь, грудь его стала мокрой и липкой, а он все никак не мог сообразить, куда его ранило... наконец, стащив с головы шлемофон, он понял, что кровь льется из ушей... кое-как выбравшись, он подполз к стрелку-радисту. Дым заволакивал отсек все больше, и стало очень жарко...

Федор понимал, что танк горит и что ближайшая минута решит дело... он с трудом открыл перекошенный передний люк, пламя в глубине танка сразу загудело и вырвалось наружу; охваченный ужасом, Федор явственно почувствовал, как раскаленная волна воздуха прошла над его головой, зацепив волосы и опалив затылок. Волосы затрещали, вспыхивая; он в панике замахал руками, пытаясь сбить огонь, и кинулся вверх, но ходу туда уже не было, – в башне кипело, клокотало. Языки пламени жадно лизнули его бушлат, и запачканные солярой рукава в тот же миг вспыхнули двумя шумными факелами! Продолжая гореть, он кинулся к стрелку-радисту и, кое-как схватив его, пропихнул тяжелое тело в люк, но оно застряло, и ему пришлось, выбиваясь из сил, выталкивать товарища наружу. Хватаясь уже обожженными руками за раскаленную броню, он выбрался сам и обес-

силенный рухнул на землю. Кругом продолжало грохотать, где-то совсем рядом выли минометы и вбивали в пространство смертоносные знаки препинания резвые автоматы, в небе тоже шел яростный бой, но Федор слышал гул сражения словно сквозь ватную завесу...

«Беспощадный» горел, и над ним подымался зловещий столб черного дыма, остро пахнувший сгоревшим человеческим мясом...

До сумерек пролежали Федор с товарищем в ненадежном укрытии под стеной разрушенного здания. Пальба к вечеру стала утихать, самолеты в небе исчезли, и вокруг воцарилась неестественная тишина. На прохладной земле стрелок-радист очнулся, – серьезных ранений у него не было, только разбитая голова да сильная контузия.

С наступлением тьмы они встали и, поддерживая друг друга, двинулись в сторону своих. Шли медленно и долго, рискуя нарваться на врага, так как дорога пролежала по неприятельским тылам; ночью второго дня случайно наткнулись на свое пехотное подразделение.

Сидя в окопе, отвечали на вопросы; кто-то дал хлеба, кто-то – котелок с водой. Через несколько минут прибежал капитан-особист, грубо потребовал встать и доложить; Федор доложил; капитан стал орать, напирая на то, что танкисты бросили танк, бежали с поля боя, не выполнили боевую задачу... Зеленые с золотом круги поплыли у Федора перед глазами, и он почувствовал, как неуправляемое бешенство заполняет все его существо. «А это, – сказал он, указывая на свой обожженный, покрытый гнойной коростой лоб, – это тебе, товарищ капитан, ‘не выполнили задачу’? Или – это? – добавил он и ткнул под нос особисту покрытые кровавыми волдырями руки. – Мы-то, может, и не выполнили, а ты, сука тыловая, небось, с полевой кухней в атаку ходил?» Капитан побагровел и выхватил свой ТТ...

А потом был госпиталь и целый месяц госпитальной неги, проведенный в приятных знакомствах и тесном общении с молоденькими медсестричками, и возвращение в родной полк, и снова сражения, а потом – еще одно ранение, и уж совсем потом – Европа и Берлин, и мучительные размышления о том, что надо бы осесть тут, отринув, наконец, свою прежнюю неправильную жизнь, и ведь это просто, нужно лишь добраться до любого городка в американской оккупационной зоне. Но он подумал, что если решится на такое, то уж точно не увидит никогда больше ни тамбовских лесов, ни землиčky своей, о которых не раз вспоминалось ему в киргизской глубинке, да в колымской глуши...

В 1946-м вместе с полковыми товарищами прибыл он на родину и оказался в Подмосковье, где шла переформировка. Были мысли у него служить и дальше, но опять становился он заметен, – в мирной жизни ты снова на виду, и тебя рассматривают под увеличительным

стеклом. Темное прошлое возле Токмакова и братьев Антоновых в 20-х, побег под револьверным огнем из Гульчи в 37-м да опасная ссора с капитаном-особистом осенью 42-го, – что могло вернее погубить его в те годы, когда страна, едва отойдя от мучительного страха и надеясь на послепобедные послабления да вольности, робко-робко расправляла плечи? С одинаковой верностью делал он по размышлении неутешительный вывод: могло его погубить что угодно! И никакие медали, ордена, заслуги не спасли бы в случае чего, ибо вполне хватило бы ему какой-нибудь случайной встречи, взгляда или слова, чтобы получить сполна за все накопленные им грехи, искупить которые было невозможно.

Он покинул армию и ненадолго поселился в маленьком поселке под Калугой, уютно притулившись под бочком местной вдовы. После тягот военной жизни и ежедневной возможности попасть под пулю тихий поселок казался ему раем, и вдова была хороша и безотказна, только... он боялся, он все-таки продолжал еще бояться, – страх мучил его, не давая спать ночами, а днем на улочках поселка он все вглядывался в лица встречаемых, с тревогой ища в них какие-то неочевидные намеки.

В конце концов он бросил все и снова поехал в Магадан. Там не тронут, там никто не вспомнит о его прошлом, напротив, полученные на фронте ордена дадут ему возможность пристроиться надежно, безопасно... Чем хуже Магадан маленького подмосковного поселка? Что ему? Холод – нипочем, а остальное – лучше не придумаешь! Еды сколь угодно, баб – навалом, водка и табак всегда в наличии, и бараки теплые, стаж идет... северная надбавка опять же! а театры да кино ему без пользы, пальмы в Гаграх ни к чему; словом, все есть и, главное, – свобода! Свобода и жизнь, которую никто не отберет.

Путь был ему уже знаком, однако добрался до места он не скоро.

На Колыму продолжали слать этапы, заполняющие железнодорожные составы и океанские суда; во Владивостоке он не смог сесть ни на «Дальстрой», ни на «Сахалин», ни на «Минск», – все было битком, и его никак не брали, ссылаясь на отсутствие возможности; но вот подошла «Джурма», и на ней оказались знакомые охранники, которые, переговорив с капитаном, нашли ему укромный уголок.

В Магадане еще оставались знакомые, готовые пособить родному человечку, порадеть за него, но воды с довоенных времен утекло много, все хлебные места и должности были давно распределены, захапаны, – люди здесь сидели прочно, годами, не то, что на материке, хотя и тут нужно было держать ухо востро и быть всякий миг настороже. Словом, прежней работы в управлении «Дальстроя» не удалось ему добыть. Сидя в знакомой гостиничке, где все царствовал

тот самый зверского вида то ли узбек, то ли татарин, Федор уж отчаивался, не находя себе путного местечка. И тут кто-то из знакомых, видя, как мается да заливаает свою маету спиртом добрый человек, предложил ему пойти охранником в женский лагерь Эльген. И он, недолго думая, решился.

В работу он втянулся быстро, тонкости несложной службы освоил в течение первой же недели и, поскольку все в жизни делал добросовестно, с применением ума и природного задора, то постепенно выдвинулся даже в начальники конвоя, а через три года занял и вовсе стратегическую должность – стал ни много ни мало начальником режима. Начальник же режима – это власть, причем немалая. Правда, не особо хотелось ему входить в большую должность, – чем выше ты стоишь, тем заметнее для окружающих, однако же пришлось, ибо отказ или увиливание могли еще больше повредить ему в подобном деликатном случае.

В отношении зэка он никогда не зверствовал и своих подчиненных, проявлявших порой ненужное усердие, при возможности, хотя бы и с оглядкой, старался окротить. Была у него лишь одна слабость, которую не мог он придержать, – чрезвычайный интерес к нежной половине человечества, к женщинам то есть, и эта *особенная* слабость с годами укреплялась в благоприятной обстановке эльгенского ада, где контингент, особенно блатной, был по большей части покладист и послушен настойчивой мужской тоске. Всякая из женщин, которой посчастливилось быть удостоенной внимания хотя бы чуть облеченного властью представителя иного пола, давала обычно свое согласие на все, лишь бы получить с помощью временного друга какое-нибудь послабление в режиме или более тихую работу, а то бывало и так, что разовую благосклонность измученной голодомором бабы подлый мужик запросто покупал и за кусок чернушки. С политическими, правда, такие номера труднее проходили, но и политические были разные... Федор это знал и при необходимости умел пользоваться нужными отмычками. Бытовые и блатнячки были для него простой добычей, и он уж не стеснялся, как не стеснялся и в войну, когда свои бабы легко поддавались уговорам, думая горько *авось и моего кто-то приголубит*, а чужие, те, что попадались ему во множестве за границами страны, покорялись добровольно, но – из страха, видя в нем победителя, имеющего законное право на трофейную добычу.

И так перебивали в его комнатке многие из тех, в ком еще дрожала чахлая эльгенская жизнь, в ком бежала еле-еле застывшая на сорокаградусном морозе кровь, кто надеялся, может быть, зачать и получить хоть краткую передышку в этом ледяном Эдеме. Такие

счастливицы получали на время беременности легкую работу, а потом, родив, сдавали своих бледных младенцев в деткомбинат, где не все и выживали...

Последней фавориткой была у Федора Агриппка, наглая блатная баба, вечная воровка, не брезговавшая когда-то даже и разбоем. Совокупный срок был у нее лет сорок, и никак не меньше, да в зонах она давно уж прижилась и вовсе не бедствовала, в отличие от большинства. К блатной наглости и куражу была дана ей Богом, а лучше сказать – чертом, хищная красота вечно течной самки, которую каждый уважающий себя самец всенепременно должен покорить... да что там «покорить»! даже и видом своим как бы говорила она, что не подвержена глупым сантиментам, и мужик, которому позволен будет доступ к ней, должен без всяких околичностей просто грубо отыметь ее. Ей было тридцать или чуть более того и, конечно, лагерные годы уже наложили на нее мутные печати, но она еще не потеряла свою былую красоту и очень пользовалась этим. С Федором она снюхалась мгновенно и довольно долго выжимала из этой тайной связи все мыслимые и немыслимые льготы.

А потом с новым этапом пришла инопланетная испанка, и Федор сразу бросил ставшую ненужной Агриппину. Та болезненно приняла измену влиятельного покровителя. На кого променял! На чернявую пигалицу, доходягу! Ни кожи, ни рожи, одни глазищи во всю ширь!

И не стало житья Исабели с той поры. «Испанка, принеси! Испанка, унеси! – слышала она без конца от Агриппки. – Подай то, подай это! Дневальть будешь вне очереди! И штрафную командировку я тебе как-нибудь устрою! На Мылгу пойдешь... с-с-сучонка!»

Властишки Агриппкиной было, конечно, маловато, чтобы спровадить соперницу подальше, но кровь она портила Исабели презрительно. И Федор не в состоянии был хоть что-нибудь исправить, потому что просто не знал об этих выходах прежней фаворитки, – Исабель не жаловалась, пытаясь самостоятельно выйти из всех конфликтов. Прямых столкновений «жучки» избегали и, вообще, несколько даже опасались ее, хотя и тщательнее скрывали это. Весь барак слышал, как Исабель однажды пообещала Агриппине в случае необходимости перегрызть ей глотку, добавив в конце разговора ради убеждения: «Я никогда тебя бояться!» Вдобавок все в лагере знали, что на «Минске» она убила блатаря и отбилась от взбесившейся орды уголовников.

До поры до времени ее не трогали, но скоро Исабель стала слабой и доступной для мести. Забеременев, она потеряла возможность обороняться, а блатные понимали только силу, языком их было не пронять. Во всех стычках Исабель берегла теперь в первую очередь

свой подрастающий живот и только злее огрызалась на вызовы блатных. В особо острых ситуациях вступалась за нее «политика», коей достаточно было в бараке, чтобы погасить особо борзых.

Но вот как-то назначили Исабель дневалить утром, и остались с ней, освобожденные как бы по болезни, а на деле замастыренные, Агриппка со своей шестеркой Чунькой. Они сидели в углу на нижних нарах и резались в картишки. Исабель топила печку. Когда дрова прогорели, подбросила еще сыроватых чурбачков, сходила за водой и принялась, стоя на четвереньках и левой рукой держа живот, мыть полы. На «жучек» она и внимания не обращала, а они, играя, нет-нет взглядывали на нее да шептались о чем-то. Исабель одолела уже полбарака, когда к ней быстро с двух сторон подошли Агриппка с Чунькой, и Агриппка сходу ударила ее ногой в живот. Исабель успела только охнуть; упав набок, опрокинула ведро с водой, и вода, освободившись из своей цинковой тюрьмы, весело побежала по выскобленным доскам. В этот миг Агриппка нанесла второй удар, перевернувший Исабель на спину, а с противной стороны поджидала ее Чунька; пружинисто скакнув, она обеими ногами ударила по кистям Исабели, ненадежно прикрывавшим живот. От острой боли Исабель выпала из сознания и осталась лежать в луже крови на ледяном полу барака до возвращения подруг со смены; она не могла ни шевелиться, ни ползти, ни, тем более, встать, хотя бы и на четвереньки. Зайдя в свое жилище и глянув в угол, где валялись на нарах блатные картежицы, зэчки все поняли и, глухо ропща, осторожно взяли Исабель на руки, накрыли бушлатом и понесли в больничку.

Агриппка с Чунькой получили по протекции Федора пять суток карцера и твердое обещание штрафной командировки, а Исабель, отбыв в больничке рекордную для «политики» неделю, вернулась в барак с фиолетово-зеленым синяком во весь живот и, конечно, без ребенка.

Детоубийцы отсидели в карцере назначенные дни и загремели на лесоповал, где наравне с другими должны были валить деревья, расчищая просеку под дорогу к соседнему лагпункту. Федор, тем временем, сулил им в подарок шахту Известковая, которая давно уж прославилась на Колыме редким постоянством в убийстве заключенных. Забойная работа с неподъемным кайлом, нечеловеческий холод внутри шахты и штрафная пайка, являвшаяся следствием невыполнения нормы в этих чудовищных условиях, – все это быстро доводило человека до истощения, и он переставал быть человеком, он *доплывал*, превращался в существо и очень быстро покидал этот негостеприимный мир, не нажив в нем никакого имущества, кроме жестяной бирки, которую вешал ему на ногу равнодушный санитар лагерного морга.

Но Агриппка с Чунькой не удостоились Известковой, ибо Тот, Кто ведал этим путем, счел его уж больно кружным, запутанным, нерациональным.

У колымских эзка был свой Бог, заскорузлый, суровый, умевший прощать и проявлять милосердие к чадам своим, но... милость Его делалась вовсе уж простой или, лучше сказать, даже – примитивной, когда дело касалось детоубийц. Он готовил для них особую дорогу, и эта дорога была, конечно, более прямой, но и более зловещей.

Пока ждали штрафного этапа на Известковую, убогая эльгенская жизнь тянулась своим чередом, и Агриппка с Чунькой продолжали убиваться на лесоповале. Правду сказать, убивались-то за них другие, а они в компании блатных больше сидели у костра, чем делали что-нибудь полезное.

Исабель оставили на щадящем труде в администрации, и ей по-прежнему удавалось забежать иной раз к Федору. Долго не видя его, она скучала, и думала, не без основания, что он тоже скучает без нее.

Приближалась тридцать пятая годовщина Октябрьской революции, в лагере все усиленно готовились к этому событию. Ждали магаданское начальство с инспекцией, разгребали снег на территории, подкрашивали, подбеливали, строили какие-то шаткие потемкинские деревушки. КВЧ работала на полную катушку, – зэчки готовили концерт, литературно-драматическую композицию по стихам русских поэтов, рисовали лозунги и плакаты.

Исабель не касалась этой мишуры, она хотела только поздравить своего Федора, а для этого ей нужен был подарок. На кухне пищеблока раздобыла она большой джутовый мешок и по вечерам в бараке потихоньку распускала грубую ткань на нитки, из которых при помощи гладких, очищенных от коры тонких веточек можно было связать что угодно. Она решила подарить ему носки, милое дело, – теплые и крепкие джутовые носочки под офицерские бурки. Вязанию научилась она еще в Обнинском детдоме, и дело пошло споро; через короткое время – аккурат к празднику – носки были готовы. Шестого ноября случилась давно ожидаемая инспекция «Дальстроя», все ходили по струнке, опасаясь сановного гнева, но день прошел спокойно и относительно тихо.

Седьмого к обеду стали собираться гости; в Красном уголке здания администрации для руководства лагеря приготавливалась вечеринка, но сначала запланирован был большой праздничный концерт на импровизированной сцене барака КВЧ. После концерта офицеры и их расфуфыренные жены в приподнятом настроении и в предвкушении выпивки отправились в Красный уголок. Под портретами вождей, под сенью флагов и переходящих вымпелов были там накрыты

обильные столы, и Федор, войдя вместе со всеми в помещение, с удовольствием вдохнул манящие запахи еды. Батарея разнокалиберных бутылок тянулась по всему столу, ярко горела лампочка под потолком, прикрытая ради интима бумажным абажуром, весело потрескивали полешки в печи... гости шумно расселись, шаркая стульями и возбужденно обмениваясь впечатлениями от концерта. Через короткое время все были уже в хлам, говорили одновременно, перебивали друг друга, патефон наяривал цыганские романсы, а Федор терзал гитару и пел блатные песни, пытаясь переорать гостей и голосистых цыган.

Рядом с ним сидела жена начальника конвоя, разбитная пухлая бабенка в блестящем фиолетовом шелке, окутанная дурманным облаком «Красной Москвы». Во время застолья она преувеличенно громко хохотала над казарменными шутками Федора и все норовила коснуться его голым предплечьем. Федор напропалую ухаживал за ней, подкладывал еду, подливал водку, щедро дарил комплименты, преувеличенно восхищаясь знойной красотой колымской дивы и нагло нашепывал в ее душистое ушко пошлые сальности, благо супруг красотки быстро напился и ничего, кроме бутылок, возле себя не замечал. В конце концов, поерзав под столом, она положила свою влажную ручку, украшенную массивными перстнями, под живот Федора и через короткое время, когда все уже хорошенько набрались, призывно мигнула ему и сделала едва заметное движение головой. Федор понял, и они, выбравшись из-за стола, вышли в полутемный холодный коридор, а потом, пройдя несколько шагов, очутились в его жарко натопленной комнатухе...

Исабель тем временем вышла из барака, грея на груди под бушлатом драгоценные носочки, и побежала к вахте. Зная, что она давно уж моет полы в здании администрации, вахтеры всякий раз спокойно пропускали ее, предварительно обыскав, – так было и сейчас, только пожилой сержант Сапегин, караульщик, найдя носочки, хмуро пробурчал: «И мне такие свяжешь...» Исабель с легким сердцем обещала и, покинув вахту, поскорее зашагала к административному бараку, ориентируясь в темноте на два его ярко светящихся окна. Зайдя внутрь, она услышала пьяные возгласы, смех, женский визг и хриплое звучание патефонного контральто Изабеллы Юрьевой. Она знала, что в Красном уголке отмечает праздник лагерное начальство и думала, потихоньку пробравшись в Федину комнатуху, оставить там для него свой скромный подарок. Она тихонько прошла по коридору, завистливо вдыхая ароматы праздничного стола, вырывающиеся из слегка приоткрытой двери Красного уголка, и дошла до Федоровой комнаты. Сердце у нее билось, она боялась быть застуканной на месте преступления, потому что пребывание зэчки за вах-

той, да еще в здании администрации, да в день годовщины революции могло быть истолковано даже как диверсия или, для примера, – как подготовка к ней. По большому счету, при желании начальства можно было огрести по полной и получить не только карцер или там штрафной этап, но даже и срок новый схлопотать. «А че ты делаешь, – могли ее спросить в случае поимки, – ночью в штабе, в политическом, так сказать, штабе режимного объекта? Уж не гранату ли хочешь бросить в эльгенское руководство?» Словом, она очень боялась и торопилась исполнить поскорее свою деликатную миссию. Она знала, что дверь в свою комнату Федор не запирает и, подойдя к знакомому обшарпанному дерматиону, потихоньку потянула дверную ручку. Изнутри вырвалось волглое тепло и ожгло знакомыми запахами крепкого табака, собачьей шерсти, влажных бурок и дегтярного мыла. Она просунулась в щель и среди неясных отблесков огня, вырывающихся из приоткрытой печной топки, увидела стоящих прямо на полу в собачьих позах Федора и незнакомую дебелую бабу. Просторная юбка бабы была закинута ей на спину, резинки пояса болтались впереди, чулки сползли... да и Федор был хорош: он стоял на коленях позади бабы, только приспустив свои галифе и не потрудившись даже скинуть бурки, крепко держал бабу руками и так, упираясь, делал свое дело. Светлые бурки белели в полутемноте и гипнотизировали Исабель, она стояла и, остолбенев, глядела на них завороченно, как когда-то глядела на своего мучителя сеньора Верхилио, не в силах оторваться... наконец она пришла в себя, закрыла дверь и, повернувшись спиной к холодной коридорной стенке, медленно сползла по ней...

Через минуту в коридоре появился Федор, безобразно пьяный; левой рукой он поддерживая спадающие галифе, правой протягивал Исабели бумажный пакетик с рафинадом...

Миная вахту, она зашла в караульное помещение для обыска и так, окаменев, держала перед собою кулек с серым, мелко наколотым мрамором сахара, как держат подаренный букет, пока пожилой Сапегин с видимым удовольствием лапал ее и приговаривал: «Вот же шалашовка... сахарком разжилась за свое-то блядство...»

Войдя в барак и не снимая телогрейки, она без сил присела на нижние нары, сторбилась, и платок сполз с ее затылка; кто-то из подруг сел рядом, сочувственно погладил ее по волосам, что-то сказал... но она не слышала... в свете тусклой лампочки, излучающей багровый свет, бродили, казалось, бесцельно тени замученных существ, тихо переговариваясь и переноса что-то с места на место, перетряхивали свои нищенские тряпки и готовились отойти к бездонному, страшному, короткому сну...

Исабель сидела в полузабытьи, и тут к ней подошла неясная фигура, взяла за руку и, сказав: «Агриппка зовет, сходи-ка до нее», повела куда-то в глубину барака. Станный замедленный калейдоскоп мелькал перед глазами Исабели: цветные пятна, блики и снова – тени, тени, тени...

Вдруг тени отодвинулись, и перед ней возникло злобное лицо Агриппки. «Что ж, красючка, – молвила Агриппка, – я чаю, ласков был начальник? Нагляделась на него? А вот не поглядишь больше! Не поглядишь, сука!» С этими словами она подскочила к Исабели и, быстро охватив локтевым сгибом шею, прижала ее голову к своему плечу. Исабель в панике забилась, как птица, угодившая в силки... Агриппка взмахнула рукой... Исабель успела только увидеть ее мелькнувший на фоне багровой лампочки кулак... и почувствовала резкий удар в лицо! Правый глаз мгновенно ослеп, но Агриппка еще не закончила своего черного дела... снова размахнувшись и коротко всхлипнув, как всхлипывает рубщик мяса, обрушивая тяжелый топор на говяжью тушу, она вонзила стилет в левый глаз Исабели! Зэчки вокруг зашумели, – кто с возмущением, кто – с одобрением; кто-то вскочил с нар, кто-то быстро и дробно побежал к дверям...

Исабель взвыла и упала на четвереньки... Тут к ней подскочила Чунька и с размаху ударила ее ногой, угодив носком бурки под грудь, прямо в сердце!

Воя, ползала Исабель по бараку, зажимая ладонью свои растекающиеся глаза и... слез не было, потому что глаз не было! Горькая густая слюна текла из ее рта, смешиваясь с кровью, она все ползала и тыкалась по сторонам, как слепой кутенок тыкается в черноте безглазия, ища наощупь материнские соски... а вокруг продолжалась злоеющая, беспорядочная пляска теней, которых она уже не могла видеть...

Через два дня начальник лагеря приказал этапировать Агриппку с Чунькой на страшную Известковую, а Федор вызвал к себе Савельиху, уголовницу-рецидивистку, не старую еще бабу, убивавшую на воле людей ради грабежа да прибытку.

Савельиха пришла и, уважительно поздоровавшись, уселась против Федора. Он внимательно посмотрел ей прямо в душу и равнодушным шепотом сказал: «Слышь, убогая... сдается мне, Агриппка с Чунькой дюже приболели... да и болезнь у их, кажись, смертельная...» – «А как же, гражданин начальник, – ответила Савельиха, сверкнув белками, – как есть смертельная... два дни вряд ли проживут...» – «Ну и хорошо, – подвел черту Федор и достал из ящика стола буханку черныша, – а это вот тебе... да гляди, – сама ешь, ни с кем, знамо дело, не делись...» – «У нас понятие, гражданин начальник,

завсегда есть, – успокоила его Савельиха, – чай, мы не пальцем делаемы...» И засунула буханку под свой замурзанный бушлат.

На следующее утро после развода бригада лесорубов как обычно отправилась на свой участок. Зэчки занялись работой, а Агриппка с Чунькой зашли поглубже в лес, чтобы не маячить перед вертухаями, и сели по своему обыкновению греться у разожженного наскоро костра. За треском полешков не сумели разобрать они, как подкралась к ним Савельиха, отчаянная баба с топором в руках, – когда же обернулись, думая, что кто-то из товаров подошел погреться да повеселить их крепким анекдотцем, – так было уже поздно. Савельиха размахнулась да и саданула Агриппку лезвием в лицо! Голова Агриппки дернулась, и на лбу через переносицу появилась у нее ровная багровая рана, края которой словно бы всасывались внутрь, съезжаясь и подрагивая, а лицо мгновенно залила дымящаяся кровь... Агриппка постояла мгновение, качаясь, и – рухнула в костер, рассыпавшийся тысячами искр... Чунька, застыв в ужасе, смотрела не мигая, и вдруг сорвалась с места и побежала, путаясь в снегу, цепляя ветки и разбрасывая руки. Но далеко бежать ей не пришлось – Савельиха нагнала ее возле могучего, засыпанного снегом кедра, прихватила покрепче топор и ударила обухом в затылок. Послышался сухой треск черепа, словно переломили на морозе сучковатую палку, и Чунька ткнулась вспотевшим на морозе лбом в шершавую кедровую кору...

Убитых хватились по окончании работы, да в темноте уж искать не захотели. Ночью пошел обильный снег, просеки и тропинки надежно завалило. Утром начальство снарядило на поиски вертухаев, да те только потоптались, глухо матерясь, вокруг поваленных кедровых стволов. Агриппку и Чуньку зачислили в побег, а шахта Известковая так и не дождалась новых работников ударного труда...

Исабель вскоре сактировали и вывели за зону. Слепая в лагере только даром станет жрать хлеб да хлебать баланду, а пользы же от нее – никакой, одна доука. Вот начальники и отправили калечку на свободу – доживать свой неспешный век.

И когда она уж выходила с зоны, случился на вахте снова пожилой Сапегин, глянул на нее и беззлобно молвил: «Ага, сактировали тебя, гляжу я, подчистую... кончился, стало быть, твой террор и шпионаж. Это хорошо... знать, не забалуешь больше...» И усмехнулся добродушно в прокуренные усы...

Одна добрая шоферская душа довезла ее до Ягодного и помогла получить в тамошнем управлении нужные бумаги, а потом уж доставили ее и в Магадан, где она поначалу слонялась без угла, как всякая сиротка, да мыкалась в подвалах. Но и здесь нашлась добрая душа –

ссылнопоселенка Рахель Марковна, приметившая замерзшую побирешку в каком-то теплом скопище народа. Она забрала Исабель в свою крохотную комнатуху, размещавшуюся на втором этаже громадного гулкого барака, и через время умудрилась даже пристроить ее на работу в слесарную артель – собирать наощупь болты с гайками для нужд бурно развивающегося народного хозяйства.

А Федор очень скоро попал в крупный переплет. Как ни берегся он, а все ж таки попал – и погорел-то на своей единственной слабости – на дамах.

Начальник конвоя, муж разбитной пухленькой бабенки в фиолетовых шелках, как-то по своему обыкновению упилился в хлам да угостил кулаками от щедрот своих супругу, дознаваясь, откуда принесла она в дом сифилис. Бабенка, без сомнений и совсем недолго думая, показала на начальника режима, хотя еще неизвестно, кто и куда этот самый сифилис принес. А начальник конвоя уж давно приглядывался к начальнику режима, потому как местечко у того было теплое да хлебное, вот и повод сыскался...

И загремел Федор под бравурные марши Исаака Дунаевского: завели на него дельце, честь по чести, да копнули так, как опытным землекопам и не снилось, а потом и предъявили все, до чего смогли дознаться. Еще как-то прошло мимо следствия военное его прошлое, в котором можно было много чего крамольного сыскать, да колымский период остался практически нетронутым, – чего копать на Колыме, где он и так был всегда очень на виду, когда есть более интересные пласты его жизни, вполне достойные даже и не одного растрела. Стали его на допросах всяко склонять к сотрудничеству и пристрастно вопрошать: «Будешь, дескать, сотрудничать со следствием?» Он вовсе не хотел рассказывать про Токмакова или про Антоновых и упорно молчал о своих подвигах в Киргизии. Но ушлый следователь-капитан кое до чего и сам уж докопался. Спервоначалу Федор хорошо стоял, а потом, когда применили к нему третью степень пристрастного допроса, не вынес озлобленности противной стороны да поплыл, растекшись, будто сколок рафинада во влажном чайном блюде. Следователь бил его ногами, но вскоре решил побережь свои бурки и через пять дней перешел на кулаки, однако же и кулаки вскоре пришлось ему отставить, – жалеючи сбитые костяшки пальцев, стал он истязать подследственного табуреткой. Табуретка разбилась прежде головы, и тогда уж Федор постановил: признаюсь хотя бы в чем-нибудь, хоть бы в малости какой...

И тут ему как раз дали на подпись чистосердечное признание: дескать я, такой-то и такой-то, будучи на протяжении уже длительно-го времени тайным врагом советской власти, поддался вербовке рези-

дента испанской разведки и руководителя подпольной шпионско-террористической организации Гутьеррес Исабель и под руководством сей означенной Гутьеррес сознательно вредил нашей родной социалистической отчизне... ну, и так далее, в чем и подписуюсь...

Следователь был, мало сказать, что сильно ушлый, он был просто дока, и в его карьере случались уже и германские шпионы, и японские, и американские, и припоминал он даже иногда, в минуты приподнятого настроения, как был на его веку даже некий сионист, шпионивший в пользу неведомого государства, недавно явившегося на Ближнем Востоке... а вот испанского шпиона, агента буржуазных националистов, до сей поры он не разоблачал. Какая благодатная открылась ему почва! Какие красивые, какие неопровержимые обвинения он сформулировал и предъявил! Будут, будут ему уже, наконец, майорские звезды на погоны, а может и с медалькой начальство пособит... Подпиши-ка нужные бумаги, гражданин подследственный, надо же тебе очистить свою совесть... а то уж больно я переживаю за твою загубленную душу...

Федор поднял скованные руки и неловко ухватил пальцами любезно поднесенное ему перо... капитан кивнул в сторону чернильницы... Федор обмакнул перо, и оно, словно бы в раздумье, неловко повисло над бумагой...

Он вспомнил Исабель и увидел ее размытый профиль, наполовину утонувший в подушке и мерцающий на фоне выпавших из печки углей... тут в морозное окно кабинета кто-то стукнул, Федор глянул и за ледяной узорной росписью увидел простоволосую Исабель, тревожно уставившую на него пустые глазницы... он подумал: как же так? только что она лежала в постели посреди уютной тишины рядом с теплой печкой, а теперь стоит на ветру – без платка, в распахнутом настежь бушлате, не пытаясь прибрать взвихренные волосы...

Следователь обернулся и глянул в окно.

«А, признаешь, стало быть, – удовлетворенно сказал он. – Ну так подписывай, мать твою!» И стукнул кулаком о стол.

Федор вздрогнул, стальное перо в его руке качнулось, и на бумагу, в том месте, где должна была стоять подпись, упала ровная, красивая клякса, похожая на зимнюю снежинку, – только не белая, как снежинки, а темно-синяя, почти черная... Он неловко пристроился, кое-как уместив руки и уперевшись наручниками в край стола, вывернул локти, примерился и... подписал...

На следующий день Исабель арестовали. Пришли поздним вечером двое ничем не примечательных людишек, грубо отпихнули вставшую им навстречу Рахель Марковну и, не вступая в разговоры, увели слепую.

Два месяца провела Исабель в магаданской тюрьме, вовсе не ориентируясь во тьме своей вечной ночи, и готовилась было помереть, ясно понимая, что второй раз из когтистых лап колымской инквизиции ей уж и не выйти.

Но... грянуло вдруг пятое марта, и миллионы людей по всей стране прильнули к тарелкам репродукторов, с тревогой, страхом и надеждой вслушиваясь в медицинские заклинания: явления острой сердечно-сосудистой недостаточности, нарушение кровообращения, очаговые изменения в задней стенке сердца и... совсем уж немыслимое в своей магической загадочности дыхание Чейн-Стокса... Это было похоже на молитвы каких-то древних жрецов – дыхание Чейн-Стокса... Чейн-Стокса... Стокса... Стика... и вот – случилось, и страна замерла, еще не веря, но уже рыдая, – миллионы рыдали от горя и миллионы рыдали от радости, боясь надеяться, боясь даже думать о том, что ждет всех впереди...

Исабель досидела до конца апреля, до тех самых пор, пока в тюрьму не проникли немыслимым образом слухи об амнистии. Азбука Морзе стучала по всем камерам: Указ Президиума Верховного Совета СССР... 28 марта... передовица «Правды», и еще много всяких темных домыслов. Кого освободят, было неясно, надеялись, что всех, но потом выяснилось – далеко не всех; однако же до Исабель дошла вроде бы вполне достоверная строка Указа: освобождаются лица, страдающие тяжелым неизлечимым недугом... И это оказалось правдой, – вскоре она вышла на свободу.

Тепло в Магадан еще не пришло, стояли крепкие морозы, но месяц был весенний, и ослабление долгого ледяного наступления чувствовалось уже во всем.

Людей, однако, еще не отпускал страх, и многие не верили в перемены, не верили в амнистию. Но гигантская, заржавевшая за десятилетия машина уже начала, чудовищно скрипя и лязгая, потихоньку двигаться назад: ссыльнопоселенцы перестали отмечаться в комендатуре каждый месяц; людей, на которых стояло клеймо террора, шпионажа, диверсий, стали вдруг принимать на нормальную работу, хотя раньше считалось, что выше землекопов или каких-нибудь мусорщиков им никогда и не подняться.

Рахель Марковна принялась с неистовой прилежностью строчить прошения о пересмотре своего дела и дела Исабели и требовать, – да-да, требовать! – реабилитации. Она строчила прошения десятками, и сначала приходили стандартные ответы, что, дескать, оснований для пересмотра дел нету, и подразумевалось всем тоном этих писем, что вряд ли такие основания когда-нибудь возникнут, но Рахель Марковна, словно предчувствуя что-то, продолжала строчить и стро-

чить, и в один прекрасный день – вопреки мрачным прогнозам Исабели – добилась-таки своего и получила уведомление о том, что по вопросу о реабилитации гражданке Кауфман Рахели Марковне и также и гражданке Гутьеррес Исабели надлежит, приехав в столицу нашей родины Москву, явиться в Прокуратуру СССР по адресу улица Кировская, 41.

И потом были недолгие сборы, лихорадочные поиски денег на самолет, шумная, уже проснувшаяся от зимней спячки столица и гулкая приемная сановой Прокуратуры.

Рахель Марковна оказалась в новых условиях человеком необычайной стойкости и пробивной силы, она всюду водила Исабель за руку и везде требовала тихим, но звенящим от напряжения и ненависти голосом, – требовала своего и добивалась своего. Она умудрилась даже отвоевать свою довоенную комнатуху в коммуналке на Собачьей площадке, куда они с Исабелью вскоре и вселились.

Жили скудно, потому что с работой в Москве оказалось непросто. Можно было, правда, без особого труда попасть на какую-нибудь стройку, но ни одной, ни другой эта работа не подходила уже по состоянию здоровья.

Рахель Марковна устроилась библиотекарем в районную библиотеку, а Исабель – на заводик ширпотреба, где вслепую собирала нужные производству несложные детали.

Чтобы заработать больше, стала Исабель по выходным ездить на вокзал, устраиваться там под стеночкой да петь ради людей красивые испанские песни, за что бросали ей в жестяную коробку из-под монпасье гривенники, а то даже и двугривенные...

Так ездила она на вокзал годами и однажды душным летним днем, стоя под вокзальной стеною, почувствовала вдруг, как некий прохожий стал напротив, и от него исходит какая-то странная энергия и пугающее напряжение, словно бы человек до краев наполнен электричеством или раскаленной плазмой, готовой пролиться от малейшего неосторожного движения.

Она пела свою Альгарту, украшенную садами, виноградниками, кустами жасмина, а он все стоял, – стоял так долго, что она начала даже волноваться, не понимая причину столь пристального внимания к себе, ведь обычно спешащие на вокзал будущие пассажиры или, напротив, только что сошедшие с поезда и уже переставшие быть пассажирами, если и задерживались возле нее, то совсем ненадолго, – послушают минуту-другую, бросят монетку да бегом дальше по своим делам. А этот стоял долго, слушал, не шевелясь, словно бы окаменев, и наконец робко подошел... Исабель уловила эту робость, услышав его сторожкие шаги, его неуверенную поступь, – он подо-

шел ближе, и тут она неожиданно оборвала песню о своем потерянном рае.

Она почувствовала этого человека.

От него по-прежнему пахло крепким табаком, собачьей шерстью, влажными бурками, дегтярным мылом и лагерным бараком.

«Исабель... – сказал он едва слышно. – Исабель...»

Она протянула руки и ощупала его лицо. Гладкая обожженная кожа, вялый подбородок... жесткая щетина там, где не было ожогов... впалые щеки, твердые скулы, лоб в морщинах и кустистые брови... Глаза? – Дряблые веки и закрытые почти полностью, слезящиеся глаза... что с глазами? «Что с глазами?» – спросила она тихо. «Трахома, – ответил он. – Это мне за тебя...»

И со временем Исабель ушла от Рахели Марковны, переехав в восьмиметровую холостяцкую берложку Федора в грязной коммуналке маленького городка Смоленской области, тогда уже переименованного в честь первого космонавта Страны Советов.

Федор был еще крепок, получал пенсию от власти и время от времени навещался в Москву хлопотать о прибавках за ордена да медали, уже начинавшие тускнеть в темноте платяного шкафа. К слепоте своей оба они давно попривыкли и прекрасно обходились даже и в дальних путешествиях, самым дальним из которых было, впрочем, лишь путешествие в столицу. Исабель работала в инвалидной бригаде при Обществе слепых на кустарном изготовлении заклепок, сборке бельевых прищепок и тому подобной мелочи, Федор получал пенсию да все ждал обещанных прибавок... и через некоторое время в самом деле получил их, – словом, они не жировали, но жили в целом нормально, как и подавляющее большинство советских людей. Тяжко стало с началом 90-х, когда все вокруг неожиданно затрещало по швам и все поняли, что наступает эпоха великих катаклизмов. И тогда они собрали деньги и купили у соседа-алкаша старенькую, давно облупившуюся, но еще вполне сносно звучащую гитару. И стали ходить с ней на городской вокзал...

И вот я стоял перед этой странной парой и смотрел с горьким состраданием на их обветшалую одежду, на прихваченные морозцем фиолетово-багровые лица и провалы их почти беззубых ртов... старик перебирал струны глянцевыми, обожженными когда-то пальцами, а старуха пела на испанском, запрокидывая голову... голос ее звучал очень красиво, хотя и резковато.

Мелодия была мне вовсе незнакома, она плыла над привокзальными шалманами, над станционной гарью, над серой толпой бегущих неведомо куда озбоченных людишек, и в ней, посреди сухого

русского морозца, холодного ветра и тоскливого одиночества, звенел зной сиесты, благоухали цветущие апельсиновые сады и бродили волшебные женщины в разноцветных сарафанах...

Как ведет нас по жизни слепая любовь – к человеку, стране, к какой-нибудь, может быть, замысловатой идее или даже – к самому себе, и насколько мы бываем порой прямолинейны и жестоки в этой любви... нам жаль своих загубленных жизней, а мы всё не можем понять, что других-то уж и не будет...

Так сидели эти старики между пирожковой и газетным киоском под стеной «Оптики», он – играл, она – пела, и в напеве их было столько горькой жизни, такая звучала в нем долгая судьба – со своим черноземом да со своей вечной мерзлотой... но никто, никто кроме меня, не слышал этой скорбной песни о потерянной родине... Лишь монеты, брошенные второпях сердобольными прохожими, глухо звенели в жестянке из-под монпасье...

Бишкек

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Виталий Амурский

ИЗ ЦИКЛА «СНЕГОРОЖДЕНИЕ»

*Снегу, выпавшему со 2-го на 3-е января 1891 г.
в Варшаве, когда родился Осип Манделъштам*

Ну вот и снег! Мое почтение!
Заждавшись, спрашивали: будет ли?
Так гостя ждут на день рождения
Или в обычный, то есть в будничный.

День, впрочем, шел уже на убыль,
Густели сумерек чернила,
Чернели улицы, как уголь,
В зрачках случайных очевидцев.

И вот, не оставляя пятен,
Слегка торжественно и медленно
Он появился, будто в Пятой
Главе «Евгения Онегина».

Тогда ж, январским утром третьего,
Мороз немного отодвинулся,
Как будто мягче стала плоть его,
Но ртуть мерцала ниже минуса.

Варшавским улицам рядиться
В нарядах белых было радостно,
О том же, кто в ту ночь родился,
Умалчивал озябший градусник.

* * *

Зима сырая и промозглая,
Но вдруг – в единстве и осколками:
Полозья розвальней Морозовой
На памятном снегу Московии.

О как знакомо всё и как известно, вроде бы,
От глаз до губ, от шуб до нищей ветоши!
Встречались ли вы так с тенями родины,
И видели ли близко это же?

Так близко, что протянешь руку
Или вперед полшага сделаешь,
Как ветер вмиг хлестнет упругий –
Порою – душу, а порою тело лишь.

* * *

Я родом из Третьего Рима
Его предзакатной поры,
Где запах сирени и «Примы»
Пронзал проходные дворы.

Где сохло белье на веревках
И звонко шумела с утра
На липах и чахлах березках
Столичная птичья братва.

Там водкой лечили печали,
В войну став добрей или злей,
Недавние однополчане
И те, кто подрос чуть поздней.

О, это особое братство,
Скрепленное духом тех лет, –
Без фальши, лукавства и барства,
Без дружб как разменных монет.

Конечно, не так уж я точен, –
Хватало двуликих и там.
Известно – подчас позолочен
Внутри проржавевший металл.

Мир сей все же прочно был слажен
И если остался в душе –
Различий в нем мела и саж
Найти нелегко мне уже.

Но надо ль искать, вспоминая
Эпохи той веретено,

Ведь рядом реальность иная,
Реально и я ведь иной.

Лишь в сердце живет безотчетно,
Блестит серебром на висках
Все то, что ушло, и о чем я
Пытаюсь слова подыскать.

* * *

Как высоки и благородны
Поэтов-классиков стихи,
А у меня, что в подвороте,
Увы, всё те же сквозняки.

Газет обрывки и окурки,
Еще какая-то мура...
Фокстрот, соседствующий с «Муркой»,
Из полутемного двора.

Клочки тоски послевоенной,
Где, посев не по годам,
Пьют мужики – один за Вену,
Другой – припомнив Магадан.

ИЗ ЦИКЛА «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»

Легкий дождь в разгаре лета.
Вход в кино. Афиши. Свет.
«Нет ли лишнего билета?»
– Опоздали, больше нет.»

Помню гам в буфете тесном
И буфетчицы рябой
Вылезающее тесто
Из-под блузки голубой.

Помню, помню пиво с пеной
И фойе, где был рояль,

Под который бодро пели
Про целинные края.

Помню, помню эти лица –
Серых лет живой дневник –
Даже если и двоится
Или стерлось что-то в них.

Помню звук звонков коротких
В зал зовущих, и экран,
На котором Ваня Бровкин
Жил, любил и звезд не крал.

Странно, право, вдруг воскрес он,
Тот давнишний кинозал,
Частью чьей в скрипучем кресле
Был, конечно, я и сам.

Тихий шепот вспоминаю,
Смех из дальнего угла,
Место занятое с краю,
Где бы ты сидеть могла.

* * *

Вспоминая ноябрь 1973-го года

На ветру, будто лошади, гривами
Чуть подрагивают деревца.
Снова мысленно эмигрирую,
Словно этому нет конца.

По Васильевской иду и по Брестской –
К Белорусскому, что в огнях...
Память, память – снимок нерезкий,
Неужели же на нем я?

Тот, ссутулившийся в круговерти
Суматохи предзимних дней,
Где все было подобно смерти,
Даже если не думал о ней.

* * *

По случаю 75-летия со дня рождения И. Бродского в России выпустили марку с его портретом и конверт с изображением дома в д. Норинская Архангельской области, где в 1964–1965 гг. поэт был в ссылке.

Словно из круговерти
Времени неприятного
Норинская на конверте
Нобелевской прелюдией.

Норинская – не Михайловское
(Впрочем, и не Воркута).
Власти – порой смекалистые,
Знали – кого куда.

Чтобы вдали лысели,
Чахли, теряя речь...
Это потом музеям
Память о них беречь.

В сторону изб темнеющих
Мысленно поклонюсь –
Даже вдали, ты мне еще
Чем-то любезна, Русь.

Чем же? Не знаю. Кажется,
Кривдам утрачен счет,
Но и в грехах своих каяться
Не разучилась еще.

* * *

Казалось, что зима уже слаба,
Но вновь февраль ветрами обнаглел,
Топа в метели мысли и слова.
Россию вижу, как Уэллс, – во мгле.

Как долго быть на ней наростам льда?
Ответа нет и некого спросить,
К тому ж теперь, по-моему, когда
Есть не одна, а несколько Россией.

Париж

Марк Зайчик

Памяти объятий и поцелуев

Кроткая улыбка вместе с уверенным взглядом свежих карих глаз создавала странный образ этого человека – мужчины средних лет с набором известных комплексов, которые не мешали его привлекательности в глазах женщин самых различных сексуальных да и интеллектуальных пристрастий. Стоит отметить, что газет он не читал, – вообще ничего не читал, кроме статей своих необычных авторов и поправок к ним, быстро и ловко извлекаемых им из изведенных и бесконечных недр Интернета.

Он владел газетой общего цветного вида и содержания, которую делал с истовым рвением. Твердый звук падения тяжелого предмета сопровождал появление в соседней с кабинетом Бера комнате пьяненького со вчера графика Кривоносова. Цены этому Леше не было, особенно с утра, особенно с дрожащими руками, особенно с пытающимся сфокусироваться и не поддающимся самым отчаянным хозяйским приказам взглядом мечущихся несчастных глаз. Тонкие, чуткие руки неловко подергивались. Вообще, утренние движения его тела напоминали танец мавров, который Бер видел в кино некоторое время назад. Старый черно-белый фильм, за последовательным развитием событий в котором ему было не уследить. Сюжет ускользнул от него. Кино быстро стареет, есть такая известная расхожая истина. Волосы Леша были спутаны и падали на почти бирюзовые яркие глаза. Яркость эту никакая пьянка не брала. Ставший за долгие годы в израильском заповеднике наивным ближневосточным аборигеном, Бер считал, что Леша хранил в себе некую тайну, которая мешала ему жить.

«Ну конечно, тайну... – всегда откликался на это циничный редакционный фотограф Ченстохов, – что же еще ему скрывать? Тайну вечерней пьянки и утреннего опохмела. Молод ты еще, Бер, жизни не знаешь, сути ее не понимаешь.» Беру было 53 года, в Израиле он прожил 34 года, много чего повидал и пережил. В Ленинграде, где он жил то того, Бер тоже не лаптем щи хлебал, как говорится. Но, справедливости ради, заметим, что недуг Леша был непостижим для него. Возможно, в Ленинграде он бы его понял, но дело было в Тель-Авиве. Газета выходила в этом «краю небритых гор» на русском языке, пото-

му что здесь во множественном числе появился ее читатель и потребитель. Газету на русском языке в Стране Израиля, конечно, надо было ухитриться придумать. Но ведь придумали же.

Ченстохов была фамилия фотографа, а не кличка и не прозвище, как можно было бы подумать. Прежде, в СССР, он работал энергичным фотокорреспондентом в главном агентстве новостей и «стоял», по его словам, отлично. «Но вот здесь не было спокойно, – тыкал он грубым кулаком себе в грудь с левой стороны, – и я уехал.» Он был энергичен, мобилен; был отличным автомехаником и докой в построении отношений с начальством. Он не пил совершенно, оправдываясь возрастом и болезнью сердца, что было правдой, или полуправдой. Кожа на грубо вырезанном его лице была нежно шафрановая, как у пятилетнего нерусского ребенка. У него были седые вислые усы, – он был бы вообще внешне похож на карпатского стареющего хлопца, если бы не эта шафрановая кожа да непохожая речь, звучавшая в его устах все-таки недостаточно ласково и мелодично для уроженца вольной Украины, каковым Ченстохов был в четвертом поколении, по его словам. В нем не было ни капли этой роскошной лени, которая, согласно отдельным прозорливым писателям этих краев, так ярко и величаво отмечает беспечных уроженцев восточных славянских земель. Он был работающ, безотказен, колченог.

Младший график Сима Грин, худая и гибкая женщина, без обещаний и с некоторыми претензиями на аристократизм, курила в коридоре, мрачно глядя перед собой и внимательно вслушиваясь в сложные душевные процессы, бурно протекавшие в ней ежедневно поутру. В прошлой жизни она жила в том же районе Питера, что и Бер. Это во многом примирило его с ней. Произнесенное вслух название «Турбинная улица» немедленно гасило его раздражение и недовольство. Ну и потом, она прекрасно знала свое дело и была привлекательна. Хотя и необъяснимо резка временами. Личная жизнь ее была успешной, можно сказать – удалась. Муж там, дети, квартира с садиком, собачонка без имени, котенок Артек, занятия йогой, истерическое увлечение вегетарианством и огуречно-клубничный уход за кожей лица с излишне тяжелыми скулами, которые объясняли хозяйку много больше, чем украшали.

Однажды на вечеринке в честь Дня Независимости, прислонившись к косяку кабинета директора по кадрам, с бокалом местного шампанского, она рассказала Беру кое-что. Бер проходил мимо, и она хрипло и пьяно сказала: «Послушайте, вот вы там теоретизируете, Бер Давидович, а в Питере должны были быть погромы, чуть ли не по радио объявили, и все вокруг говорили, так к нам две пары русских друзей пришли и сидели у нас на кухне всю ночь, ждали гостей дорогих вместе с хозяевами».

– Пришли злодеи?

– Нет, не пришли.

– Слепой случай, – выговорил Бер, не глядя на нее. Как женщина, она ему не нравилась. Не нравилась и все. Всем нравилась, а ему не нравилась, бывает. Бурчит под нос, смысла нету, дерганая какая-то. И как человек тоже не очень. Хотя достоинства налицо, конечно. Один парень, издавна хорошо знакомый с Симой, как-то болтанул между фразами, что «хороша баба телом и хороша делом, и одета по моде... хм, замечание между строк», но Бер тогда отчего-то разозлился – нечего злословить. Лгала Сима по наитию, иначе говоря, как найдет на нее – так и соврет. Не слишком часто, но и нередко.

Бер прошел дальше. В большом редакционном зале шли танцы. «Мишель, ma belle...», – гениально произносил вокалист. Кажется, его звали Джон. Одна танцевавшая пара вела себя разнузданно, но не вызывающе. «Фу, мужлан», – разочарованно и зло сказала вслед Беру Сима, привычно пытавшаяся подражать небезызвестной разочарованной в жизни героине из романа американского писателя Эрнеста Хемингуэя, человека со стыдливой улыбкой, с тяжелой наследственностью, непримиримого борца с фашизмом, боксера-любителя с хорошим прямым правым ударом, умелого ловца меч-рыбы, знатока парижской жизни, меткого стрелка, охотника и женского угодника. И чего только нет!

Знакомые и друзья Бера в Питере, в большинстве своем, в советские времена, когда он там проживал, когда еще жива была бессменная и бессмертная (!) власть коммунистов, зарабатывая на жизнь, были сторожами, кочегарами, вахтерами, разнорабочими, грузчиками. Некоторые из них, голубоглазые мужчины с сильными лицами римлян, работали учителями советских вечерних школ. Им наливали после занятий их лучшие ученики, и они без опаски выпивали с ними вместе. И добавляли тоже. И часто закуривали папиросу вместо закуски, как и их ученики. Иногда карамельная конфетка была им вместо папиросы.

– Леша, попей чайку и давай; все горит, ты помнишь?! – спросил Бер. Это был риторический вопрос. Засунув руки в накладные карманы стертых джинсов, зябко поеживаясь, Леша отправился на кухню за чаем, подволакивая новенькие сандалеты. Он шел, как на похороны. Он был одинок, несчастен, жалок, – конечно, его нужно было поправить, но в этом случае работать бы он не смог окончательно. А так был реальный шанс. При всем при том, он был идеально сложен, этот изящный Леша, с золотыми подрагивающими руками и безупречным глазом Кулибина... но вот такая хвороба.

Дверь в кабинетик Бера осталась открытой, он расслышал звонок.

Нужно было ответить, потому что он всегда отвечал на телефонные звонки.

– Да!

– Это Бер?

– Да, слушаю.

– Меня звать Саша, не думаю, что вы меня помните. Знаете, но не помните, вам это не нужно. Вот какое дело.

Бер переминался, согнувшись над столом с трубкой; голос этого Саши казался ему знакомым, но откуда – он не мог вспомнить.

– Тридцать пять лет назад мы с вами встречали Новый год в одной квартире на Герцена, может быть, помните меня? Я был такой стильный паренек лет двадцати пяти, стоял в сторонке с ухмылкой дурака. Помните?

– Простите, нет. Категорически, – сказал Бер.

– А вы стояли за шторой с девушкой по имени Рита и медленно целовались на фоне заледеневшего окна, помните?

– Нет, не помню; кто вы такой, что вам нужно, Саша? – лирический и одновременно агрессивный тон звонившего раздражал.

– Имейте терпение, как говорят мои беспечные одесские, кхе-кхе, соседи в Чикаго; что у вас, горит, синенькие? С улицы интересуются, представляете. Дослушайте, – он изменил тон. – Я тогда ухаживал за этой Ритой, помните, она пришла со мной, она была в батистовой кофточке со стоячим воротником, помните, Бер?

– Ничего не помню, вы не путаете, уважаемый, ничего?

– Я ничего не путаю, я все помню, все знаю. У нее был цветок на шарфике. Вы Бер? Вы были в ту ночь на этой квартире на Герцена?

– Послушайте, Саша, я не помню, где я вчера был, а вы говорите о тридцатипяти годах назад! Я, вообще, работаю, – сказал Бер, не успевая даже занервничать.

– Нет, вы слушайте меня, пожалуйста, вы все помните. Не лукавьте. Я женился на этой Рите все-таки. Брак по любви, что называется. Мы эмигрировали в США тридцать лет назад. И все эти годы она мне говорит, что я не так, как Бер, ее целую, что вкус моих губ несравним со вкусом губ Бера и что я касаюсь ее не так, как надо. А как надо? – А как тот самый Бер, говорит. Представляете? Она меня просто с ума свела и продолжает сводить. Я специально в Израиль приехал, чтобы поговорить с вами об этом. Ну, что было такого в том Бере, чем он ее взял, почему она его помнит? Это меня занимает и заботит чрезвычайно. Вы мне можете сказать?

Бер вздохнул и сел за стол. Вся эта история уже не казалась ему утренним похмельным бредовым сном. Эзотериком он тоже не был, никакого особого смысла и значения в этом разговоре Бер не улавли-

вал. Дверь в его кабинет была стеклянной, и Бер увидел, что Леша вернулся с чаем и, сидя за столом, отпивает из стакана, глядя перед собой без особого выражения. Какое может быть выражение лица у человека в таком состоянии? Нужно было немедленно дать ему работу, потому что все горело, и они выбились из графика. Этого делать было нельзя.

– Послушайте Саша, вы не могли бы позвонить мне через час-полтора, я очень занят, а тогда мы сможем поговорить спокойно, – досадуя, проговорил Бер, ожидая взрывной реакции собеседника. Тот неожиданно спокойно и быстро согласился.

Его странная любовная песня не вызвала у Бера особых чувств. Но он понимал, что просто так люди из-за океана в другую страну не приезжают для выяснения деталей поведения с женщиной. Или приезжают?

В окно своего кабинетика Бер увидел внизу на улице человека, в пиджаке с поднятым воротником и черном свитере, сидящего за столиком кафе под тентом, который внимательно читал (изучал?) газету, над которой и трудились Леша, Сима, он сам и некоторые другие люди. «Вот зима, а человек на улице в одном пиджаке, ему не холодно, странно все это», – мельком подумал Бер, отворачиваясь. Как будто Бер на секунду забыл, где находится, где это все происходит.

Уже все трудились не покладая рук. Бер раскидал материалы по газетным полосам, Леша энергично оформлял огромный скандальный очерк глазастой, вкрадчивой и въедливой, как болотная кошка, сотрудницы про безотрадные хищения в министерстве жилищного строительства. Леша делал это с известным рвением и вкусом, величинами постоянными в отношении его работы. Журналистка эта имела подпольную кличку «гадюка» и догадывалась об этом, что не мешало ей совершенно. Она этой кличкой гордилась.

Ченстохов пересылал Леше фотографии, спрашивая при этом: «Ну как творчество провинциала? Руки успокой, марамой». Сима начерно составляла тексты, брезгливо двигая выщипанными красивыми бровям и впалыми щеками; все горело и благополучно продвигалось к печати, можно было и вздохнуть. Бер зашел в кабинет проглядеть некоторое оставшееся на следующий номер, – вот, сколько слов ни напишешь, а газета сжирает все без остатка. «Что-то темнеет днем, Средиземноморье на распутье», – подумал Бер и включил настольную лампу. Застучал, забрызгал по карнизу дождь.

Мужик за столиком на улице поднялся и, лениво двигая прямыми плечами, скрылся в кафе. Зазвонил телефон. «Да», – сказал Бер, который был совершенно лишен журналистской позы усталого всепонимающего небожителя.

– Да кто ты такой!?! – так начал разговор Саша. Прошло два часа ровно со времени их первой беседы. Он, видно, все это время распалял себя, иначе его тон было не объяснить.

Бер не был спесивым человеком, он разговаривал со многими ненормальными. Один средних лет читатель, строптивый бездельник, ему регулярно звонил и говорил шепотом, потому что «вокруг агенты КГБ, под окнами стоят, караулят, представляете?» Потом добавлял: «А напротив явочная квартира русской внешней разведки, представляете, как я живу в таких условиях?» Бер не представлял. «А пароль у них, знаете, какой? Не знаете. ‘Здесь живет Марголин Моисей?’ Вот какой пароль. И только я знаю отзыв, только я: ‘Марголин Моисей срочно выехал на родину к родне в Тирасполь, можете оставить перевод мне’». «И что, оставляют вам перевод?» – интересовался Бер. «Нет, ни разу не оставляли, сразу убежали, сволочи, у меня глаза, к сожалению, очень честные», – отвечал бездельник. «И правдивые», – захотел уточнить Бер, но не сделал этого, потому что не рисковал без нужды. Бер был умен.

– Подождите, Саша, что вы так с места в карьер, я не помню ничего такого, меня там не было на вашей пьянке 35 лет назад на Герцена, вы что-то путаете, – надо признать, что сложившаяся ситуация Бера забавляла. Он не мог поверить, что это происходит с ним. Он был бесстыжим и безжалостным покорителем чужих душ и никогда не был наказан за это, как ему казалось.

– Не лги мне, говори правду, я все знаю, все видел, – Саша говорил громче, чем это принято, был очень возбужден.

– Давайте увидимся, Саша, у меня есть час, я готов вам помочь, – предложил Бер лживо. «Любопытство погубит тебя», – говорила ему когда-то одна хорошая знакомая.

– Зачем нам видеться, когда я все и так знаю. Но главное мне неизвестно; ты должен мне сказать, в чем секрет, чем пахли твои губы, что ты делал с нею, за что и как ты ее трогал, держал, терзал, – ответь. Ты органичен был, она мне рассказала, – что это значит, Бер, скажи?! Ты обязан мне все рассказать, все.

Он, конечно, был безумен, этот человек, прилетевший из Чикаго. Он завывал, как дикий раненый зверь. Интересно было бы его увидеть.

– Все-таки ваши вопросы неуместны, сэр, – Бер чувствовал, что еще слово и он пошлет этого мужика к чертовой матери. Ну, мало ли идиотов на свете. Но был здесь важный нюанс: этого Сашу он категорически не помнил. И он тянул время, выигрывая неизвестно что.

У Саши был тон вздорного, состоятельного человека, привык-

шего все получать немедленно и без сдачи. А тут такая коллизия, как Божья кара обрушилась.

– Говори, Бер, говори мне все, – повторил Саша.

В дверях появился Ченстохов, сверкнув выскобленным, гладким подбородком человека по особым поручениям, квадратным и тяжелым, как у боксера полутяжелого веса. Столько он весил, Абрам Ченстохов? Больше 81-го и меньше 85-ти кг. Но ходил легко – «волка ноги кормят», говорил.

– Что? – прошептал Бер беззвучно.

– Там надо фотку выбрать, без тебя не решить, – также беззвучно отвечал Ченстохов.

И Бер опять прервался, и Саша опять его прекрасно понял. «Через четверть часа», – повторил он и повесил трубку.

Здание, в котором на втором этаже находилась редакция, размещалось на боковой улице. Напротив было кафе и магазин канцелярских изделий. Сбоку в призрачном строении примостился жестянщик, который работал деревянным молотком, как орудием возмездия. Кажется, у него был и побочный бизнес с непонятными товарами первой необходимости. Шума от него было мало, совсем не было шума, но некоторый убыток от вечно толпившихся возле жестянщика людей был отмечен Бером. Этот человек в синем комбинезоне и серой футболке, оголявшей руки до плеч, производил впечатление властной силы. У него была манера двигаться медленно. Он не позволял себе ничего, что могло отразиться на его достоинстве отрицательно. Некоторые подчинялись его взгляду, как будто бы он был большим военным начальником. Приезжая утром на работу, Бер всегда здоровался с ним. Бер со всеми здоровался, – большой, высокий, доброжелательный, нетерпеливый человек.

Заметим, что за ладными движениями ягодиц в кратчайшей юбке госпожи Грин, которая шла на работу утречком по шербатовому тротуару, жестянщик наблюдал с большим одобрением и здоровался с нею мягко и ласково, как будто в молоке купал королеву. Глаза просто терял, задыхаясь, высматривая, не насыщаясь и запоминая. Сима, надо сказать, все замечала. Она отмечала жестянщика и выделяла его, помня про наставления опытной соседки в дореволюционном, доперестроечном Питере, что ни одного поцелуя без любви нельзя дарить. «Да никогда, но приятно, хотя, конечно, и не убудет от Симки-то», – говорила госпожа Грин, аккуратно глядя себя по бедрам. «Обращайтесь, госпожа, если что, если какая надобность», – сказал ей как-то жестянщик, аккуратно сложив на высоких коленях неболь-

шие выразительные руки – он сидел на низкой арабской табуреточке с переплетенными веревкой боками. Его трудно было представить поплеывающим в ладонь перед тем, как взять свою киянку в руку. В его строении никогда не звучала на всю мощь местная музыка, у него были свои песни.

Сима не забывала ничего, она была с Турбинки, как уже говорилось выше, а там помнят все. Ее вожденная жизнь нуждалась в восторженных, ласкающих и жадных взглядах, она отдавала себе в этом отчет. Сима мечтала стать героиней грошового в мягкой цветной обложке романа, написанного бледной, слабой подражательницей «советского графа», но все не случилось. Терпение у нее было, но оно уже истощалось, – возраст.

– Видишь, ты молчишь. А зря. Я-то всегда думал, что женщину проверяют деньгами, а мужчину – женщинами. Но с нею не так, – сказал Саша, позвонив через 25 минут. Бер сразу снял трубку, ждал звонка за столом. Номер телефона звонившего на аппарате не высвечивался. – Что же мне делать, скажи, Бер! Видишь, до чего я дошел, прошу у тебя совета. Столько лет прошло, а меня в ее жизни нет. Я ей говорю, что «два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями», а она мне смеется в ответ. Хоть плачь в отчаянии.

– Ревнует вас, Саша, жена? – не удержался Бер.

– Да, ревнует, но это уравниено моей ревностью к ней, так что мы квиты.

«Нельзя так все подсчитывать, наверное», – подумал Бер. Вдруг он потерял свою обычную уверенность в себе.

– Так ты мне скажешь, откроешь свой секрет? Или ты выучил народный приворот на фольклорной практике? – мысль этого человека была последовательна; он не забывался, не расслаблялся.

– Послушайте, Саша. Я не был на той вечеринке, я не знаю вас и вашей женщины, вы напутали.

– Я знаю точно, что это был ты. И потом, слабый женский ум не мог такого придумать – ни имени, ни тебя, и я тебя сам видел и отлично помню. Говори.

Разговор их был бесконечен. Вдруг этот малохолный Саша показался Беру подпольным писателем, который собирает свой надуманый образ из сумасшедших сверкающих деталей прошлой жизни. Такой новый продолжатель прозаического дела Хармса и Вагинова, похожий внешне на Исаича из-за бороды. Бер решил, что у него должна была быть такая вот солидная писательская борода и надменный взгляд, как у знаменитого русского лауреата. Это было бы, конечно, прекрасно.

Но душа Саши была поражена страшным ядом ревности, который помешал бы ему писать какие-либо книги. От этого яда нет в природе противоядия. Возможно, только смерть могла бы избавить его от страданий, но, судя по звучанию его высокого баритонального голоса, Саше до смерти было еще ох как далеко. Он еще, бедный, многое должен был выяснить, совершить, разобраться. Никакая новая страсть не должна была сразить его, Саше было вполне достаточно того, что у него уже было.

Бер, конечно, был еще тот тип. На досуге, который он выкраивал из активной жизни, он любил, к примеру, развязывать узлы и узелки. Те самые, которые затягивали на ручках пакетов с овощами в больших магазинах продавцы. Пока добирались до дома, то узлы эти становились неразвязны, хозяйка должна была разрезать пакеты ножом. Бер усаживался за обеденный стол и аккуратно и крепко, настойчиво ухватывая узел великолепными пальцами, раскрывал, казалось, нераскрываемое, разводя по сторонам совершенно цельные ручки пакетов. Домашние вокруг только качали головами, иногда аплодируя этому упрямому умению мужа и отца.

Иногда по ночам он истово молился – повторяя слова молитвы, не вдумываясь в их смысл. Просто умолял и упрашивал в слезах и страхе.

К тому же он писал авантюрный роман с кровавой окраской и главным героем, походившим на Леху и Ченстохова одновременно. Не для печати писал, а для себя, для собственных нужд. Вероятно, это было подсознательное самоутверждение. Писал от руки, аккуратным мелким почерком трудолюбивого работника от журналистики. Бер не знал, кому подражать, но подсознательно думал о некоторых героях своей литературной юности. Речь шла о замечательных писателях, книги которых выходили в советском государстве в свет большими и все равно недостаточными тиражами. Вы хотите имена его героев? А вам не надо их знать, Бер был очень скрытен. Весомая пачка исписанных листов лежала в нижнем ящике его письменного стола, была прикрыта маркой старой газетой с траурным известием на первой полосе о смерти местного основоположника с копной седых волос над странным лицом и распахнутым воротом белой нитяной так называемой «партийной» рубахи. Он любил поучать, наставлять, властвовать. Любил деньги и то, что они давали.

Иногда он бывал щедр и добр, иногда скуп и ужасен, жесток с людьми. Такие люди, как Бер, очень связаны с физиологией, с временем года, с успехами, солнцем, дождем, здоровьем, с причастиями и прилагательными. Иногда лицо Бера без всякой видимой и объяснимой причины приобретало трагическое выражение неизвестно поче-

му. Бер, сразу заметив это, быстро изменял трагизм на равнодушное спокойствие, что ему очень шло. Он хотел нравиться, выглядеть без сучка и задоринки, хотел быть королем. В зеркало он старался не заглядывать, увиденное не могло его порадовать, по его мнению. Он в этом был уверен давно. Он не любил фотографироваться, в Питере это дело было непопулярно в его время. Он считал себя недостаточно фотогеничным – пробор там, ресницы и другие части лица. Однажды Ченстохов «чикнул» его потихоньку и нервный Бер пригрозил силачу, что накажет того рукой, если он не сотрет изображение навсегда. Ченстохов немедленно стер снимок со словами: «ты, конечно, неправ, Бер, потому что твою фотку девки еще за пазухой носить будут». «Вот-вот, еще раз поймаю, не знаю что сделаю.» На том и расстались. Ченстохов, кажется, обиделся, но виду не подал, затаился.

Леша с жестянщиком почти дружил. С жестянщиком дружба была невозможна, но к Леше он относился, как старший брат, что ли. По утрам, видя бредущего на работу непутевого графика, жестянщик зазывал его к себе, поил крепким кофе с двумя ложками сахара, давал жевать лимон, который привозил из дома, – короче, спасал. Заставлял умываться всегда ледяной водой из крана в стене, давал бумажное полотенце обтереться и, критически оглядев, отправлял неисправимого человека работать в состоянии почти вменяемом. Это случалось не так редко, под нужное для такового поведения настроение жестянщика.

Один раз он сказал Леше:

– Кажется, у этой госпожи с твоей работы есть душа? Или я ошибаюсь?

– Ты о Симке говоришь, что ли?

– Госпожу Грин знаешь?

– Знаком. Есть. Изменчивая. Гибкая. Непостоянная. Она из Ленинграда, знаешь такое место? – Леша был лаконичен и точен, как присланный из-за кордона советский разведчик в тылу врага. Сил говорить лишние слова не было, – что говорить, когда гестапо по пятам (все кругом – гестапо по утрам), да и иврит он знал неуверенно для беседы с аборигеном, каковым считал жестянщика. Тот знал, где Ленинград и что Ленинград. Знал и произнес с некоторым напряжением и новое имя этого города. Вот такой молодец, этот жестянщик. Он был в авторитете, а отстукивал жесь в строении по своим соображениям, это был как бы его выездной штаб, прифронтовая полоса на берегу бетонной реки. Да и дань прошлому – жестянщик был очень сентиментален.

На Леше в это утро был надет огромный английский плащ на

несколько размеров больше необходимого. Когда-то по приезде он купил его на первую зарплату, тогда все еще не было в такой пограничной зоне с Лешей. Он зябко поеживался и был в плохом состоянии, даже глаза потускнели.

– На, Альеша, съешь яблоко, поможет, и заешь лимоном, – глядяваясь в бедолагу как бы насквозь своими пронзительными черными глазами, сказал жестянщик. Он был очень спокойный дядька, пока его не нервировал никто.

Яблоко было ярко-зеленое, типа питерской антоновки, очень крепкое, непонятно было, как к нему подобраться. Лимон был порезан на четыре части. Леха вяло пожевал фрукты, ему стало легче. Прочистил печь, газопровод, освежил мысль. Ну, не новый, конечно, человек, открытый к подвигам и красотам жизни, но вполне пробудившийся. Глаза открылись, и головная боль поутихла. Скрипуче повернулись жернова его существа и закрутились, и пошли, уходя от противного во всех смыслах ангела смерти прочь.

– Вы знаете, Саша, мы так ни до чего не договоримся, честно. Давайте закроем эту тему. Я там не был, вы меня с кем-то спутали, это совершенно очевидно, ничем вам помочь в отношениях с женой не могу. Я очень занят, устал. И вообще, за 30 лет можно было уже со всем разобраться самому, нет? – Бер не был уверен ни в чем. Он не терзал себя воспоминаниями, таков был принцип жизни. Сашу этого было ему очень жалко отчего-то.

– Вот вы как заговорили, ясно, – с удовольствием протянул Саша. Он, кажется, ждал этого ответа. Заглянул Ченстохов, у которого было уютное выражение крепкого галицийского лица. Бер показал пальцами, что нужна сигарета. Ченстохов, перенесший инфаркт пару лет назад, курил теперь 5-7 сигарет в день. Он недовольно пожал покатыми плечами. Он любил классическую борьбу, был очень силен. Он положил на стол перед Бером две белоснежные американские сигареты. Сказав хриплым шепотом: «травись на здоровье», он вышел.

– Ну хорошо, ваша воля, как вы сказали, пусть так и будет. Я приехал за другим ответом, но, видно, не судьба. Оставляете меня ни с чем, с какими-то дурацкими воспоминаниями и одинокой женой, вы еще намучаетесь со всем этим. У каждого человека есть душа, правильно, Бер?

Этот край на берегу Средиземного моря не подходит к подобным коллизиям. Куда там. Тут вся совесть и мораль мира, кровь и религия, межнациональные конфликты и желтый воспаленный круг солнца в стынушем, стеклянном воздухе. А какой-то возбужденный Саша прилетает из своего невероятного Чикаго, что стоит на реке Чикаго и на

берегу озера Мичиган, из города небоскребов, физиков, архитекторов, гангстеров, и Бог знает кого еще. И вот этот Саша задает безумные вопросы лучезарному «русскому» земляку по поводу поцелуев и объятий с неизвестной девицей за шторой несколько десятков лет назад в Ленинграде. Все это очень странно, очень.

– Сожалею, пришло время нам попрощаться, ничем не могу вам помочь, уважаемый Саша. Я не был на той вечеринке, ни с кем не обнимался, не целовался, никого ни за что не трогал. Вы и ваша супруга все спутали, прощайте, – собравшись с силами, сказал Бер. Из соседней комнаты, в которой трудились графики, раздавался странный шум. – Не скандальте, пожалуйста. Все, желаю всех благ.

И повесил трубку.

Вместе с этим действием одновременно в кабинетик Бера зашла энергичная журналистка, которая знала о жизни гораздо больше, чем ей полагалось по статусу. От этих знаний ее бедная голова разбухла, она переставала понимать реалии и разделять хорошее и плохое. Глаза ее были сильно накрашены и обведены сине-черной тушью, губы пылали, скулы рдели, серьги сверкали червонным светом; она дрожала, в близоруких прелестных глазах стояли две слезы.

– Мне звонили из министерства, очень грозили, Бер, ругались, что будет? – спросила она.

– Почему без стукаходишь, Каролина, где тебя воспитывали, дорогая?

– Я не могу этого больше терпеть, Бер, защити меня, защити, я умоляю, – и она преклонила прелестное, как говорится, бежевое колено к полу. Ее рука, державшая в постоянной готовности «золотое перо русской журналистики в Израиле», была прижата к собственной шелковой груди, умоляя о спасении и помощи. Ох, осквернить хорошо бы, подумал Бер, глядя на ее красные губы, но немедленно отогнал эту мысль, потому что с Каролиной было «западло».

– Фу, Каролина, ну что за паника такая, какой-то несчастный звонок, занюханный чиновник, прекрати и иди работать, – сказал Бер, пытаясь сосредоточиться.

– Пусть мне предоставят охрану, двое вооруженных двухметровых десантников, тогда я смогу не бояться никого, поговори с хозяином, Бер, он тебя слушает, – иступленно повторяла Каролина. Она раз в неделю ходила на рефлексологию, где ей, лежащей на спине, массировали ступни. Девушка-специалистка сильно нажимала на отдельные места ног, высвобождая скрытые запасы энергии. Когда она дотрагивалась до места, отвечающего за эрогенные зоны, Каролина вскрикивала и дрожала. Она резко выговаривала испуганной девушке: «Кус охтак, сестренка, здесь не трогай, Веред, я пред-

упреждала, ты не понимаешь, ты не умеешь, дампало?!» Покрасневшая специалистка говорила: «Извините меня». Веред – это Роза или Розалия, если по-нашему, а остальное непонятное – ругательства из братских языков.

– Плюнь на него и разотри, иди работать, Каролина, – Бер хорошо ее знал, успокоить эту женщину мог только муж, крепкий и рослый западэнец, который не глядя и на ощупь знал абсолютно все точки и зоны на ее теле, отвечающие за успокоение. Только он. Остальные не знали, хотя многие утверждали, что тоже знают. Они ввали. Только он. Но его здесь и сейчас не было. А он нужен был здесь и сейчас.

Бер знал, что эта самая Каролина является одновременно и змеей, и яблоком. Ничего нельзя было поделывать с ее желанием.

– Я отвезу тебя домой после работы и провожу до дверей, – сказал Бер.

– Да, ты защитник хороший, но мне нужны профессионалы, вооруженные до зубов, – ответила она.

Каролина, мать сенсационной и разоблачающей русской журналистики Израиля, уселась напротив Бера, положила нога на ногу, показав их длину, бежево-розовую красоту и уничтожающий созерцателя непрерываемый вес. Женские совершенные ноги не могут весить слишком много, они могут весить, наоборот, слишком мало, как утверждают отдельные знающие толк знатоки, к которым относился и Бер. Ноги Каролины весили, сколько надо. Она посидела неподвижно, выдержала паузу.

После этого она закурила, отставив руку с мундштуком поодаль от лица, чтобы не портить цвет его.

– У тебя я чувствую себя в безопасности.

Каролина женщин называла «любимая», а мужчин «любимый». Она была очень внимательна, находчива в работе и упряма. Считала, что ее недооценивают. Хватка у нее была железная. Что-то в ней, конечно, было. Писала она в стиле художественного очерка, сурово и сдержанно, что было неожиданно при ее поведенческой манере. Кажется, ей нравился Леша, но тот, законный еврейский человек из Курска, смотрел насквозь и видел лишь экран компьютера, расчерченный линиями и стрелами, как запрещенная таинственная книга, которую некоторые пришедшие люди изучали, бормоча множество непонятных и не к месту произнесенных слов. У Каролины, помимо всего, было много так называемого житейского ума, она все схватывала на лету, была хороша собой. Все это было обманчиво, как утренний туман над бетонной рекой позади здания редакции.

Она ни на секунду не переставала быть змеей (и яблоком тоже), ядовитой коброй, могущей нанести страшный укус в любое незащи-

ценное место врага. Заметим, что жалила она очень редко, при самой крайней необходимости. Как она сама жаловалась на той же вечеринке товарке из рекламного отдела: «Я здесь стала травоядна, Израиль у некоторых выпаривает яд из тела, любимая». Это была не вся правда. Никто всей правды от нее и не ждал. От нее вообще никто никакой правды не ждал. Ее боялись и уважали, как это и должно быть.

– Хочешь, тебя Леша до дома доведет? – спросил Бер, поднимая голову от бумаг.

Каролина мельком улыбнулась безупречным бело-алым ртом и сказала:

– О, да. При условии, что ты его вооружишь.

– Автомат, кинжал и револьвер, устроит? Стреляет без колебаний. Он самородок.

– Закрыли тему, – она поднялась, сверкнув на прощание ласковыми коленями.

Бер улыбнулся ей своей бессмертной улыбкой дурака, и Каролина, успокоенная и умиротворенная, тихо вышла в жизнь, заполненную любимыми персонажами. Этот Бер с улыбкой дурака был умен, как мы уже узнали прежде.

Он вышел в соседнюю комнату через несколько минут и сказал Леше в спину: «Проводишь, Кривоносов, Каролину после работы до дома, редакционное задание. И без возражений».

Леша, деликатный и ответственный человек, несмотря на известный пагубный недостаток, замер и обреченно склонил кудлатую голову, потому что Каролина эта ему не нравилась категорически. Он понимал, что у Бера не было выбора. Ничего не сказал. Он пил, он был в долгах, Бера очень уважал за ум, терпение и, кажется, просто за обычное дарование. Леше не Каролину хотелось слушать. Он бы заснул, например, на месте. В тель-авивской глухомани это, получалось, было самое лучшее занятие. Да и жил он небогато.

Бер хотел добавить, чтобы Леха Кривоносов вел себя целомудренно, но передумал, какое его дело, в конце концов. Взрослые люди. Он все уже сказал и сделал, что мог, теперь пришел черед других.

В кабинетике опять зажужжал телефон, и Бер ринулся к ответу. Это звонил ясновидящий Олег Маркович, регулярно напоминавший Бери о конце света, землетрясении, атомном взрыве и начале новой войны. Никогда, вы слышите, никогда он не попадал в точку. Всегда, всегда его слова летели мимо. Ченстохов называл ясновидящего «Вещий Олег». Этот Олег всех достал, но его в редакции боялись и всегда разговаривали с ним терпеливо. Бес его знает, а вдруг и правда проклянет и порчу наведет, говорила циничная Сима Грин под-

ружке из рекламного отдела. Та согласно кивала, как заводная игрушка, завитой головой эстрадной певицы из провинции.

– Вот вы иронизируете, а зря, Бер Давидович. У вашей ведущей сотрудницы Каролины проблемы с безопасностью здоровья, – необходимо заняться, понимаете? Вы встревожены странным телефонным звонком, у него будут последствия. Леша Кривоносов завтра не выйдет на работу, Ченстохов через неделю сляжет со вторым инфарктом. Продолжать, Бер Давидович? – спросил Вещий Олег бодро. Голос у него был, как у победившего всех праведных врагов зла.

«Как все разобрал по пунктам, гаденыш», – восхитился Бер. С трудом он уговорил Олега перезвонить через неделю.

– Рекомендую вас мне поверить, – сказал тот на прощанье.

– Да я вам верю, Олег, верю, даже не знаю, как благодарить.

– Делайте свою работу, это будет лучшая плата для меня, чудные правдивые абзацы и строчки.

Наверное, Каролина, засранка, подговорила, подумал Бер. Ноги надо вырвать. Что-то он больно точен сегодня, этот Олег, пропади он. И Бер грязно и сильно выругался в предчувствии чего-то необъяснимого. На сатану этот Олег не тянул, но сильно косил и создавал вокруг себя нездоровую атмосферу греха. Вообще, Бер давно подозревал, что этот Олег является женщиной, играющей некую сложную роль, но доказательств у него по этому поводу никаких не было.

По безлюдной улице внизу под окном проехало такси с открытым водительским окном. Шофер сладко зевал, поворачивая руль для неловкого разворота. У строения жестянщика машину ждал клиент, который был похож на малосимпатичного героя местного кинофильма – небритый, мятый, беспокойный. Шофер поглядывал на него исподлобья без особого интереса. Клиент положил в карман мобильник и ловко сел на заднее сиденье. Он кратко прихлопнул дверью, тихо сказав вместо приветствия: «Езжай».

На прощание американский Саша сказал «прощайте» обреченным голосом, Бер его жалел. Найти его, бедного строптивца, теперь было невозможно. Сюрпризов в этот день Бер больше не ждал, хватит уже.

Бер прочитал уже набранный очерк Каролины, до этого как-то не с руки было. «Недурно, недурно, – сказал он сам себе, – растем.» В общем, он был в ней уверен всегда, она была безупречна и безотказна. Ничего не боялась, понимала все сразу и насквозь. Но ее объятия, брр, это излишне. Бер пытался что-то забыть, ему это удавалось с трудом.

Память Бера была так устроена, что он перемещался по прожитым годам, как по уютной гладкой горке, вверх-вниз без напряжения.

Он мог вернуться назад в любой год, в любой день своей жизни почти без усилий. Иногда это ему осложняло существование.

Самое интересное заключалось в том, что Бер все прекрасно помнил про ту новогоднюю вечеринку, про те объятия и поцелуи за шторой и прочее. Сашу не помнил, а все остальное – как вчера. Был обычный морозный вечер, заполненный беспрерывно валившим снегом, тусклые фонари в оранжевой оправе на улице Герцена, квартира с высокими потолками, салат оливье, пиво, портвейн, сухое вино. Обычное веселье для этого города тех лет. Один из гостей, синегубый фавн, настойчиво повторял: «Сухаго хочу». Его подруга, ни на кого не глядя, вполголоса пела песню «Сigaretой опиши колечко, спичкой на снегу поставишь точку. / Что-то, что-то надо побережь ба, а не бережем – уж это точно». Поэты в костюмах из жесткой ткани сидели друг против друга и настойчиво смотрели друг на друга, делили славу. Девушке было 16 лет, она была двоюродной сестрой друга Бера, была прелестна, стройна. Смотрела на всех отважно и независимо. Друг сказал Беру, чтобы он к ней не приставал, потому что она не про его честь. «Она с другим человеком пришла», – сказал друг Беру. «А тебе что, почему ты лезешь?» – спросил Бер. «Твоя внешность, чувствительное сердце и ласковость могут произвести на нее ненужное впечатление, я этого не хочу, она сирота, дочь моей тети, я обещал, ей нужен правильный человек», – сказал друг Беру. В общем, все было очень сложно и не совсем понятно. Бер и тогда, и потом в плен никого не брал. Он сам был в собственном плену. Серый сигаретный дым клубился по квартире вольно и душно. «Обещай», – сказал друг Беру. Но тот его уже не слышал. Друг сам спровоцировал Бера. Никаких фотографий никто не делал. Не до фотографий было. А зря. Ченстохов еще трудился в бывшей столице Украины, сумрачном промышленном городе X., не покладая рук фотографировал хлеборобов винницкой области и передовиков производства с ХВЗ, ему было не до Питера.

Девушка Беру не уступала. Целовалась отчаянно, ноги у нее подкашивались, Бер ее поддерживал, намереваясь уронить поудобнее, но пол был паркетный, вощеный, вокруг были люди. Их прикрывала плотная штора. На девушке была батистовая кофточка с цветком на воротнике. Ее грудь лежала в ладони Бера, он лизал ее и сосал, как неосторожный младенец. Ничего он от нее не добился, она отбивалась от него весь вечер. Ее весомые шелковые чресла свели Бера с ума, но она хранила свою женскую суть как самое главное личное достояние. Так оно и было, конечно. В конце концов она обессилила и, почему-то сияя сиреневыми глазами, сказала Беру, что «никогда, вы слышите, никогда, я не дам вам номер своего телефона; вы мне

несимпатичны просто». Она сказала это, энергичными движениями белых гибких рук заправляя кофточку в юбку, как героиня советской пошловатой кинокомедии. «И все», – и ушла из-за шторы, под села, подперев подбородок измазанным в крови рассеченным где-то кулачком, к поэтам, которые перешли на чтение своих замечательных стихов, помеченных сырой питерской гениальной сутью.

В общем, между его намерениями беса и ее томительно набухшими чудной влагой с изнанки полных губ была, если не пропасть, но очень трудно и сладко преодолимая дистанция.

Бер был смертельно обижен и слышать о ней не хотел. Друг удивленно сказал ему, что Рита назвала его «ласковым, наглым нахалом». «Я разбила колени там, непонятно обо что, он что о себе вообще думает, этот Бер, а?!» – спросила она у своего двоюродного брата. Тот бормотал что-то неразборчивое. «В общем, если захочешь, то она с тобой встретится, днем, у Восстания, на пару часов, я буду неподалеку», – засмеялся друг. Бер сказал, что очень занят. «Малолетка она, так и передай, потом, все потом», – ему было почти 19 лет, а ей – 16. Он напряженно занимался физическим трудом в три смены, намереваясь уехать из СССР навсегда в другую страну. Он ничего до отчаяния не понимал – о многом догадывался, но не понимал. Не мог понять. Сражаться с нею он не намеревался, не хотел категорически. Никаких уколов в сердце он не почувствовал. Бога он боялся.

«Не поверишь, но она очень огорчилась», – сказал ему потом друг. «Может быть, зря я так», – необязательно подумал тогда Бер. Он улыбнулся другу своей дурацкой улыбкой немого свидетеля событий. Тот неловко улыбнулся ему в ответ – «ну что, мол, брат, поделаешь».

А и правда, что?!

Иерусалим

Анастасия Юркевич

ЛЮБОВЬ

Еле слышный звук, возникший неведь откуда,
Легче спящей бабочки, невесомее обертона,
Тихого стопа птицы под спудом шторма...
Предвосхищенье чуда.

Еле слышный звук (умолкнуть гораздо проще,
Чем окрепнуть; иссякнуть, не воскресая
Проще), как июльский ливень, взрывает собою рошу,
И она встает навстречу ему, босая
Каждый лист отдавая, развёртывая, разверзая...
Berlin, сентябрь 2016

* * *

Сколько дней осталось до сентября?
Те же в лесу синицы, кедровки, дятлы.
Вряд ли мы вернемся, честно-то говоря,
Очень вряд ли.

Лучше давай спокойно, без дураков,
Без этих вечных *если бы только... если...*
А по зиме не дожидаться теперь снегов
Там ли, здесь ли.

Спросишь кукушку, сколько осталось дней –
Семь раз отмерит и смолкнет на счет тринадцать.
Все ли сложилось? Со стороны видней.
Мне уж давно – ни вспомнить, ни разобраться.
Hudson, 17 августа 2016

* * *

«Лучше год в Афганистане, чем неделя в Теплом Стане»
«Погиб, – сказали. – В пьяной драке не уберёгся от ножа.»
Ирина Евса

В.Ф.

«Сначала вырезали легкое.
Ну, после первого пожара...»
Чего уж там – сама нелегкая
Таких, как ты, на свет рожала.

«А был ведь самым...» – Знаем, плавали.
Мой первый друг, мой друг бесценный,
В Левайсах, с неизменной «Явою»,
Менандр лексики обценной, –

Мой милый, что тебе я сделала?
«Еще пожар. А там и печень.»
Два года уж. Дружков – как не было:
Кто завязал, а кто далече.

Прикинь – у черта на куличиках,
Сто лет спустя, на некой даче,
Как Гюльчитай, скрываю личико,
Чтоб ты не видел, как я плачу.

В Левайсах... нет, всё больше – в трениках.
Папаша-слесарь. Пил без продыху...
Всех превращали в неврастеников
От «Лейпцига» до Зоны Отдыха.

И ничего – слепилось, склеилось.
За всех я, впрочем, не ручаюсь...
Похерив классовую ненависть,
Наш участковый, отдуваясь

И бормоча у лифта: «Вот ведь как...»,
К нам подымался на седьмой
И там гремел: «Куда вы смотрите?
Тюрьма ведь плачет, путь прямой!»

В подъезде, у почтовых ящиков,
Набитых правдой и известьями,
Мы, наподобье древних ящеров
Всех распугав, пропали без вести.

От нас остались только росписи
У лифта, и понтов немеряно.
А от тебя – та фотка с подписью
«Н. от В. Ф.» (там, где заклеено)

И жизнь, что в сорок три просрочена
Тобой, *ни в чем не знавшем меры,*

Где «ИЖ-Юпитер» раскуроченный
Являлся частью интерьера.

Пускай в своей недолгой песенке
Двух слов не мог связать без мата,
Но провожал меня до Гнесинки,
Почти до самого Арбата.

Пока я – кесарево-кесарю –
Дудела гаммы на зачетах,
Ты поступил в профтех на слесаря,
Давно в ментовке на учете.

И, по утрам на Юго-Западной
Меня заталкивая в первый,
Цедил: «Следи, чтобы не лапали!»
И так держал, что каждым нервом...

Двужилен, молчалив, безденежен,
Ни на кого не полагаюсь,
Ты был беспомощен и бережен
Со мной. А ведь с тебя бы случилось.

Никто бы не поверил даже,
Как до нелепого невинны
Твои тремя-годами-старше,
Мои – тринадцать с половиной.

Как тихо... С вечера забористо
Отгрохотало по предместьям.
Мне горько и немного совестно,
Что я не знаю, как ты, вместе ль

С тобою Чарлик, хвостик кределем,
И поводка не знавший отроду
В краях, где все еще не сбрендили
Как тут, у нас: кто в лес, кто по воду.

Где тесновато, и поэтому
То, что когда-то было счастьем,
Под звуки му и хэви метала
Ты разбираешь на запчасти –

Такой же, как на том, потертом
Обрывке: в небе не стареют.
Двадцать шестой. Двадцать четвертый.
Россия. Лета. Лорелея.
Hudson, 18 августа 2016

«МОСКВА-САРАТОВ»

Андрюше

Отодвинем с тобой занавески:
Посмотри и запомни, попробуй:
Год – последний. Москва. Павелецкий.
Провода, провода, перелески...
А потом мы уехали. Чтобы.

Поезд с надписью «Волжские дали».
Забирайся на верхнюю смело:
Вот просевший у черных проталин
Снег, березы, натертые мелом;

Вот домишки прижались к откосам,
Будто ласточки строили гнезда.
Видишь – небо просторно и просто,
Лишь под небом всё криво да косо.

Здесь живется темно и несыто:
Ни товарный не встанет, ни скорый.
На продмаге табличка «Закрyto».
Здесь никто не налаживал быта:
Всё заботы, замки да заборы.

Видишь, с насыпи смотрит бесстрастно
Имярек, твой собратец по крови...
Оттого здесь и время не властно,
Что давно уже планов не строят.

*Степь да степь кругом, путь далёк лежит,
Напилася я пья, успокой меня.*

Громяхают на стыке вагоны.
Как борец среднерусского Сумо

Возникает из дыма и шума
(«Рыба, рыба!» – летит вдоль перрона)
Бог китайских клеенчатых сумок.

Мы-то в рыбе с тобой – ни бельмеса.
(Я боюсь, ты останешься, мама!)
«Слон, не рыба! – ты глянь, килограмма
Два с полтиной удельного весу!»

*Ох, Самара городок, беспокойная я,
Беспокойная я, что же делать мне?*

А вдали потихоньку темнеет
Горизонта мальчишеский ежик.
Волки? Может быть, водятся тоже.
Как Тамбовские. Может, страшнее.

Мы закроем с тобой занавески,
Мы расправим на столике скатерть,
Темнота, провода, перелески...
В общем, родина, цапки да пецки,
На всю жизнь, то есть попросту – насмерть.

Ты мешаешь в граненом стакане
Свой янтарь алюминиевой ложкой,
А колеса стучат понемножку.
Баю-баю, стучат, баю-баю...

*Издали-долга
Течет река Волга,
Течет по свету
Туда, где нас нету...*

Москва 2014 – Hudson, 6 августа 2016

* * *

«Их Бог не выдаст – черт не съест,
Им отчий стыд глаза не выест».

Борис Чичибабин

Не продадут, не кинут –
Нам горе не беда,
Мы выбрали чужбину
От слова «никогда».

Мы здесь, полунемые,
Лишенные теней,
Хоромы лубяные
Нам прочих ледяней,

Порой себя не знаем,
И счет забыли дней...
Но все-таки бывает –
Издалека видней.

Пускай свой век скитаюсь
Як тать в чужой нощи,
Карабкаюсь, срываюсь,
Пускай здесь хлеб горчит,

Пускай не знать мне дома
И той себя, другой –
Я все-таки ведома
Уверенной рукой.

И вовсе не случайно,
А так, как суждено,
Из всех других отчаяний
Мне нужное дано.

Лягиница без отчеств
Теперь мое жильё.
Из тысяч одиночеств
Я выбрала свое.

И стыд глаза не выел,
Хоть близок был предел.
Но все же Бог – не выдал,
И черт пока не съел,

Пуškai тоска измучит
И саду пусть не цвeсть,
Но здесь со мною Тютчев,
И Ходасевич здесь.

Я с ними год за годом
Наощупь, на простук,
Отыскивала голос,
Оттачивала слух.

И мне наградой мелочь
Из Божья кошeлькa:
Спасительная немощь
Любви издалека.

Berlin, 30 октября 2016

Марина Эскина

Три посвящения с предисловием и послесловием

ПРЕДИСЛОВИЕ. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ 62-ГО ПСАЛМА

Любишь ли ты человечество так, как люблю его я, – не очень? Даже сбившееся гуртом, оно ничего не весит; завалилось, как трухлявая изгородь, в тупике, как заросшая колея; весомее воздух или что там гоняет по миру вести.

Думают скверно, что ни скажут, всё – ложь.

Училка Валентина Яковлевна и директор Антон Петрович коварнее Дарт Вейдера, им вынь да положь,

линейкой бьют по рукам за дорогу, уходящую в даль,

и «Остров сокровищ»

Не разобрав, где сила, где милость, всегда в борьбе, человечество поклоняется филантропии, войне, геному.

Благослови меня одной любовью – к тебе, глядишь, научусь из нее всему остальному.

* * *

Памяти А. П. Афанасьева

В приложении к энциклопедии Британник от 21-го года читаем, что Ленин был немецким шпионом, дойче марки давали ему на скупые расходы, купили билет в Финляндию, по вагонам, товарищи, по вагонам; папиросной бумаги, гибкий, в зеленой коже, тысячестраничный том, если вглядываться, сняв очки, видишь, как Ленин неуклюже лезет на броневик, а потом бронзовеют ноги, руки, зрачки...

Том пережил своего хозяина-профессора, соавтора учебника «Общая Физика», стоявшего у истока, зато профессор не пережил ареста коллег и стресса, и стыда от подмены авторов в переиздании, умер до срока или вовремя, во время Пулковского дела, да мало ли, к сороковому году соседи уже отлично знали механику и терпеливо ждали выноса тела, и дождались, родственники профессора отпевали;

теперь живут его правнучатые племянники – кто в Британии, кто в Штатах, кто во Франции, кто в России покуда, в книжном шкафу на Промышленной пылится Британника, Ленин – в мавзолее, а профессора все забудут.

* * *

Памяти Р. И. Матвеевой («Бунчика»)

В детство, в Зеленогорск, на дачу, где обиды прощают быстро, где забудут горе или со стеклянными «секретами» закопают, где бидончиками носят воду с колонки, где канистры из-под керосина пахнут пирогами с черникой, где слепая Елена Ивановна вяжет крючком авоськи в свой безвременный отпуск, а сестры ее: Серафима-злюка и баба Рая-труженица, добрый ангел, пасут двух девчонок: черняночку (Раиной мужней родни отпрыск) и беляночку-внучку, которую одну на всех им Бог дал. В Зеленогорск, на дачу, где даже споры «кому ангел роднее» кончаются миром, компотом из лёдника, ожиданьем приезда родителей, чаем за большим столом, португеей сына хозяйки, лейтенанта, на которого девочки глядят с обожаньем. В детство впадаю, впереди нескончаемой полоской лета щавель, земляника; чьи-то руки немного мажут коленки йодом, и уже безразлично, какая будет вечность – та или эта, воскресенья, встречи; на остановке автобуса полно народа.

* * *

С. Б.

Было недетским эхом,
 смехом советским,
 было той самой соломкой,
 соломинкой ломкой,
 льдиной, треснувшей под палаткой,
 мёбиусом лыжни, началом лжи,
 сестрой и братом,
 острым, режущим краем.
 Было чистилищем, раем,
 исповедью торопливой,
 гжелью
 голубиной глумливой,
 то – сном, то – целью,
 медоносной пчелой и жалом,
 бредом, золой, пожаром.

Было городом вечным,
не первым встречным,
молочным,
лунным привкусом на губах.
Было осенним лесом
в косых лучах,
просекой сосновой, брусничной,
бестолковой синичьей
трескотней,
пограничной радугой.
Было мерой
всему,
войной и миром.
Стало живой струной
между тобой и мной.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Воспоминанья обмелели,
Но есть и повод быть счастливым:
Ворона ветхая на ели
И взмахи чаек над заливом.
Почти банальная свобода,
Вне времени, тем паче – года,
Та, для которой нет закона,
Молчит в тумане законном,
Где дюны окликают дюны
И ветру вечно вторит ветер,
В забвеньи правды гамаюнной,
В презрении к минутной смерти.

Бостон

Леонид Левинзон

Рассказы*

В ГЛУШИ

Высокий сутулый мужчина за пятьдесят, одетый в легкую куртку и мятые брюки, в руке портфель, заходит в подъезд старого дома. На полу валяется бумажная реклама, у одной из стен стоит поломанная детская коляска. Мужчина зацепляется за нее ногой и недовольно ворчит:

– Что ж темно-то так!

Нажимая на кнопку, пытается зажечь свет, но свет не зажигается. Тогда он достает карманный фонарик и, светя под ноги, спускается по лестнице. Нужная квартира находится в самом низу, ее дверь облита чем-то жирным. Звонка нет, мужчина поднимает руку и, найдя относительно чистое пространство, стучит.

– Кто там? – хриплый женский голос.

Мужчина делает суровое лицо, поднимает воротник куртки и, чувствуя шеей жесткость ткани, громко отзывается:

– Это я.

– Волк! Наконец-то! – дверь открывается. – Заходи, Волк!

На пороге черноволосая женщина в стареньком пальто. Пергаментное лицо, в сухих пальцах подрагивает сигарета.

– Волк! Волк! – счастливо повторяет она. – Ну как дела, Волк?

– Да как-то так...

Обращение «Волк» мужчине нравится, и он польщенно улыбается.

– Ну, проходи, Волк!

– Да-да...

Мужчина делает шаг, попадая в салон. Окно в салоне выходит на пустырь, где среди высохшей травы торчит сгоревшая автобусная остановка. За пустырем стройка – здание в лесах, подъемный кран. Сам салон давно не убирался, везде пыль. Мебели мало – диван, кресло, стол, на нем три неработающих телевизора. И десятки пепельниц с окурками.

– Садись, Волк! Чай будешь?

* © Леонид Левинзон

– Не сейчас...

Мужчина, переставляет мешающую пепельницу, садится на диван. Подражая самому себе, закидывает ногу на ногу и начинает свободно качать ботинком. Правда, вскоре перестает. Женщина устраивается в кресле с выцветшей обивкой. В комнате промозгло, и она сильнее запахивается в пальто с прожженной дырой в рукаве.

– Принес?

– Принес.

Мужчина открывает портфель и достает оттуда термос. Осторожно отворачивает крышку.

– Узнаю Волка! – с удовольствием отмечает женщина. – Глинтвейн?

– Глинтвейн. Зима же...

– Зима... Надоело... Холодно...

Женщина оглядывается в поисках емкостей и, не найдя поблизости, слабо машет рукой:

– На кухне, наверное...

– Я принесу.

Быстро найдены и тщательно помыты стаканы, и в них льется горячий глинтвейн.

– За тебя, Волк!

– За нас!

Женщина и гость чокаются.

– Прелесть глинтвейн! Рецепт?

– Да ради Бога ...

– А, не надо. Все равно делать не буду.

Женщина вытаскивает из кармана пальто очередную пачку сигарет, открывает, закуривает. Ее глаза полузакрыты. На лице мечтательное выражение.

– На самом деле я не о глинтвейне...

– Да уж знаю.

– Принес?

– Принес. А ты?

Женщина гордо кивает.

– Кстати, Волк...

Мужчина подливает глинтвейн.

– Кстати, Волк, есть кто-то новый? А то давно я в люди не выбиралась.

– Никого! – мужчина пренебрежительно машет рукой. – Измельчали. Болтать-то все умеют, верно? Помнишь, в фильме Тарковского к Даниилу Черному приходит монах из монастыря Андрея Рублева и так говорит, просто заливаясь... Даниил его слушает, слушает. А

потом спрашивает: «Сам-то ты кто? Неужели Рублев?» – «Нет», – отвечает монах. И Даниил отворачивается.

Женщина многозначительно кивает. Она уже захмелела.

– А один, из тех, кто все время около, о моих вещах вдруг что-то пискнуть пытался. Так я сразу отрубил: меня, молодой человек, ваше мнение не интересует!

– Правильно! Кто он и кто ты! – поддерживает женщина.

Мужчине от глинтвейна становится жарко, и он снимает куртку.

– Вот-вот! – недовольно реагирует, вспоминая. – Кто я и кто он! Ну, еще немного?

– Наливай...

Женщина опять закуривает.

Они молча сидят, пока тишину не нарушает ее тревожный голос:

– Кто первый, Волк? Ты? Как всегда?

– Ну, если следовать традиции...

Мужчина достает из портфеля тоненькую стопку листов.

Всматривается.

Женщина тревожно скрипит креслом.

– Не видно?

– Да, что-то...

Женщине неудобно.

– Понимаешь, у меня света уже неделю нет.

– Не страшно...

Мужчина достает фонарик. Белый свет направлен на строчки. Заканчивая абзац, он каждый раз поднимает глаза и тревожно скользит взглядом. Женщина слушает благоговейно, не шевелясь, забывая затягиваться, в сухих пальцах дымится забытая сигарета.

– Волк! – кашляет. – Волк...

– ?

– Стихи у тебя красивые. Мудрые, настоящие...

Волк длинно вздыхает. Будто освободившись, расслабленно валится назад, но спинка дивана чем-то неудобна, и он меняет позу.

– А ты?

– Да.

Женщина достает тетрадку. Фонарик переходит к ней. В отличие от Волка стихи у нее написаны от руки.

– Слушай...

За окном становится темнее, а потом совсем темно. Виден огонек сигареты в изящной руке, обрамленной старой тканью. Женщина так глубоко затягивается, что на мгновение становятся видны глубокие черные глаза, щека, крылья узкого носа, и, выдыхая дым, она говорит:

– Мы с тобой, Волк, лучшие поэты в мире. Лучшие поэты...

КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ

Вокруг рождаются, живут и умирают люди, а мне все яснее и яснее видится купание красного коня. Как он, огромный и тонкий, пофыркивая, осторожно заходит в воду. Река широкая, плавная, вокруг нее бесконечное зеленое поле, и далеко раздается резкий смех голых худых мальчиков, купающих коня и купающихся рядом с ним.

Недавно я был на спектакле, в котором актер из Санкт-Петербурга читал стихи. На следующий день меня остановила женщина-врач.

– Ну, как вам?

Ухоженная и милая, в том возрасте, когда возрастает значение тщательно сделанного макияжа, женщина-врач ожидающе смотрела:

– Как вам спектакль? Правда, этот актер – настоящий северянин? Такой импозантный, стремительный, вдохновенный мужчина? «Нахлынут горлом и убьют...», – она мечтательно повторила известные строчки в больничном коридоре.

– Мне не понравилось, – сказал я.

– Что, что? Не понравилось?! – женщина-врач даже растерялась. – Но почему?

– Так.

– Что значит – так?! – она начала сердиться.

Я не сказал ей, но на самом деле я видел не импозантного вдохновенного мужчину, а преждевременно постаревшего провинциального актера, смешно вскрикивающего на маленькой сцене:

– Идет, чувствую, – вот сейчас идет, а если идет, то вот, вот!! – как бы забываясь, актер срывается с места, бежит в угол скромной сцены, потом обратно и с выражением произносит: «Нахлынут горлом и убьют!!!»

В руке зажаты белые, явно тесные, перчатки, которые мгновением раньше он так трудно снимал. Актер машет перчатками и уже кричит:

– «Нахлынут горлом и убьют!!!»

Зал взрывается аплодисментами.

И вот на следующий день женщина-врач спрашивает меня, лаборанта в той самой больнице, где сама работает:

– Ну как?

Получает ответ и думает: «Зря спросила. Что он возомнил о себе, этот лаборант?»

И, чтобы окончательно закончить разговор, интересуется:

– А что вы сегодня так поздно?

– Дежурю.

– Ах, дежурите... Спать вам хотя бы есть где?

– Есть.

– Удобно?

– Удобно.

– Это очень важно, чтобы было удобно спать, – размышляет вслух милая женщина-врач, которой я так по-хамски испортил настроение.

Она уходит, направляясь к выходу из больницы, нарядная и женственная, умная и профессионально значимая, растерянная и чуть обиженная.

«Вот дурак! – думает с досадой. – Ну зачем я его окликнула? Что между нами общего?»

В коридоре, где мы встретились с женщиной-врачом, имеется закуток, в котором выставляют картины наши доморожденные больничные художники – лаборанты и санитары, медсестры и шофера. И я, перед тем, как спуститься в свою лабораторию, решил пойти посмотреть, что там нового.

В закутке висели несколько старательно выполненных графических работ. Человеку на производстве отрубили руку, потом в нашей больнице пришили, и теперь он все время рисует руки и пальцы, свое лицо – и опять руки.

У меня есть знакомый художник. Сначала он мне нравился, потом не нравился, сейчас опять нравится. Я, можно сказать, полон чувств к нему, всякое примешивается, когда знаешь человека давно. Но на самом деле художников лучше не знать, пусть рисуют молча.

У моей бабушки на стене висела репродукция с картины Крамского «Незнакомка». Молодая женщина надменно и чуть лукаво смотрела на меня, пока я рос. Бабушка умерла, и мы, взрослые и умные, увезли из квартиры все ценное – ковер, холодильник, шубу, два одеяла, какие-то кастрюли. «Незнакомку» оставили. Где теперь эти кастрюли?

– Как спектакль? – спросила меня милая женщина-врач.

– Не понравился.

– Но я... – она запнулась. – Я видела, как вы аплодировали? Вы же аплодировали?

– Аплодировал.

– Но почему?

– Понравился спектакль.

Неловкое молчание.

Когда я только приехал, я иногда появлялся с не нашедшими, куда ходить, молодыми людьми у одной старой, очень религиозной и очень милой женщины. Надо отметить, я часто встречаю милых людей. У них есть общее – удивленный взгляд, когда события, не требующие объяснений, воспринимаются их собеседниками не так, как

нужно. И вот, эта милая религиозная женщина учила нас, как жить в новой стране, – любить Бога, читать Тору, создать семью. Как-то даже сказала, что книги евреям не нужны, потому что у нас есть самая главная из них.

В ее небольшой квартирке была идеальная чистота, на стенах не было картин, а в книжном шкафу не было книг. Нет, я понимаю заповедь «Не убий», но почему «Не рисуй»? «Не пиши»?

Хотя создать семью я хотел и с любопытством посматривал на проходящих вместе со мной девушек, но они почему-то отворачивались. Я думал, что, приехав из Питера, являюсь импозантным северянином. А девушки видели... Кого же они видели, дуры, вместо меня?

Тот актер, разоткровенничавшись, сказал, что свой спектакль играет уже десять лет. Он играл его на скотном дворе, в лесу, в женской колонии, в сельских клубах под гармошку, и вот теперь привез к нам. В зале рядом со мной сидела женщина. Когда закончился спектакль, она, обратив ко мне круглое лицо с влажными глазами, сказала, что видела много спектаклей, помнит, как играли Плятт и Лебедев, и ее не удивить, но сегодня...

Взмахивая белыми перчатками...

«Нахлынут горлом и убьют!»

На бис!

«Быть знаменитым некрасиво!»

Со скорбной улыбкой...

«На Васильевский остров я приду умирать...»

Я лично не приду. Как понимаю, некогда мне в этот момент будет.

У меня есть соседка – одинокая женщина, очень любящая животных. Ее попросили приютить собаку, а та неожиданно умерла. Соседка позвонила мне. Мы отправились на пустырь, вырыли яму и положили туда собаку. Я уже хотел закопать, но соседка вдруг выкрикнула:

– Подожди!

– Я не успела тебя узнать, Герда, – сквозь слезы сказала она трупику со свалывшейся шерстью, – я думала, что мы подружимся, поверим друг другу, будем вместе гулять, я буду давать тебе сладкие косточки.

У нее не хватило дыхания, она всхлипнула:

– Спи, милая Гердочка. Тут тебя никто не потревожит.

Я стоял на куче старых автомобильных покрывал, было очень жарко, и вдруг мне показалось, что я и эта всхлипывающая женщина – мы на сцене. Мы не умеем играть, всё пошло и плоско, надуманно и

излишне патетично. Я стыдливо спустился и, стоя под деревом, ждал, пока партнерша сморкалась и вытирала платочком близорукие глаза.

Может, я все-таки не понимаю? И тот старый актер, он действительно Северянин? Всегда что-то ускользает! Ты выхватываешь одну черту и думаешь – вот оно! Правда! Да даже если правда, что толку с такой правды?

Маленькая сцена, ты в партере, актер кричит:

– Свет! Дайте больше света!

Техник, недовольно посматривая на часы, направляет свет на сцену, и в свете становится видно бесконечное зеленое поле и широкая медленная река. Огромный красный конь, пофыркивая, заходит в воду.

Иерусалим

Владимир Друк

Стихи разных лет

АВТОЭПИТАФИЯ

здесь лежит:
владимир друк,
поэт-песенник,
массовик-затейник,
врач-стоматолог.

педагог-организатор,
художник-авангардист,
шеф-повар,
герой-любовник.

токарь-универсал,
чижик-пыжик,
кавалерист-девица,
квартиро-съемщик.

колхоз-миллионер,
ракето-носитель,
каменец-подольский.

елки-палки,
козел-отпущения.
соловей-разбойник.

да, да! это я, я
владимир друк,
овощи-фрукты,
роман-газета,
хенде-хох,
генерал-полковник.
лежу здесь

квадратно-гнездовой,
выпукло-вогнутый,
средне-арифметический,

ВЛАДИМИР ДРУК

военно-патриотический,
винно-водочный,
мамин-сибиряк.

да, да! это он, он,
владимир друк,
крем-брюле.
тэт-а-тэт,
полный-вперед,
словарь-разговорник
лежит здесь.

мест-нет,
пива-нет,
недозволенных-вложений-нет!

спи спокойно, дорогой друк!
твой альтер эго...

ОРЛЯТА

Алексею Есенину

после белого мая
после черного горя
после вечного рая
после вечного боя

после этого храпа
ты мне больше не папа

после двадцать шестого
после тридцать седьмого
после сорок восьмого
после снова и снова

после этого храпа
ты мне больше не папа

после этого сына
после этого храма
после этого срама
ты мне больше не мама

от афганского шаха
до афганского мата
от понта пилота
до понта пилата

после этого стрема
после этого лома
после этого страха
после этого краха

пусть приходят генетики
а потом кибернетики
а потом биофизики
а потом биохимики

забирают лопаты
да уходят на фронт

а у нашей палаты
золотой генофонд

* * *

я был один я подбирал эпитет
пока не вышел параллелепипед
а не овал. я сильно рисковал
задеть углом и расцарапать
плоскость. подбросив кость
испытываешь ловкость
дворовых псов секунд минут часов.
в ту темноту протянута рука...
на языке, где горечь мундштука
на выдохе, где обжигает опыт —
из всех клипот
оставим только речь.

картавлю. детством
можно пренебречь

* * *

в масштабе женщин и мужчин
в года обыкновенных бедствий
мы – поджигатели причин
и легкая добыча следствий

покуда следствие идет
и снайперы сидят на крышах
не делай вид, что ты не слышишь
не делай вид, что ты бетховен
не делай вид, что все пройдет

еще в полях гуляет страх
а в чащах бродят террористы
они вообще-то пацифисты
но с бомбометами в руках

они сперва ушли в народ
а после вышли из народа
у входа в рай табличка «вход»
и запах сероводорода...

мы – провокаторы любви
и – гинекологи свободы
еще умоются в крови
освобожденные народы

еще не все разрешено
еще не все запрещено
и в эту щелку как в кино
влезает каждое г-но

мысль изреченная есть кровь
запекшаяся в штамп гослита
не проповедуйте ее
в года иммунодефицита

раз не дано предугадать
чем наше слово отзовется
то пусть оно пока заткнется
и это будет благодать

освобожденная страна
вздохнув, развалится на части
но кто-то соберет запчасти
и вспомнит наши имена

ПЕРЕВОДЧИК

сверхпроводник, нацеленный в века,
и черный зонт, расправленный к светилу,
он кожей ощущает светосилу
и, зная это, ждет наверняка.

береговая линия песка
соединяет кузницу и мекку.
в который раз в одну ступая реку,
он помнит все и ждет наверняка.

кто угадал периоды стиха?
кто вычислил периметры свободы?
все наши дни – по сути – переводы
с какого-то иного языка.

Нью-Йорк

Валерий Сосновский

МАНХЭТТЕН (РУССКИЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ)

Пора! Облаков догоревшие перья
Исчезли из виду.
Прощай, Стэйтен-Айленд! нескоро теперь я
На берег твой выйду.

Неслышно паром отошел от причала.
В воде отражались
Огни, и безумная чайка кричала,
С печалью сражаясь.

А там, впереди, разгорался Манхэттен.
Сияли галерки
Его небоскребов, как желтых отметин
На угольном шелке.

Зеленая статуя в небо упорно
Вздымала свой факел.
Залив подо мной распростерся, как черный
Мерцающий кафель.

Я видел: под сенью миров бесконечных,
В их призрачном хоре,
Манхэттен вставал, как огромный подсвечник
В надмирном соборе.

Огни расплескались по глади прибрежной,
А в куполе темном
Спасителя лик распростерся над бездной
В окладе черненом.

Сияли и гасли, сияли и гасли
Терновые звезды,
Мерцали в воде, как багровые астры
Из ковanej бронзы.

И Бруклинский мост опускался в Ист-ривер
На тонких коленях.
Я думал: «Храни горделивый, игривый
Смешной муравейник.

Храни этот остров, неспешно плывущий,
Свечей не колебля,
Его недешевые райские кущи
И чертовы дебри».

Качался залив, словно на коромысле,
Играя по ведрам.
Огни расплывались, как светлые мысли
Под куполом лобным.

Казалось, я стал невесом и бесцветен,
Из воздуха вылит.
Меня продувал атлантический ветер
Навылет, навывлет.

И на берегу я зажег сигарету
У башни Свободы,
Струящей потоки холодного света
Во мрак небосвода.

ТАЙМС СКВЕР

Владимиру Гандельману

Площадь Времен,
Средоточье миров и народов,
Сколько знамен
Растворилось в твоих небосводах!
Сотни реклам
На твоих разгорелись фасадах.
Тысячи дам
Потерялись в твоих звездопадах.
Каждый турист
Отражается в стеклах, ликуя.
Ушлый таксист
Выезжает на Сорок шестую.
Воздух гудит
И сверкает незримым трезубцем.
Голубь гулит.
А какое раздолье безумцам!
Гольый ковбой,
Чарличаплины и спайдермены:
Фото с тобой
За умеренно низкие цены.

Чудище – как
Там? – огромно, стозевно и лайя.
Каждый дензнак
Липнет к пальцам шальной Навсикаей.
Крах ли, успех –
Все едино, старо и привычно.
Равно для всех
Ты пленительна и безразлична.

Что потерял
Я, мальчишка из дальних провинций,
В этот аврал
Снисходя, словно некий патриций?
Может, сюда
Залетел самолетик из детства?
Рдела звезда
На крыле под напором зюйд-веста...
Может быть, тут
Ходит девочка с розовым бантом?
Сколько минут
Рядом с ней я подпрыгивал франтом...
Что не найти
Во дворе обветшалом свердловском,
То не спасти
И на торжище жизни нью-йоркском.
Пусть ты лишь сон,
Недоступный родимым осинам,
Площадь Времен,
Научи меня быть гражданином
Всей суеты
И неспешности сложного мира,
Из пустоты
Сотворившим иного кумира,
Дай мне глотнуть
И отведать запретного плода,
Дай мне вдохнуть
Отрезвляющий воздух свободы!
В шумный поток
Я вошел, словно в медленный танец.
Шустро хот-дог
Продай мне озорной мексиканец.

ОБЛАКА НАД ГУДЗОНОМ

Дмитрию Андрееву

Облака над Гудзоном
Проплывают, легки,
Над беспечным бездомным
У бездонной реки,
Над причалами Челси,
Над отливом волны,
Где когда-то воскресли
Европейские сны,
Над ларьком эмигранта
На Второй авеню,
Над гравюрами Гранта,
Что в кармане храню,
Над манхэттенским летом,
На окраине дня
Догорающим светом
Обогревшим меня.

Облака над Гудзоном
Проплывают, полны
Оглушительным звоном
Неземной тишины,
Над Рокфеллерским центром,
Гуггенхаймом витым,
Я ни взглядом, ни центом
Не пожертвую им,
Над сияньем восторга
Вдоль бродвейских проказ,
Там весь трепет Нью-Йорка
Напоказ, напоказ,
Над своим отраженьем
В хрустале этажей,
Над всеобщим забвеньем
В мишуре миражей.
Облака проплывают
На восток, на восток,
Где ребристый Лонг-Айленд
И Гольфстримов поток,
Над Берлином и Прагой,
Златоглавой Москвой,

ВАЛЕРИЙ СОСНОВСКИЙ

Над людской полуправдой
И всемирной тоской,
Над полярною стынью,
Над страной Кольмой,
Над местами иными,
Не воспетыми мной, –
Ибо мгла размывает
Очертанья лица –
Облака проплывают,
И нет им конца.

Екатеринбург

Ирина Машинская

Эвридика

* * *

Когда человек умирает, начинается новая с ним жизнь
Когда умирает родитель, начинается новая с ним жизнь
По корявому краю отваливается
ломоть крошится на тысячи речи
Тяжелая правда становится шуткой неправдой
а слабость его суевья – как первая ласка

ОТЕЦ

Ноябрьское лицо
смотрит себе в лицо
сотри – и стекает снова

Стреляный воробей
себя узнает постольку
Не узнает вернувшись
в палату
свою постель

Себя узнаёт лишь только
отвернувшийся от себя

Как он смотрел
сквозь нас
в него шумящий лес
на вывернутую листву
где спрятан последний лист

* * *

Писать стихи – какой анахронизм,
мы это дело скоро похороним,
и только снить
бесцветную бесхордовую нить
тянуть из живота
бесцветной, как рассвет, прозрачной прозы
и жизнь сгребать к утру,
как листьев груды.

ТЫ ТОЖЕ

М. Б.

Ты тоже исправлятель и решатель
чужих проблем
поставить на попа
перевернуть
толкнуть
и потащить

по войлоку проклятого ковра
по стланнику
по мерзости подлеска
распарывая плечи об узлы
колючей проволоки
безнадежной чащи

и вынести
и вынести беду
в утиль и в ров
как мусор и зловонную посуду

как черные мешки
что в щиколотку тычась
где плещется еще внутри

все вынести –
и распахнуть забитое окно

Одной породы да
составить список дел
взглянуть в лицо трагедии
не прячась

штурм сердца
безнадежный умный шум
умерить пылом
спасительных спасательных работ
от сумерек

до страшного рассвета
в лучах и первых птицах пустоты
увидеть смысл

в отсутствии его
и равнодушно поднести к глазам
кровавые и грязные ладони

опять
спастись
но не спасти

ЭВРИДИКА

вот уезжаешь и я узнаю
как я буду старая

вот так как сегодня
передвигаться в свете позднего утра
мыть небольшую посуду
убирать предотъездный поспешный завтрак
открывать окна
повсюду

в спальне
аккуратно раскладывать на постели
твое белье и мое белье предотъездной стирки
выдвигая и задвигая ящики
поглядывая в окно
обходя постель
словно осеннюю пашню

и уносить легкую
пустую корзину
в подвал

пустой
подниматься
не оглядываясь
заново целой

с яркой как вывеска
в подворотне
буквой внутри

Татьяна Ананич

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ

IN NOMINE FILII (ВО ИМЯ СЫНА)

Башня с часами и колокольня. Церковь святого Петра.
Позеленевший от времени колокол. На полшестого утра
(стало быть) стрелки застыли. Отголосил где-то кочет.
Крест перевернутый вниз головой из века в век червоточит.
На крыльце ночевавшая сионова дочь
содрогается при виде трехликого синеокого Яхве. Дверь
старая ключница открывает, погружая ключи в тенеты.
Пахнет склепом. Распотрошенные временем переплеты
на современном до безобразия аналое. Тишь
почти гробовая. И только церковная мышь
скребется; и чей-то горячий шепот –
паулинизма ноты, – затеняется пресветлость Петра
Павлом на репродукции Анжелико Фра:
«Бабочка-однодневка и
дветысячилетний камень и
дветысячелетний камень и
дветысячелетний камень.
In nomine Filii et Filii et Filii.
Amen...»

ДУРНОЙ СВЯЩЕННИК

Трехглазый китаец нацеливает зрачок
фотокамеры. Раздается щелчок.
За плечами китайской истории – тоже иезуит.
Был на раскопках сегодня – черепки эллинских ваз.
Соль аттическая: вакханический экстаз!
(Хорошо буддистам – у тех третий глаз.)
Парадокс: чем усердней учу иврит,
тем темней арамейский и идиш...
Снова запутался, заблудился в словах, видишь,
знаю лишь, что знал тот язычник-мудрец
(на коего тоже был возложен венец
не из лавров), кой был болиголовом
отравлен. Ни черта не знаю, одним словом.
Хотя и это знать – значит нечто ужé.
Не копая вглубь, на языковой меже

обнаруживаются порой артефакты,
но слепцы, наезженные крестообразные тракты
проходя, попирают весь «аметист».
У грека того, конечно, «евангелист»
был учений, да и то текст бугрист,
что ребра готических сводов.
Устал я от этих паств да приходов...

РОДИНЕ

Здравствуй, родина, пишу тебе из-за океана,
из-за отсутствия привычного мне плана
я не то чтобы сделался «из другого клана»...
Но ведь, если касаться генеалогии,
чуждыми мне окажутся не то чтобы многие,
а, скорее, все деревья, так что – к черту ботанику!
Исчезая в пространстве, я не впадаю в панику,
я всего лишь шепчу тебе «бон суар»,
что означает: у меня утро... или день.
Припадая обратно к коленам, – пень
я всего лишь, что молится, выпуская пар,
якобы воссоздавая крону...
Родина, я по-прежнему льну к лону
твоему, попадая под вялую сень.

Калифорния

Генрих Иоффе

Невыдуманные истории

КОЛЕНО

Памяти А. Я. Грунта –

замечательного человека и историка

Говорят, через колено только ломать можно. А вот я совсем другую историю расскажу. Сашка Грантский, как раньше говорили, жил на ять. Еще бы! Парню 17 лет, силенка в каждом мускуле играла. Спортсмен. Особенно классно «стучал» в футбол. С обеих ног – что с правой, что с левой – точно в верхние углы ворот бил, в «девятки». Тренер самого «Спартака» Борис Матвейч на него «глаз положил», по нынешнему – «на драфт поставил». Живи – не тужи...

Вот стадион от Сашкиного дома был далековат. На трамвае ехать – не меньше получаса. И до остановки идти минут десять. Сашка всегда выходил «с запасом», а в тот черный день чуть припозднился. Когда повернул за угол, увидел, что трамвай уже отходит и набирает скорость. Ерунда! Не первый раз. Сашка легко нагнал последний вагон и прыгнул в открытую дверь. Позднее он вспоминал: с каким-то странным удивлением вдруг ощутил, что трамвайных ручек в его ладонях нет, а ступни не чувствуют твердь железной подножки. Потом он услышал противный, резкий, как будто ржавый скрип трамвайных тормозов и женский крик, переходящий в визг. И все сразу исчезло, пропало.

Сашка очнулся через три дня и сначала не понял, где он. Посмотрел на руки: они были в бинтах. Пощупал голову: тоже. Он сунул руки под одеяло и стал ощупывать тело. Плечи, живот, бедра, колени... А дальше руки как-будто сорвались и легли на простыню. Сашка отшвырнул одеяло и в ужасе увидел две плотно перебинтованные культы. Ног не было.

Дверь в палате была открыта, и Сашкин вой, похожий на волчий в лесной тьме, потряс всех, кто находился в длинном больничном коридоре. Вой этот вырывался из стиснутых Сашкиных зубов, и прибежавшим сестрам пришлось с силой разжимать их, чтобы влить лекарство. Минут через пятнадцать он затих, но весь как бы остолбенел. Глаза его остекленели и смотрели вверх, на потолок.

В какой-то момент Сашку разрешили навестить Женьке Нырку – капитану команды, в которой Сашка был правым инсайдером. Не таясь, Женька вытер слезы, положил на столик конфеты, пакеты с фруктами, сказал:

– Я сразу про главное. Начальник клуба велел передать: как поправишься, возьмет тебя помощником тренера. Ты как?

Сашка молчал. Остекленевшие глаза его по-прежнему неотрывно глядели в одну точку. Приход Женьки был, наверное, ошибкой. Вечером у Сашки случился припадок. Он скатился с кровати, крутился по полу, рвал бинты. Перепуганная коридорная медсестра бросилась в кабинет главного – старика Семена Николаевича. Главный сел на край кровати, на которую уже уложили Сашку, положил ему руку на лоб и тихо произнес:

– У меня, брат, один сын погиб на Гражданской, другой пришел полным инвалидом. Видишь, как оно в жизни... Не озорничай!

Он поднялся и, чуть сгорбившись, медленно побрел к себе.

Семен Николаевич распорядился, чтобы некоторое время в Сашкиной палате ночью дежурила сестра. Ее приход Сашка не заметил: как обычно, лежал на спине, глядя в потолок. Она вошла тихо, присела на стул, приставленный к кровати. и, улыбнувшись, сказала:

– А меня с вами побыть прислали. Вас как зовут?

Сашка повернулся в ее сторону и вяло ответил:

– Александр

– А по отчеству?

– Янович.

– Значит, Александр Янович. Красивое имя. А я – Зинаида, или просто – Зина.

Двигая локтями, Сашка сел, опираясь на подушки, и взглянул на Зину. Полы ее белого больничного халата разошлись, и синяя юбка слегка приоткрыла затянутое в золотистый чулок колено. Сашка машинально схватил это колено рукой, сжимая его сильнее и сильнее. Зина не отбросила Сашкиной руки. Так они молча сидели несколько минут. Потом она встала, сказав:

– Ну, Александр Янович, вам пора принимать лекарства.

Зина дежурила еще несколько ночей, а потом перестала приходить. Сказали, что ее перевели в другое отделение.

Но с ее появлением началось Сашкино возрождение. Его «бессмысленно-потолочный» взгляд исчез. Теперь он все чаще и чаще смотрел в окно, за которым бушевала весна. Женька Нырку и ребята из команды притащили в палату спортивные гири, и Сашка, сидя на краю кровати, по многу раз в день «выжимал» их, тренируя руки

и спину. Мускулы его заметно наливались силой. И пришел день, когда ему принесли готовые протезы.

– Ну, Александр Македонский, – сказал лечащий врач, – пора тебе в поход. Надо тебе мир завоевывать.

Сашка поднялся с кровати, взял в руки подаренные ему красиво инкрустированные палки.

– Поддержать тебя для первого раза? – спросил кто-то.

– Не надо, я сам, – твердо сказал Сашка.

Он сделал шаг, второй и... грохнулся на мягкий ковер, вскрикнув от боли. Его подняли, посадили на стул.

– Видно, рановато начали, – пробормотал напуганный врач.

Сашка молчал. Потом он встал, взял за руки двух стоявших рядом врачей и, глубоко выдохнув, резко произнес:

– Пошли!

* * *

Эту историю рассказал мне сам Александр Янович Грунт, мой коллега по Институту истории.

– А впоследствии Вам приходилось встречать Зину? – спросил я.

– Нет, – ответил он, – никогда. А фотографию ее я раздобыл и свято храню.

И он показал старую фотокарточку. На меня из далекого 1935 года, улыбаясь, смотрела круглолицая, курносая девушка с чуть раскосыми глазами.

КОРОВА

В подмосковном поселке с красивым названием Снегири, где осенью 41-го года я встретил войну, мне пришлось побывать только через пятнадцать лет. Хозяйка дома, в котором тогда стояло наше отделение, жила одна: муж и сын погибли на фронте. Она меня вспомнила, хотя в 41-м я был еще совсем мальчишкой. Расплакалась. Потом стала рассказывать.

– Ты нашей жизни в войну не знал, а она тяжелой была. Вот покажу тебе старое письмо от тетки моей, Маруси. Осенью в сорок первом годе написано.

Я бережно развернул почти истлевший треугольник, заменявший в военные годы конверты. Стал читать фразы, намусоленные чернильным каррандашом.

«Добрый день тебе, дорогая Катюша! Все ли у тебя ладно? А про нас писать не знаю, надо ли? Хорошего мало. Вскорости, как наших мужиков в Красную армию побрали, и за баб взялись. Стали направлять нас на рытье окопов. Ну, я тоже попала. Посчитали, что живу с

сестрой Любой, и хоть она с девичества без одной ноги, – с хозяйством управится. А сынок мой, Петька, при ней перебьется. Ну, приехали мы, что бабы, что мужики. Роздали нам лопаты, копаем, стараемся – для своих же солдатиков. Кормили ничего. Суп, каша али картошка, бывалоча и с мясом.

Тута и схватила меня беда. Смена пришла, а с ней соседка моя Анька. Она и рассказала. Коровенка наша Машка слегла и подняться не может. Меня как в туман окунуло. Одна кормилица она у нас. Любка на ее молоко то хлебца, то картошки выменяет, а теперь что делать-то, Господи! Только рассвело, обула я валенки и пошла. 35 верст до деревни своей отмахала. К ночи притащилась, а снять валенки-то не могу. Распухли ноги, как столбы стали. А надо опять идти. Взяла Петьку на подмогу, пошли в городишко наш, там фершал знакомый. Он ни в какуюю.

– Поздно, – говорит, – тьма, не пойду!

Я и так и сяк, умолила все же. А наутро поднялась наша Машутка. Стоит, качается, а все-таки на выгон пошла! Я ее проводила, расцеловала и в обратный путь двинулась. Еле, веришь, Катюша, к ночи добралась. А меня тут же к старшему требуют. Я ему как есть всю правду рассказала. Он мне говорит:

– Зачем же ты, дура-баба, без спросу-то ушла? Отпросилась бы у начальства, может, тебя бы и отпустили на пару-другую дней. А так под трибунал пойдешь, при военном-то положении.

Три года лагерей мне дали, Катя. Отправили на лесоповал в Кировскую область. Работа, скажу, не тяжельше, чем на окопах. Кормят тоже сносно. Одно плохо: побаливать я стала сердцем и что-то по-женским. Но ничего, срок уж мой идет к концу и Победа наша совсем, видать, скоро. Так что, может, скоро и свидимся. Приеду к вам в Снегири, уж больно красивое название. Обнимаю тебя, твоя тетка Маруся.»

Я дочитал письмо, помолчал, вытер слезы и спросил:

– А тетя Маруся, Люба – живы?

– Нет, померли. Да и Петька погиб.

– Тетя Катя, – сказал я, – наши бойцы у вас в доме в 41-м стояли. Я тебе сейчас заплачу за тот солдатский постой, а ты в церкви будешь – всем свечи поставь, помолись от меня, хотя я и не верующий.

«РОДНЫЕ ВЕТРЫ ВСЛЕД ЗА НИМ ЛЕТЯТ»

Вот это был фильм! Всем фильмам фильм. Мы с моим приятелем из нашего шестого «А» 607-й школы, Борькой Горячевым, смотрели его семь раз. Точно – семь. Фильм был про летчиков. Почти все

пацаны того времени мечтали стать летчиками, как нынешние хотят быть финансистами или экономистами. Фильм назывался «Истребители». В нем рассказывалось о друзьях – лейтенантах Сергее и Николае. Оба были влюблены в красивую девушку Варю. Все шло хорошо, но случилось несчастье. Сергей, выполняя важное задание, потерял зрение. Совсем. И он решил: Варя не может и не должна быть с ним – слепцом, ему надо навсегда уйти, а она будет с Николаем. Но Николай отверг решение друга, который попал в беду. В тяжелейших условиях, рискуя собой, он полетел за доктором, который мог сотворить чудо – сделать сложнейшую операцию и вернуть Сергею зрение. И доктор сотворил это чудо – Сергей вновь стал видеть и вновь мог летать! И счастливая Варя осталась с ним.

Лейтенанта Сергея играл молодой тогда, а в будущем – кинозвезда, знаменитый Марк Бернес. Изю всех сил старались мы с Борькой хоть немного быть похожим на бернесовского Сергея. Или хотя бы на Николая. А Варя... В Варю мы «выбрали» нашу одноклассницу Инку Корсакову, отличницу и, как мы считали, очень красивую девочку. Когда она болела, мы навещали ее, и тут Инкина мама – коренастая тетя с ошупывающим меня и Борьку настороженным взглядом – использовала нас по полной программе. Она вручала нам объемистые хозяйственные сумки, сосредоточенно отсчитывала деньги и посылала в магазин за овощами. Каким-то образом это стало известно в классе, и над нами дружно потешались. Но ради нашей «Вари» мы были готовы терпеть все. Инка не знала, какую роль мы ей отвели, а мы не знали, да и не старались узнать, кого из нас она предпочитала. И предпочитала ли вообще.

Как-то раз на уроке Борька незаметно бросил мне свернутую в трубочку записку. Я развернул ее и прочитал: «Сегодня в ЦДКА 'Истребители'. Айда?» «Истребители!» Да я готов был смотреть этот фильм не только в восьмой, но и в двадцать восьмой раз! На борькиной записке я написал: «Айда!», тоже свернул бумажку в трубочку и перекинул ему на парту.

К ЦДКА мы пришли за полтора часа до начала сеанса. Долго бродили. Легкий ветерок шевелил кроны деревьев старинного парка, по аллеям которого когда-то прогуливались воспитанницы Екатерининского института благородных девиц. Со стороны пруда доносились всплески воды от весел лодок. Из раструба радио, укрепленного на высоком столбе, лился голос знаменитого тогда певца Виноградова:

Вам возвращаю ваш портрет
И о любви вас не молю!

В моих словах упрека нет,
Я вас по-прежнему люблю!..

А мы предвкушали главное – наше кино «Истребители»! И пусть в нем был знаком нам каждый кадр – все равно мы готовы были смотреть его неотрывно. Ведь мы и сами представляли себя лейтенантами Сергеем и Николаем.

И вот кончился сеанс. Взволнованные, мы вышли на площадь, в который раз переживая увиденное. Вдруг Борька остановился как вкопанный и хлопнул себя по лбу.

– Ну надо же! Мамка велела после уроков сразу же домой топать, проверить, закрыл ли дверь и окошки отец. Он у нас забывчивый. Сбегаем?

Пошли. Городская окраина. Сплошь двухэтажные деревянные домишки, многие уж и скособочились. Борькина квартира – комната в подвале. Спустились по каменным ступенькам вниз, прошли через общую кухню, в которой горели три керосинки и не очень хорошо пахло каким-то варевом. Борька слегка толкнул дверь своей комнаты, она приоткрылась.

– Точно, – сказал Борька, – ушел и дверь не запер! Ну папанька!

Мы вошли. Около стола лежал человек, уткнувшись лицом в пол и слегка похрапывая.

– Опять напился вдребадан, – сказал Борька. – Как только мать на работу, он – за бутылон. Ну ничего, она скоро придет, пропишет ему лекарство. Пошли пока во двор, обождем ее. Чего тут с бухим сидеть.

Борькина мать появилась примерно через полчаса. Она выглядела усталой и равнодушной.

– Вы чего тут? – спросила она.

Борька насупился

– Опять папка пьяным надрызгался...

Она ругнулась, пошла к дому. Мы с Борькой двинулись за ней. Папка все так же лежал на полу. Мать вдруг обзлилась.

– А ты где шляешься часами? – раздраженно спросила она Борьку.

Тот виновато ответил:

– Да вот мы с ним в кино ходили. «Истребителей» смотрели. С Бернесом.

– «Истребителей»! – сердито проворчала она, – вон он, истребитель-то, на полу валяется! Сколько водки истребил – не сосчитать.. Истребители... В каждом доме этих истребителей полно, чтоб их...

Она пнула пьяного ногой. Лежавший слегка приподнял голову и что-то промычал.

Я понял, что мне лучше всего удалиться, попрощался и ушел.

День был теплый, ясный. В почти безоблачном небе два самолета, казалось, крылом к крылу, набирали высоту. «Может быть, в них такие же лейтенанты, как бернесовский Сергей и Николай», – подумалось мне. И вспомнилась песня из «Истребителей», которую пел Бернес.

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Я посмотрел вокруг. Вот борькин знакомый домишко, возле него нет никакого зеленого сада. Так, несколько чахлах деревьев во дворе – и все. «Нежный взгляд»... Лицо борькиной матери – недоброе, мрачное, – мелькнуло, помаячило и пропало. Внутри вдруг шевельнулось тяжелое чувство, название которого я узнал много позже, – тоска... А два самолета в небе уже превратились в еле видимые точки. «Родные ветры» летели и летели за ними.

ГАЗЕТЫ У МЕТРО «РЭМБО»

Каждый день, еще нет шести утра, я беру свой «стэк» и бреду к станции метро «Рэмбо» за газетами. Слева от меня – густые и как будто бы сросшиеся кроны старых деревьев парка имени президента Кеннеди. Парка! Здесь каждый скверик называют парком. В нем еще пустынно. Смутно видны только две-три темные фигуры, копошащиеся возле мусорных ящиков в поисках бутылок и банок.

Чтобы добраться до вестибюля «Рэмбо», мне надо пройти квартал узкой улицы Лайзмен, подождать у светофора зеленый свет и пересечь магистраль Ван Урн. Газеты «Ниагара» и «21» уже лежат на уличных скамьях и в вестибюле. Их можно брать самому или получить из рук газетчиков. Один – старик с седыми усами, в картузе и плаще, под которым майка с надписью: «Я родился, чтобы стать интеллектуалом, но образование погубило меня». Другая – коренастая женщина в китайской куртке малинового цвета, шароварах и стоптаных кроссовках. Старик раздавал «Ниагару», женщина – «21».

Рано. Метро только открыли. Людей еще мало. Почти у всех хмуроватые, озабоченные лица. Идут, не обращая внимания ни на старика, ни на женщину, ни на газеты. Некоторые, не задерживаясь ни на секунду, не поворачивая головы, молча протягивают руку, и старик или женщина торопятся вложить в нее газету. Автоматизм... Одни суют газету в карман, другие, взглянув на ходу на первую страницу, сразу швыряют в близстоящий мусорный ящик.

В первый раз я увидел старика и женщину прошлой осенью. Старик протянул мне газету, я сказал ему «сенкс» и еще по-русски «спасибо». Я часто говорю тут «спасибо», потому что очень многие понимают. Старик удивленно поднял брови и спросил :

– Рашен? Руський?

– Да, – ответил я. – Рашен. Из России. А вы – большой шутник, майка на вас веселая. Вы здешний?

– Но, но. Айриш. Ирландия. Бэн Шэлдон, к вашим услугам. А майка – это обо мне, да и о многих. Разве не так?

Он хлопнул меня по плечу, лукаво сощурился и быстро произнес:

– Пэрестройка, Карпачев, Путин. Рас, тва, тьри, чечире, пять, высьел сайтчик погулят!

– Точно, – сказал я. – Именно так и происходит в России. Гуляет зайчик. Серенький такой. Каждое утро.

Я тоже хлопнул его по плечу, взял «Ниагару» и направился к женщине, раздававшей «21». На вид ей было лет 40. Ее некрасивое лицо еще больше портило бельмо на глазу. «Боже мой, – подумалось мне. – Как же несправедлива жизнь. Вот шествует красотка на длинных ногах. Всякий винер – удачливый мистер или месье – охотно ‘купит’ ее. Она будет жить в роскошной квартире, работать в какой-нибудь крупной фирме у большого босса и каждую зиму ездить в теплую, солнечную Флориду. А эта ? Кому она нужна?»

Я слышал, как она говорила с кем-то из прохожих по-французски. На французском я мог сказать лишь несколько фраз, но мне захотелось сделать для нее что-то приятное.

– Бон жур, мадам, – сказал я, взяв газету. – Хороший денек сегодня. Как вас зовут?

– Алина Лекавалье.

– Красивое имя. Вам, мне думается, нелегко, надо рано вставать...

– Что делать, это моя работа. Но я привыкла. Я слышала – вы из России. Многие теперь ругают русских, но я с ними не согласна. Всюду разные люди, не так ли?

На утро следующего дня я снова брел к метро «Рэмбо» за газетами. Не переходя Ван Урн, завернул в магазинчик, работающий круглые сутки, и купил плитку шоколада в красивой обертке. Алина Лекавалье была на месте. Я подошел, взял газету и положил в карман ее куртки шоколад. Она с недоумением посмотрела на меня.

– Чейндж, – сказал я. – Обмен. Вы мне – «21», а я вам – шоколадку «О.Генри».

Она не успела ответить. У тротуара затормозил красный «пежо»,

и через боковое стекло просунулась рука. Алина побежала вложить в нее газету...

Со временем, замечая меня, ожидающим зеленый светофор чтобы перейти Ван Урн, газетчики – Алина и старик – шли мне навстречу.

И вот – конец сентября, время повернуло к осени. Темновато, но горят фонари. И я вижу старика Бэна, направляющегося ко мне с газетами через свободный пока от движения Ван Урн. Вот он подошел, протянул газеты и неожиданно горьковато сказал:

– Финиш. Сегодня встреча – последний раз. Нет больше работы. Уволили. Бай-бай.

– Как так? Не может... – удивился я.

Он не дал мне договорить: заторопился к остановившейся за газетой машине.

С той поры старика Бэна я больше не видел.

А Алина Лекавалье еще работала у метро «Рэмбо». Я по-прежнему приходил туда чуть ли не первым. Спрашивал о старике Бэне. Она качала головой: нет, ничего о нем не знает. Но однажды я не увидел и ее малиновую китайскую куртку. Проходила неделя за неделей, а Алины не было. Я подошел к работнику, собиравшему брошенные на тротуар газеты, и спросил о ней.

– Да, ее нет, – сказал он, – уволили. А зачем она, собственно? Только лишние деньги. Что старый Бэн, что она – люди сами могут взять газеты, если они им нужны. Говорят, финансовый кризис, что поделаешь...

Я взял газеты и повернул назад. Рассвет еще не наступил.

Монреаль

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

М. М. Карпович

Герберт Уэллс о России

(автор статьи – студент русской истории и политологии, ныне проживающий в этой стране)¹

Михаил Михайлович Карпович (1888–1959) – историк, публицист, мемуарист, гл. редактор «Нового Журнала» (1946–1959). Весной 1917 года он прибыл в Вашингтон в качестве секретаря посла Временного правительства Б. А. Бахметева. После ухода посла в отставку и закрытия посольства в июне 1922 года М. М. Карпович переезжает в Нью-Йорк. В 1927 г. его приглашают в Гарвардский университет, где он проработал тридцать лет, в том числе в 1949–1954 гг. был деканом Славянского факультета. Читал лекции по курсу «Введение в историю России», по западно-европейской истории, по русской литературе XIX в., разработал курс «История идейных течений в России». Проф. М. М. Карпович создал свою научную школу. В 1932 г. вышла его книга «Императорская Россия» (*Imperial Russia. 1801–1917*), по которой учились поколения американских студентов. Долгие годы Карпович был связан с «Новым Журналом», с самого начала – как автор, с 1943 года – как соредактор, а затем в качестве главного редактора. Здесь он опубликовал более семидесяти своих статей и рецензий. Важная часть наследия Карповича-публициста в журнале – его «Комментарии», историко-культурологические и социально-политические обзоры, печатавшиеся с 1951 по 1958 гг.

А. Ф. Керенский писал о Карповиче: «...Удержать эмиграцию на высоком культурно-духовном уровне, на котором уже стояла Россия перед войной 1914 года, сохранить в ней на будущее основы этой культуры, эту задачу и преследовал Карпович, и в этом была его служба России; и поэтому он занял в эмигрантской среде такое особое место».

Предлагаем читателям перевод с английского ранней статьи М. М. Карповича, написанной по поводу выхода в свет очерков «Россия во мгле» Герберта Уэллса.

Редакция НЖ

Статьи господина Уэллса о России содержат немного фактов и еще меньше материала, которые могли бы добавить что-то новое к общей сумме информации, касающейся Советской России.

Также мало что нового говорит Уэллс, характеризуя большевистских диктаторов. После его дружественных замечок, с нашей

точки зрения, мало что добавится к тому, что мы знали о них прежде из обвинений их врагов.

Нужно признать, что Уэллс не пощадил большевиков. Он пишет: «Никогда не было такого непрофессионального правительства со времен ранних мусульман, обнаруживших себя контролирующими Каир, Дамаск и Месопотамию». С появлением этого «любительского правительства» начинается «торжественное начало периода беспредельного экспериментирования». И, сокращая оба эти положения до одной формулы, Уэллс дает нам блестящее определение большевистского правительства – возможно, лучшее из когда-либо сформулированных, – когда он говорит: «в конце концов, самый безрассудный и наименее опытный правительственный орган в мире».

Возможно ли придумать более жесткое осуждение правительственной системы, чем то, что содержится в этих немногих словах?

Правда, в другой части своих заметок Уэллс говорит о «человекоподобных элементах» среди большевиков, приводя имена некоторых из них, кто, по его заключению, способен к конструктивной работе. Среди этих «искупителей» большевизма он называет Ленина. Но в той же отдельной длинной статье, посвященной специально Ленину, и в которой Уэллс приводит свое интервью с ним, мы не находим ни одной строки и даже слабейшего намека, который мог бы заставить нас поверить в творческую мудрость и управленческие таланты лидера большевизма. Прочитав изложение этого длинного интервью, в котором Ленин предается вялым мечтам об «электрификации России» и близости социалистической революции в Европе, у нас возникает твердое ощущение, что перед нами человек, который одержим утопической идеей и безнадежно далек от реальной жизни.

Вот почему Уэллс, безусловно, намного более прав, называя Ленина «кремлевским мечтателем», чем когда, игнорируя это замечательное определение, он пытается убедить нас в политическом реализме и конструктивных талантах этого «коммунистического Папы». Помимо того, не написал ли сам Ленин недавно (эти слова из-под его пера процитированы в той же статье Уэллса), что «Те, кто вовлечены в трудную задачу победы над капитализмом, должны быть готовы пробовать метод за методом, пока они не найдут один, который окажется наиболее подходящим»². В таком случае, разве он чем-то отличается от других большевиков, которые составляют «самый безрассудный и наименее опытный правительственный орган в мире»?

Между тем, искать в статьях Уэллса о России какие-то противоречия было бы одновременно слишком легкой и невыгодной задачей, которой уже в значительной мере занимался господин Генри Артур Джонс в его умных и глубоких письмах «Мой дорогой Уэллс»³. Нас не

так интересуют фактические неточности и логические несоответствия в том или ином утверждении Уэллса, а скорее, его общее понимание русской проблемы, фундаментальная концепция его статей.

Эта фундаментальная концепция Уэллса коротко может быть определена следующим образом:

Как бы мы ни относились к большевикам, они представляют сейчас единственную группу в России, объединенную общей идеей и общей целью, – единственную организацию с четкими целями и способную управлять страной. Вне коммунистов не существует ничего, что имеет хоть какие-то жизненные силы и творческий гений.

Крестьянство (предположительно) «абсолютно необразованно, тотально материалистически и политически индифферентно». И «они не имеют никаких желаний в вещах политических и социальных вне пределов их немедленного удовлетворения». Они не обладают никакими «конструктивными качествами».

Не лучше обстоят дела и с образованным классом русских, с интеллигенцией. О них Уэллс выражается примерно так: «Касательно остального, у более или менее цивилизованных русских, как внутри России, так и вне ее, есть некоторая неразбериха в отсутствии общих политических идей и в отсутствии общей воли. Они неспособны производить что бы то ни было, кроме рискованных авантур и споров. <...> Они не заслуживают ничего лучшего, чем царь, и они неспособны даже решить, какого царя они хотят»⁴.

Исходя из этой грустной картины, Уэллс делает следующие выводы: в случае свержения правительства большевиков в России последует полный хаос с окончательным коллапсом цивилизации и возвращением в доисторическое азиатское варварство. В этом состоит серьезная угроза для цивилизации во всем мире, и, чтобы предотвратить эту угрозу, западным демократиям, и особенно американской, дается совет быстро оказать поддержку советскому правительству и войти с ним в отношения дружбы и сотрудничества.

Таков приговор Уэллса народу России. Это не что иное, как именно приговор, жесткость и неумолимость которого не может вызывать сомнения. Крестьянство, которое Уэллс таким образом осуждает, составляет подавляющее большинство русской нации. Интеллигенция, которую так презирает Уэллс, – это духовный цветок нации, всё, что было в России от образованного и технически компетентного класса.

Таким образом всемирно известный писатель, к слову которого привыкли прислушиваться сотни тысяч, а может быть, даже миллионы людей, и который чувствует себя совершенно уверенным в своей непогрешимости, без малейших колебаний предлагает принести

целую нацию в жертву «самому безрассудному и наименее опытному правительству в мире», предполагая, что эта нация не заслуживает никакой лучшей судьбы, нежели служить объектом «беспредельного эксперимента», который сейчас над ней проводится.

Для тех, кому судьба русских людей абсолютно неважна, очевидно, не представляет сложности говорить как о факте, что русский народ заслужил такую судьбу. Однако этот приговор Уэллса неприемлем – не только для русских патриотов, но также для любого иностранца, который понимает важность национального восстановления России для цивилизованного мира. С любой точки зрения, друзья России будут отказываться принять такой вердикт как окончательный и будут считать себя обязанными поднять вопрос о том, насколько обоснованы изначальные посылы Уэллса, на которых он выстраивает свои смелые умозаключения, и о том, какая часть его прошлых познаний о России и ее истории делает его компетентным судьей судьбы русского народа.

Уэллс был в России до Войны. В тот раз он провел несколько недель в главных городах России в качестве туриста, его поездка оставила легкий след в его новеллах в форме небольших эстетических впечатлений от русской оперы, Московского Художественного театра и Кремля. На этот раз, однако, Уэллс приехал в Россию с более серьезными видами. Он прибыл с заявленной темой изучить и рассказать миру правду о России. Для этого он потратил около двух недель. Большую часть этого времени он провел в умирающем Петрограде – гостем его друга Горького; затем, для разговора с Лениным, он посетил Москву, которую он видел совершенно поверхностно: по дороге из своей гостиницы в Кремль, где в одном из кремлевских дворцов, окруженный охраной, неслыханной даже в дни царизма, поселился и тосковал в одиночестве – Ленин. Этим, в общем-то, и ограничивается диапазон впечатлений Уэллса от России.

Но, возможно, он возместил отсутствие личных впечатлений и наблюдений серьезным изучением русской истории, фундаментальным и точным знанием политического и социального развития России? Некоторое время тому назад была опубликована его двухтомная работа, озаглавленная «Очерки истории цивилизации» («The Outline of History»⁵). В этой книге, необычной как по теме, так и по манере изложения, Уэллс повествует доступным для читателя простым и ясным стилем рассказчика об истории человечества и эволюции человеческой цивилизации в различных землях и эпохах. Территория России покрывает одну седьмую поверхности глобуса, в то время как ее население составляет одну десятую всего населения

планеты. Истории России следовало бы уделить соответствующее большое пространство в работе, подобной «Очеркам истории цивилизации». Это как раз то самое место, где мы могли бы ожидать найти короткое изложение уэллсовских штудий русской истории, квинтэссенцию, так сказать, его знаний о России и ее народе. Но вот все, что мы могли узнать из двух томов «Очерков» об этом предмете:

1) что в начале русской истории Южная Россия была заселена казаками, потомками скифов, славянами с примесью монгольской крови (sic!), ведущими кочевой образ жизни;

2) что в течение 15-го века московские князья были под монголами, но позднее, став сильнее, они отказались платить дань монгольскому хану, провозгласили себя царями и наследниками императоров Византии, хотя продолжали жить по татарским традициям;

3) что в начале 18-го века Петр Великий, который жаждал быть похожим на монархов Запада, разорвал с татарской традицией и перенял французские нравы: он брил бороды аристократам, перевел столицу из Москвы в Санкт-Петербург и выстроил Петергоф по аналогии с Версалем;

4) что в это же время казаки упорно продвигались на восток, пока наконец-то не достигли Тихого океана.

5) до конца 19-го века Россия все еще продолжала быть варварской монархией по типу государства 17-го века; ее внешняя политика определялась интригами и дворцовыми фаворитами, крестьяне были неграмотны и суеверны, а в университетах учились бедные, мятежные студенты.

Кроме этого вы не найдете в «Очерках истории» ничего касательно России и русского народа, продираясь через два объемных тома в 600 страниц каждый.

Нет, мы не можем признать Уэллса экспертом и знатоком русской истории. Мы верим, что его путешествие в эту область было столь же кратким и поверхностным, как и его поездки в Россию.

И еще, поставь Уэллс действительно перед собой задачу ознакомиться с русской историей, он бы изучил много интересных и информативных новых подробностей. Он бы узнал, что русский народ, который в начале своей истории жил уединенными, изолированными общинами в редкозаселенной земле, едва затронутой плугом предшествующих цивилизаций, постепенно достиг успеха в сплочении народов в единую нацию и в создании неделимого государства.

Он бы узнал, как этот народ расширил границы своего государства – и стал великой империей, растянувшейся от Балтики до Тихого океана и от Арктического океана до Черного моря, – не толь-

ко силой оружия, но также тяжелым трудом, постоянной борьбой против тяжелых природных условий, в духе индивидуального и коллективного порыва, первооткрывательства и колонизации.

Он бы узнал, как русские люди, в контакте и в союзе с другими народами, не только не потеряли свой язык, свою веру, традиции, но как раз наоборот – мирно привели многих из этих народов в сферу своего влияния, сплетая их судьбу со своей собственной, воздействуя на многие эти национальности как первопроходцы цивилизации и государственности.

Он также узнал бы, как эти люди, несмотря на колоссальную энергию, требуемую для построения империи, несмотря на набеги и дань татарского ига, нападения врагов, века крепостного права и деспотического правления, создали великую цивилизацию, которая была плодотворна в литературе, искусстве и науке и стала наследием для всего мира и корни которой лежат глубоко в почве народной жизни, что есть источник и фундамент всей этой цивилизации.

Если бы Уэллс только знал все это, он едва ли позволил себе свой суд над русским крестьянством, и он едва ли рискнул бы заявить, что оно не имеет никакого полезного качества. Подготовленный таким образом к русской реальности, он бы различил в предреволюционной России то, что он не хотел – или не знал как – различить теперь: возможность русских людей управлять собой; успех института земства на территориях, где крестьянство составляло подавляющее большинство населения и где общественная работа велась людьми, выросшими из его среды; и потрясающий рост кооперативных организаций в российской провинции.

В этом случае он мог, конечно, заметить также и духовную жизнь русского народа – нечто иное именно там, где, в своей слепоте, он пропустил в настоящем все, кроме оголтелого материализма и бескультурного суеверия; он бы смог увидеть, что русские люди не только обогатили сокровищами истинного религиозного чувства правящую Церковь, наделив ее своими мучениками и святыми, но и то, что в постоянном поиске духовной правды они создали великое множество сект и свободных религиозных объединений.

Изучая русскую историю, Уэллс также смог бы узнать, как класс образованных русских – та самая интеллигенция, что так презираема им, – как он, едва возникнув, осознал себя как независимую силу, занялся со всей своей энергией проблемой социальной справедливости и одарил целую нацию великими дарами просвещения.

Он бы узнал о героических усилиях этой самой интеллигенции в течение всего девятнадцатого века, – того самого века, который, по мнению Уэллса, был периодом варварской стагнации России, – уси-

лиях по уничтожению пропасти, что была создана социальным неравенством между образованными классами и простыми людьми.

Он мог бы, в конце концов, узнать, как, через работу этой самой интеллигенции, крепостное право крестьян было ликвидировано; с каким самопожертвованием, добровольно освобождаясь от преимуществ привилегированного класса, эта интеллигенция растворилась в народе, что огромная образовательная и гуманитарная работа была проведена ее представителями в деревнях в качестве учителей, агрономов, лидеров земства, врачей, – работа, в сравнении с которой «образовательные» попытки большевиков, так расписанные сегодня, выглядят смешной и ничтожной пародией.

Если бы Уэллс только знал все это, он бы, конечно, имел возможность постичь великую трагедию русской истории, воплощенную в судьбе Мартовской революции 1917-го⁶, – в духе понимания и симпатии, а не с безответственным и высокомерным осуждением. Он бы тогда обнаружил, что причиной падения Временного правительства и успеха большевиков было не превосходство коммунистов над их оппонентами в ясности их программы, в их организационных и административных талантах, но в трагической неразрешимости проблемы, с которой Временное правительство столкнулось: необходимость вести военные действия и, в то же время, реорганизовать всю жизнь страны на совершенно новых принципах. Это не ошибка правительства или интеллигенции, что именно в тот момент, когда все, что было лучшего в России, было готово закончить эту многолетнюю работу по созданию нового демократического государства, люди, уставшие за три года войны, поддались страшной социальной болезни – анархии и внутреннему распаду.

И еще один урок русской истории мог выучить господин Уэллс. Он мог бы узнать, что триста лет тому назад Россия была в точно таком же состоянии дезинтеграции и анархии, как и сегодня. В то время также все политические и социальные связи были временно сломаны, само основание экономической жизни страны было разрушено, совершенно идентичные общественные бедствия охватили население и, как кульминация, само сердце России, Москва, было в руках иноземных завоевателей. Казалось, что Россия стоит на краю полного разрушения.

Но нет, благодаря созидательной энергии русского народа, силой национального единения и энтузиазма кризис был преодолен, период смутных времен успешно миновал и единство государства восстановлено. В течение этого периода, подобно другим моментам русской истории, замечательная жизнеспособность русского народа, его возможность подняться из состояния временной болезненности и разоб-

ценности даже более сильным и жизнеспособным были ясно проявлены.

В своих суждениях о судьбе России Уэллс может показаться правым только в одном особенном моменте: после предсказуемого падения большевистского правления в России в ней с большой вероятностью наступит период хаоса и тотального отсутствия любого центрального правительства. Эта перспектива очень страшит господина Уэллса, что неудивительно, так как он предполагает, что вне большевиков в России невозможно найти ни одной живой и деятельной силы. Но для нас, кто знает русскую историю и верит в созидательные силы русского народа, эта перспектива временного хаоса совсем не так страшна. Неважно, какое будущее у России, – любое иное будет лучше, чем коммунистическое рабство. Падение деспотии большевиков освободит скованные силы русского народа и, выздоровевший от своей ужасной болезни, он вернется к восстановлению своей национальной жизни. Медленно, но неизбежно начнется процесс объединения порванных нитей социального и политического организма. Поступательно от одной территории к другой, возможно даже в каждом городе и деревне отдельно, начнется восстановление нормальной жизни через работу местного населения, которое прошло через суровую школу самозащиты и опоры на свои силы в испытаниях Гражданской войны. Только на таком фундаменте можно надежно построить структуры нового демократического государства воссоединенной России.

* * *

Некоторое время тому назад «Soviet Russia»⁷ напечатала примечательную статью Горького о Ленине. Главная идея этой статьи показывает настолько поразительное ее сходство с основной концепцией господина Уэллса, что невольно возникает вопрос, в какой степени Уэллс смотрит на Россию глазами его знаменитого друга. В статье Горького, которая, согласно авторскому замыслу, должна была стать панегириком Ленину, но на самом деле осуждает его даже более сурово, чем любое прямое осуждение, Горький, подобно Уэллсу, с готовностью приносит русский народ в жертву коммунистическому эксперименту. Горький не стесняется называть Ленина сумасшедшим и объясняет, в чем заключается его сумасшествие: «У него есть мужество начать процесс всеевропейской социалистической революции в стране, которая на 85% состоит из крестьян, которые хотят стать откормленными буржуа и не более того». Горький знает, что «для Ленина Россия есть только материал для эксперимента».

Да, бывали времена, когда, ведомый чувством жалости к русско-

му народу, Горький восставал и протестовал. Позднее, тем не менее, он понял, что здесь нечем возмущаться. Начнем с того, что ему нравится сумасшествие Ленина, потому как это «великолепное сумасшествие», «святое сумасшествие храбреца» и «эксперимент всеобщего, планетарного масштаба». Во-вторых, – и это главное – Горький убеждает себя, что русские люди не заслужили лучшей участи и, осыпая оскорблениями свой собственный народ, Горький пишет: «Каждому по заслугам, что вполне справедливо. – Народ, который загнивал в душной атмосфере монархии, вялый народ, с недостатком воли и веры в себя, недостаточно буржуазный, чтобы быть сильным в противостоянии, и недостаточно сильный, чтобы подавить в себе жалкое, но твердое стремление к буржуазному благосостоянию, – этот народ, по самой логике его глупой истории, безусловно должен пройти через все эти драмы и трагедии, которые и есть неминуемая судьба косного существования живущих в эпохе откровенной, жестокой классовой борьбы».

Мы сильно подозреваем, что эти открытия Горького были фундаментальным и главным источником суда Уэллса над русским народом.

Как замечательно сближаются эти концепции двух просвещенных писателей, которые в основном рассматриваются как представители либеральных и прогрессивных идей, с теориями и мнениями политических реакционеров всех времен и народов! Идеологи любой деспотии – и коммунистической деспотии в том числе, как мы сейчас видим, – неизменно начинают свою аргументацию с безнадежного пессимистического взгляда на человеческую природу. С их точки зрения, люди сами по себе не способны ни к чему и могут служить лишь пассивным и покорным объектом в руках активного меньшинства, которое имеет свою волю и цель.

Демократический оптимизм, с другой стороны, базируется на вере в творческую энергию людей, – и эта точка зрения на жизнь, которая формирует основы теории и практики той системы государственности, которая наилучшим образом выражена знаменитыми словами Линкольна: «Правительство народа, управляемое народом и для народа».

Русские демократы верят в свой народ и поэтому отрицают совет господина Уэллса принести народ в жертву «наиболее безрассудному и наименее опытному правительству в мире». Они знают, что русский народ сам найдет путь к своему спасению, и только одного они ожидают в этот момент от друзей России – что в этом национальном возрождении им не помешает подавляющая этот процесс искусственная поддержка коммунистической деспотии.

Исповедуя показную дружбу с Россией, Уэллс, тем не менее, ненавидит русский народ. Как и Горький, который воспекает в молитвах «великолепное сумасшествие» Ленина. В конце концов, «великолепный сумасшедший», «кремлевский мечтатель» Ленин и сам ненавидит этот народ.

Наша вера и наши надежды – с русским народом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Печатается по машинописной копии на английском языке, которая находится в частном архиве Ю. А. Сандулова. Публикатор благодарит историка Ю. А. Сандулова за предоставленный материал. Точная дата написания статьи неизвестна. Возможная дата написания: 1920 год (не позднее первой половины 1921 г.). При атрибуции публикатор опирался на факты биографии М. М. Карповича и Г. Уэллса. Г. Уэллс посетил советскую Россию в сентябре-октябре 1920 г. Газетные публикации глав будущей книги Г. Уэллса «Россия во мгле» (*Russia in the Shadows*) появились в США в ноябре 1920-го (иногда как первоисточник указывают на английскую газету *Sunday Express* и полученный Уэллсом от нее гонорар за эти материалы, однако *The New York Times* содержит в своем архиве ноябрьские публикации этих текстов, в частности, подборку статей «*Russia in the Shadows; Fourth Article: Creative Effort in Russia Most Russians Are Indifferent. Marx Theories Contradicted. Cases of Stupidity. In Spite of Blockade and War. The Russian State of Mind. Inspecting the Schools. Lawlessness of the Young. Hygienic and Moral Discipline. Russia in the Shadows A Lady of the Old Regime*». Подборка была опубликована 28 ноября 1920 года, а в пояснениях к архиву указывается, что газете принадлежит право первой публикации текстов Уэллса: «*'Russia in the Shadows,' first printed in serial form*» (<http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9D04EFDA1639E133A2575BC2A9679D946195D6CF&legacy=true>). Как бы то ни было, учитывая тот факт, что М. Карпович уже находился в США к этому времени и в тексте статьи ссылается также на американское издание «*Soviet Russia*», логично предположить, что он опирался на публикации именно в *The New York Times*, в частности, цитировал в своей статье отрывки из подборки от 28 ноября. Книга Г. Уэллса вышла из печати уже в начале 1921 года (на первой публикации в Великобритании указано: Hodder & Stoughton, Ltd., London, 1920).

Во-вторых, примечания Карповича о себе: «студент» и «ныне проживающий в стране» («now in this country»). Обратимся к биографии самого автора. М. Карпович попал в США весной 1917 года в составе посольской делегации Временного правительства (посол – Б. А. Бахметев). Участие Карповича в посольской делегации было в большой степени случайным и определено доброй волей Бахметева, знакомого Карповича по Тбилиси. Указание на «проживание в стране» подчеркивает, на взгляд публикатора,

особый статус Карповича в США (не гражданин США и не постоянный резидент), с одной стороны, и, с другой, – некоторую обязательность для официального представителя демократической России отклика на публикации Уэллса. Посольство Временного правительства было официально закрыто в 1922 году, после чего Карпович переезжает в Нью-Йорк и работает уже как свободный публицист (freelancer); согласно же его ученику и биографу проф. Ф. Мосли (Philip Mosley), уже в 1927 году Карпович работает в Гарвардском университете в качестве лектора. Все вместе и позволяет атрибутировать текст М. М. Карповича не позднее первой половины 1921 года.

2. Данный отрывок в Собрании сочинений Г. Уэллса звучит так: «Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать, что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот, который наиболее соответствует их целям и задачам...» (*Герберт Уэллс. Россия во мгле. Пер. – И. Виккер, В. Пастоев. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 15. – М.: «Правда», 1964.*

3. Генри Джонс (Henry Arthur Jones, 1851–1929), английский драматург. Речь идет о публикации открытых писем Г. Уэллсу (позднее – книга) *My Dear Wells: a Manual for Haters of England, a series of letters addressed by Henry Arthur Jones to Mr. H.G. Wells, upon bolshevism, collectivism, internationalism, and the distribution of wealth* (1921). Впервые были опубликованы в *The New York Times*.

4. Данный отрывок в Собрании сочинений Г. Уэллса звучит так: «Что касается остальных русских, как в самой стране, так и за ее пределами, – это пестрая смесь более или менее культурных людей, не связанных ни общими политическими идеями, ни общими стремлениями. Они способны только на пустые споры и беспочвенные авантюры... Эти эмигранты не заслуживают ничего лучшего, чем царь, и они не в состоянии даже решить, какого царя они хотят».

5. «Наброски истории», или «Очерки истории цивилизации», или «Вся история человека», или «Понятная история жизни и человечества» (*The Outline of History*), 1324-страничный труд, рассчитанный на массового читателя; впервые опубликован в ноябре 1919, как отдельный том в твердом переплете – в 1920 г. Издание пользовалось успехом, было продано более двух миллионов книг, переведено на многие языки, рекомендовано как пособие для изучения истории и иллюстрациях. Первая публикация в России – Москва, ЭКСМО, 2004 (Перевод Е. Бондаренко, В. Горбатько). Оформление переплета художника Е. Клодта.

6. В современной историографии – Февральская революция. Революционные события начались народными демонстрациями (23 февраля / 8 марта) 1917 года. Дата свершения революции определяется по отречению правящего монарха Николая II Романова – 2 марта (15 марта) 1917 года.

7. Статья М. Горького о Ленине является хрестоматийной для советской литературы (редакции: 1924, 1931). Однако первый свой панегирик о лидере большевиков «Владимир Ильич Ленин» М. Горький напечатал в журнале «Коммунистический интернационал» в 1920 году, взяв за основу свою речь, произнесенную в день пятидесятилетия Ленина. Ресурс: <https://books.google.com/books?isbn=5998960637> М. Карпович упоминает текст М. Горького, опубликованный в американском издании *Soviet Russia*. Очевидно, текст из этого журнала – перевод публикации из «Коммунистического интернационала». *Soviet Russia* – журнал, издававшийся Бюро Правительства Советской России (в Нью-Йорке возглавляла Сантери Нуротева; дипломатический и торговый представитель правительства с января 1919-го – инженер Людвиг Мартенс). См.: Д. Э. Дэвис, Ю. П. Трани. Первая холодная война. Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях. – М.: Олма-Пресс, 2002. С. 388. Позднее Бюро было преобразовано в организацию «Друзья Советской России» (Friends of Soviet Russia). *Soviet Russia* издавался с 1919 по 1922 гг., потом был заменен на богато иллюстрированный фотографиями журнал *Soviet Russia Pictorial*. Источник: <http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=sovrussia>

*Перевод с английского,
публикация, комментарий – М. Адамович*

Юрий Мандельштам

Четыре эссе

ЗЕМНАЯ ЛЮБОВЬ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ*

«Фолько Портинари – человек очень почтенный между своими согражданами, собрал однажды соседей в день первого мая в своем доме. Среди них был и Алигьери, а с ним вместе – ведь так уже водится, что родители берут с собой маленьких детей, особенно если идут куда-нибудь поразвлечься, – пошел и Данте, которому еще не исполнилось и девяти лет... Среди детей находилась дочь названного Фолько, имя которой было Биче (хотя сам Данте называл ее полным именем: Беатриче), девочка лет восьми, по-детски очень милостивая и грациозная, привлекательная и приятная в обращении, более серьезная и скромная в поступках, чем можно было требовать в ее годы. А черты ее лица, необыкновенно нежные, очень правильные и округлые, придавали ей помимо красоты такое скромное изящество, что ее называли херувимом. Такой, какой я ее изображаю, а может быть, еще более прекрасной, явилась она перед глазами нашего Данте, думаю, не в первый раз вообще, но в первый раз способная вызвать любовь. А Данте, хотя и ребенок, с таким глубоким чувством принял в сердце ее чудный образ, что он с этого дня так и остался там запечатленным до конца его жизни...»

Так, несколько условно и стилизованно, описывает Боккачио встречу Данте и Беатриче, начало любви, вот уже шестьсот лет являющейся символом верности, чистоты и невоплощенности любовных желаний на земле. Разделенные житейскими условиями, поэт и его бессмертная возлюбленная никогда не были соединены грубым плотским сочетанием. Укоренившаяся легенда добавляет: и не стремились соединиться, ибо именно их разделенность в жизни дала им возможность сохранить чистоту и высоту чувства, и сочетаться иным, мистическим браком, памятником которого осталась для нас «Божественная Комедия». Я повторяю: это добавляет легенда, так как биография Данте темная и мало исследованная, легендой, вернее – разными легендами – стала слагаться и заполняться с самого момента появления «Комедии». Действительно, уже при жизни Данте

* «Возрождение», том 10, № 3146, 12 января 1934.

слава его была велика: прохожие останавливались на улице, чтобы посмотреть на человека, черная борода которого носила следы адского пламени, а взор отражал видения рая. А слава требует мифа: без выдумки ни один герой не останется в народной памяти.

Начало мифу о Беатриче положил сам Данте – своими произведениями: «Новой Жизнью» и «Божественной Комедией». Но сонеты и канцоны «Новой Жизни» были написаны хотя и гениальным, но совсем молодым поэтом, естественно увлекавшимся чистотой и исключительностью своего чувства. А в «Божественной Комедии», обуреваемый своим мистическим порывом и желая сказать об умершей возлюбленной «то, что не было сказано еще ни об одной женщине», Данте перенес центр тяжести на «небесную» сторону своей любви. Излишняя страстность в лирике не допускалась: женщина должна быть для поэта не женой или любовницей, а идеальным объектом идеальной любви.

Но отвлеченные идеалы существовали только в стихах придворных певцов. «Человек, – как сказал Паскаль, – не ангел и не зверь, а кто хочет играть в ангела, становится зверем.» Совершенная человеческая любовь, конечно, и телесна, и духовна одновременно, по крайней мере, в своих устремлениях. Она может не быть разделенной или воплощенной, но не желать этого воплощения она не может. Прав Гумилев, писавший о томлениях «вовсе недостойной, вовсе платонической любви». Между тем, любовь Данте не была выдумкой, галантной игрой или схоластической схемой; стихи его для этого слишком подлинны (об их ли подлинности говорить!) и в чистоте своей слишком страстны. Да страсть и не разрушает чистоту, когда стремление плоти соответствует стремлению духа. Тот же Боккачио знал это лучше других, и в его биографии Данте (первом жизнеописании поэта) элемент земного чувства и даже чувственности, пожалуй, преобладает над элементом мистическим. Но если Боккачио, может быть, и увлекся в другую сторону и стилизовал Данте под героев своих новелл, то и в словах самого поэта улавливаем мы далеко не подавленную и вполне земную страсть. Недаром один из самых удавшихся образов в его «Аду» – Франческа да Римини, осужденная на вечное кружение за неутомимое сладострастие. И не отрешение, а сочувствие возбуждает в нас Франческа, как и в самом поэте, теряющим в ее присутствии сознание. А в «Чистилище» Беатриче заставляет Данте очиститься в огне от своих грехов, но в первую очередь – от сладострастия. О тех же чертах его природы говорят и те сведения его жизни, которые могли быть собраны в течение шести веков его биографами¹.

Если следовать хронологии, установленной в «Новой Жизни»,

первая встреча девятилетнего Данте с восьмилетней Биче произошла в 1274 году. Встречались они и позже, да и как было и не встретиться соседям. «Он (т. е. Амор), – пишет Данте, – приказывал мне много раз, чтобы я старался видеть этого ангела-ребенка, и в детстве моем я неоднократно ходил и искал ее. И созерцал столь благородные и похвальные ее привычки, что поистине, о чем можно было сказать словами поэта Гомера: ‘Она казалась дочерью не смертного мужа, а “бога”.’». Конечно, чувства мальчика еще не могли быть страстью, но желание видеть объект своих мечтаний владело им постоянно. Если встречи их были нарушены, то не по его воле. Браки детей, устраиваемые родителями, были тогда нередкими. Фолько необходимо было войти в родственный союз с дер Барди, и за сына одного из них, Симона, он выдал Биче. Дата этого брака осталась неизвестной. Как бы то ни было, к моменту второй знаменательной ее встречи с Данте – в 1283 году – она была замужем уже несколько лет. Ей было тогда 17 лет, Данте – 18. Он уже закончил свое образование и подвизался в литературных кругах. Искусство стиха было ему знакомо; он знал произведения всех мастеров своего времени: Брунетто Латини, Гвитоне и тезки своего, Данте де Матано. Но тянуло его к новой школе, созданной Гвидо Гвинчелли, и представителем которой был друг Данте, другой Гвидо, молодой еще Кавальканти. Школа эта склонялась к предпочтению разговорного итальянского языка книжной латыни и – «dolce stil nuovo» – изменил юного Данте. Конечно, стихи его были пока только талантливыми упражнениями; ему не хватало собственного содержания. Тогда-то и «случилось, что эта удивительная дама встретила меня, одетая в белоснежное платье, сопровождаемая двумя другими дамами... Час, когда я удостоился ее сладостного поклона, был девятый этого дня. А так как в первый раз с уст ее слетели слова, чтобы достигнуть моего слуха, я был охвачен такой нежностью, что в опьянении ушел от людей». Тогда он увидел Беатриче во сне, а проснувшись, написал первый сонет из «Новой Жизни». Стихи его с тех пор полны его любовью; в ней он нашел самого себя и собственную, уже не ученическую поэзию.

Но не в одних стихах сказывалась его страсть. Вернемся к боккаччевой биографии. «С годами разгорался любовный огонь, так, что ничто другое не доставляло ему ни удовольствия, ни удовлетворенности, ни утешения: только созерцание ее. Вследствие этого, забыв обо всех делах, в волнении, шел он туда, где надеялся ее встретить. О, неразумное соображение влюбленных! Кто кроме них станет думать, что если подбросить хворосту в костер, пламя станет слабее.» Страсть охватила Данте всего, и вряд ли можно думать, что ограничивался он желанием созерцать Беатриче. Но светские приличия

не разрешали иных желаний, да и отношение самой Беатриче к поэту представляется нам неясным, по-видимому, была она к нему скорее благосклонна. Иначе у Данте не было бы повода изображать их встречу в загробном мире – встречей любовной. Кроме того, сонеты и канцоны Данте были известны друзьям, а ими разносились по всей Флоренции. Имя той, кому стихи его были посвящены, не могло оставаться тайной. Знала о любви Данте, конечно, и сама Беатриче и позволяла ему распевать себя и встречаться с ней на людях. Может быть, она и впрямь любила его: это даже вполне вероятно; во всяком случае, брак ее не мог дать ему удовлетворения. Но кроме приличий, не позволявших им видеться наедине, играло некоторую роль, по-видимому, и кокетство Беатриче, которой нравилось поклонение Данте: а божественная Беатриче была ведь живой женщиной. Чтобы отвлечь внимание любопытных флорентийцев, Данте придумал хитрость. Когда он однажды любовался Беатриче в церкви, некая дама приняла его взгляды на свой счет. Тогда Данте стал за нею ухаживать и даже посвятил «донне-ширме» стихи. Однако пыл первой страсти требовал какого-то осуществления, и вот «донна-ширма» перестала быть одной лишь отговоркой; сонет, посвященный Гвидо Кавальканти, намекает, что у поэта началась связь с какой-то дамой. Потом – все по стихам Данте – «донна-ширма» уехала, и у поэта появилась ее заместительница. Данте стал кутилой, проводил время в веселой компании.

Но Беатриче не чужда была ревность. Ее упреки Данте в «Чистилище» внушены были ему другими упреками, сохраненными памятью. История с «ширмами», очевидно, стала Беатриче известной, и при встрече с поэтом она не ответила на его поклон. Униженный Данте стал сам себя упрекать в своих изменах, порвал с очередной «ширмой» и обратился к своей неразделенной страсти. Тогда он написал «Балладу», в которой объяснял возлюбленной, что внешние измены не коснулись чистоты его любви. «Прост замысел, а сердце верно вам.» Но прощение он получил не сразу: судя по трем сонетам, Беатриче на какой-то пирушке смеялась над ним. Смеялись над ним и другие, так как его горе не соблюдало светских нравов и прорывалось слишком уж явно. Все же, в конце концов, Беатриче смягчилась, по крайней мере, написанная поэтом к тому времени «Канцона» славит ее уже без горечи.

Эта смена горя и счастья, по-видимому, и была толчком к возникновению или, по крайней мере, усилению мистического чувства поэта. «Канцона» славословит «госпожу» как источник блаженства, и любовь Данте в ней очень близка к порыву религиозному.

Кого она достойным почитает
Приблизиться, тот счастьем потрясен,
Кому отдаст приветливо поклон,
Тот с кротостью обиды забывает,
И большую ей власть Господь дает:
Кто раз ей внял, в злодействе не умрет.

Подобно человеку религиозно экзальтированному, Данте начал видеть пророческие сны. В одном из таких снов видел он смерть Беатриче и ангелов, окружающих ее гроб. Предчувствие потери любимой женщины преследует его с тех пор. Все же смерть Беатриче, последовавшая вскоре после этого (и насколько можно судить, неожиданно для всех) повергла его в глубокое горе. «Многие из его наиболее близких родственников и друзей боялись, что дело может кончиться только смертью. И думали, что последует она в скором времени, ибо видели, что он не поддается никакой поддержке, никаким утешениям. Дни были подобны ночам – и ночи дням», – так пишет Боккачио. Но на самом деле Данте не умер, хотя горе его и было непомерным. Его мистический подход к любви дал ему веру на загробное свидание и силу претерпеть свои страдания. Для этого он должен был лишь быть до конца верным Беатриче и служить ее памяти в своей поэзии. Первое же стихотворение, написанное им после смерти возлюбленной, вторая его «Канцона», называет Беатриче по имени, чего он раньше в своих стихах никогда не делал.

Был ли он и в жизни всегда верен ее памяти? За какую измену упрекает его Беатриче в «Чистилище»? Вряд ли за его женитьбу на Джемме Донати, последовавшую, скорее всего, в 1297 году. Брак был делом житейским, играли в нем роль факторы и дипломатические (упрочение связи с семьей Донати), и чисто денежные. Да кроме того, «к тридцати годам люди обыкновенно женятся», как впоследствии пишет Пушкин. Изменной считает Данте, вероятно, какое-нибудь позднейшее увлечение: после смерти Беатриче поэт прожил еще около тридцати лет. Но, как и при ее жизни, – «прост умысел и сердце верно нам». Своей возлюбленной воздвиг он действительно такой памятник, какого не имела и, может быть, никогда не будет иметь ни одна женщина.

ВИКТОР ГЮГО И ЕГО ЖЕНЩИНЫ*

Пятидесятилетие со дня смерти Виктора не вызвало увеличения интереса к его творчеству. Зато личность и жизнь его возбудили к себе очень большое любопытство. Из огромного количества книг, посвященных памяти поэта и вышедших за последние месяцы, вряд ли больше четверти касаются его произведений; остальные заняты исключительно его биографией. Не то чтобы она была не исследована; биографы Виктора Гюго давно уже добросовестно занимаются своим делом. Но юбилей и известная национальная гордость помогли историкам его жизни найти новые данные, осветить малоизученные эпизоды, наконец, объединить разрозненные факты в уже вполне установившейся перспективе.

Как обычно в таких случаях, особенно привлекла романтическая сторона жизни юбиляра. На этот раз подобного рода интерес оказался вполне оправданным. Если Гюго и не был пылким и романтическим любовником, то все женщины играли в его жизни первостепенную роль. Не только он сам с раннего возраста испытывал влечение к ним, но и в нем была некая притягательная сила, вряд ли объяснимая одним лишь поэтическим ореолом. Гюго был постоянно окружен не только поклонением и заботой, но и соперничеством и кознями женщин. Впрочем, козней было куда меньше, чем знаков преданности и самоотверженной любви. Книга, выпущенная недавно Раймондом Эсколье¹, достаточно вводит нас в любовную атмосферу, окружавшую поэта, чтобы в этом до конца убедиться.

В жизни Гюго было две больших любви, не мешавших, правда, ряду попутных второстепенных романов. Во всяком случае, две больших любви к нему: Адель Фушэ и Жюльетта Друэ. Увлечение первой Сент-Бевом, казавшееся Гюго трагедией, по существу не изменило ее привязанности к поэту. Вторая же может быть примером женской верности и самоотверженности.

Адель Фушэ была первой любовью Гюго, и для нее самой это была первая и исключительная любовь. Они росли вместе. Гюго и Фушэ были соседями. Но когда Виктору было лет пятнадцать, его мать увезла его из Парижа – отыскивать отца, генерала Гюго, сбегавшего с авантюристкой-испанкой. В Пиренеях и Виктор узнал шарм испанских женщин: его отроческое сердце впервые забилось тревожнее при виде молодой Пепиты, дочери маркиза де Монте-Эрмоза. Вернувшись в Париж, на улицу Сен-Жак (без отца по-прежнему), Виктор был поражен сходством Адели с Пепитой. И волнение, внушенное ему мимолетным видением, перешло в длительное чувство

* «Возрождение», том 11, № 3656, 7 июня 1935.

к подруге детских игр. Правда, за этот год Адель очень изменилась. Из девочки-подростка она стала стройной и красивой девушкой. Удлиненный разрез глаз, длинные волосы, бронзовый загар лица – все это неожиданно поразило юношу. Ведь еще так недавно они вместе искали птичьи гнезда, ссорились и даже дрались. Теперь «мы медленно гуляем, говорим вполголоса. Она роняет платок, я его подымаю. Наши руки дрожат от соприкосновений».

В таких молчаливых прогулках прошел еще год. За этот срок Виктор стал признанным поэтом: получил премию на стихотворном конкурсе. Однажды он намекнул Адели, что у него есть секрет. Она ответила таким же признанием и спросила: «В чем же твой секрет?» – «Я тебя люблю!» Адель побледнела, потом вспыхнула: «А мой секрет, что я люблю тебя». Этот день, 26 апреля 1819 года, Гюго потом часто вспоминал в своих письмах.

Первой заметила начавшуюся влюбленность мать Адели, отнесшаяся к ней сочувственно, Но госпожа Гюго посмотрела на дело иначе: «Они еще дети; о браке невозможно и думать». «Тогда, – решила госпожа Фушэ, – Виктор не должен компрометировать Адель.» И вот семнадцатилетние влюбленные разлучены. Лишь изредка на балу, снedaемый ревностью, видит поэт свою музу. В одиночестве и томлениях он пишет ей письма, из которых не все доходят до нее. Новые друзья, также молодые поэты, как и он, – Ламартин, виконт Альфред де Виньи, – знают об этой «большой любви», но помочь Виктору не могут. Помогает учительница Адели, Юля де Монферье, устраивающая им тайные свиданья. И потом – опять письма, подписанные «твой муж», «твоя жена». Клятвы вечной верности. «Я хочу уверить тебя, что не только до тебя никого не любил, но что я абсолютно девственен, так же как и ты, и свою чистоту сохранил до свадьбы.»

Летом 1821 года Виктора ждут два удара: умирает его мать и Фушэ уезжает в Дрэ. Без гроша в кармане, пешком, Виктор отправляется туда же. Растроганный отец Адели дает, наконец, свое согласие. Добивается Гюго и согласия своего отца. Одновременно, в нищете и отчаянии, он делает все возможное, чтобы пробиться в прессу. В 1822 году как-то сразу ему улыбается известность; его печатают, издают, ему платят гонорары. Он живет в Жантильи у Фушэ: счастье безоблачно. Там же в Жантильи празднуется и свадьба, омраченная неожиданным инцидентом. Брат Гюго, Евгений, молчаливо влюбленный в Адель, в припадке ревности ломает мебель и убегает из дому. Идиллия кончилась, началась нелегкая жизнь поэта и его жены.

Литераторы, общество, начинающаяся слава, атмосфера зарождающегося романтизма... Виктор любит жену, но остаться ей абсолютно верным не может: слишком много вокруг молодых женщин.

Да и дела все чаще отвлекают его от семьи, от дома номер 90 на улице Вожирар, где они поселились. В номере 94-м живет с матерью другой поэт, мрачный неудачник, безобразный юноша Сент-Бев. Он сначала изредка приходит к Гюго, потом старается бывать в его отсутствие. Адели он рассказывает о бурной жизни ее мужа, об актрисах, играющих в его пьесах. Адель молода и томится. Сент-Бев становится все настойчивее. Наконец, Адель сознается мужу, что равнодушна к своему молодому поклоннику. У Гюго вспышка гнева. Потом он решает простить жену, но их отношения становятся все холоднее. Положение Гюго не может допустить развода, да и семью разрушать он не хочет. Но в его сердце развод произошел. Он не замечает того, что роман Адели с Сент-Бевом кончился, что его сборник «Сладострастие» внушен больше ревностью, чем разделенной любовью. Для Гюго Адель уже не жена, а только мать его детей и хозяйка дома.

2 января 1833 года Гюго случайно попал на бал артистов. Там он знакомится с 27-летней Жюльеттой Друэ, уже имевшей бурное прошлое, но мечтающей о настоящей любви. Гюго не очень нравились героини кулис. Но Жюльетта поразила его неожиданной чистотой и свежестью. Она показалась ему воплощением романтической неудовлетворенности, и с бала он унес светлый образ прекрасной незнакомки. Сама же Жюльетта на следующий день просила Ареля, директора театра Порт Сен-Мартэн, дать ей роль в новой пьесе Гюго «Лукреция Борджиа». Лукрецию должна была играть известная артистка Жорж, свободной оставалась только незначительная роль княгини Негрони. «В пьесе Виктора Гюго нет второстепенных ролей», – ответила Жюльетта. Сыграла она эту роль изумительно. В последнем акте она должна была сказать слово «любовь». Перед этим она повернулась к месту, где сидел поэт. Намек нетрудно было понять.

В день карнавала, 19 февраля, Виктор и Жюльетта стали любовниками. На следующий день она передала ему записку. «Настоящим подтверждаю получение от г. Виктора Гюго счастья, любви и преданности, которые обязываюсь выплачивать ему в течение всей жизни. Подпись: Жюльетта.»

Первое время Гюго захвачен этой любовью. Но понемногу он вспоминает о семье, о друзьях и меньше времени проводит с Жюльеттой. Последняя страдает от невозможности занять заслуженное место постоянной спутницы поэта. После посещения его квартиры на пляс Руаяль, она пишет: «Я чувствую больше, чем раньше, насколько я далека от вашей жизни. Это не ваша вина, бедный мой возлюбленный. Это и не моя вина; но это так». После тягостного объяснения она сжигает все письма Гюго и собирается порвать с ним. Но

Гюго не хочет отказаться от этой самоотверженной любви. «Ты сожгла мои письма, Жюльетта. Но ты не уничтожила моей любви. Она цела и жива в моем сердце, как и в первый день.»

И мучительная для Жюльетты любовь продолжается. Летом 1834 года, удрученная материальными трудностями, изведенная ревностью, она покушается на самоубийство. Ее спасают, и в августе она едет к сестре под Брест. Через несколько дней Гюго следует за ней. Эта осень в Бретани может быть самый страстный период их отношений. Гюго как будто решил связать свою жизнь с ее. «Я пишу это письмо в сумерки. Но наша любовь, Жюльетта, не знает сумерек... Ни одна женщина до тебя не была так любима, ни одна после тебя не узнает такой любви. Я тебя люблю так, что готов умереть или убить себя... Я у твоих ног, я на небе.»

С тех пор каждую осень, в течение нескольких лет, они проводят вместе, большей частью в Бретани. Связь их стала известной всем. Даже Адель приняла ее. Во время бретонских отлучек мужа она пишет ему трогательные письма: «Не лишай себя ничего из-за меня. Мне не надо удовольствий, я ишу только покоя... Боже мой, ты ведь можешь делать все, что хочешь. Лишь бы ты был счастлив, и я буду довольна».

Осенние поездки, однако, только интермеццо в парижской жизни Гюго. У него постоянные приемы, и он всюду приглашен. В июне 1837 г. он присутствует в Версале на празднестве, устроенном королем Людовиком-Филиппом. Там он удостоился чести быть представленным герцогине Орлеанской. «Я рада вас видеть, господин Гюго, – сказала герцогиня. – Я часто говорила о вас с господином Гёте. Я читала все ваши книги, я знаю наизусть ваши стихи.» Гюго обворожен, почти влюблен. Он бывает в доме у герцога и ведет с герцогиней долгие беседы. Наконец и герцогиня посещает одно из его воскресений. Прием, конечно, торжественный. В сборе все друзья: Бальзак, Ламартин, Берлиоз, насмешливый Теофиль Готье, Альфред де Мюссе. Много случайных гостей, особенно молодых женщин. На одну из них герцогиня обратила особое внимание: «Кто эта девушка с волосами в духе Тициана?» – «Она испанка. Ее мать была вывезена Меримэ. Ее зовут Евгения де Монтихо.»

Если влюбленность в герцогиню была платонической, то другие увлечения Гюго причиняли Жюльетте немало огорчений. В 1845 году его застают у одной знатной дамы в самый неподходящий момент. Муж устраивает грандиозный скандал. Дама заключена в Сен-Лазарт, и только звание пэра Франции спасает самого Гюго от тюрьмы. Пострадавшая поклонница не хочет закончить свой роман позорной страницей. Выйдя из заключения, она сообщает все подробности Адели и Жюльетте, требует, умоляет. Гюго еще увлечен ею, и если бы

не категорическое требование выбора, поставленное Жюльеттой, связь, может быть, и продолжалась бы. Но любовь Жюльетты победила и на этот раз.

Начинаются годы политической деятельности Гюго и его изгнание. Жюльетта всюду с ним; она поддерживает его в тяжелые минуты (смерть дочери, политические неудачи). Она внушает ему веру в себя и в свое творчество. И даже вернувшись во Францию, Гюго уже не думает порвать с Жюльеттой.

11 мая 1883 года 80-летний больной поэт оплакивает свою престарелую подругу. «Ты умерла – мне уже незачем жить.» 22 мая умирает и он. Это был день св. Юлии – именины Жюльетты.

1. *Escholier, Raymond. Victor Hugo et les femmes.* – Paris: Flammarion, 1935.

ПОЭТ И АКТРИСА. ЛЮБОВЬ АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ*

Мрачен и горд был Альфред де Виньи в своем молчаливом одиночестве. Жизнь полностью разочаровала этого благородного представителя старинного и знатного французского рода. В новой Франции не было места аристократии – настоящей, многовековой. Годы революции и наполеоновской империи уничтожали в стране самое понятие истинного благородства. Реставрация возвратила дворянству его права, но знать сама потеряла чувство собственного достоинства; она смешивалась с презренным мещанством – о, как его ненавидел Альфред, – и аристократы должны были избирать себе какую-либо карьеру, чтобы обеспечить свое существование в этом чуждом, меркантильном, мещанском мире. Но что делать тем, кому противно приспособляться, аристократам духа, свободным поэтам? Виньи избрал военную карьеру, но и в армии благородство было заменено низким служебным долгом. Пробыв несколько лет в Пиренеях, проделав Испанскую войну, дослужившись до чина капитана, Виньи вышел в отставку и вернулся в Париж. Несколько лет тому назад он женился на молоденькой англичанке, мисс Лидии

* «Возрождение», том 9, № 3275, 22 мая 1934 г.

Альфред Виктор де Виньи (*Alfred Victor de Vigny*; 1797– 1863) – граф, французский поэт и писатель. Крупнейший представитель французского аристократического, консервативного романтизма. Он писал, что поэты – «величайшие и несчастнейшие люди. Они образуют почти непрерывную цепь славных изгнанников, смелых, преследуемых мыслителей, доведенных нищетой до сумасшествия»; «Имя поэта благословенно, его жизнь – проклята. То, что называют печатью избранности, составляет почти невозможность жить».

Бенбюри: она понравилась ему английской сдержанностью и корректностью. Только у англичан еще сохранилось понятие о корректности. Но брак оказался неудачным: Лидия была бездушная и поверхностная женщина. Внешняя светскость заменяла ей и поэзию, и любовь, и нежность. Вдобавок она всегда болела, и врачи открыли Альфреду, что у него никогда не будет наследника. С женой у него не было ничего общего. Он был с ней неизменно любезен и предупредителен, но свою жизнь устраивал отдельно. Замкнувшись в себе, он лелеял мечты о большой любви, освещенной возвышенным поэтическим пониманием мира и назначения человека. Но Виньи не роптал: он глубоко верил в Бога и знал, что его несчастья – знак predeterminedности. Не раз он, должно быть, применял к себе свои же стихи о Иисусе Навине:

Он шел вперед, задумчивый и бледнеющий,
Ибо уже был избранником Всемогущего.

Три года прошло с тех пор, что он выпустил свою книгу «Древних и новых поэм», выдвинувшую его в число первых поэтов Франции. Но слава его не очень волновала: наряду с ним ценили и писателей, угождавших толпе. Даже среди романтиков, к которым он примкнул, было много людей ничтожных. Хорошо еще, что Виктор Гюго, поэт эклектический и неравноценный, но очень талантливый, понимал романтизм как возрождение истинной поэзии, возвышенной и свободной от всяких уз. Но предисловие к «Кромвелю» не имело пока никаких решающих последствий. Рассчитывали на молодое поколение, но где она, эта молодежь?

В тот вечер, когда жизни Виньи суждено было принять новое направление¹, он как раз должен был встретиться с одним молодым поэтом. Его тоже звали Альфредом, а по фамилии де Мюссе. Говорили, что он очень талантлив. Но Виньи чувствовал против него глухое раздражение: настоящий поэт не должен опаздывать на свидание со своим братом. Стоило приходить в шумное многолюдное кафе – Виньи терпеть не мог эти демократические места, – чтобы сидеть одному, окруженному отвратительной безликой толпой. Вечер был явно неудачным. Мюссе так и не пришел. Зато за одним из столиков Виньи заметил маркиза Дави де ля Пайллетери, которого очень не любил, у этого мулата (его отец женился на какой-то экзотической красавице) совсем не было чувства собственного достоинства. Он и псевдоним взял себе мещанский: Александр Дюма. А его вульгарные произведения! А его шумевшие низкопробные романы с женщинами самых разных социальных положений! Только бы Дюма его не заметил.

Мулат и сейчас был с дамой – своей очередной любовницей, актрисой театра Сен-Мартэн Марией Дорваль. Виньи ее видел на сцене и должен был признать, что талант у нее большой: она, пожалуй, не уступала прославленной г-же Марс из Французской Комедии. Вдобавок, у нее была такая жизненная сила, что Виньи выходил из театра в восторге: вот где мог торжествовать романтизм. Но какой ужасный репертуар исполнялся в этом театре – водевили, дешевые сентиментальные трагедии. И ни для кого не было секретом, что муж Марии, известный театральный критик Мерль, подобрал ее на подмостках какого-то странствующего театрлика, и что поведение ее не отличалось строгостью. С Дюма она познакомилась на улице: она сама подошла к нему и разрешила поцеловать себя в знак восхищения его пьесами.

О чем они могут говорить, посматривая в его сторону? Конечно, Дюма встал и идет к нему. Теперь от него не отделаешься. Что? Г-жа Дорваль просит меня к своему столику? Да, конечно, я очень польщен (вежливость – прежде всего)...

Г-жа Дорваль оказалась совсем не вульгарной. Откуда у нее такое изящество, такие манеры... И какая красавица. Как презрительно сжат ее рот, как таинственно потуплены ее большие прекрасные глаза. Вернувшись домой, Виньи думал о ней, улавливал в ней нечто смутно-шекспировское. Через несколько дней он послал ей стихи. Надо бы написать, наконец, и давно задуманную драму «Жена маршала д'Анкр» Лучшей исполнительницы он ведь не найдет.

Прошло несколько месяцев, Альфред и Мария встретились случайно во Французской Комедии на премьере «Эрнани». Пьеса Гюго вызвала в публике восхищение и негодование. Романтизм давал первое сражение своим врагам и одерживал победу. И Виньи, и Дорваль были в восторге. Театр открывал романтикам свои двери. Альфред рассказал своей соседке о проекте драмы, просил ее исполнить главную роль. Мария пригласила его к себе поговорить, условиться. Виньи стал часто бывать у нее. Муж ее, веселый чудак, смотревший на все сквозь пальцы, решил, что Виньи – ее новый любовник. Поэтому они часто оставались вдвоем, читали стихи, говорили о театре. Виньи был поражен ее вкусом, ее знаниями. Он не думал о том, что Мария показывала себя перед ним иной, чем была в кругу своих обычных друзей, что посещения графа де Виньи, прославленного поэта, льстили ей, и что лицемерие было для нее простительно – лишь бы добиться роли в его драме. Впрочем, Виньи ей нравился: он был предупредителен, грустно-нежен. Она угадывала в нем нарастающую страсть. Она все же ошибалась: Виньи не только страстно желал ее, он полюбил ее глубоко и мучительной любовью, единственной за всю свою жизнь.

Она охотно уступала бы его просьбам, но он как раз и не просил ничего. Она недоумевала, негодовала. «Как ты думаешь, – спрашивала она Дюма, – способен ли граф де Виньи к естественной любви?» Дюма смеялся и целовал ее. Но Дюма уехал, Мерль отправился в Алжир, а Виньи приходил ежевечерне и говорил о стихах.

В жаркий июльский вечер 1830 года, когда в воздухе еще царило возбуждение недавней революцией, Мария сбросила светскую маску и резко насмешливо спросила Альфреда, скоро ли его родители придут просить ее руки. Альфред слишком любил ее, чтобы заметить в ее вопросе что-нибудь, кроме ее согласия. В спальне Мерля он впервые понял, что может дать любящему мужчине сладострастие: Лидия об этом не имела никакого представления.

Весть о романе Виньи и актрисы Дорваль разнеслась по всему Парижу. Но Альфреду до этого не было дела. Он был целиком поглощен своим счастьем, своей любовью, граничащей с мистическим экстазом. После каждого свидания его охватывало раскаяние, и часто в комнате Марии он начинал молиться. Над постелью его возлюбленной висело Распятие: в этом он видел и знак укора, и знак божественного происхождения любви. Он был уверен, что и Мария исполнена тех же чувств. Но Мария любила его проще, хотя со всей страстностью, ей присущей. Расставшись, они писали друг другу письма. Она его называла в них «моя доброта», он писал ей – «моя красота». Окончив письмо, он принимался за свою драму. Мария предвкушала свой успех.

Но судьба сулила иное. Вернулся Дюма, и Мария недолго могла выдержать верность Альфреду. Последний мучился ревностью, а Мария уже не скрывала своей истинной природы: одному Виньи она принадлежать не могла. Альфред затаил злобу. А тут дирекция Одеона предложила ему поставить его пьесу; заглавную роль должна была исполнять известная артистка Жорж. Виньи уступил. Когда Мария узнала об этом, ее возмущению не было предела: ведь без этой роли вся ее любовь была ни к чему. Странное сочетание искренней привязанности и карьеризма. Между ней и Альфредом сразу как бы разверзлась пропасть. Виньи мучился и раскаивался, но Мария стала к нему холодна, едва допускала его в свой дом. Вдобавок, Гюго предложил ей сыграть «Марион Делорм»². Не Виньи, так Гюго, – какое ей дело. Лишь бы достигнуть славы. Однако сыграла она эту роль плохо; пьеса в репертуаре не удержалась.

Марией овладело отчаяние. Она решила бросить парижскую сцену. Она уезжает в турне по провинции. Виньи она ничего не пишет, да и не очень-то помнит о нем. Поклонники у нее находятся всюду. Виньи мучается ее молчанием и сознанием собственной вины. Он старается загладить ее и способствует включению Марии в труп-

пу Французской Комедии. Дело сложное, на него уходят месяцы, но к возвращению Марии Виньи добивается своего. Однако вернуть счастливое время ему не удастся. Мария принимает его хлопоты как должное. В Париже она становится модной артисткой, о ней говорят в салонах, в кафе, на улицах; не до Альфреда. В доме ее стал бывать молодой поэт Фонтеней, ухаживавший за одной из ее дочерей. Но и к матери был он не вполне равнодушен, а Мария отвечала на всякий флирт. Старый завсегдатай Альфред был на заднем плане. Молчаливый, мрачный, еще более замкнутый, чем раньше, присутствовал он при том, как Фонтеней смешил дам своими шутками и остротами. Альфред по-прежнему любил Марию, но счастье было невозвратимо, и он находил горькое наслаждение в смирении и безнадежности.

На сцене Французской Комедии Марии было нелегко: классический репертуар не был ее стихией, и г-жа Марс затемняла ее, оставаясь признанной примадонной. Репутация Марии падала. Ей нужна была пьеса, написанная специально для нее. Альфреду представился случай исправить свою старую ошибку. Он давно работал над «Чаттертоном». Героиня этой драмы Китти Белл как нельзя лучше подходила для исполнения Марией. Но как добиться, чтобы ей поручили первую роль? Когда пьесу приняли, все ждали, что Китти будет воплощена г-жой Марс. Виньи категорически потребовал, чтобы эту роль дали Марии. Он выдержал даже разговор с королем Луи-Филиппом, покровительствовавшим г-же Марс, но позиций не сдал. Наконец, Мария выступила. 12 февраля 1835 года во Французской Комедии был двойной триумф автора и главной исполнительницы. Виньи одновременно создал шедевр и вознес свою возлюбленную на вершину славы.

Но Мария все больше отдалялась от него. Может быть, это влияние ее новой подруги, мужеподобной Жорж Занд? Или просто женское сердце неверно по своей природе? Как бы то ни было, Альфред стал для нее чужим человеком. Издали следит он за ее славой, потом – за ее падением. Через двенадцать лет после триумфа «Чаттертона» Виньи узнал, что прелестная Китти Белл была убита во время несчастного случая: опрокинулся ее экипаж.

«Бедные актрисы! – писал Альфред. – Их никогда нельзя достаточно избаловать, увенчать, приласкать, потому что их время – всего один день.»

1. *Praviel A. Le roman douloureux d'Alfred de Vigny.* – Paris: Editions de France, 1934.

2. «Марион Делорм» (*Marion de Lorme*) – романтическая трагедия в пяти действиях в стихах Виктора Гюго о куртизанке, известной своими близкими отношениями с наиболее влиятельными мужчинами Франции.

ПОТЕРЯННАЯ ЛЕНОРА.
ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ЭДГАРА ПО*

В 1825 году в классической гимназии в городе Ричмонде (столице штата Виржиния) учился странный мальчик. Он был приемным сыном всеми уважаемого мистера Аллена, состоятельного местного коммерсанта; настоящими же его родителями были безвестный актер Давид По и не более прославившаяся актриса Елизавета Арнольд, оба давно умершие.

У шестнадцатилетнего Эдгара Аллена По были все данные, чтобы вызвать к нему общую симпатию. Он был хорошим товарищем, правда, несколько высокомерным; отличным спортсменом, он с честью представлял свой класс на самых ответственных состязаниях; наконец, он превосходно учился и всегда шел первым. Но он был настолько неровен характером, вообще, до того неуютен, что, воздавая ему должное, соученики и даже учителя сторонились его.

Он как будто не замечал этого. Вообще, был, скорее, мрачен и замкнут. Байроническая поза ему нравилась; он сам писал стихи и, по словам учителя словесности, отличные. Странными были и его первые отроческие влюбленности. Больше года он явно вздыхал по тридцатилетней чахоточной матери своего школьного товарища Жанне Стенард. Когда она умерла, Эдди часто ходил по ночам на кладбище и там, преодолевая страх и непогоду, часами ожидал тень своей возлюбленной. Это было слишком необычно даже для байронического юноши. Близость смерти внушала ему тайное сладострастие. Начиналась ли у него душевная болезнь, как думает новейший библиограф Эдгара По, объясняющий всю его жизнь сложным психическим недугом?¹ Или особая чуткость ко всему недолговечному на этом свете заставляла его находить прелесть только в чертах, осененных дыханием смерти? Во всяком случае, как он сам признавался уже значительно позже: «Я мог любить только тогда, когда влияние смерти примешивалось к красоте».

В таком состоянии познакомился Эдди со своей сверстницей и соседкой Саррой Эльмирой Ройстер. Ее родители охотно позволяли Эльмире встречаться с блестящим наследником Алленов. Эдгар играл на флейте, Эльмира ему аккомпанировала на рояле. Вместе они

*«Возрождение», том 9, № 3254, 1 мая 1934 г.

«Ленора» – знаменитая баллада Готфрида Бюргера – стала образцом романтического стихотворного произведения. Имя «Ленора» стало нарицательным в романтизме. Его использовал и А. С. Пушкин. Баллада породила множество подражаний и переводов. Например, Василий Жуковский к сюжету стихотворения обращался трижды.

совершали долгие прогулки. Как бы то ни было, ночные посещения кладбища прекратились, и Эдгар воспылал к своей подруге пылкой и мучительной страстью. В поэме «Тамерлан», посвященной Эльмире, он писал: «Страстная любовь всегда божественна». Вместе с тем он сравнивал свое чувство с любовью ангела к небесному слиянию. Как совместить эти противоречивые признания? Биографы По склонны утверждать, что все его увлечения всегда оставались платоническими. Но платонизм странно сочетался у него с необузданным чувственным порывом. Эта смесь ангелических и страстных чувств и отразилась во всем его творчестве. Во всяком случае, все его женские образы им идеализированы и преобразены; Ленора, Морелла, Елена в его воображении несомненно отличались от своих оригиналов. Превращенная им в Ленору, Эльмира в жизни была куда менее предана «вечной любви», чем он думал. Да и ее родители, встревоженные слишком далеко зашедшими отношениями молодых людей, поспешили обручить Эльмиру с богатым и не очень молодым Александром Шельтоном. Эдгар пришел в неистовство от этих «козней» и от «измены» его Леноры. Родителям ее он устроил грандиозный скандал, а ее дядю даже ударил хлыстом, который бросил потом к ногам своей возлюбленной. Разрыв от такого его поведения мог только ускориться. Тогда-то он пишет «Потерянную Ленору», не думая, конечно, что определяет этой поэмой всю свою жизнь. В каком бы образе она ему ни являлась, он Ленору неизменно терял, и как будто даже выбирал предметом своей любви только тех женщин, которых вскоре мог утратить.

После разрыва с Эльмирой жизнь Эдгара скоро стала бурной и бедственной. Он поступил в Шарлоттенсвилльский университет на филологическое отделение. Но там он скоро отбился от рук: стал пьянствовать, пристрастился к наркотикам. Мечтой его было издать книгу стихов, но старик Аллен отказался дать ему на это деньги. Потом Эдгар был уличен в каких-то не совсем честных денежных комбинациях, бросил университет и записался в армию. Приемный отец поддерживал его, надеясь, что он поступит в военную академию. Но присылаемые ему деньги он пропивал, писал Алленам ругательные письма и довел дело до полного разрыва с ними. Из армии он тоже ушел; ему удалось каким-то чудом издать свою книгу, и для него начались долгие годы нищеты и сотрудничества в газетах и журналах – в Ричмонде, в Балтиморе, в Филадельфии. Несколько раз мог он упрочить свое положение как критик и даже как редактор, но неизменно скандалил, ссорился – и бедствовал. Стихи же его и рассказы публике не нравились: она не понимала и не любила его болезненной фантастики, его неясность и необычность.

В эти годы мытарств и лишений Эдгар нашел поддержку и пускай бедный, но все же семейный уют у своей тетки Марии Клемм, сестры его покойного отца. Эта добрая старушка жила в Балтиморе с больной дочерью – подростком Виргинией, и сама очень нуждалась. Но она искренно полюбила своего беспутного и гениального племянника, а Виргиния прониклась к нему экзальтированным обожанием. Во время его пребывания в Балтиморе они окружали Эдди всеми возможными заботами и утешениями. А еще незрелая прелесть молоденькой кухни внушала ему далеко не братскую привязанность. Тринадцатилетняя девочка все больше проникалась восхищением перед ним. Не это ли была долгожданная небесная любовь? Эдгар предложил г-же Клемм, что будет их поддерживать материально, и просил руки Виргинии. Любящая мать и тетка согласилась и добилась специального разрешения на ранний брак своей дочери. В сентябре 1835 года в Старой церкви в Балтиморе состоялся, втайне от родных и знакомых, брак поэта с возлюбленной, бывшей вдвое моложе его.

Этот совсем странный брак, по всей вероятности, оставался более или менее фиктивным. Помимо возраста молодой миссис По, об этом свидетельствует состояние ее здоровья, она к тому времени уже была больна чахоткой и к настоящей супружеской жизни, по видимому, была неспособна. Отсюда ее небесный взгляд, ее ангельская нежность и кротость. Дыхание смерти и дыхание красоты для Эдгара опять смешались. Да и как могло поправиться ее здоровье при той нищете и безвыходности, на которую она обрекла себя и мать, выйдя за бездомного поэта? Скорее удивительно, что в этих условиях она прожила еще целых десять лет. Эдгар снова погрузился в литературское существование, с его невзгодами, редкими и недолгими удачами и новыми падениями в бездну. В Филадельфии он снова издавал журнал, устраивал бесчисленные лекции и поэтические вечера; пробовал даже заниматься политикой – все неудачно. Тогда он перебрался в Нью-Йорк, но торговая столица Америки поэтам никогда не создавала славы. Впрочем, некоторую известность По получил и мог бы даже укрепить ее, если бы не подрывал свой авторитет непонятными выходками. Так, например, он ни с того ни с сего обвинил благороднейшего Лонгфелло в плагиате. К таким приемам ему прибегать не нужно было, особенно после появления его «Ворона». Говорили, что им заинтересовались во Франции; в далеком Петербурге его переводили па русский язык. Но По не мог удержать хоть сколько-нибудь устойчивое равновесие. На него находили полосы запоя, когда он месяцами не расставался с бутылками. Продолжалось и его пристрастие к опиуму. Наконец, периодами он впадал в какое-то эротическое

безумие, увлекался одновременно двумя-тремя женщинами. Только кроткая Виргиния могла прощать ему такую супружескую жизнь.

Успехом он пользовался огромным, так как в трезвом состоянии был безукоризненным джентльменом. 1844 год был для него годом светских успехов. В свете познакомился он с г-жой Франсис Осгуд, которую изобразил в образе «нежной благородной Фани». Начитанная, любящая поэзию, Франсис увлеклась «безумным Эдгаром». Но свою любовь она не доводила до измены супружеской верности и старалась держать поэта на расстоянии. Эдгар был глубоко уязвлен ее отказом: он не мог знать, что через шесть лет, умирая от чахотки (рок возлюбленных По!), она будет повторять его имя. Эдгар покинул Нью-Йорк и уединился в Ричмонде с умирающей женой и доброй «тетей Марией». Виргинию он продолжал уверять в вечной и нераздельной любви и, вероятно, полуискренне: когда она умерла, его скорбь была никак не притворной и не поддельной.

Он сам заболел: но уже во время болезни его «единая любовь» воплотилась в ухаживавшей за ним Марии-Луизе Шью. Впрочем, в этот период его увлечениям не было конца; только женщины отвлекали его от поэзии и от философского трактата о сотворении мира. Одно из его увлечений было настолько серьезным, что По собирался снова жениться. Предметом любви его была молодая вдова, поэтесса, мистически настроенная Сарра-Елена Уитман. Она воспылала любовью к автору «Ворона» еще заочно. Легко себе представить до какого экстатического состояния дошли оба влюбленных, уверовавших в свою предназначенность друг другу. По даже признал ошибкой свою любовь к Виргинии. «Елена всех моих мечтаний» затмила и Ленору, и Фанни. Елена же видела указание свыше во всем – в сходстве имен (ее девичья фамилия была Поэр), и в том, что они оба родились 19 января. По переходил от нервного возбуждения к полной апатии. Однажды он постучался в дверь к совсем незнакомому человеку, попросил бумаги и чернил и тут же написал стихи, после чего заснул, сидя за столом. Осенью 1848 года Эдгар и Елена обручились. Вечером того же дня в большом обществе, куда были приглашены они оба, произошла сцена, изумившая всех. По молча встал с места, вышел на середину комнаты и поманил к себе Елену. Когда последняя подошла к нему, он ее обнял и, в каком-то невыразимом экстазе, они забылись в поцелуе. Однако одновременно с этой любовью Эдгар настойчиво ухаживает за Анни Ричмонд, молодой женой богатого торговца лесом. И не только ухаживает, но даже ревнует. Своей верной наперснице, тете Марии, он жалуется в письме, что не может жить, пока на свете существует муж Анни. Но и это не все – в Балтиморе у него завязывается роман с женой адвоката Люиса, кото-

рую он зовет «дорогой Эстеллой». Наконец, он случайно встречается с первой своей любовью, утерянной Ленорой, теперь овдовевшей Эльмирой Шельтон. Среди всех этих треволнений он буквально теряет голову. Несмотря на клятвенное обещание, данное Елене Уитман, он снова начинает пить, злоупотреблять наркотиками, думает о самоубийстве. Елена не может выдержать этой невероятной путаницы и расторгает свою помолвку с Эдгаром, хотя на прощание он снова клянется ей в вечной любви.

Эдгар возвращается к «разбитому корыту», в ричмондский домик тети Марии. Он близок к помешательству. Больше полугода он живет приступами лихорадочной деятельности, сменяющимися периодами болезненной апатии. Бедная старушка в отчаянии пишет письма Анни Ричмонд, имя которой Эдгар повторяет в бреде. Он все-таки поправляется. Несколько триумфальных выступлений и любовь постаревшей Эльмиры, готовой выйти замуж за кумира ее молодости, снова побуждает его ехать за славой и деньгами.

В начале июля 1849 года Эдгар расстается с теткой Марией. 9 июля он пишет Анни: она давно не имеет от Эдгара никаких вестей. По в это время пьянствует в Филадельфии. Всюду, куда он ни едет, друзья и поклонники устраивают ему рекламу, но это неизменно портит дело. Новое возвращение в Ричмонд и новый отъезд. Настроение его отчаянное. Он мечется то в Филадельфию, то в Балтимор. 2-го октября его находят на улице в бессознательном состоянии – он принял слишком большое количество опиума. Его перевозят в госпиталь, где он и умирает ночью, так и не придя в сознание. Смерть открыла ему, наконец, тайну «потерянной Леноры».

Публикация – Е. Дубровина

1. *Louvrière Emile. L'étrange Vie et les étranges Amours d'Edgar Poe.* – Paris, 1934 (издательство неразборчиво).

К 100-ЛЕТИЮ С. С. МАКСИМОВА

Сергей Максимов

Рассказы 1950–60-х годов

«Новый журнал» продолжает публикацию рассказов известного писателя Русского Зарубежья Сергея Максимова (1916–1967) и предлагает вниманию читателей следующие рассказы: «Сын Тайги» (НРС, 15 сентября 1957), «Ленивый луг» (НРС, 10 апреля 1960), «Одиночество» (НРС, 8 января 1961).

В рассказе «Сын тайги» автор вспоминает случай, произошедший с ним в годы лагерной жизни в Севжелдорлаге, где он отбывал срок. Во время геологических экспедиций по поиску грунтовых пород Сергей Максимов нередко блуждал один по тайге и однажды ночью действительно встретился с юным охотником, ставшим героем его рассказа. В рассказе «Одиночестве» автор вновь вспоминает лагерные годы и встречу в тайге.

Действие в рассказе «Ленивый луг» происходит в родном селе писателя Чернопенье. Ленивый луг – это забытый ныне старый топоним, который упоминается С. Максимовым и в его романе «Денис Бушуев»: «Бушевала Волга, выбрасывая пышную пену на песчаные отмели. <...> ‘Товарищ’, вздрагивая, разбрасывая под бушпритом пену и брызги, шел в кромешной тьме к Лениволугскому перекату. Там, на этом перекате, еще днем теплоход ‘Кашгар’ посадил на косу пятисоттонную баржу». (Сергей Максимов. «Денис Бушуев». Роман. Том первый, 1949, с. 255.)

Андрей Любимов

СЫН ТАЙГИ

...До рассвета оставалось еще часов пять – ночь только началась. Яркая звездная россыпь, какая бывает только в августе или в январе, низко нависла над тайгой, еще больше сгущая черноту бархатной летней ночи. Из оврага тянуло пряной сыростью, смешанной с запахом дикой смородины и можжевельника. Я подкинул в потухающий костер сухого валежника. Светло вспыхнувшее пламя осветило красные стволы могучих сосен и курчавый ореховый кустарник; легкий треск горящих веток нарушил лесную тишину и спугнул ночную птичку: она беспокойно засвистела, перепорхнула с ветки на ветку и затихла.

Бросив на сухой мох зеленого елового лапника, я стал готовиться ко сну, но едва я только прилег на положенный поверх лапника бушлат, как где-то недалеко захрустели ветки под осторожными, но уверенными шагами. Я понял – шел человек.

Как ни странно, в тайге больше всего боятся встречи не с зверями, а с людьми. Я быстро вскочил, взял топор и спрятался за толстый ствол лиственницы. Каково же было мое удивление, когда из кустов орешника, освещенный пламенем костра, не торопясь вышел невысокий мальчик лет 13-14-ти. Из-под шапки-ушанки, низко натянутой на лоб, с курносого загорелого личика остро, по-таежному, смотрели чуть прищуренные темные глаза. На правом и левом боках его стеганой ватной телогрейки, туго перепоюсанной сырмятным зырянским ремнем, висели, тащась по земле, два огромных глухаря. За спиной его был виден черный ствол берданки.

– Кто тут? – негромко спросил он звонким мальчишеским голосом. – Зачем спрятался?

Я рассмеялся, вышел к костру и, бросив на землю топор, спросил:

– Откуда ты, паренек?

– Из Вогвоздина.*

– Из Вогвоздина? – удивился я. – Ведь это же километров тридцать отсюда!

– Ну и что ж... – спокойно ответил мальчик, – я и за сто верст ухожу в тайгу, когда петли на зайцев ставлю... А то – тридцать!

– Как тебя звать? – поинтересовался я.

– Игнат... А что, дяденька, вода тут далеко?

– Рядом. Спустись в овраг... Там ручей есть.

– Найду.

Захватив маленький котелок, он быстро сбежал к ручью, принес воды и, поставив котелок с водой на костер, принялся снимать старые берестяные лапти.

Я с интересом наблюдал за ним. Очевидно этот мальчик много видел в своей небольшой жизни и раньше времени стал взрослым. Все, что он делал, выходило у него привычно и ловко; говорил не торопясь и искоса, наблюдательно, поглядывал на меня.

Сняв лапти, он повесил портянки над костром, достал из мешка буханку черствого хлеба, отрезал ломоть, круто посолил его и вдруг, в упор глядя на меня, коротко спросил:

– Ты – беглец? Из лагеря убежал?

– Нет.

– Я думал – беглец... похож ты на беглеца. Тут их в тайге много ходит. Известно – в неволе кому жить хочется; птица и та не любит

* Правильно «Вогваздино» – деревня в Усть-Вымском районе Республики Коми, входит в сельское поселение Студенец. Расположена при впадении реки Выми в Вычегду. Рядом – ж/д станция Усть-Вымь.

клетки, а тут – люди томятся за проволокой... Ты все же заключенный?

– Заключенный.

– А без конвоя ходишь?

– Пропуск имею, потому и без конвоя.

Мальчик задумчиво посмотрел на огонь темными, умными глазами.

– Поздно нынче черника появилась, зима лютая будет, – неожиданно сказал он и добавил: – Я беглецов люблю, отчаянный народ... А и взаправду – чего за проволокой сидеть?.. Эх! Тайга прокормит. Ты чего не убежишь?

– Пробовал, Игнат, да не удалось – поймали меня...

Он усмехнулся, сверкнув мелкими чистыми зубами.

– А ты бы ловчее бегал. Бегать с умом надо. Я часто беглецам помогаю... Жаль мне людей. Ни за что их в тайгу завели.

– Чем же ты помогаешь беглецам?

– А всем... тропинки показываю, хлеб, если есть, даю, подметки велью керосином смазывать, чтоб овчарки по следу не шли... Но много их все же погибает.

Отсветы красноватого пламени весело играли на загорелом лице мальчика. В каждом движении чувствовалась сила и уверенность – я залюбовался им.

– Я, вот, наткнулся недавно на мертвого человека, – продолжал он, – на Ухте дело было... У горы Герд-Иоль... Беглец, наверно... Шел, шел тайгой, голодный, и забрел в болото, а путей не знает. Прилег он, наверно, отдохнуть, а слабость его и взяла – встать не мог. Тут его комары начисто и заели. Ух как зае-е-ели! Всю-то кровушку выпили – белый лежит, как снег белый, и руку подвернул за спину... Постоял, постоял я, хотел его закопать, да нечем яму было вырыть, забросал его хворостом да и ушел... Царство ему небесное!

– А ты в Бога веруешь? – спросил я.

– Верую... Это меня бабка да отец научили... Мамку-то я не помню, рано она померла. А отец помер только в прошлом году.

– С кем же ты живешь?

– Ух, ежели тебе все по порядку рассказать, так и ночи не хватит... Хлебца хошь?

– Спасибо, я уже закусил.

– Не хочешь – как хочешь, а то закуси, у меня хлеб-от есть, третьего дня у зырян глухаря на хлеб променял. Я со своей охотой не пропаду... С отцом ходил, теперь один хожу.

– Так ты хотел все по порядку рассказать, – напомнил я.

– По порядку? – переспросил мальчик, аппетитно жуя хлеб, –

могу и по порядку... Вот. Жили мы в селе Спасском под городом Самарой*. Хлеб у нас – уймища, край золотой; так и отец говорил: «Золотой у нас, ребята, край». Семья была большая: я, отец, бабка с дедом, сестренка моя Катька, потом старшая сестра – Наталья. Ну, конечно, сначала и мамка была, умерла постепенно. Жили мы – ничего, хоть за хозяйку и Наталья была, но – справлялась, она ловкая. Только враз посыпались несчастья. Сам знаешь, придет беда – отворяй ворота... Нет ли у тебя проволоочки? – вдруг спросил он.

– Нет, Игнаша. Может, тебе веревочку дать? Веревочка есть.

– Да веревочка-то и у меня есть, а мне проволоку надо. Видишь – котелок без ручки. Я все собираюсь ручку к нему приделать... Да. Вот и пошла беда за бедой. Первый за мамкой помер дед. Ну, тот, положим, старый был, он все же много пожил. Потом – новое несчастье. Стали колхозы собирать, стали, понимаешь ли, мужиков раскулачивать**. Вот стали раскулачивать и моего батьку. Поотнимали у нас все: и двор, и лошадь, и коровы две, и овец всех начисто позабрали, а потом всю семью посадили в вагон и повезли по железной дороге. Повезли нас по железной дороге и привезли нас сюда, в тайгу. Да не одних нас, видимо-невидимо – тыщи людей привезли... Ага, закипел!

За оврагом печально ухнул филин. Игнат кривым сучком выволок из костра котелок и налил в пустую консервную баночку кипятку...

– Хочешь? – предложил он.

– Ну, налей немножко.

Я протянул ему свою жестяную кружку. У меня в кармане было два кусочка сахара. Я дал их Игнату.

– О-о! Вот это хорошо! – обрадовался мальчик. – С сахаром я давно не пивал чаю.

Он звонко откусил сахар мелкими, крепкими зубами и отхлебнул кипятку.

– Привезли нас, значит, сюда, завели в лес и приказали: «Рубите, говорят, лес. Стройте дома и живите себе тут да северный край, говорят, осваивайте по-культурному!» А чего его, эдакой худосочный край, осваивать? Земли почти что нет, лето короткое. Комары да звери, да заключенные. «Ладно, – говорит отец, – будем осваивать, шут с ними!» Выкопали мы землянку и поселились в ней всей семьей, и другие крестьяне, понятно, нор тоже понакопали. Днем мужики

* Спасское – село в Приволжском районе Самарской области.

** В селе Спасское, откуда родом Игнат, действительно прокатилась волна раскулачивания. Члены раскулаченных семей ссылались. В декабре 1929 г. в с. Спасском был создан колхоз «Смерть капиталу», на основе которого в 1934 г. было основано уже четыре колхоза. (С. М.)

на лесозаготовках работают, а вечером себе хаты строят. А бабы стали огороды копать. Тяжело было. Главное – жрать нечего было. Ладно. Построили и мы хату. Да какая из сырого леса хата, так, лачуга какая-то... Стал меня отец к охоте приучать. Только опять же несчастье случилось: задавило отца-то деревом на лесозаготовках. Похоронили мы его, еще тяжелей стало. Работящих двое осталось: я да сестра Наталья. Она лес пилит, а я с отцовской берданкой охотой занялся. Не с этой берданкой, которая вот чичас у меня, эта – новая, в прошлом году купленная, а со старой, отцовской еще. Ее у меня беглецы однажды отняли... тоже ведь люди разные. Бабка совсем старая и слепая сделалась, а Катька малая и к работе еще не способная. Так вот с тех пор я и хожу день и ночь по тайге да охотой и промышляю. Все-таки поддержка семье...

– А что ж ты, Игнаша, не боишься один ночью по тайге ходить?

– А чего ж бояться-то? Сначала, верно, страшно было, а теперь привык, хоть бы что! Собаку бы вот завести... Обещали щенка мне в одном доме.

Окончив «чаепитие», он постлал на землю елового лапника, подбросил в костер сухих и сырых веток и клубочком свернулся на лапнике.

– Зачем же ты сырых-то положил? – осведомился я.

– На ночь одних сухих класть нельзя, – ответил он, укрываясь телогрейкой, – скоро прогорят. А с сырыми – огонь долгий будет...

Через две минуты он уже спал, тихонько посапывая носом.

На рассвете мы расстались. Крепко потрянув мою руку, он привычно вскинул на плечо ружье и, громко распевая, стал спускаться к оврагу по узенькой охотничьей тропинке.

Я долго смотрел ему вслед и думал о той огромной силе, которая еще таится в моем народе, несмотря ни на какие житейские бури.

ЛЕНИВЫЙ ЛУГ

...Конец июля. Вечер. Солнце только что село, над дымчато-сизой полоской леса еще польхал багрянец заката. Он еще не успел потухнуть, а над Заволжьем уже взошла луна – огромная, сургучно-красная. Однако багрянец заката быстро потух, сумерки сгустились и небо стало глубоким, иссиня-черным. Вызвездило. Луна уже теперь блестящим стальным диском высоко поднялась к крупным, ярким звездам и зеленоватым тихим светом залила все вокруг: и Волгу, и прибрежные заливные луга.

Над рекой поднимался туман. Легкие волны набегали на пологий песчаный берег и – снова скатывались назад, будто река тихо, ровно

и сонно вздыхала. Печально свистели на отмелях кулички, а в мокрой куге и в осоке гомонили лягушки. Пахло речной свежестью, цветами и вечерней прохладой. С Ленивого луга, что сразу раскинулся за прибрежными тальниками, тянуло запахом сена.

Было так тихо, что отчетливо доносилась грустная песня с того берега. Доносилась и мелодия, каждое слово песни.

Я измены не прощаю.
Милый! Смерть – в моей руке,

– рыдал по-над водой одинокий, звонкий девичий голос.

Я найду себе другова-а:
Буйный стрежень на реке...

Молодой косарь Егор Булатов, высокий, веснушчатый и сутулый парень в стоптанных лыковых бахилках на босу ногу и в синей рубашке, еще не просохшей от пота, с солдатским котелком в руке, неторопливо спустился на берег и стал, и застыл возле тальников, прислушиваясь к песне, что летела из-за реки. За его спиной, на небольшом сухом холмике под одинокой чахлой березкой взметнулись красноватые языки пламени – это другой косарь, старик Фомич, напарник Егора, разводил костер.

– Эй! Егор! Скоро ты там? – послышался хрипловатый голос старика. – Неси воду!

Егор вспомнил, что пошел за водой, чтобы сварить кашу на ужин. Вспомнил – и подошел к самому берегу.

...Она лежала на приплеске. Один бок ее был в воде, другой – на берегу. Лежала как-то удивительно свободно, словно отдыхала. Левая рука ее была откинута и до самого предплечья лежала под водой. Правая же лежала на песке. Короткое цветистое платье, насквозь мокрое, прилипло к телу девушки, контуры которого отчетливо проступали под платьем. Обнаженные ноги ее, обутые в простенькие черные тапочки и белые носочки, вытянуты и чуть раскинуты. Голова слегка отвернута к берегу, густые темные волосы частью лежали на приплеске, мокрые и спутанные, сильно замытые песком, частью плавали, колыхаясь вокруг лица и висков. Песком замыты были и мертвые губы, и тонкая шея, и белая хрупкая грудь в широком разрезе открытого летнего платья. И песок этот, с голубоватыми искорками кварца, поблескивал под лунным светом.

Но почему-то волны не тронули ее глаз и не замыли их песком. Большие и странно-светлые, они были открыты, и немигающим,

стеклянно-спокойным взглядом смотрели в звездное небо. Смотрели – и как бы безмолвно говорили: «Оставьте меня, не трогайте... Я теперь совершенно спокойна...»

Оторопевший Егор секунду-две молча смотрел на мертвую и, обернувшись к берегу, громко крикнул:

– «Гостья»!..

– Чего? – недовольно откликнулся старик Фомич, не расслышав.

– «Гостью» принесло! – еще громче повторил Егор.

Он стоял над трупом и, прислушиваясь к стуку своего сердца, охваченный страхом, думал: «Кто она? Откуда? И почему, когда и как укрыли ее навек беспокойные воды Волги: по умыслу или нечаянно?»

И снова до него донеслись грустные слова девичьей песни с того берега:

Я найду себе друга:

Дно песчаное реки...

С пригорка спустился Фомич, худенький востроносый старикашка, с жиденькой, как у монгола, бородкой.

Увидев утопленницу, он поспешно сдернул с головы помятый картуз и мелко наспех перекрестился.

– Господи Иисусе!

Долго стояли молча; Фомич, закинув руку через плечо, задумчиво почесывал спину.

– Н-нда... история... – пробормотал он. – Ты, Егор, хоть бы лоб перекрестил.

– А чего я буду лоб крестить? – угрюмо ответил парень. – Я неверующий.

– Ну, все ж таки... На всякий случай.

Егор неуклюже и неумело перекрестился. Фомич опять почесал спину и, кося белесым глазом, сказал шепелявым ртом:

– Бесовское это место, Егорушка, Ленивый луг-то... Тут всегда утопленников прибывает. За семьдесят лет жизни я, брат, десятое тело здесь вижу. И все, брат, вот тут, на этом самом приплеске.

Помолчав, негромко добавил:

– А может, течение здесь такое... Волга заворот крутой делает... И перекаат мелкий.

– В сельсовет бы сходить. Известить председателя... – сказал Егор.

Старик мельком взглянул на Егора и с оттенком недоумения и легкой насмешки над молодостью и неопытностью парня равнодушно зевнул:

– А зачем – в сельсовет? Давай – по старинке: закопаем ее поти-

хонечку в тальниках, и дело с концом. Заступ есть. Землица рыхлая, мягкая. А не закопаем – беды накликаем... Вот увидишь! Ей-бо накликаем беду!.. Либо пожар будет, либо повальная болезнь, либо еще что похуже. Даже война случиться может.

Егор вспомнил рассказы односельчан о том, что в Поволжских лесах Верховья утопленников не любят и страсть как боятся – из суеверия. Есть истари поверье, что «гости» приносят беду. Поэтому утопленников, прибитых волнами к берегу, сейчас же баграми и шестами отталкивают подальше в Волгу, а то и просто отвозят в лодке на стрежень реки и выбрасывают там в воду – пльви, мол, мил друг, дальше... Или же – скорехонько хоронят. Хоронят без могилы и креста возле того места, где найдут «гостя». А похоронив, сравнивают с землей то место, где он зырыт, так что и следов не остается.

– Ну, так – закопаем? – повторил старик. – Давай? А?

– Нет! – решительно сказал Егор и потрянул лохматой головой. – Надо в сельсовет заявить... Может, родные есть у девки-то. Может, паренек какой... Давай подтащим ее на берег... Тяни! – приказал он. – А то ненароком опять ее в воду унесет..

Старик сокрушенно покачал головой и усмехнулся. Косари вытащили утопленницу на берег, на сухое место. Егор сходил на пригорок за рогожей и накрыл ею тело девушки.

Луна подымалась все выше и выше, и все ярче становился ее призрачный, зеленовато-лимонный свет. До кустов тальника и бузины легли черные, как деготь, тени. Прикрытое рогожей, неподвижное тело утопленницы напоминало бесформенный бурый холмик, и от него тоже легла на песок короткая черная тень.

Зачерпнув котелком воды из Волги, косари пошли было в гору, к костру, как вдруг Егор остановился.

– Глаза бы ей закрыть... – предложил он.

– Поздно... Закоченела уж... – махнул рукой старик, не останавливаясь и не оборачиваясь, скользя лыковыми бахилками по глиняной тропинке. – Идем-ка лучше кашу варить... Небось, костер давно уж потух – опять разжигать надо. Идем! Бог с ней, с утопшей!.. Царствие ей небесное!

Егор все-таки хотел вернуться и закрыть утопленнице глаза, но ему страшно было идти одному, и он лениво и устало поплелся за стариком. Походя сорвал стебелек тимopheевки и стал нервно покусывать его крепкими, белыми зубами. Тропинка была узкая, заросшая по обочинам травой, крупно усыпанной крупными, холодными бусинками росы. И эта трава била кощов по ногам и мешала идти.

– Не иначе как сама себя жизни решила... девка-то... – вдруг сказал Егор, рассеянно смотря себе под ноги.

– Оно – возможно, – согласился старик. – Это бывает. Любовь... А роса, брат, выпала богатая – косить легче будет.

Сварили пшеничную кашу, повечеряли, вытерли росистой травой косы и легли спать под березу возле костра на ватные бушлаты. Старик мгновенно уснул. Егор же никак не мог уснуть. То он видел легкие волны, прозрачные под лунным светом, чуть плещущиеся у тела утопленницы, то тихо плавающие волосы возле головы и белого, как новина, лица, то голые стройные ноги, обутые в тапочки и короткие носочки, то светлые, открытые глаза, безучастно и спокойно глядящие на звездное небо. Видел и черные тени от кустов и призрачный лунный свет. Иногда же вдруг ярко вспоминал песню – каждый звук ее, каждое слово.

Он впервые в жизни видел утопленницу, и это его волновало, страшило, мешало спать. Ворочаясь с боку на бок, он наконец не выдержал, встал и, ни слова не говоря безмятежно храпевшему старику, пошел в сельсовет. До деревни было не больше километра, а до города – три. Из сельсовета позвонили в город и сообщили милиции об утопленнице. Слегка успокоившийся Егор вернулся назад к костру. Старик по-прежнему храпел. И глядя на него, Егор с горечью, отчасти со злобой, подумал: «Черствый ты, Фомич, как годовалый сухарь...»

...К рассвету приехали на расхлябанном маленьком фордике невысокий щупленький врач в добротных кожаных сапогах, в пенсне и с бородкой клинышком, молодой следователь и тучный, высокий, седой человек в белом воротничке и в галстуке. И Егор сразу догадался, что этот третий – седой человек – отец утопленницы. В плаще нараспашку, седой человек, размашисто и крупно шагая, молча пошел прямо на берег. Доктор же и следователь подошли к костру и протянули к огню озябшие руки.

Проснулся Фомич, протер глаза и с удивлением взглянул на нежданно-негаданно появившихся людей. К этому времени луна скрылась, небо заволокло тучами и пошел мелкий, частый дождь. И Ленивый луг, несмотря на предрассветные сумерки, пропал за его тонкой, мутной сеткой. Доктор зябко кутался в кожанку и глухо покашливал.

– Черт знает что! – раздражено ворчал он. – Гоняют тут по ночам в дождь, в слякоть... Я не Пирогов, чтобы в непогодь ездить за тридевять земель к ребенку с коклюшем...

– Тут не коклюш... – угрюмо и тоже с некоторым раздражением заметил следователь. – Здесь – смерть...

– Тем более! – резко сказал доктор. – Мертвым врачи не нужны. Здесь только формальность, простая констатация смерти... И больше ничего... А милиционера они, растяпы, теперь не скоро найдут...

И он опять начал отрывисто и глухо покашливать. Фомич скучно посмотрел на серое, без просветов, небо и, почесываясь, недовольно сказал:

– А ведь косить сегодня, Егорушка, нельзя будет. И сено, пожалуй, погниет. Ах, ты, пропасть какая...

Из разговора доктора со следователем Егор понял, что он не ошибся и что утопленница – дочь седого человека, единственная дочь его, что он – преподаватель Педагогического института и что фамилия его Бухтеев. И еще понял Егор, что утонула девушка два дня назад, в сильную бурю, переезжая Волгу в углой лодчонке. Лодчонку перевернуло на шипучих гребнях волн.

К всеобщему удивлению, Бухтеев очень быстро вернулся с берега и молча сел на кряж возле костра. Тогда, не торопясь, пошли к утопленнице доктор и следователь. Через полчаса вернулись и они, закончив освидетельствование трупа и наспех составив акт.

– Подпишите, пожалуйста... – небрежно сказал следователь Бухтееву, протягивая ему самопишущую ручку и акт освидетельствования.

Бухтеев вяло махнул рукой и отвернулся.

– Ну, завтра подпишете... – охотно согласился следователь. – Вам сейчас не до этого. Я понимаю. Я через час пришлю за Вашей дочерью моторную лодку... Вы с нами поедете или будете дожидаться моторки?.. Сейчас, наверно, милиционер из деревни придет... Он посидит... там, на берегу-то.

Бухтеев ничего не ответил. Следователь пожал плечами, и они с доктором быстро пошли к машине. Затарахтел мотор, и маленькая, расхлябанная машина заковыляла по ухабистой гужевой дороге.

Светало. Поднялся легкий ветерок, и зашелестели мокрыми листьями березки. Над Ленивым лугом пролетела на дневку стая диких уток. А мелкий дождь, как из сита, все шел, и чуть косые полосы его падали на непокрытую седую голову учителя.

Он сидел на гнилом березовом кряже, тучный и неподвижный, уронив голову на вытянутые руки. Руки же его, как бы увядшие, бесильно лежали на согнутых высоких коленях. Лица его не было видно. И вся его согбенная, неподвижная фигура выражала такую тяжкую скорбь и такое беспредельное горе, что сердце Егора дрогнуло...

– Вы... того... не больно шибко убивайтесь... – промямлил он, с трудом подбирая слова и чувствуя, как пересыхает горло. – Что поделаешь, дорогой товарищ! Судьба!..

Бухтеев не шелохнулся, и Егор умолк.

Фомич, тихо шелкая по земле тальниковым прутиком и кося глазом, спокойно добавил:

– Промежду прочим, уважаемый гражданин из города, Ленивый луг славится у нас утопленниками... Их тут всегда отчего-то Волга выносит и к песку прибывает. Течение, должно, такое, что ли...

Бухтеев рывком поднял голову и в упор посмотрел на Фомича. И в усталых глазах его, с опухшими красными веками – то ли от слез, то ли от бессонных ночей, – мелькнуло что-то странное.

– Часто, говоришь? – хрипло переспросил он.

– Что – часто? – будто бы не понял Фомич.

– Часто, говорю, утопленников-то прибывает к Ленивому лугу?

– Очень часто... Почитай что каждый год... – преувеличил Фомич, по-прежнему невозмутимо шелкая прутиком по земле. Казалось, что он был отчасти даже горд тем, что знает нечто, чего не знает ученый человек из города.

За Волгой чуть заалел горизонт. Рассвет становился все заметнее и заметнее. По ту сторону Ленивого луга стал смутно вырисовываться низкорослый лес, а справа, за четкими уже контурами кустов бузины, тальников и чахлой ольхи, что росли на спуске к приплеску, порозовела свинцовая туманная гладь реки. Курлыкала одинокая чайка.

Егор снова взглянул на Бухтеева. Лицо учителя было серое, блеклое, в глубоких морщинах. И только глаза его, пристально глядевшие на старика Фомича, как будто бы слегка оживились. Но оживились чем-то нелепо-жалким. Где-то далеко-далеко послышался шум моторной лодки: глухо и неясно стучал мотор.

– Ну вот, и за вашей дочуркой едут... Слава Богу! – сказал старик, отбросив прутик, неторопливо встал.

– Это... это не моя дочь... – тихо сказал Бухтеев.

– Как – не твоя? – с простодушным удивлением осведомился Фомич.

– Так... не моя. Это кто-то другая... А мою...

Учитель опять низко склонил голову и пухлой ладонью прикрыл глаза. И еще тише добавил:

– Мою еще искать надо.

Егор весь как-то сжался, подобрал голову в плечи и почувствовал, как сердце его, словно клещами, сжало что-то невыносимо больное. Фомич сдвинул на лоб, до самых глаз, старенький картуз, широко со свистом зевнул и сказал так обыкновенно и буднично, словно говорил о верном улове рыбы:

– Ничего, папаша, найдешь!.. Все одно – прибьет к Ленивому лугу.

– Прибьет? – как эхо повторил учитель.

– Прибьет... Уж это – обязательно прибьет.

Дождь пошел сильнее, из мелкого и частого превратился в круп-

ный и хлесткий. Серое небо как-то сразу густо потемнело. Заалевшая было полоска зари над горизонтом исчезла в сплошной пелене чернотных туч.

Старик подошел к березе, лениво прислонился к ее стволу и с головой накрылся куском дырявого брезента. Потом долго смотрел сквозь редкую листву березы на скучное, темное, почти осеннее небо. И, повернувшись к Егору, опять с досадой сказал о том, что все больше и больше беспокоило его:

– А, знаешь, Егор, косить-то нам нынче уж наверняка не придется... Совсем, брат, распогодилось!.. Эх-ма!.. Идем-ка домой!

Бухтеев же не слышал ни слов старика, ни шума дождя, не чувствовал и того, как холодные капли воды стекают ему за воротник, бегут по щекам, падают на руки... Он думал о том, что хорошо бы поселиться где-нибудь поблизости от Ленивого луга – или прямо на берегу его, в шалаше...

И – ждать, ждать...

ОДИНОЧЕСТВО

Темная январская ночь. По тайге буйно гуляет ветер, шумно раскачивает верхушки могучих елей и лиственниц, сыплет сухим, колючим снегом. Обожженный морозным ветром, тонкий багровый месяц, словно кривым кинжалом, бесшумно и быстро, в клочья режет тяжелые пласты черных туч.

В сторожке сумрачно и холодно. На старом березовом кряже горит оплывшая свеча. Желтое пламя мечется из стороны в сторону, и, словно бесенята, мечутся по сосновому накатнику потолка беспокойные тени. Пахнет оттаявшей землей и сырým еловым лапником.

Я лежу на охапке темно-зеленого лапника – мягкого и пружинистого, кутаюсь в старенький полушубок и прислушиваюсь к унылой и монотонной песне метели. Напротив меня, прямо на земляном полу, сидит маленький шустрый мужичонка – Увар. Он сидит, обняв острые худые колени, и, тихо покачиваясь, о чем-то напряженно и сосредоточенно думает. Увару, если ему верить, – тридцать пять лет. Однако борода его совсем седая, он лыс, маленькое лицо – сплошь в мелких морщинах и напоминает печеное яблоко. В тусклых светлых глазах его – тоска и что-то еще – странное, неуловимое, чего я никак не могу разгадать.

– Так как же ты убил ее? – лениво спрашиваю я.

– Да так – взял и убил... – тихо и просто отвечает он и еще больше сутулится.

– Топором?

– Топором.

– Жалеешь?

– Что? – не понимает он.

– А что убил-то.

Он молчит, не отвечает, и в его глазах еще сильнее разгорается то странное, неуловимое, смысл которого я никак не могу разгадать.

Увар – беглец. Я – заключенный. Встретились мы с ним в зырянской охотничьей сторожке случайно. Первым зашел в сторожку Увар. За ним – я. Сгоряча Увар чуть было не заколол меня самодельной пикой, но узнав, что я заключенный и, следовательно, не выдам его, – смилостивился и оставил меня в живых. Увар шел на юг. Я – на север. Я нес образцы грунтовых пород из геологической изыскательной партии в лабораторию. Увар нес за спиной мешочек, в котором были: молоток, соль, буханка хлеба да килограмма два перловой крупы. Нес он еще с собой самодельную пику да призрачную надежду на свободу...

– Увар, тебя поймают... – говорю я.

– Наверно поймают, – охотно и тихо соглашается он.

– Зачем же бежал?

– Надо.

– Почему – надо?

Он молчит и не отвечает.

– По детям соскучился, что ль? Или, может, лагерная жизнь стала невозможна? – все так же лениво, от нечего делать, пристаю я.

– Нет, не то... Детей у меня нет. А к заключению – привык уж... Нет, не то. – И опять замолкает.

Я ловлю себя на том, что я так же, как и Увар, смотрю на огонь, на свечу. И вдруг отчетливо, ясно вижу перед собой картину Крамского «Христос в пустыне». Христос сидит на камне, скрестив на коленях руки, и по всему видно, что сидит он уже давно, быть может очень давно. Я об этом догадываюсь вот почему. Есть закон: человек никогда не садится спиной к свету, всегда – лицом. Христос же сидит спиной к занимающейся утренней заре. Значит, он пришел еще с вечера, сел на камень лицом к закату, и так, не двигаясь, в глубокой задумчивости просидел всю ночь.

Отчего, однако, мне вспомнилась эта картина и одинокая, сгорбленная фигура Христа на камне? Быть может потому, что и я, и Увар – оба мы смотрим на огонь? Быть может.

...Поет свою неугомонную, печальную песню вьюга. Шуршит за сторожкой снежная крупа, хлещет в бревна сруба, и все шумят, все стонут деревья. Увар молчит. Теперь я смотрю на него, пытаюсь заглянуть в его немигающие, тусклые глаза и хотя бы отчасти понять – что в его душе происходит. Но глаза его хоть и открыты, но в то же

время они словно подернуты какой-то невидимой, непроницаемой пеленой.

– Ты бы поспал малость, Увар, – советую я.

– Не хочу.

В углу стоят наши мокрые лыжи. Возле них – пика Увара. Это длинная палка, в конец которой вбит стальной трехгранный напильник. И все кругом – и эта пика, и сторожка, и Увар, да и я сам – все, все кажется мне чем-то призрачным, нереальным, неведомым, будто я попал в какой-то другой мир.

– Ты когда убежал, Увар?

– Вчера.

– Значит, на все заставы уже сообщили о твоём побеге.

– Пускай... – как-то безынтересно и равнодушно говорит он, будто разговор идет не о нём, а о каком-то другом беглеце. – Пускай... Лыжницу мою все одно снегом замело. – И, чуть приметно улынувшись и качнув лысой головой, сообщает – так же равнодушно и безынтересно:

– Я в третий раз бегу.

– И все ловят?

– Ловят.

Я смотрю на него и думаю: что толкает этого несчастного на такой безрассудный, рискованный поступок, как новый побег из лагеря, – побег без всякой надежды на успех? Какая непреодолимая сила толкает его? Ведь у него никого, решительно никого нет на воле. Ни одной родной души нет у него на всем свете.

– Ты в Бога веруешь, Увар?

– А как же? Конечно – верую.

– А убил? Убил жену-то?

– Убил.

Он протягивает темную, корявую руку к огарку и долго, сосредоточенно щиплет оплывший стеарин. И мне кажется, что в седой бороде его прячется усмешка.

– Сейчас потухнет... – сообщает он. – Другого огарка у тебя нет?

– Нет.

Он подкладывает кусочки стеарина под горящий фитиль и не то мне, не то сам себе говорит:

– Вера – не помеха, чтоб убить... И солдаты, которые в Бога верят, убивают. А генералы им приказывают убивать.

И вдруг тихо, еле слышно, каким-то удивительно мягким и приятным голосом Увар начинает подпевать вьюге:

Как на поле да на бранно-о-м,
Хочешь – верь мне, хошь – не верь:

Молодой лежит солдати-ик
И-ех в некошеной траве...

Песня мне незнакомая, и я с любопытством прислушиваюсь к ней.

Черный ворон-кровопийца-а
Поклевал ему глаза.
Ты суженого вовеки
Не дождешься никогда-а...

Поет, словно гладью вышивает, Увар.

Не погладишь ты, девица-а
Его шелковых кудрей.
Не заглянешь ему в очи...

Увар обрывает песню и задумывается. И мне опять кажется, что он усмехается. Усмехается нехорошо, странно.

– «Не погладишь ты, девица, его шелковых кудрей...», – тихо повторяет он слова песни.

– Ну, что же ты? Пой дальше! – прошу я. Песня мне нравится.

– Не хочу.

Откуда-то издалека, сквозь шум метели, доносится протяжный, тоскливый вой. Увар приподнимает голову, широко открывает глаза и настороженно спрашивает:

– Собака?

– Нет, – отвечаю я. – Это волк. Наверно, от стаи отбился.

– А я думал – собака. Страсть как я не люблю этих овчарок. Догоняют беглеца и – рвут на куски, подлые. Известно – выучены. Их еще щенками к человеческой крови приучают... Волк – это ничего. С волком в тайге всегда поладить можно. А еще хуже, я думаю, – человек... – вздохнув, заключает Увар.

С тихим треском тухнет огарок свечи, и нас мгновенно окутывает густой, липкий мрак. Вьюга стихает, за мутным оконцем теперь хорошо виден кривой кинжалик месяца. Он по-прежнему бесшумно и безучастно режет черные, мохнатые тучи.

– Увар!

– Что?

– Ты не заколи меня ночью-то...

– Не-е... Спи себе. На што ты мне?

Я завертываюсь в полушубок и засыпаю, и вижу, как все я иду и

иду по снегу глухой тайгой, и тайга эта представляется мне жизнью – непонятной, сложной, запутанной. В полусне бормочу:

– Ты солгал мне, Увар.

– Это может случиться... – слышу я в темноте его спокойный ответ.

– Твое имя не Увар. Твое имя другое.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю... – уверенно говорю я. – Скажи, зачем ты третий раз бежишь? Зачем? Ну?

Он только на секунду, на миг какой-нибудь задумывается и вдруг просто и твердо говорит:

– Надо и *его* зарезать...

Мне как-то все равно – зарежет его Увар или не зарежет. Меня гораздо больше занимает другое: я опять почему-то вижу одинокую, сгорбленную фигуру на камне среди выжженной солнцем пустыни. Как нелепо, как страшно оставаться на нашей земле в одиночестве, в пустыне. Но еще нелепее и еще страшнее чувствовать себя среди живых как в пустыне, как на кладбище...

Публикация – Андрей Любимов

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Сергей Шиндин

Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету

Часть II*

ГЕРШЕНКРОЙН В ОДЕССЕ: 1914–1920

В дальнейшей биографии Гершенкройна мандельштамовское «присутствие» уже практически незаметно или возникает только опосредованно. В середине 1910-х годов, очевидно оставаясь в самом центре культурной жизни «черноморской столицы», он был близок кругу поэтов, сформировавшемуся вокруг изданных ими в Одессе (и вызвавших хотя и неоднозначный, но исключительно широкий, можно сказать бурный, общественный резонанс) альманахов «Шелковые фонари» (1914), «Серебряные трубы», «Авто в облаках» (1915), «Седьмое покрывало» (1916) и «Чудо в пустыне» (1917). В разное время и с разной степенью активности в эту стихийную поэтическую группу входили Эдуард Багрицкий, Исидор Бобович, Семен Кесельман, Петр Сторицын, Анатолий Фиолетов, Георгий Цагарели и др., приглашенными авторами были Маяковский, Третьяков, Шершеневич¹. Близкие отношения этот круг поэтов поддерживал с участниками Общества (товарищества) независимых художников – живописным объединением, среди самых заметных представителей которого были Георгий Бострем, Исаак Малик, Израиль Мексин, Амшей Нюренберг, Сигизмунд Олесевич, Николай Скроцкий, Теофил Фраерман и др.², в том числе и Сандро Фазини, оформлявший некоторые из названных альманахов³. Одним из организаторов объединения выступил Гершенфельд, ставший его бесшумным руководителем (1917–1920)⁴; при этом выставочная активность художников часто происходила в тесном взаимодействии с музыкантами и представителями «левых» литературных групп; в качестве одного из наиболее ярких примеров подобного рода «синкретизма» можно привести эпизоды, связанные с выставкой общества, проходившей в Городском музее изящных искусств с 26 ноября 1917 по 7 января 1918 года. Так, 17 декабря там состоялся «поэтический утреник», в котором, в частности, принял участие и Александр

* См. Часть I – НЖ, № 284, 2016.

Биск: «Общество ‘независимых’ художников, желая ознакомить публику с новейшими достижениями в искусстве, кроме лекций устраивает на выставке ряд художественных ‘утренников’, посвященных поэзии и музыке. Сегодня в 1 ч. дня на выставке состоится поэтический ‘утренник’» («Одесский листок». 1917. 17 дек. С. 6.); «Общество ‘независимых художников’ кроме лекций устраивает на своей выставке ряд утренников. Сегодня в 1 час дня на выставке состоится ‘поэтический утренник’. Молодые поэты будут читать свои новые произведения. Участвуют А. Биск, А. Горностаев, Б. Бобович, В. Катаев, А. Соколовский, А. Фиолетов» (Выставка независимых художников // «Одесские новости». 1917. 17 дек. С. 3)⁵.

Большинство поэтов этого круга, как и, в частности, Гершенфельд, были активными участниками деятельности ЛАКа. Подробное красочное описание этого оставил в своих написанных в эмиграции ярких воспоминаниях Перикл Ставров («Новое русское слово». 1952. 6 янв., 12 янв.), рассказывая о соседствовавшем с клубом саде и его «обитателях»: «Садик был очень симпатичный или, по крайней мере, таким он мне сейчас кажется. Трельяжи из зелени, все под теми же акациями, сверху – ночное беспредельное небо, полная луна, превращавшая все в какую-то оперную декорацию. Конечно, при том самогонная водка, стыдливо подававшаяся в закрытых чайниках. Революции тогда полагалось быть не только улыбающейся, но и трезвой, хотя бы для виду. – Каждый вечер приходили в клуб молодые (действительно молодые!) писатели и поэты. Валя Катаев – в необычной форме. Он эти формы очень любил и впоследствии, в связи со сменой властей, их соответственно менял. Мы называли его гусаром, так как был он полон жажды ‘врубиться’ в литературу, завоевать. Напористый был молодой человек. – Приходил и Юрий Олеша, низенький, коренастый, талантливый и нахальный. Он тогда еще был поэтом, звездой Альдебаран воспевал, но будущее свое предвидел и о длинном романе заговаривал. – Рыженький Ильф пришел на старших посмотреть. В те отдаленные времена он о славе не помышлял, а Петров был просто братом Валентина Катаева. Ильф – милый такой, умненький, молчит, молчит – только пэнснэ поблескивает – и вдруг слово такое скажет, что все расхохочутся. – Ну а Сему Кирсанова по молодости лег мама еще в клуб не пускала. Так, на улице кого-нибудь из нас остановит и стихами, мальчишка, захлебывается. Помню, был среди нас Горностаев, поэт из семинаристов <...>. Читал он стихи на библейские темы, низким, загробным каким-то басом. <...> – Веселил нас ‘душа общества’ Петр Сторицын. Лысый, толстый, потный, считался он среди нас отпетым стариком, хотя ему было всего лет сорок пять. Тем не менее, несмотря на пожилой воз-

раст, у него оставался в Петербурге живой богатый папа. Папа, очевидно, на сына рукой махнул, но все же деньги время от времени посылал, а мы этими деньгами пользовались. Сборник стихов 'Шелковые фонари' на эти деньги вышел. Поэтому Петр Сторицын шел у нас за мецената. Чудак был невероятный, графоман с сумасшедшинкой. Стихи писал плохие, но читал их, задыхаясь от восторга <...>. – Вот и председатель 'Литературки' Хмельницкий, так тот, наоборот, с поэтических облаков нас в земные дела тянул. Он тогда еще был просто присяжным поверенным и коммунистом, папой сына своего – наркома юстиции. Почему он был председателем Литературно-артистического клуба – до сих пор не понимаю. – Сидим мы, бывало, в садике под цветными фонариками. <...> Сидим, водка к сердцу поднимается, стихи по очереди читаем, о поэзии спорим. А папа Хмельницкий подсядет неожиданно и прозаическим таким тоном всю поэзию сорвет: 'Молодые люди, довольно пустяками заниматься. Пойдем в общий зал чай пить'. – Ну, а потом, как известно, наступил октябрь – месяц осенний»⁶.

Никаких свидетельств о том, что Мандельштаму было известно о существовании этой отчасти стихийной, динамичной в своем составе литературной группы, пока не обнаружено, но такое могло происходить в силу косвенных обстоятельств. В частности, появление первого альманаха «Шелковые фонари» получило дополнительную известность «методом от противного»: после его выхода из печати издательскую активность проявило одно из «конкурирующих» литературных объединений, в том же 1914 году издавшее коллективный поэтический сборник, среди авторов которого были и один из «основателей» акмеизма, и близкий друг Мандельштама второй половины 1910-х годов: «'Шелковые фонари' сразу же были замечены на фоне других местных изданий начинающих литераторов <...> с их нищенской полиграфией, случайным содержанием. Не стал заметным событием и альманах 'Солнечный путь', собранный вскоре после 'Шелковых фонарей' другой компанией поэтов во главе с Л. Баткисом и В. Овчаренко. Он <...> отличается крайней эклектичностью, погоней за 'знаменитостями' любых направлений: представлены 27 авторов – от столичных (К. Бальмонт, С. Городецкий, Г. Иванов, Н. Клюев) до молодых и старых одесских, в их числе и дилетантов»⁷. Позднее Георгий Иванов оставил относящуюся к периоду Первой мировой войны характеристику подчеркнуто оценочного характера (которую традиционно нельзя принимать безоговорочно): «Уже не Петербург, а Москва, Крым, Одесса, Грузия, Киев, перехлестывающие, захлестывающие волны всяких политических и литературных влияний и никакой опоры, никакой опеки. Среди этих влияний, в

которые, как в океан, попадает Мандельштам, оказались и благотворные – так называемая ‘Южно-русская школа’ – кружок преданных поэзии одаренных молодых людей: Ю. Олеша, В. Катаев, А. Фиолетов, Э. Багрицкий, еще некоторые. Потом Марина Цветаева и Макс Волошин в Крыму. Эти общения, я думаю, помогли Мандельштаму создать ‘Tristia’ – прекрасный взлет перед падением, гибельным пожаром, катастрофой его таланта»⁸.

Предрасположенность Мандельштама к гипертрофированной оценке поэтического творчества современников, сменяемая иногда чуть ли не полным отторжением, отмечалась многими мемуаристами. Например, в дневниковой записи Павла Лукницкого 23.3.1926 зафиксировано следующее ахматовское свидетельство: «АА объясняет мне, что ‘Оська’ всегда очаровывался – когда-то он очаровался даже Липскеровым, потом были еще два каких-то ‘гениальных поэта’ – и что она нисколько не удивлена <...> мнением Мандельштама о стихах Вагинова»⁹. Объектом такого труднообъяснимого внимания нередко становились именно периферийные, едва ли не маргинальные авторы, как, например, Павел Кокорин, на выход сборника эгофутуристических стихотворений которого «Музыка рифм: Поэзо-пъэссы, 1909–1913» (СПб., лета 1913) Мандельштам сочувственно отозвался в небольшом цикле рецензий 1913 года¹⁰. Яркий и разнообразный круг отчасти схожих фигур сформировался вокруг Мандельштама во время его пребывания в Киеве в апреле – августе 1919 года (все его участники, кстати, были постоянными посетителями ХЛАМа, где, очевидно, и происходило их знакомство с известным поэтом-петербуржцем): Юрий Терапиано, Владимир Маккавейский, Александр Дейч, Григорий Петников¹¹ и др. (что могло стать для него своего рода прецедентом на пребывание в статусе литературного «мэтра»; позднее такого рода поведение, характерное, в первую очередь, для Брюсова и Гумилева, могло отозваться в общении старшего поэта с молодыми сотрудниками газеты «Московский комсомолец»). Ввиду этих обстоятельств предположить «типологический» интерес Мандельштама к группе поэтов-одесситов кажется биографически допустимым и логически оправданным даже без прямых оснований для этого, во всяком случае к Багрицкому¹² и Сторицыну¹³; с косвенно соприкасавшимся с этим кругом авторов Александром Соколовским он довольно тесно общался в Крыму¹⁴.

Возвращаясь к биографии Гершенкройна, следует сказать о его более чем вероятном участии весной 1918 года в силах еврейской самообороны: очевидно, в звании прапорщика он служил в должности начальника штаба 1-го Еврейского пехотного батальона, создания

которого Еврейская военная организация Одессы добивалась с конца 1917 года и формирование которого началось 30 декабря, когда в городе уже находились красноармейские части¹⁵. Несмотря на это, батальон очень скоро завоевал репутацию самой «боеспособной» и надежной части; после обращения местных властей он обеспечивал охрану одесского арсенала и всех наиболее важных объектов города¹⁶. Много позднее об этом вооруженном формировании более чем компетентный очевидец происходившего вспоминал: «Еврейская боевая дружина», созданная в Одессе еще в августе 1917 г. и просуществовавшая, с перерывами, при всех сменах режимов, свыше двух лет, насчитывала от 400 до 600 постоянных бойцов (кроме резервов) и была хорошо вооружена. Дружина не только уберегла от погромов Одессу, но и высылала, по просьбам с мест, летучие отряды на Рыбницу, Кодыму, Дубоссары, Кривое Озеро, Рудницу, Бирзулу и др.»¹⁷ Известно, что после отступления большевиков из Одессы в начале весны 1918 года Гершенкройн принял самое активное участие в попытках придать действующему вооруженному формированию официальный статус. Современный военный историк сообщает: «С приходом австрийцев и возвращением вместе с ними представителей Центральной Рады встал вопрос о легализации 1-го Еврейского батальона. Этот вопрос могло решить лишь военное министерство Центральной Рады. Для этого 18 марта в Киев был делегирован начальник штаба батальона прапорщик Габриэль Гершенкройн. <...> К сожалению, из Киева Гершенкройн привез неутешительные вести. И военное министерство Центральной Рады, и представители оккупационного командования были категорически против существования каких-либо частей, сформированных без участия военного ведомства У[краинской] Н[ародной] Р[еспублики]. На этом основании Гершенкройн получил на руки приказ <...> о полной и безоговорочной демобилизации всех воинских частей и учреждений, не являвшихся составной частью вооруженных сил Центральной Рады. – Этот приказ пришлось в точности исполнить – к 7 апреля 1918 г. 1-й Еврейский пехотный батальон был расформирован»¹⁸. При этом комментируя факт сворачивания сил самообороны, один из современников особо подчеркивает именно внутривластный характер происшедших событий, активным участником которых стал Гершенкройн: «Развернувшиеся общеполитические события отодвинули надежды на получение официальной санкции еврейской самообороны, а без такой санкции не было возможности приступить к планомерной организации воинских отрядов. Отряды самообороны, явочным порядком создавшиеся в отдельных пунктах, сыграли несомненную роль в защите местного еврейского населения, но, лишённые органи-

зационного центра и функционируя как придаток к политическим партиям, они были бессильны предотвратить или подавить происшедшие во всей стране погромные эксцессы»¹⁹.

Участие Гершенкройна в деятельности одесского ЛАКа, претерпевшего существенные изменения, активизировалось с осени 1917 года и продолжалось до конца 1919. Общественно-политическую ситуацию, сопутствовавшую событиям этого периода (от Февральской революции до окончательного захвата Одессы новой властью), кратко, но емко охарактеризовал позднее А. И. Деникин, с 26 декабря 1918 по 17 апреля 1920 года – главнокомандующий Вооруженными силами Юга России: «...город волею судьбы стал третьим этапом российского именитого беженства. Цвет интеллигенции и политических партий, конспирировавший ранее в Москве и потом бурно крутившийся в водовороте киевских событий, волной революции выбросило на одесский берег... Город коммерческой и спекулянтской горячки стал новым центром политического ажиотажа, борьбы союзов, ‘бюро’, советов, организаций, ‘правительств’, делегаций... Одесса насыщена была до предела привнесенной ими политикой, в которой купно с искренними и патриотическими стремлениями переплелись темные побуждения политических маклеров, авантюристов и людей с болезненной жадной властью и влияния – какими угодно путями, какою угодно ценой»²⁰. То, как это отразилось на культурном облике «черноморской столицы» и в ее художественной жизни (в первую очередь, в литературной составляющей), описал в мемуарном докладе-очерке о ЛАКе Биск: «Приближалось большевитское время и, вместе с тем, наступил самый блестящий, – увы, предсмертный период существования Литературки. – В Одессу, последнее убежище, начали прибывать писатели, бежавшие из Петербурга, Москвы и других городов. Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, Бунин, Алданов – в Одессе собрался цвет русской литературы»²¹. Свидетельства о таком восприятии Одессы тех лет как своего рода последнего убежища и источника относительной стабильности (напоминающие близкий полуполюгендарный ореол, окружавший Киев) весьма многочисленны; среди самых актуальных для данной темы, безусловно, – факт пребывания в городе Волошина, что прямо отражено в небольшом волошинском письме в редакцию газеты «Одесский листок» (1919. № 57. 3 марта. С. 2): «Я приехал в Одессу, как в последнее сосредоточие русской культуры и умственной жизни»²².

Нельзя точно определить, к какому именно периоду относятся живописные воспоминания Перикла Ставрова о жизни города после очередного его захвата большевиками, но и их «персонаж» также

более чем интересен для биографии Мандельштама: «Все пошло обычным путем... Аресты, обыски, расстрелы, вместо электричества – лампадное масло, вместо жалования – фитильки от лампадок... Был и голод. Одно утешение, не такой, например, как на севере. Покойный К. В. Мочульский тогда из Петрограда приехал и все удивлялся, что мы еще иногда едим селедку с картошкой. ‘У нас, – рассказывал, – только шелуха картофельная и селедочные головки’. Мы тогда еще наивными были и было нам невдомек: если населению шелуха и головки, то кто же, собственно, самый картофель и селедку ел? Потом только, много позже, мы эту механику поняли»²³. Очевидно, как в некий социокультурный «оазис», чуть позже в Одессу предполагал отправиться и Мандельштам; вероятнее всего, не без влияния рассказов Волошина и тем более с учетом пребывания в городе Мочульского, который «был в это время доцентом Новороссийского университета и сотрудником газеты ‘Одесский листок’»²⁴. 5 декабря 1919 года поэт писал Надежде Мандельштам из Феодосии в Киев: «Теперь отсюда один путь открыт: Одесса; все ближе к Киеву. Выезжаю на днях. Адрес: Одесский Листок, Мочульскому. Из Одессы, может, проберусь: как-нибудь, как-нибудь дотянусь...» (4, 26), – но стать на время «земляком» Мочульского, Гершенкройна, Биска, Гроссмана, Инбер и многих других известных представителей художественной среды того периода Мандельштаму не удалось²⁵.

Важнейшим шагом вперед в расширении «сферы влияния» и литературно-художественной деятельности ЛАКа стало появление внутри него кружка «Среда», одним из инициаторов создания которого считается незадолго до этого приехавший в Одессу Натан Инбер²⁶. Биск так вспоминал об этом эпизоде: «Приехал <...> Нат Инбер и принял живое участие в делах Литературки. Но, как я говорил, те, которые считали, что Общество существует для них, – литераторы, оказались затертыми среди лиц других профессий, являвшихся, как и мы, полноправными членами. – И вот Инбер подал своим единомышленникам идею: устроить государство в государстве. Так образовался литературный кружок ‘Среда’, просуществовавший примерно с конца 1917 года²⁷ до самой смерти Литературки, последовавшей в январе 1920 г., – и с перерывами в 1/2 и 4 месяца – время первых и вторых большевиков. Наши лозунги были: уйти в подполье, спастись от адвокатского красноречия, которым были полны Общие Собрания Литературки. <...> Председателя в ‘Среде’ не было, мы учредили Исполнительное бюро из четырех лиц: Ната Инбера, Габриэля Гершенкройна, меня и Алексея Толстого. Я упоминаю Толстого на последнем месте, ибо его участие было чисто номинальное, вся работа лежала на нас троих. Наше трио составило список будущих членов

‘Среды’. Фильтровка была, в смысле строгости, совершенно фантастическая. <...> Достаточно сказать, что количество членов ‘Среды’ никогда не превышало сорока. Каждый член ‘Среды’ имел право вести на собрание не более двух гостей. Это соблюдалось с необычайной строгостью, поэтому собрание никак не могло насчитывать более 120 человек»²⁸.

Сказать, насколько близкими были отношения автора приведенного свидетельства и Гершенкройна, весьма проблематично, но то, что их общение происходило регулярно и являлось более чем интенсивным, не вызывает никаких сомнений. Для данного контекста это обстоятельство существенно уже потому, что Биск, в отличие от своего земляка и современника, занимает в культуре первой четверти XX века вполне определенное место, оставшись для отечественной литературной традиции одним из первых переводчиков Рильке в России и собеседником Гумилева второй половины 1900-х годов²⁹. Вместе с тем, не вызывает сомнений тот факт, что включение Гершенкройна в «триумвират» реальных организаторов деятельности «Среды» с первого дня ее существования – лучшее и безусловно объективное свидетельство о его реальном месте и роли в художественной жизни города. Соответственно, и события, происходившие в этом литературно-художественном объединении (разработка и осуществление программы деятельности, подготовка и проведение самих мероприятий и вызванный ими общественный резонанс), не могут рассматриваться в отрыве от личности и, следовательно, литературно-эстетических пристрастий Гершенкройна.

Первое заседание «Среды» (оно же было и организационным, и уже потому гершенкройновское присутствие на нем, как и на абсолютном большинстве других, не вызывает сомнений) состоялось 20 ноября 1918 года; выступавший на нем Натан Инбер рассказал о литературных новинках обеих столиц. Заседанию было предпослано сообщение от лица членов кружка, где говорилось: «Литературная секция общества, идя навстречу давнишним пожеланиям, решила учредить закрытый кружок, членами которого могли бы быть исключительно лица, непосредственно близкие художественному и научному творчеству»³⁰. Затем прошли два собрания, на одном из которых Гроссман прочел доклад о неизданных и малоизвестных произведениях Достоевского³¹, а на другом председательствовавший Биск в начале заседания сделал краткое сообщение о трагически погибшем поэте Фиолетове и прочитал несколько его стихотворений. Среди участников активной литературной дискуссии, составившей основу собрания, в газетном отчете были названы Инбер и Гроссман. Особенно интересным в данном контексте является следующее засе-

дание, состоявшееся после небольшого перерыва, вызванного боями за освобождение города Добровольческой армией. На этом собрании с чтением новых стихов выступили Вера Инбер³² и Наталья Крандиевская, а открыл его Мочульский, обратившись в своем вступительном слове к теме русской женской поэзии. Из газетного отчета можно заключить, что «он сетовал на традиционно снисходительное отношение к творчеству женщин, выражая надежду, что расцвет женской поэзии, пришедшийся на последнее десятилетие, положит ему конец, и упоминал об Анне Ахматовой, которая становится главой целой школы. После чтения Верой Инбер и Натальей Крандиевской новых, ненапечатанных стихов в прениях Г. О. Гершенкройн говорил о чисто женской эмоциональности стихов Инбер. Лиризм Наталии Крандиевской, напротив, ‘мужествен’, символичен и по общему строю сходен с лирикой Вяч. Иванова. Последовала дискуссия Гершенкройна с Мочульским о ‘женском’ (в том числе и у поэтов-мужчин) и ‘мужском’ началах в современной русской поэзии»³³.

Среди следующих собраний необходимо отметить заседание 1 января 1919 года, на котором Биск выступил с чтением своих переводов. В обширном газетном отчете говорилось, что он «задался мыслью создать ‘русского Рильке’. Прделанную им работу, с точки зрения технической трудности, нельзя иначе назвать как подвигом. В течение двенадцати лет им переведено около 130 стихотворений Рильке. Впрочем, как назвать их – переводами? Скорее, это некие воссоздания, перевоплощения. <...> Г. Биск был награжден дружной овацией собрания. Как сказал Леонид Гроссман, переводы его могут быть поставлены вровень с переводами Жуковского, Гнедича и Блока (из Гейне). Г. О. Гершенкройн, в противоположность г. Биску, настаивал на преимущественной ценности лирики Рильке, а не его мистики. М. О. Цейтлин сделал очень интересные дополнения к сообщению г. Биска о поэте и поделился впечатлениями от личной своей встречи с ним. Он напомнил также о том, что в статье, помещенной в ‘Логосе’, Ф. А. Степун утверждает религиозный опыт Рильке равным по значительности Плотину и Майстеру Эккардту». Следующее заседание «посвящено было докладу одесского художественного критика Марии Михайловны Симонович (Летиции) о поэзии Иннокентия Анненского» (15 января)³⁴, затем состоялось чтение фарса Константина Миклашевского «Четыре сердцееда» (29 января)³⁵.

Ярчайшим событием в деятельности клуба стал вечер 19 февраля 1919 года, когда, по воспоминаниям Биска, «Максимилиан Волошин впервые читал свои замечательные стихи ‘Святая Русь’ и другие. Это был подлинный героический пафос. Стихи эти были ни за революцию, ни против нее, но они вскрывали чисто русский дух

событий. Как в 'Двенадцати' Блока, и сильнее, чем в блоковской поэме, здесь передан весь сумбур русского бунта, в котором главным ядром являются не события, а личность, не дело, а мечты, наш град Китеж, наш 'неосуществимый сон'. Я называл Волошина поэтом Сенатской площади, потому что, на мой взгляд, от февраля до октября вся Россия представляла собой гигантскую Сенатскую площадь, на которой мы, подобно нашим предкам, беспомощно толпились, не зная, что нам делать. – О Волошине стоит говорить, потому что ему не повезло в русской литературе. Имя его недостаточно известно широкой публике. А ведь он был первым парижанином нашей эпохи, по его стихам мы научились любить Париж»³⁶. Эти мемуарные тона абсолютно созвучны словам хроникера-современника о том, что «Волошин читал на собрании 'Среды' свои политические и лирические стихи. Произведения его, посвященные войне и революции, резко отличаются от рассудочных рифмований большинства современных поэтов, выступивших на этом поприще. По глубине, мощи и чувству любви к России и вровень им – только последние поэмы Блока, да, пожалуй, некоторые строфы Хомякова. <...> Чтение Максимилиана Волошина неоднократно прерывалось восторженными овациями аудитории. – Гр. Ал. Н. Толстой и Л. П. Гроссман указали на громадное значение новых произведений М. Волошина; былая индивидуальная его поэзия превратилась во всероссийскую или всемирную»³⁷.

Под воздействием внешних обстоятельств артистически-художественная и культуртрегерская деятельность литературного кружка «Среда», как и всего ЛАКа, прервалась в самом начале 1920 года. В своих воспоминаниях Биск так описал это: «Подходили выборы нового правления, так и не состоявшиеся. Это было уже в январе 1920 г. Наша группа, благодаря популярности 'Среды', имела все шансы на успех. <...> Вместо выборов мы очутились на пароходе, который развез нас, кого в Константинополь, кого в Болгарию. <...> Одесское Литературно-Артистическое Общество <...> подчас с одесской экспансивностью и бумом проявляло свою деятельность, но за этой шумихой оно совершало большую культурную работу. Немало писателей считало наше О[бщест]во своей литературной колыбелью. Незачем говорить, что с окончательным воцарением большевиков Литературка была растоптана, разгромлена и распущена»³⁸.

Непосредственно на этот же период приходится еще один случай участия Гершенкройна в более чем заметном общественном событии – защите Елизаветы Кузьминой-Караваевой³⁹ во время ее ареста в марте 1919 года частями Добровольческой армии и предания военно-полевому суду, когда ей грозила смертная казнь. В письме в ее защи-

ту, написанном находившимся в Одессе Волошиным, подписанном рядом самых заметных представителей культурной среды города (среди которых были Толстой, Гроссман, Инберы, Тэффи, Биск, Гершенкройн) и опубликованном в газете «Одесский листок» (1919. № 78. 11 марта), в частности, говорилось: «Со времени февральской революции она была городским головой города Анапы и не покинула своего поста и при большевиках, и только впоследствии, под угрозой расстрела, была принуждена бежать оттуда. Мы не знаем в точности обвинения, предъявленного ей, но, во всяком случае, все, знающие Елисавету Юрьевну, могут засвидетельствовать, что она не только не имела ничего общего с большевизмом, но была его яркой противницей. – Мы надеемся и уверены, что суд над Кузьминой-Караваевой окончится ее полным оправданием. Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка способна решиться на истребление русских духовных ценностей, особенно такого веса и подлинности, как Кузьмина-Караваева»⁴⁰. Очевидно, именно это обращение стало одним из главных поводов для того, чтобы поэтессу освободили.

О заключительном этапе деятельности «Среды» и ЛАКа Биск вспоминал: «Одним из последних вечеров в Литературке – когда на улицах по ночам уже гремели выстрелы и возвращаться домой надо было группами – был вечер Кузьмина, который я подготовил втайне, в сотрудничестве с 4 лицами. <...> Никаких анонсов и заметок не было, но предприимчивые одесситы узнали о наших приготовлениях, и Литературка была переполнена несмотря на тревожное время»⁴¹. Этот вечер, конечно, не мог попасть в своеобразный развернутый отчет о деятельности кружка за год его существования, опубликованный в октябре 1919 года после нового освобождения Одессы от частей Красной Армии. В публикации прямо говорится: «Те семнадцать вечеров, которые представляют собой истекший зимний сезон ‘Сред’, служат ярким доказательством того, что в Одессе есть люди, любящие подлинное искусство. Надо было только уйти от литературной улицы, от газетной шумихи, отрешиться на час-два от журналистики»; там же содержатся программы бывших заседаний кружка и следующее напоминание: «Членами исполнительного бюро ‘Среды’, исполнявшими обязанности председателя собрания, состояли в течение этого года следующие лица: В. С. Бабаджан, А. А. Биск, А. К. Горностаев, Г. О. Гершенкройн, Н. О. Инбер, К. М. Миклашевский и гр. Ал. Н. Толстой»⁴².

Оценка факта и результатов присутствия этого литературно-художественного образования в отечественном культурном пространстве, с которой трудно не согласиться, принадлежит Елене Толстой:

«До сих пор неисследованная одесская ‘Среда’ представляется нам интереснейшим явлением. Это своего рода ‘государство в государстве’ Литературно-Артистического Общества было попыткой одесской молодой литературной элиты, воспитанной в парижско-петербургском духе, – людей ‘серебряного века’: Биска, Инберов, Камышиникова, Гроссмана», противопоставить «художественную иерархию ценностей злободневно-политическим интересам одесситов»⁴³. Для рассматриваемой темы исключительное значение имеет то обстоятельство, что одним из активнейших участников этого локального, но более чем яркого и полифонического в своем многообразии эпизода завершающейся культурной традиции России начала XX века был Гершенкройн, при этом, судя по всему, оставаясь или стараясь оставаться в тени.

В ЭМИГРАЦИИ. ПАРИЖ

Следующий биографический локус Гершенкройна связан с эмигрантским периодом его жизни. Когда и при каких обстоятельствах он покинул Одессу – неизвестно, но вероятнее всего это произошло в начале 1920 года, когда отъезд беженцев из города носил массовый характер. Приказ командующего войсками Одесского округа генерала Н. Н. Шиллинга о начале эвакуации частей Добровольческой армии из города был опубликован 4 февраля 1920 года, однако из-за некомпетентных и подчас безответственных действий командования морскими силами организованный вывод войск и населения морем не состоялся. Современный историк так пишет о начале эвакуации: «С утра <..> весь порт пришел в движение, но командование, поставленное более или менее неожиданно перед огромной задачей, не приняло достаточно энергичных мер для упорядочения эвакуации. Пароходы грузили без всякого плана то, что было вблизи их стоянки, или же имущество и снаряжение, которое доставлялось к их борту по инициативе начальников частей». Уже на следующий день ситуация стала стремительно ухудшаться: «Тысячи людей толпились у молвов, где стояли большие пароходы. Взамен нашедших на них место людей все время подходили новые толпы военных и гражданских лиц, женщин и детей. Порядка при посадке не было, но английские транспорты, как правило, брали лишь по специальным пропускам семейства чинов армии и гражданских лиц, чья предыдущая деятельность или служебное положение не позволяли им остаться у красных. Русские военные транспорты предназначались для эвакуации военных, а один иностранный пассажирский пароход принимал на борт беженцев лишь за солидную плату валютой». 7 февраля «в 6 часов утра части советской 41-й стрелковой дивизии со стороны Пересыпи и

СЕРГЕЙ ШИНДИН

Куяльника вошли почти без потерь в северо-восточную часть города. <...> В самой Одессе, по свидетельству советских авторов, упорные бои продолжались сутки, и лишь утром 8 февраля красные части проникли в южную часть порта и к 14 часам завершили занятие всей территории Одессы»⁴⁴. Вскользь об этом эпизоде, как раз в связи с окончанием деятельности ЛАКа и последними перевыборами его правления, упоминает в уже приводившихся воспоминаниях Биск: «Это было уже в январе 1920 г. <...> Вместо выборов мы очутились на пароходе, который развез нас, кого в Константинополь, кого в Болгарию»⁴⁵.

Систематизированные, как, впрочем, и любые прямые развернутые сведения о пребывании Гершенкройна за границей отсутствуют, но с уверенностью можно говорить о его присутствии в литературной жизни эмиграции середины 1920-х годов в качестве своеобразного наблюдателя⁴⁶. Более чем опосредованным и косвенным, но все же подтверждением этого может служить и тот факт, что одновременно с ним в разные периоды в Париже находились как его петербургские и одесские знакомые, так и просто земляки, часто игравшие весьма заметную роль в общественно-культурной «иерархии» диаспоры. Мемуарист Владимир Варшавский, сам с 1926 года живший во Франции, в своих воспоминаниях, посвященных младшему, по определению автора, «незамеченному» поколению эмиграции первой волны, при характеристике «иерархической ситуации» в «русском Париже» упоминает и Гершенкройна, причем совершенно неожиданно в наборе более чем значимых имен: «...не все ‘молодые’ были завсегдагаями Монпарнаса, и первое место на Монпарнасе и в ‘парижской школе’ принадлежало не ‘молодым’, а литераторам не намного старшим, а то и вовсе не старшим, но успевшим получить <...> ‘литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы’. Кроме Н. Берберовой и Р. Гуля <...> к этой группе принадлежали Г. Адамович, Ю. Анненков (Темирязов), Н. М. Бахтин, В. Вейдле, Г. Гершенкрон, В. Злобин, Г. Иванов, К. В. Мочульский, И. Одоевцева, Н. Оцуп, М. Слоним и Г. Струве. Многие из них были постоянными участниками монпарнаских встреч»⁴⁷.

А вот в списке постоянных и эпизодических участников кружка Гиппиус и Мережковского «Зеленая лампа», оставленном Юрием Терапиано в заслуживающих доверия его мемуарах, имя Гершенкройна отсутствует. Хотя ряд названных Терапиано лиц могли быть связаны с Гершенкройном и в период его пребывания в Петербурге, и одесским топосом, как, например, Мочульский или другой одессит – Ставров, который также может быть включен в этот круг. (Среди других имен в этом ряду должен быть назван активный участник лите-

ратурной жизни Одессы середины 1910-х годов Марк Слоним, а позднее – и Петр Бицилли.)

Вместе с тем, если не на само присутствие Гершенкройна на встречах участников «Зеленой лампы», то на его, очевидно, близкое общение с Гиппиус прямо указывает постскриптум письма Адамовича за март 1929 года, касающегося именно деятельности кружка: «Конфиденциально: я вчера провел вечер с Гершенкройном. Он долго, путано и не без умиления объяснял мне, как он Вас любит и как ему хотелось бы, чтобы Вы это знали. Исполняю поручение»⁴⁸. Этот же факт дает основания говорить и о доверительном общении Гершенкройна с Адамовичем, по крайней мере в конце 1920-х годов, что дает дополнительные основания обратиться к еще одному яркому и оригинальному литературному (и в определенном смысле слова мировоззренческому) явлению, получившему название «парижской ноты». Под этим термином рядом исследователей подразумевается «одна из тенденций в эмигрантской поэзии, приверженцы которой ориентировались на требования, предъявляемые к литературе Адамовичем, и с которой Гершенкройн мог быть связан опосредованно. Строго говоря, 'парижская нота' не была в полном смысле школой, скорее антишколой. Это было не вполне внятное и в сложности своей не до конца логичное, но убедительное мировоззрение, своеобразная философия поэзии и соответствующая ей в той или иной степени поэтическая практика»⁴⁹.

Более надежны данные об отношениях Гершенкройна с группой философов, литераторов и общественных деятелей, сформировавшейся в 1930-х годах в Париже вокруг журнала «Новый Град» (1931–1939). История этого по-своему уникального издания, как и особое его место в религиозно-общественной жизни русской эмиграции, не часто становились объектом самостоятельных исследований; и на сегодняшний день, пожалуй, самой значительной остается краткая, но содержательная характеристика, данная Глебом Струве⁵⁰. Идеино-политическое и социальное направление этого издания (структурно и содержательно более напоминающего ежегодный сборник статей) условно можно было бы определить как религиозно-общественное; его создателями и участниками и были представители русской религиозно-философской среды. В редакционном вступительном слове в первом номере журнала, вышедшем в 1931 году в Париже, говорилось: «Не легкомысленная жажда новизны, не слепая ненависть к старине соединила нас, искателей нового Града: нет, в старом городе просто становится невозможно жить. Полуразрушенный катастрофой войны, он живет в предчувствии нового – быть может последнего для него – удара, раздираемый непрерывными внут-

ренными противоречиями. <...> Многие начинают сродняться с мыслью, что мы присутствуем при последней гибели, если не человечества, то европейской культуры, – той культуры, которая цепью звеньев связана – и на романо-германском Западе и на русском Востоке – с древней Грецией». Но в целом сами авторы были настроены вполне оптимистично: «В чем источник нашего мужества и нашей надежды? – Прежде всего, мы не видим исчерпанности ни духовных, ни материальных сил старого человечества. <...> Действительно, новая Европа во многом морально здоровее старой. Из скептического и эстетического декаданса довоенных десятилетий вырастает мощное религиозное движение. <...> Христианские церкви наших дней развивают большую социальную энергию, ставят свою цель объединение и организацию разъединенного мира. <...> Кто победит? Новый ли строй восторжествует над хаосом или хаос поглотит еще нерожденный строй? Будущее, к счастью, скрыто от нас. Исход завязавшейся духовной битвы не предрешен. Наша свобода и наша воля входят в этот исход как одна из существенных его предпосылок. Вот почему для всех, кто видит возможность спасения, борьба за него – общий долг»⁵¹.

По мнению редакции, одним из главных шагов для выполнения поставленных задач должна была стать консолидация вокруг издания наиболее достойных и интересных представителей эмигрантской творческой среды. Действенной формой такого объединения должны были стать начавшиеся в середине 1930-х годов встречи в редакции сотрудников и авторов журнала и «сочувствующих» им представителей духовной и культурной общности. Из редакционного сообщения с говорящим названием «Духовный фронт», опубликованного в выпуске 1935 года, следовало: «Одновременно с расширением своей программы, 'Новый Град' делает опыт и некоторой жизненной ее актуализации. Развиваемые в журнале идеи нуждаются в проверке, в дружеской и компетентной критике. Более того, чтобы быть плодотворными, они должны рождаться не из потребности в философской систематике, а из опыта, творчества. Одним из важнейших видов этого творчества, одним из ответственных участков 'духовного фронта' является искусство, в искусстве – поэзия. Парижский отдел редакции 'Нового Града' сделал опыт образования кружка, где сотрудники 'Нового Града' встречались бы с молодыми поэтами и прозаиками эмиграции». Там же сообщалось о состоявшейся 21 октября 1935 года первой беседе, на которой присутствовали, в частности, Адамович, Варшавский, Вейдле, Георгий Иванов, Кнут, монахиня Мария (Е. Кузьмина-Караваева), Мамченко, Мочульский, Терапиано, Фельзен, Червинская, Шаршун и др.; среди перечисленных

участников встречи назван и Гершенкройн. «Вступлением к беседе послужили мысли Г. П. Федотова о судьбах искусства 19-го века, изложенные им в статье ‘Борьба за искусство’, напечатанной в настоящей книге ‘Нового Града’»⁵². Встречи проходили интенсивно: информация опубликована об одиннадцати заседаниях – они продолжались до весны 1936 года; в большинстве их них среди участников присутствует Гершенкройн. 4 ноября 1935 года на второй беседе монахиня Мария выступила с вводным словом «Основные тенденции русской религиозной мысли», 18 ноября обсуждалась статья Степуна «Пореволюционное сознание и задачи эмигрантской литературы»⁵³, 2 декабря тему беседы определило сообщение Мочульского «Христианство и мир», 16 декабря вступлением к беседе послужила статья Адамовича «Уединенная прогулка», опубликованная в «Современных записках». Следующую встречу, 3 февраля 1936 года, Гершенкройн пропустил (единственную из всех), а 23 февраля седьмая беседа началась со вступительного слова Федотова «Святость и творчество»; 9 марта беседа открылась докладом Варшавского «Рамакришна и его ученик Вивеканада», 23 марта Терапиано высказал свои соображения в сообщении «О безумии разума», 20 апреля прозвучало вызвавшее оживленные споры вступительное слово монахини Марии «Злое чудо», а состоявшаяся 3 мая последняя встреча началась с выступления Фельзена, посвященного более чем актуальной для присутствовавших теме «Мы в Европе»⁵⁴.

Почему встречи прекратились – неизвестно, но очевидно, свою роль в этом сыграло яркое событие литературно-общественной жизни русской диаспоры в Париже, оценка которого принадлежит Глебу Струве: «С ‘Новым Градом’ было связано и персонально и отчасти идейно одно литературное предприятие, в котором большую роль играли молодые писатели. Это было общество ‘Круг’, выпустившее три альманаха под тем же названием в 1936–1938 годах. ‘Круг’ был основан в 1935 году И. И. Фондаминским-Бунаковым для сближения между молодой литературой и теми религиозными мыслителями, которые группировались около ‘Нового Града’. Со стороны этих последних в собраниях ‘Круга’, где обсуждались и религиозно-философские, и социально-политические, и литературные вопросы, деятельное участие принимали, кроме самого И. И. Бунакова, все более тяготевшего в эти годы к православию (позднее он крестился), – Г. П. Федотов, К. В. Мочульский и монахиня Мария. Из молодых поэтов постоянное участие в собраниях ‘Круга’ принимали Ю. К. Терапиано, В. А. Мамченко, Л. И. Кельберин и Ю. В. Мандельштам. По словам одного из участников ‘Круга’, идеей И. И. Бунакова было ‘обратить’ души молодых поэтов. Но позиция Бунакова, Федотова и

матери Марии встречала довольно упорное сопротивление со стороны писателей, которые отказывались стать на церковную точку зрения, и в прениях на собраниях 'Круга', по словам того же его участника, намечались два лагеря: религиозно-философский и литературный. Но в альманахах 'Круга' это раздвоение не сказывалось. Они носили преимущественно литературный характер»⁵⁵.

Очевидно, последним из доступных свидетельств присутствия Гершенкройна в общественно-литературной жизни эмиграции следует считать его упоминание в дневнике Лидии Бердяевой, 28 июня 1936 года записавшей или о знакомстве с ним, или, что представляется более вероятным, о первом опыте неформального, доверительного общения, причем для характеристики ситуации в целом исключительно значимы и круг упоминаемых лиц, и темы разговоров: «К чаю у нас: Л. И. Шестов (усталый, утомленный от грозовой атмосферы), К. В. Мочульский, Гершенкрон, Е. А. Извольская. Позже – И. И. Фондаминский, Ф. И. Либ, Ф. Т. Пьянов... Оживленная беседа о политике, литературе. К. В. Мочульский только что закончил книгу о В. Соловьеве. Радуетя, как ребенок, – едет отдыхать в горы... Л. И. Шестов понемногу оживает и предается воспоминаниям о своих встречах и переписке с В. Ивановым, Горьким и др. <...> У меня интересная беседа с Гершенкроном на тему о религиозной драме евреев, поверивших в Христа. Он говорит: 'Разделение Церквей создает эту драму. Поверив в Христа, еврей не знает, в какую Церковь ему идти? Если он поверил в Магомета – он знает, что есть единая мечеть, если в Будду – буддийский храм, а в христианстве нужно делать выбор среди трех Церквей, из коих каждая считает себя истинной...' – Гершенкрон произвел на меня впечатление человека серьезного, со сложной внутренней жизнью, и одаренного. На вид очень болезненный и нервный»⁵⁶. Из этой записи, помимо прочего, вполне логично следуют выводы о фактах общения Гершенкройна как с Бердяевым (конечно, без возможности указать их частоту и характер), так и с прежним кругом журнала «Новый Град», традиционные встречи в редакции которого прекратились незадолго до этого.

Этим эпизодом завершаются прямо или косвенно подтверждаемые документально эпизоды биографии Габриэля Гершенкройна, которые на данный момент удалось разыскать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Всего в пяти изданиях были опубликованы произведения тринадцати поэтов. Об этом см.: *Луцик С. З. Чудо в пустыни: Одесские альманахи 1914–1917 годов // Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Вып. 3. Ч. I. – Одесса: ЗАО «ПЛАСКЕ», 2004. – В другой связи о друж-*

бе Гершенкройна с Багрицким и Фиолетовым и его частых выступлениях на литературных вечерах с их участием – в публикации: *Яворская Е. Л.* Комм. к публ.: *Биск А.* Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество). С. 139. К сожалению, подробных материалов о данном периоде деятельности ЛАКа (как, впрочем, и обо всем времени его существования) нет ни в историко-литературных, ни в краеведческих исследованиях, хотя одесская периодика 1910-х годов стала бы более чем надежным источником для их систематизации.

2. См., напр.: Общество независимых художников в Одессе: Библиографический справочник. С. 12.

3. Сандро Фазини – псевдоним художника и фотографа Александра Файнзильберга, старшего брата Ильи Ильфа, одного из самых ярких представителей живописно-художественной жизни города второй половины 1910-х годов; о нем см.: *Ильф А. И.* Фазини: Одесса – Париж // Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. Вып. 3. Ч. II. – Одесса: ЗАО «ПЛАСКЕ», 2004; *Яворская А.* Независимый Фазини // Морія: Альманах. – Одесса: Печатный дом, 2004 и др.; особого внимания заслуживает издание: Фазини 1893–1944: Сборник материалов / Сост. А. Ильф, А. Яворская, И. Кричевский – М.: РепроЦЕНТР М, 2008 и др. Среди работ художника (писавшего и юмористические стихи, публиковавшиеся в одесской периодике) – опубликованные в сатирическом журнале «Крокодил», упоминаемом далее в связи с мандельштамовским письмом из Феодосии о намерении поэта переехать в Одессу.

4. См.: Общество независимых художников в Одессе: Библиографический справочник. С. 117. Ему же, в частности, принадлежало авторство письма об одной из одесских выставок весны 1914 года, среди участников которой были представители «Бубнового валета» (Лентулов, Машков, Кончаловский, Фальк, Куприн и др.) и художники мюнхенской группы во главе с Кандинским. Там же автор отмечает: «М. Гершенфельд выставил декоративные панно ‘К радости’, ‘Путь’ и ‘Море’, эскизы декораций к гетевскому ‘Фаусту’, трактованному в духе средневековой легенды, и этюды Бретани» (*Гершенфельд Мих.* Письмо из Одессы. Весенняя выставка картин // «Аполлон». 1914. № 5. С. 58, стб. 1). Некоторые отзывы о живописном творчестве самого Гершенфельда в одесской периодической печати приведены Ольгой Барковской: Общество независимых художников в Одессе: Библиографический справочник. Сс. 118-120.

5. См.: Общество независимых художников в Одессе: Библиографический справочник. С. 65. № 176, 177. – Упоминаемая в первом анонсе музыкальная встреча прошла на выставке 26 декабря 1917 года, незадолго до ее закрытия, и начиналась со вступительного слова Гершенфельда: «По примеру парижских ‘салонов’ на выставке 26 декабря в 1 час дня состоится концерт, посвященный новой музыке. <...> Вступительное слово скажет М. К. Гер-

шенфельд) (Выставка «независимых» художников // «Одесские новости». 1917. 24 дек. С. 4); «26 декабря в 1 час дня на выставке ‘независимых’ состоится концерт новой музыки. Будут исполнены произведения Дебюсси, Равеля, Скрябина, Штрауса, Стравинского <...> Вступительное слово о новой музыке скажет М. К. Гершенфельд» (Концерт на выставке «независимых» // «Одесский листок». 1917. 24 дек. С. 4). О масштабах таких встреч может свидетельствовать критический отклик на организацию этого концерта: «...полтора десятка стульев на полторы сотни слушателей» (*Gis [Гителис Н. Я.]*. Концерт у «независимых» // «Одесские новости». 1917. 28 дек. С. 6). Все цитаты даны по: Общество независимых художников в Одессе: Биобиблиографический справочник. С. 66. № 180, 181, 183. Трудно предположить, чтобы события подобного масштаба, регулярно происходившие в культурной жизни города, могли миновать внимание столь активного ее участника, каким был Гершенкройн.

6. *Ставров П.* Эдя Багрицкий и другие (Одесса 1917–1918) / Публ. и коммент. В. Амурского // Дерибасовская – Ришельевская: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах. 2003. Вып. 3 (14). С. 259. Автор этого свидетельства – Ставров Перикл Ставрович (1895–1955), поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Писал также на французском языке. Уроженец Одессы. В 1920 из Одессы эмигрировал в Грецию. Принял греческое гражданство. В 1926 переехал в Париж. Участник литературного объединения «Круг» (1935–39). Член парижского Союза русских писателей и журналистов. В 1939–44 гг. председатель Объединения русских писателей и поэтов во Франции. С 1949 член редколлегии парижского изд-ва «Рифма». Умер в Париже. (*Вильданова Р. И., Кудрявцев В. Б., Лаппо-Данилевский К. Ю.* Краткий биографический словарь русского Зарубежья // *Струве Г.* Русская литература в изгнании / 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический словарь русского Зарубежья. // Сост. К. Ю. Лаппо-Данилевского, общ. ред. В. Б. Кудрявцева, К. Ю. Лаппо-Данилевского. – Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 361).

7. *Луицк С. З.* Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов. С. 168. При этом, конечно, нельзя оставить без внимания тот факт, что «‘Солнечный путь’ опечатан изящно, на хорошей бумаге, обложка украшена рисунком художника М. Гершенфельда» (*Луицк С., Барковская О. Семен Кессельман.* С. 203); там же среди участников сборника упоминается Биск.

8. *Иванов Г.* Осип Мандельштам // Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского, В. П. Крейда. – М.: Согласие, 1994. Сс. 619–620.

9. *Лукницкий П. Н.* Асумиана: Встречи с Анной Ахматовой. Том II: 1926–1927. – Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1997. Сс. 82–83.

10. Ср.: «Книжка Кокорина очень народна, без всякой кумачности и в то же время утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наив-

ности автора» (1, 194); несколько подробнее об этой ситуации см. в работе автора: Из «теневого окружения» Мандельштама: Константин Вагинов. Статья первая // Кормановские чтения. Вып. 15: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель 2016). – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2016. Сс. 83–84. – Нельзя не отметить тот факт, что в связи с именем Константина Липскерова, чья поэтическая деятельность проходила «под патронажем» Бориса Садовского, снова возникает фигура Георгия Иванова, в рецензии 1916 года охарактеризовавшего издания обоих авторов. И если о книге старшего поэта «Полдень: Собрание стихов 1905–1914» (Пг., 1915) рецензент отозвался в целом нейтрально, то первый поэтический сборник начинающего автора «Песок и розы» (М., 1916) был подвергнут откровенной критике: «Стихи Липскерова нисколько не очаровывают, хотя вкус, культурность и некоторая техническая умелость их автора несомненны. Стих его недостаточно легок, образы не так полновесны, как этого требуют сюжеты, описания путаны и не ярки. В ‘Песке и розах’ больше старания, чем достижений – и, кажется нам, эта первая книга еще не дает автору права называться поэтом» (*Иванов Г.* О новых стихах // «Аполлон». 1916. № 6 / 7. Сс. 74, 75).

11. См.: *Шиндин С. Г.* Из «теневого окружения» Мандельштама: Юрий Терапиано // Кормановские чтения. Вып. 15: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель 2016). – Ижевск: Удмуртский ГУ, 2016; *Коростелев О. А.* Терапиано Ю. К. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати); *Руссова С. Н.* К истории одного кощунства (О. Мандельштам и В. Маккавейский) // *Смерть и бессмертие поэта: Материалы научной конференции.* – М.: РГГУ, 2001; *Мандельштам Н.* Вторая книга // Мандельштам Н. Собрание сочинений: В 2 тт. Т. 2: «Вторая книга» и др. произведения (1967–1979). Сс. 42, 105, 135, 508; *Нерлер П. М., Шиндин С. Г.* Дейч А. И. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати); *Терапиано Ю.* Григорий Петников // «Новое русское слово». 1951. 28 окт.; Юрий Терапиано и Григорий Петников: диалог через двойной занавес / Подгот. текстов и публ. И. М. Невзоровой и А. Д. Тимиргазина // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия: Материалы Шестых Герцыковских чтений в г. Суда-ке 8–12 июня 2009 года. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Симферополь: Крымский центр гуманитарных исследований, 2011. Сс. 241–243, 247–278; *Григорий Петников.* Страничка воспоминаний (Осип Мандельштам) / Предисл., публ., примеч. П. Поберезкиной // «Toronto Slavic Quarterly». 2012. № 40. Сс. 315–316.

12. О взаимоотношениях двух поэтов см. краткую заметку: *Беспрозванный В. Г.* Багрицкий Э. Г. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати). Молодого поэта сравнивала с Мандельштамом уже одесская критика (что, кажется, не привлекало еще

внимании мандельштамоведов); так, в развернутой рецензии на выход альманаха «Седьмое покрывало» Марк Слоним впервые, очевидно, сопоставил ранние опыты Багрицкого с «акмеистическими» стихами Мандельштама: «У него замечается работа над стихом, стремление к сжатости, четкому рисунку и лаконической глубине. Несомненная талантливость соединяется у него с тем, что называют ‘культурой стиха’. <...> Его ‘О кофе сладостный’ и ‘Бог шашечной игры’ показывают влияние Мандельштама (‘спортивные’ стихи)» (Слоним М. «Седьмое покрывало» одесских поэтов // «Одесский листок». 1916. 4 сент. Сс. 5-6.; цит. по: Луцик С. З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов. Сс. 184-186). Сведения об общении двух поэтов отсутствуют, единственное, видимо, исключение – сравнительно недавно введенное в научный оборот письменное свидетельство Николая Харджиева о его знакомстве с Мандельштамом осенью 1928 года именно в доме Багрицкого, где он тогда временно проживал: «М[андельштам] приехал в Кунцево с Зенкевичем. Беседа была многочасовая, пили вино, сочиняли шуточные экспромты на мотив ‘Гаврилы’. Тогда же М[андельштам] предложил Багрицкому и Х[арджиеву] встретиться в Москве, у Адуева. Встреча состоялась» (цит. по: *Нерлер П.* Первый старатель (Николай Харджиев) // *Нерлер П.* *Соп amore: Этюды о Мандельштаме.* – М.: Новое литературное обозрение, 2014. Сс. 674-675).

13. С ним Мандельштам мог встречаться в Петрограде, где Сторицын поселился после октябрьских событий: «С 1917 года жил в Петрограде, в 1920-х годах – сотрудник петроградской газеты ‘Жизнь искусства’. Колоритнейшая фигура в ленинградской литературной среде 1920–1930-х годов, Сторицын послужил одним из прототипов Психачева в романе Конст. Вагинова ‘Труды и дни Свистонова’ (1929) и был запечатлен многими мемуаристами в ряду ‘неповторимо оригинальных чудаков’ (Семенов Б. *Время моих друзей: Воспоминания.* Л., 1982. Сс. 207-210)» (Морев Г. А. *Комментарии* // Кузмин М. *Дневник 1934 года / Сост., подгот. текста, коммент. Г. А. Морева.* – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998. С. 191).

14. Шиндин С. К биографии Осипа Мандельштама. Новые материалы: проблемы и перспективы // «Новый Журнал». 2015. Кн. 281. С. 311.

15. Об этом эпизоде Гражданской войны подробно рассказано в публикации: Тинченко Я. Под звездой Давида: Еврейские сионистские формирования в Одессе в 1917–1919 гг. // «Старый цейхгауз: Российский военно-исторический журнал». 2008. № 4 (28). Сс. 34-35; исследование во многом основано на материалах Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (Центральный державний архів вищих органів влади та управління України). Ф. 1688. Оп. 1. Д. 1. – Прямые подтверждения того, что в публикации речь идет именно о герое данной статьи, неизвестны.

16. Деятельность евр[ейского] батальона // «Одесский листок». 1918. № 45. 16 марта.

17. *Шехтман И. Б.* Еврейская общественность на Украине (1917–1919 гг.) // Книга о русском еврействе (1917–1968). – Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1968. Сс. 32–33.
18. *Тинченко Я.* Под звездой Давида: Еврейские сионистские формирования в Одессе в 1917–1919 гг. С. 35.
19. *Шехтман И. Б.* Указ. соч. С. 33.
20. *Деникин А. И.* Французы в Одессе // Французы в Одессе: Из белых мемуаров / Под ред. П. Е. Щеголева. – Л.: Издательство «Красная газета», 1928. Сс. 18–19. – Внимание на это свидетельство обратила Елена Толстая (Деготь или мед: Алексей Толстой в 1917–1919 гг. С. 58). Основой для включения деникинского текста в советское издание послужили фрагменты написанных им в эмиграции более чем развернутых мемуаров: *Деникин А. И.* Очерки русской смуты: В 5 т. Т. 4: Вооруженные силы Юга России. – Берлин: Книгоиздательство «Слово», 1925. – Исчерпывающее фактографическое отображение данного периода истории города представлено в содержательном исследовании: *Файтельберг-Бланк В., Савченко В.* Одесса в эпоху войн и революций (1914–1920). – Одесса: Оптимум, 2008; в отдельной главе (сс. 313–328) авторы останавливаются на особом месте культуры, науки и образования в Одессе в рассматриваемый отрезок времени.
21. *Биск А.* Одесская «Литературка» (Одесское Литературно-Артистическое Общество) / Публ. и комм. Е. Л. Яворской // Дом князя Гагарина: Сборник статей и публикаций. Вып. I. – Одесса: Одесский государственный литературный музей, 1997. С. 125; первая публикация: *Биск А.* Одесская «Литературка» (Одесское Литературно-Артистическое Общество). Отрывки из доклада // «Новое русское слово». 1947. № 12783. 27 апр.
22. *Волошин. М. А.* Путник по вселенным / Сост., вступ. ст., коммент. В. П. Купченко и З. Д. Давыдова. – М.: Советская Россия, 1990. С. 152. См. также: *Купченко В.* Максимилиан Волошин в Одессе // Дерибасовская – Ришельевская: Одесский альманах. Кн. 19. – Одесса: Автограф, 2004. С. 271.
23. *Ставров П.* Эдя Багрицкий и другие (Одесса 1917–1918). С. 259.
24. *Мец А. Г.* Комментарии // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 3: Проза. Письма / Сост. А. Г. Мец; том подгот. А. Г. Мец, К. М. Азадовский, А. А. Добрицын и др. – М.: Прогресс-Плеяда, 2011. Сс. 749–750.
25. С известной долей осторожности можно предположить, что в письме скрыт еще один «одесский подтекст», присутствующий во фразе: «В городе есть один экземпляр ‘Крокодила’!» (4, 26). В первой научной публикации данный фрагмент остался без комментариев (см.: *Нерлер П., Никитаев А., Фрейдин Ю., Василенко С.* Комментарии // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Письма / Сост. и коммент. П. Нерлер, А. Никитаев, Ю. Фрейдин, С. Василенко. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1997. С. 372); в последней из них безо всякой мотивации было высказано предположение, что «речь

идет о 'поэме для детей' К. Чуковского, вышедшей в Петрограде в 1919 г.» (*Мец А. Г.* Комментарии. С. 750). Трудно предположить, чем данный факт мог вызвать такую радость Мандельштама, проявившуюся, в частности, в несвойственном для него удвоении восклицательного знака в конце фразы. Вряд ли более вероятным, но более правдоподобным, кажется, что в письме может подразумеваться если не лексическая единица «семейного сленга», недоступная непосвященному, то, скорее, издававшийся в Одессе в 1911–1912 годах известный сатирический журнал «Крокодил», среди авторов которого был и Сандро Фазини. – О «взаимоотношениях» Мандельштама и «Южной Пальмиры» см. лаконичную заметку: *Голубовский Е. М., Нерлер П. М.* Одесса // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати).

26. Натан Осипович (Иосифович) Инбер (литературное имя – Нат Инбер) – публицист, журналист. Сын журналиста Осипа Ильича Инбера, секретаря ЛАКа, первый муж Веры Инбер (урожд. Шпенцер); с 1910 года они жили во Франции и Швейцарии, в 1914, перед самым началом Первой мировой войны, вернулись в Одессу (уроженцами которой были), весной 1919 он эмигрировал в Константинополь.

27. Указанная дата – явная ошибка мемуариста или опечатка в рукописи или при публикации – речь, конечно, должна идти о 1918 годе.

28. *Биск А.* Одесская Литературка (Одесское Литературно-Артистическое Общество). Сс. 125-126. – Совершенно иную точку зрения неожиданно предложила Елена Толстая: «Толстой почти невольно обрастает в Одессе чем-то вроде литературного семинара наподобие того, что возник вокруг него зимой 1918 года в Москве в салоне Кара-Мурзы и который он привел в старую 'Среду'. Здесь этот кружок тоже называется 'Среда', в нем, используя присутствие Толстого как повод или рычаг, молодая (но не самая молодая) литературная элита Одессы утверждает новый для Одессы, но уже победивший в Петербурге взгляд на литературу как искусство со своими особыми законами, на его автономии от политической злобы дня и нравоучительной тенденции. 'Среда', в которой воцаряется вольный дух и неформальный обмен мнениями, становится важнейшим литературным учреждением Одессы. Остроумная идея сделать кружок закрытым и ограничить вход заставляет 'всю Одессу' ломиться на эти подпольные литературные пиршества духа в подвале Литературно-артистического общества» (*Толстая Е. Д.* Деготь или мед: Алексей Толстой в 1917–1919 гг. Сс. 31-32). (При публикации своих материалов в сетевом источнике (Начало распыления – Одесса // «Toronto Slavic Quarterly». 2006. № 17) исследователь изменила эту точку зрения на близкую «официальной»: «Стоит предположить, что идея возродить что-то вроде салона Кара-Мурзы или московской 'Среды' 1918 г., уже там включавшей в себя молодежь, возникла у Веры Инбер, подсказавшей ее своему мужу Натану Инберу»).

29. Изданный им в 1919 году сборник переводов стал третьим после вышедших книг Юлиана Анисимова (1913) и Владимира Маккавейского (1914); см.: *Яворская Е. Л.* Одесский переводчик Р. М. Рильке // Дом князя Гагарина: Сборник статей и публикаций. Вып. 1. – Одесса: Одесский государственный литературный музей, 1997. Сс. 100, 111, – и особенно: *Азадовский К. М.* Александр Биск – «наместник» Рильке в России. С. 355 сл. Кроме этого, Биск являлся одним из участников неудавшегося издательского начинания Гумилева в 1907 году, во время пребывания во Франции, определенного им как «первый русский художественный журнал в Париже»; см.: *Николаев Н. И.* Журнал «Сириус» // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. – СПб.: Наука, 1994. Во втором номере журнала (1907) были напечатаны два стихотворения Биска. Но, не получив свои «авторские экземпляры», он прекратил все отношения с Гумилевым; об этом периоде см.: *Биск А.* Русский Париж. 1906–1908 гг. // «Современник». 1963. № 7; более полное отражение биографии Биска см. в публикации: *Яворская А.* Рассыпанное ожерелье жизни // Мигдаль Times. 2002. № 18.
30. Литературный кружок // «Одесские новости». 1918. 19 нояб. № 10846. С. 5; цит. по: *Толстая Е. Д.* Деготь или мед... С. 110.
31. Литературно-художественное общество: литературный кружок «Среда» // «Одесские новости». 1918. № 10855. 30 нояб. С. 4; цит. по: *Толстая Е. Д.* Деготь или мед... С. 61. Очевидно, доклад стал для Гроссмана своего рода «прологом» к изучению творчества Достоевского, к которому он обращался в течение всей своей научной карьеры – от монографии «Поэтика Достоевского» (1925) и статьи «Достоевский и театрализация романа» (1928) до написания его биографии для серии «Жизнь замечательных людей» (1962). Отмечая факт присутствия Гроссмана, необходимо учитывать вполне содержательные факты его общения с Мандельштамом в дальнейшем; см., напр.: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянской, П. Минцера.* 2-е изд., испр. и доп. – Toronto: Department of Slavic Languages and Literatures University of Toronto, 2016 (по им. ук.).
32. Вера Инбер, как и ее муж, несомненно, играла весьма заметную роль в культурном пространстве послереволюционной Одессы; Биск в своих мемуарах так охарактеризовал их участие в литературной жизни города: «Дом Инберов <...> был своего рода филиалом Литературки. И там всегда бывали Толстые, Волошин и другие приезжие гости. – Там царила Вера, которая читала за ужином свои жеманные, очень женственные стихи <...>. – Вера Инбер стала большим человеком в Советской России. Справедливость требует признать, что она сумела найти приемлемый не подхалимский тон в своих произведениях» (*Биск А.* Указ. соч. Сс. 131-132). Здесь же следует отметить, что, вспоминая историю ЛАКа, Биск не раз останавливается на окружавшей кружок и участвовавшей в его деятельности околотитературной

среде: «Я не могу, как я уже говорил, ограничиться тем, что происходило в здании Литературки, – литературная жизнь перебрасывалась и в иные сферы». В качестве примера он называет домашние собрания, где «устраивались вечера, скетчи и спектакли, далеко выходившие за пределы просто-го любительства. На одном из таких вечеров большим успехом пользовалась юмористическая азбука молодого поэта Шполянского. Это были двустишия-эпиграммы, причем обе строчки начинались на одну и ту же букву». Одна из таких эпиграмм, автором которых был Дон Аминадо, обращалась к Гершенкройну – «это был тонкий и беспощадный критик, но и его Амур не шадил, он безуспешно ухаживал за одной замужней дамой: ‘Жены долг блюдут достойно; / Жди похвал от Гершенкройна’» (*Биск А.* Указ. соч. С. 132).

33. *Толстая Е. Д.* Указ. соч. С. 62; отчет о вечере см.: В кружке «Среда» // «Одесские новости». 1918. № 10866. 14 дек. С. 4. – В формирующейся литературно-исторической перспективе исключительно значимым оказывается факт личного знакомства Мочульского с Ахматовой и его глубокая заинтересованность в ее поэзии. Так, близкий друг, соученик и коллега Жирмунского Александр Смирнов 24 октября 1917 года писал ему из Петрограда в Саратов: «Мы с Котей были недавно у Ахматовой, кот[орая] еще здесь. Она слегка хворает. Подарила нам по книжке «Белой Стаи». Говорили о ее стихах и вспоминали тебя» (Письма А. А. Смирнова В. М. Жирмунскому. 1917–1922 // *Жирмунский В. М.* Начальная пора: Дневники. Переписка / Публ., вст. ст., коммент. В. В. Жирмунской-Аствацатуровой. – М.: НЛЮ, 2013. С. 358); см. также «Письма К. В. Мочульского к В. М. Жирмунскому» (с. 190); в опубликованном там же письме Жирмунскому от 25 ноября 1917 года Мочульский, в частности, писал: «Был я раз у Ахматовой – она читала новые очень хорошие стихи. Я все думаю над ее ‘Стаей’ – хочу что-нибудь написать» (с. 189). Александр Смирнов (о нем см.: *Малмстад Д.* «Да, мы, несомненно, друзья на всю жизнь...» // *Смирнов А. А.* Письма к Соне Делонэ / Публ. и вст. ст. Д. Малмстада и Ж.-К. Маркадэ; подгот. текста Д. Малмстада; коммент. Д. Малмстада при участии Ж.-К. Маркадэ; науч. ред. Н. А. Богомолов – М.: НЛЮ, 2011) был близко знаком не только с Ахматовой (см.: *Тименчик Р.* Последний поэт: Анна Ахматова в 1960-е годы. Сс. 443-444), но и с Мандельштамом, с которым, в частности, общался летом 1917 года в Алуште; см.: Кофейня разбитых сердец: Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама / Публ. Т. Л. Никольской, Р. Д. Тименчика и А. Г. Меца, под общ. ред. Р. Д. Тименчика. – Stanford: Department of Slavic Languages and Literatures Stanford University, 1999. С. 17 сл.; Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама (по им. ук).

34. *Толстая Е. Д.* Указ. соч. С. 66.

35. *Кудеяр.* Литературные заметки. «4 сердцеда» // «Южная мысль». 1919. 24 янв.; см.: *Толстая Е. Д.* Указ. соч. С. 110.

36. Биск А. Указ. соч. Сс. 128-129; ср.: Кутченко В. Максимилиан Волошин в Одессе. С. 273.
37. Литературно-художественное общество «Литературная среда» // «Одесские новости». 1919. 24 фев.; цит. по: Толстая Е. Д. Указ. соч. С. 110.
38. Биск А. Указ. соч. Сс. 135–136.
39. Мандельштам безусловно был близко знаком с Кузьминой-Караваевой по первому «Цеху поэтов», участницей которого она, по свидетельству Ахматовой, была «с начала до весны [19]12 г.» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой. – М.; Torino, 1996. С. 447); ср.: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме [I] // «Russian Literature». 1974. № 7/8. С. 37; Лекманов О. А. Акмеизм в зеркале критики. Сс. 6–8 и др.; Шиндин С. Г. Кузьмина-Караваева Е. Ю. // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати). Одновременно с этим, ее муж Дмитрий Кузьмин-Караваев, сам сочинением стихов не занимавшийся, был тем не менее одним из трех «синдиков», «в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества» (Пяст Вл. Встречи. С. 142). Наиболее интенсивное общение пришлось на зиму 1911–1912 годов: 10 декабря 1911 года они принимали участие в происходившем в ресторане «Вена» хорошо известном эпизоде шуточного коллективного избрания Блока «королем русских поэтов» (см.: Тименчик Р. Комментарии // Пяст Вл. Встречи / Вступит. ст., подгот. текста и коммент. Р. Д. Тименчика. – М.: НЛЮ, 1997. С. 365), а 28 декабря 1912 года Мандельштам, очевидно, присутствовал на «заседании» «Цеха поэтов», когда, судя по письму Лозинского С. Граалю-Арельскому, состоялось «получеховое собрание в честь приехавшей в ПБ на праздники Е. Ю. Кузьминой-Караваевой» (РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 761. Л. 3; цит. по: «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Лозинского). Часть III / Публ. И. В. Платоновой-Лозинской, сопроводит. текст, подгот. и примеч. А. Г. Меца // «Toronto Slavic Quarterly». 2012. № 41. С. 129). Именно на нем было сочинено знаменитое шуточное стихотворение «По пятницам в ‘Гиперборее...’» (где в ироническом контексте упомянут и Мандельштам), а перед этим – обращенное к Кузьминой-Караваевой «Они сидели в полутьме...» (см.: Там же. Сс. 130-132). В этот же период оба регулярно посещали Поэтическую Академию («Академию стиха»), заседания которой проходили на «Башне» Вячеслава Иванова (см.: Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // НЛЮ. 1994. № 10; Лекманов О. А., Глухова Е. В. Осип Мандельштам и Вячеслав Иванов // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. – СПб.: Филологический факультет СПб. ГУ, 2006. С. 173).
40. К суду над Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (Письмо в редакцию) // Волошин М. Собрание сочинений. Т. 12: Письма 1918–1924 / Сост. А. В. Лаврова, подг. текста Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова, Г. В. Петровой, Р. П. Хрулевой, коммент. А. В. Лаврова, Г. В. Петровой. – М.: Эллис Лак, 2013. С. 206; там же

(с.с. 206-207) см. подробный комментарий, с незначительными разночтениями в орфографии, пунктуации и указании источника ранее текст был опубликован *Еленой Толстой*. Указ. соч. Сс. 54-55. Данный эпизод широко освещен в мемуаристике и исследованиях о Волошине, Толстом и Кузьминой-Караваевой, однако имя Гершенкройна в этом контексте, как правило, отсутствует; ср., напр.: *Купченко В.* Максимилиан Волошин в Одессе. С. 273. Сама героиня о своем опыте пребывания в должности главы Анапы позднее оставила живописные воспоминания (1925): *Кузьмина-Караваева Е. Ю.* Как я была городским головой // *Кузьмина-Караваева Е. Ю. (Мать Мария)*. Равнина русская: Стихотворения и поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма / Сост. и примеч. А. Н. Шустова. – СПб.: Искусство, 2001. – Здесь же можно отметить параллель данного эпизода факту ареста Мандельштама врангелевской контрразведкой в Феодосии и место и роль Волошина в его освобождении; см.: *Зарубин В.* Арест Мандельштама в Феодосии в 1920 г. // «Сохрани мою речь...» Вып. 4. Ч. 1. – М.: РГГУ, 2008; *Василенко С. В., Нерлер П. М.* Комментарии // *Мандельштам Н.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2: «Вторая книга» и др. произведения (1967–1979) / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, подгот. текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, комм. С. В. Василенко и П. М. Нерлера. – Екатеринбург: ГОНЗО, 2014. Сс. 641-642; *Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 томах. Сс. 165-166 и др. Н. Я. Мандельштам, однако, категорически отрицала реальное участие Волошина в мандельштамовском освобождении; см.: *Мандельштам Н.* Вторая книга. Сс. 110-111). Интересно то обстоятельство, что еще раз поэт едва не был арестован в начале октября 1920 года в Ростове-на-Дону за чтение стихов в «Подвале поэтов» – кафе, открытом местным отделением Всероссийского союза поэтов (см.: *Мец А. Г.* Мандельштам и Ростов-на-Дону // «Звезда». 2014. № 11. Сс. 217-219); и там же, в Ростове-на-Дону, Мандельштам посетил упоминавшийся выше в связи с «Бродячей собакой» и ХЛАМом театр-кабаре «Гротеск».

41. *Биск А.* Указ. соч. Сс. 143-144.

42. Литературный кружок «Среда» (К возобновлению заседаний) // «Одесский листок». 1919. 23 окт. № 142. С. 4; цит. по: *Толстая Е. Д.* Указ. соч. Сс. 69, 70. Там же (с. 70) отмечается: «‘Среда’ продолжала собираться до начала 1920 года. При красных она недолго агонизировала, потом окончательно прекратилась. Видимо, в конце своего существования ‘Среда’ под руководством Л. Гроссмана и К. Мочульского приняла академический характер»; непосредственно перед этим один из одесских критиков писал о «приваг-доцентском доктринерстве, которое так чуждо русской критике и которое почему-то доминирует в нашей ‘Среде’» (*Вальбе Б.* Литературный дневник (Валентин Горянский. «Поэма о революции») // «Одесский листок». 1919. № 211. 31 дек.).

43. Толстая Е. Д. Указ. соч. С. 65.
44. Варнек П. Эвакуация из Одессы Добровольческой армии в 1920 году // Дерибасовская – Ришельевская: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах. 2003. Вып. 2 (13). Сс. 11013.
45. Биск А. Указ. соч. С. 135. Вероятно, Гершенкройн оказался именно в первой волне эмигрировавших, самой массовой, хотя и состоявшей преимущественно из военнотружеников (в том числе и раненых) и членов их семей; ср.: «Принимая во внимание то, что покинувшие Одессу пароходы направились в различные порты, трудно установить количество эвакуированных из Одессы людей. Но судя по сведениям, касающимся части транспортов, можно определить это число примерно в 15 000 человек. Указываемая советскими историками цифра в 3 000 не может соответствовать действительности» (Варнек П. Эвакуация из Одессы Добровольческой армии в 1920 году. С. 20).
46. Энциклопедический справочник об эмиграции «первой волны» ограничивается следующей информацией: «Гершенкройн (Гершенкрон) Габриэль Осипович (Авраам Иосевич (Иосифович)) (1890 – после 1943, в депортации?). Литературный критик. С 1920 в эмиграции. Жил в Париже. Участник литературных собраний ‘Зеленая лампа’ (1928–1929), публичных собраний Религиозно-философской академии (1930-е)» (Российское Зарубежье во Франции. 1919–2000: Биографический словарь: В 3 тт. Т. 1: А – К / Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. – М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. С. 361). Имя Гершенкройна не встречается в одном из самых авторитетных на сегодняшний день библиографических изданий: Русская эмиграция: Журналы и сборники на русском языке. 1920–1980: Сводный указатель статей / Сост. Т. Л. Гладкова, Д. В. Громб, Е. М. Кармазин и др. – Paris: Institut d'études slaves, 1988, – что дает основание с большой долей вероятности предполагать, что Гершенкройн не принимал прямого активного участия в литературном процессе эмигрантской среды. Не упоминается Гершенкройн и в подробном обзоре, посвященном еврейско-литературе из числа эмиграции первой волны (см.: Седых А. (Цвибак Як.). Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе (1917–1968). – Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1968), как и в беглом очерке о деятельности эмигрантов-литературоведов (см.: Плетнев Р. Русское литературоведение в эмиграции // Русская литература в эмиграции. – Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1972).
47. Варшавский В. С. Незамеченное поколение. – М., 1992. С. 177 (репринт издания: Нью-Йорк, 1956).
48. Письма Г. В. Адамовича к З. Н. Гиппиус. 1925–1931 / Подгот. текста, вст. ст. и коммент. Н. А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. Вып. III. – Париж: Atheneum; СПб.: Феникс, 2003. С. 522 (письмо № 46).
49. Коростелев О. А. «Парижская нота» и противостояние молодежных поэтических школ русской литературной эмиграции // «Литературоведческий

- журнал». 2008. № 22. С. 3. Это по-своему уникальное явление литературы русской эмиграции во Франции (а типологически – и во всей Европе) остается плохо изученным. Обращение исследователей к нему, на мой взгляд, чаще мотивировано интересом к биографии и творчеству конкретных персоналий, тогда как попытки целостного описания остаются единичными; см., например: *Ратников К. В.* «Парижская нота» в поэзии русского зарубежья. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 1998. – И здесь снова можно вспомнить о земляках Гершенкройна, в частности: «Близко стоял к ‘ноте’ Перикл Ставров» (*Крейд В.* «В линиях нотной страницы...» // В Россию ветром строчки занесет...: Поэты «Парижской ноты» / Сост., предисл. и примеч. В. Крейда. – М.: Молодая гвардия, 2003. С. 12).
50. *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Сс. 156–158; ср. более поздние работы обзорного характера: *Раев М.* Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919–1939. – М.: Прогресс-Академия, 1994. Сс. 191–196; *Сафронов Р. Ю.* «Новый Град» и идеи преобразования России // Культура российского зарубежья. – М.: Российский институт культурологии, 1995; *Пашикина Е. Г.* Философия и идеология журнала «Новый Град» // «Высшее образование в России». 2007. № 2; Журнал «Новый Град» в идейно-политической жизни русской эмиграции / Автореферат дисс. ... канд. историч. наук. – М.: МПГУ, 2008. А также: *Гачева А. Г.* Идея «Третьей России» и пореволюционные течения русской эмиграции // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов. – М., ИМЛИ РАН, 2010. Сс. 391–398; Идеал «Царства Божия на земле» в русской философской мысли // «Соловьевские исследования». 2015. Вып. 3 (47). Сс. 81–97.
51. Редакция // Журнал «Новый Град» / Под ред. И. Бунакова, Ф. Степуна и Г. Федотова. № 1. – Париж, 1931. Сс. 3, 4, 5.
52. Духовный фронт // Журнал «Новый Град» / Под ред. И. Бунакова и Г. Федотова. № 10. – Париж, 1935. С. 132.
53. См.: Духовный фронт. Сс. 134, 136.
54. См.: Круг // Журнал «Новый Град» / Под ред. И. Бунакова и Г. Федотова. № 11. – Париж, 1936. Сс. 136, 138, 139–140, 142, 144, 150, 153, 154.
55. *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Сс. 158–159.
56. *Бердяева Л. Ю.* Профессия: жена философа: Стихи. Письма к Е. К. Герцык / Сост. и ком. Е. В. Бронниковой. – М.: Молодая гвардия, 2002. Сс. 153–154.

Саратов

Елена Дубровина

Юрий Мандельштам. Детство, юность и музы поэта

1. «ВОСПОМИНАНЬЯ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ»

В оставленных после смерти записках «Возвращения»¹, написанных примерно в двадцатитрехлетнем возрасте, Юрий Владимирович отрывочно вспоминает свое детство в Москве и Киеве, революцию, поход под пулями в гимназию, страх, уже не детский, сегодняшний: «Я привык к времени. Но почему мне иногда становилось страшно и впоследствии, становится порою и сейчас. Несколько ночей подряд просыпаюсь с переборами сердца (а сердце здоровое). Скажут – нервы. Ну а раньше, в десять-двенадцать лет тоже нервы? Конечно, я знаю, революция, обстрелы, бегство. Но разве я этого боялся? Было и это страшно, но вот ведь в Киеве, в девятнадцатом году, бегал под пулями в гимназию или ночью – на дежурство, к отцу. – Стреляют, значит, Деникин близко. Отец радуется, радуюсь и я».

Маленький Юрий боялся темноты, часто мучили непонятные, непроходящие страхи. Как преодолел он их там, в лагере смерти Освенцим, – молодой человек с тонкой, легкоранимой душой? Каким был его последний шаг в неизвестность, в бездну времени, где оставался он надолго забытым своими соотечественниками, друзьями по перу, теми, кто выжили, пережили войну и ее потери?

Уже живя в Париже, он часто возвращается в прошлое. Здесь, в Париже, тоскует Юрий по отцовскому дому. Тоску навеяла поэма Лермонтова «Мцыри». Вот что пишет об этом Мандельштам в тех же отрывочных воспоминаниях: «Я вспоминаю вечера. Знакомые и незнакомые лица. Но среди всех этих лиц – одно лицо. Я узнал, я вспомнил. Зачем только – имя и отчество, знакомство, радость и мучения. Сколько лет мучений. А что если Верлен прав?

И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,

* Отрывки из неопубликованной книги «Твой голос далекий».

И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

Это вспоминает лермонтовский Мцыри. Но это вспоминаю и я. Долгое, мучительное усилие, и вдруг – мгновенный просвет. ‘И вспомнил я отцовский дом’... Нет, я ничего не вспомнил. Мне мешают мои детские сны, мои страхи, чудища ‘до Адама’, средневековый ‘*circulus vitiosus*’²».

Детские сны, Россия, часто воплощаются в ранних его стихах:

И легче верить, чем не верить,
И радоваться и любить,
Чем презирать и лицемерить.
Но только я не мог забыть
О сказочном моем наследстве,
О той стране, о том пути,
Что я во сне увидел в детстве
И в жизни не сумел найти.

Юрий рос непростым ребенком; как пишет он сам, он жил двойной жизнью: одна – с друзьями, интенсивными занятиями, чтением; другая жизнь – внутренняя – сложная и мучительная. Его душевные муки прервались только с его гибелью. Необъяснимый страх, страдания, первое чувство, предсказание собственной смерти – все это описывает молодой поэт в своих коротких воспоминаниях: «Одна – товарищи, уроки, все, что я делал, что любил, за что цеплялся. Другая – непрерывное внутреннее отчаяние, порою безнадежность. Круг какого-то зла сомкнулся, и мне казалось – навсегда. Цепляйся, не цепляйся – не выкарабкаешься. Можно только ухудшить. Позже, когда я изучал Средние Века, мне казалось, что средневековые суеверия, понятие о безвыходном, неискупимом грехе – именно то мое ощущение. Оставалось все бросить, ничего не делать».

Он продолжал учить уроки, заниматься по ночам – «но это, чтобы не упасть совсем». Правда, он пишет: «рука не слушалась». И далее: «Сколько труда, чтобы написать сочинение на хорошо знакомую тему. Было еще нечто, более теперь для меня понятное. Это мучение закончится с моим последним вздохом. Пушкинские стихи:

Там роковой помост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу поднимали
Два казака тяжелый гроб.

Какие страшные слова. Страшна не казнь Кочубея. ‘Помост’, ‘гроб’... но об этом я не могу, не хочу говорить».

Юрий Мандельштам ушел из жизни молодым, и как мало осталось о нем воспоминаний – небольшая статья Юрия Терапиано о друге, с которым так часто встречался, обсуждал русскую литературу, поэзию, беседовал по душам, ему раскрывал Юрий Мандельштам свои сердечные тайны. И бережно хранит листочки разрозненных воспоминаний Мандельштама единственная внучка поэта, Мари Стравинская. В 1937 году Юрий Мандельштам писал:

Я отвергаю некролог,
Который сам составить мог.
Чем жил я, для чего страдал, –
Вам не узнать. Я сам не знал.

А ведь каким замечательным, необыкновенно одаренным человеком был Юрий Владимирович. Короткую запись о нем оставил друг по перу Н. Я. Рошин: «Бедный, милый Юрочка! Эмигрантское дитя, – в Париже окончил русскую гимназию, потом одним из первых – университет. Поэт, талантливый критик, отличный знаток отечественной и европейской литературы, любимец Куприна и Ходасевича, верный и добрый товарищ»³.

2. «С ДЕТСТВА Я ЛЮБИЛ МЕЧТАНЬЯ»

Н. Зернов воспроизводит такую картину Парижа 1920-х годов: «Внутри столицы Франции образовался русский городок. Его жители могли почти не соприкасаться с французами. По воскресеньям и по праздникам они ходили в русские церкви, по утрам читали русские газеты, покупали провизию в русских лавчонках и там узнавали интересовавшие их новости... посылали детей в русские школы... В эти годы в Париже было более трехсот организаций. Все эти общества устраивали заседания...»⁴

После приезда в 1920 году с семьей в Париж частью культурной жизни русской диаспоры становится и Юрий Владимирович Мандельштам. Писать стихи Юрий начал довольно рано. Мы находим первые его произведения, написанные уже в эмиграции, в Париже, в 12-13-летнем возрасте. Открывая для себя одновременно русскую поэзию (Пушкина, Тютчева, Блока, Гумилева) и французскую (Верлена, Бодлера и др.), он вспоминал:

Мы вслушивались в медленное слово,
В земной любви открывшееся нам.

Бодлера, Тютчева и Гумилева
 Читали вместе мы по вечерам.
 О, первые таинственные строки!
 О, посвященья трепетной рукой!
 Мы понимали смутные намеки,
 Был каждый стих наш – разделенный строй.
 И от шумливой жизни урывая
 Хотя бы день, хотя бы только час,
 Воистину мы достигали рая,
 Стихами обступающего нас.

По ночам учил он наизусть «Медного всадника», читал своего любимого Тютчева: «Пушкинские стихи поразили меня не потому, что они пушкинские. Пушкина я тогда не любил. У одного современного читателя я прочел выражение ‘роман с поэтом’. Тогда я переживал первый ‘роман с поэтом’, и никого другого любить не мог. Но зато полюбил стихи. Как случилось, что пятнадцатилетний мальчик понял и полюбил одного из самых сложных, самых глубоких поэтов – и через него почувствовал поэзию. Для меня это – тайна, как сама поэзия, (какое кощунство говорить: ‘только поэзия больше, чем поэзия’. А особенно говорить – поэту).

И бездна нам обнажена
 С своими страхами и мглами,
 И нет преград меж ней и нами –
 Вот почему нам ночь страшна!

Дорогой Тютчев, любил тебя кто-то больше, чем я? Наверное, любили, да мне в это трудно поверить. Какая дрожь пробегала по мне от твоих стихов – и тогда и позже, когда я перечитывал только стихи о любви. Пробегает и теперь, когда я вспоминаю эти строчки. Не об этом ли сказал Гюго про Бодлера: ‘un frisson nouveau’?⁵» (Из записей «Возвращение».)

Когда умер Александр Блок, Юрию едва исполнилось 13 лет. Он читает его стихи и странно волнуется. Сам тогда стихов он еще не писал, но строчки блоковских стихов «Мы, дети страшных лет России, / Забыть не в силах ничего» его потрясли. Ведь и он тоже не в силах забыть, «хотя до боли не может вспомнить». Мучения юной, чуткой души мальчика продолжают еще долго. Эту страшную боль он старается заглушить музыкой, посещая раз в неделю с друзьями концерты: «Раз в неделю, а то и чаще, на галерке, среди других очастливленных музыкой, я слушал. Но и музыка скоро перестает помогать» (Там же.)

В шестом классе приходят первые волнения – первая муза поэта – он влюблен. Чувства эти остаются надолго, отражаются в его поэзии, но любовь несчастливая – их трое. Выбор падает на соперника. И снова мучения.

И в первый – верно – и в последний раз,
Друг против друга, так, в случайной встрече,
Сидеть, не отводя жестоких глаз,
Оживших огненных противоречий.⁶

Так напишет Юрий Владимирович в 1933 году; строки эти перекликаются с его воспоминаниями о первой любви: «Осень. Я провел очень тяжелую, очень нелепую ночь. Сидели втроем, все трое были когда-то (несколько месяцев тому назад) очень близки. Двое стали чужими, но невольно или волей вольною, но пропасть разверзлась. Всем троим было тяжело. Не знаю, как третьему, но для двоих такое сиденье – сущий ад. И не разойтись – льет дождь.

Наконец, утро. Прощание. Потом часть пути – вдвоем. Говорить надо. И я решаюсь – ‘*circulus vitiosus*’, болезнь, возвращение. Ответ грустный – если ты веришь, возвращайся. Опять прощание». (Из «Возвращения»)

Свой первый цикл стихов Юрий Мандельштам посвящает той самой девушке, в которую он безнадежно влюблен, Катерине (Кети) Гарон. Сохранились адресованные ей стихи и письма.

За окном – морозная луна,
Зимний свет, ночная тишина.
Но завешено твое окно
Плотной шторой верно и давно.
За окном в урочный час страшна
Над домами полная луна.
Но ты спишь, тебе не до луны:
Ты совсем другие видишь сны...⁷

В апреле 1925 года Юрий переживает ее уход (она обручена с другим), и хотя стихи его еще совсем юношеские, в них мы уже находим то поэтическое чувство, без которого нет настоящей поэзии.

Я без тебя – тепла лишенный свет,
Я без тебя – без хлеба нива,
Я музою оставленный поэт,
Симфония без лейтмотива⁸.

Позже Китти, дочь поэта, поддерживала с Катериной Гарон долгие дружеские отношения; Гарон передала ей часть своего архива, связанного с именем Юрия Мандельштама.

Юрий – мечтатель, романтик, ищущий любви, друзей, взаимопонимания:

С детства я любил мечтанья,
Тишину и дрожь предчувствий.
Оттого я много верил
И отчаивался много.
Я искал на небе отблеск
Незаслуженного счастья,
И оно меня томило
Слаще летних сновидений.

3. ГОДЫ УЧЕБЫ

В начале 1920 года в Париже были созданы курсы для подготовки русской молодежи к экзаменам на аттестат зрелости. Их организатором был гимназический учитель С. Г. Попич⁹. Занятия проходили на улице Гренель, на квартире В. А. Маклакова (бывшего посла Временного правительства в Париже, известного адвоката и общественного деятеля)¹⁰. После первого выпуска было объявлено об открытии в Париже русской средней школы.

В одном из отдаленных районов города, на тихой улице им. Доктора Бланш, в глубине двора находился сравнительно небольшой трехэтажный, окруженный деревьями особняк. В этом доме располагалась первая русская школа, которая в 1930 году стала называться гимназией. Так описал школу некто Н. Григорьев: «Узкие коридорчики, небольшие комнаты, загроможденные старой классной мебелью, на которой теснятся желающие учиться...» В 1920 году шесть человек: протоирей о. Н. Сахаров, М. А. Маклакова (сестра В. А. Маклакова), В. Ф. Дюфур, В. П. Недачин¹¹, С. Г. Попич и Б. А. Дуров¹² взяли за дело. С начала основания школы число учеников равнялось числу преподавателей – их было только шесть. Но постепенно число и тех, и других быстро возрастало.

К 1925 году в школе насчитывалось уже 250 учеников и 20 учителей. Пришлось пристроить к каменному зданию довольно обширный барак. В нем находилась большая икона и перед ней аналой. В этом помещении собирались утром ученики для общей молитвы. Материальную помощь гимназии оказало французское Министерство иностранных дел. Постоянную помощь оказывала принцесса Монако, затем Международный банк, страховое общество «Россия»

и другие организации. Денег хватало на то, чтобы выдавать неимущим ученикам небольшое пособие и деньги на учебники. Дейтельное участие в организации школы приняли «Общество помощи детям беженцев из России» и лично М. А. Маклакова. Значительную материальную помощь школе оказала артистка балета Анна Павлова, устроив пансионат «для девиц, учащихся в гимназии». Занятия в школе начались в первых числах октября. За пять лет своего существования гимназия выдала 260 аттестатов, которые приравнивались к французским аттестатам.

Вскоре по приезде в Париж родители записали Юрия, которому было 12 лет, и Татьяну (сестру Юрия), ей было уже шестнадцать, в первую русскую школу в Париже. Юрий и Татьяна учениками были прилежными. Татьяна Мандельштам-Гатинская¹³ в дальнейшем тоже стала поэтессой. Как вспоминает Юрий Владимирович, приходилось иногда заниматься и по ночам.

С 1920 по 1961 год школу окончили 1200 учеников. Одним из основателей и бессменным директором Русской гимназии в Париже был Борис Андреевич Дуров. Среди преподавателей можно назвать Григория Леонидовича Лозинского¹⁴ – это был строгий и заботливый преподаватель, автор «Программы по русскому языку для внешкольного обучения», филолог, переводчик, литературный критик, историк литературы, библиофил, издатель. Попич С. Г. преподавал литературу, а Старинкович Константин Дмитриевич¹⁵ – ботанику. В гимназии преподавалась и гимнастика, благодаря энергии и умению преподавателя Г. П. Година.

Но любимым учителем будущего поэта был преподаватель русского языка Сергей Сергеевич Лукьянов¹⁶. Ему посвятил 14-летний Юрий «Поэму о русской поэзии» на шести страницах. Сергей Лукьянов был человеком яркой и драматической судьбы. В то время, когда он начал преподавать в школе, ему было 34 года. Филолог-классик, историк искусства, публицист и переводчик, он окончил Санкт-Петербургский университет, специализируясь в римской истории. В 1920 году эмигрировал в Париж. Сергей Лукьянов был одним из организаторов Русского народного университета в Париже. Разносторонние знания Сергея Лукьянова, глубокая эрудиция, вероятно, стали подражательным примером для Юрия. С. С. Лукьянов в 1927 году был выслан из Франции и вернулся в Советский Союз. В 1935 году он был арестован и погиб в заключении.

Выпускные экзамены 1925 года проходили в особой экзаменационной комиссии, председателем которой французское правительство назначило профессора Лильского университета А. Лирондела¹⁷, прекрасно знавшего русский язык и русскую литературу. Делегатом

был некий Г. Николя. Аттестат Русской гимназии давал студентам право на поступление в высшие учебные заведения Франции. В 1925 году к экзаменам было допущено 52 человека, из которых только 34 получили аттестаты зрелости и свидетельство об окончании семиклассного среднего образования. Золотую медаль получили 4 человека, серебряную – два. В 1925 году семнадцатилетний Юрий Мандельштам окончил Русскую гимназию с серебряной медалью¹⁸.

Высшее образование Юрий Владимирович получил в Сорбонне, где изучал французскую и русскую литературу, современную и средневековую историю, окончив университет одним из первых в потоке. Он так объяснял свое стремление изучать Средневековье: «...средневековые суеверия, понятие о безвыходном, неискупимом грехе – именно то мое ощущение». Мистика и мистическая литература всегда интересовала Юрия Владимировича, что мы сможем проследить в его литературных статьях. («Возвращение»)

В 1929 году он стал обладателем диплома по современной истории и русской литературе. Ему предлагают остаться работать на кафедре французской литературы, но Юрий Владимирович чувствовал свое поэтическое призвание. Так, он вспоминает годы учения в своих стихах:

Этой жизни, трудной и любезной,
Каждый год мне по-иному мил!
Каждый год своей волной железной
Сердце навсегда приворожил.
Пронеслась гимназией далекой
Череда привычных лучших лет.
Темный, непонятный, одинокий,
Позабылся университет.

Окончив Сорбонну, Юрий Мандельштам вступает в новую жизнь: многочисленные друзья, новые встречи, новые увлечения, творчество, частые выступления, работа по ночам, чтение, долгие споры и обсуждения с друзьями новинок литературы, новых имен, такая насыщенная литературная жизнь... Медленно уходят в забвение воспоминания детства:

Не надо зрелых рассуждений –
Забыто прошлое давно,
И только где-то наши тени
Глядят в июльское окно.

4. МУЗЫ ПОЭТА

Поэтическое творчество неотделимо от любовной лирики. Юрий Мандельштам – поэт-романтик, поэт-мечтатель с чистой, открытой и легкоранимой душой. Любимым посвящал он свои лучшие стихи. Читая первую книгу его стихов «Остров», напечатанную в 1930 году, когда поэту было только 22 года, мы понимаем, что юноша был влюблен в некую Злобину, замужнюю женщину, жившую в Англии. Возлюбленная умирает. В его поэзии звучит нота расставания. Тема любви, преобладающая в его первом сборнике стихов, не исчезает, но с годами боль становится глубже, печаль – заметнее, мистический ореол в поэзии становится выпуклее, тема любви – шире.

У каждого поэта есть своя великая муза. Вдохновительницей лучших стихов Юрия Владимировича стала Людмила Стравинская, старшая дочь композитора Игоря Стравинского. Она родилась в Петербурге в 1908 году, в том же году, что и Юрий Мандельштам. В 1920 году Людмила (Мика) вместе со всей семьей переехала из Швейцарии на жительство в Париж. Имя русского композитора, пианиста, дирижера Игоря Стравинского было хорошо известно в Париже. Его музыка к балетам «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная» завоевали Париж. За границей он жил с семьей с 1914 года, сначала в Швейцарии, потом во Франции. Старшей дочери Людмиле было только 6 лет, когда семья покинула навсегда Россию. Однако Мика страстно любила и русскую музыку, и русскую литературу.

Однажды на один из поэтических вечеров Георгий Адамович привел милую, застенчивую девушку и познакомил ее с Юрием Мандельштамом. С этой встречи молодые люди уже не расстаются.

И мы узнали дни освобожденья –
Сон бодрости и беспричинный смех –
Когда в одном – два счастья, два стремленья,
И каждый миг – прекраснейший из всех.

В жизни поэта эти дни были самыми светлыми: «Это – счастье, больше ничего. / Но другого нет и быть не может...» (Янв. 1938 г.) Любовь, о которой он так много писал, пришла неожиданно, как просветление, внезапное счастье, желанная мечта, и ассоциируется она у него с образом любимой женщины:

Это – ты. Бьется сердце от страха,
Замирает. Полет с высоты
В эту ночь. Ни дыханья, ни праха,
Ни любви, ни судьбы. Это – ты...

Вскоре у них рождается дочь Катерина (Китти), которую обожал молодой отец. Годовалой Китти подписывает Юрий Владимирович на память свою последнюю фотографию: «Моей маленькой доченьке, Китти, от папы, который ее очень любит». Но вскоре обрушивается на семью череда трагедий.

В те годы русскую эмиграцию буквально косит настоящая эпидемия туберкулеза. В газете «Иллюстрированная Россия» за 1935 год автор пишет: «Если присмотреться вокруг, то окажется, что туберкулезные имеются в громадном большинстве среди русских беженских семей»¹⁹. Через год после рождения дочери у Людмилы развивается тяжелая форма заболевания. Игорь Стравинский перевозит ее на лечение в санаторий. Через несколько месяцев она возвращается домой, но здоровье опять ухудшается; она переезжает на время с ребенком к родителям. 30 ноября 1938 года Людмила Стравинская умирает, оставив Юрия Владимировича с новорожденной дочерью.

Смерть не щадит и семью Стравинских. За шесть месяцев болезнь унесла три поколения Стравинских. В 1938–1939 годах Игорь Стравинский похоронил одновременно трех дорогих ему людей: дочь (Людмила умерла в ноябре 1938 года), первую жену (Екатерина умерла в марте 1939 года) и мать (Анна умерла в июне 1939 года). Над ним самым нависла смертельная опасность острой вспышки туберкулеза. Seriously заболели туберкулезом и были отправлены на лечение в Швейцарию маленькая Китти и младшая дочь Игоря Стравинского Милена – обе находились в критическом состоянии. Никто не надеялся, что они выживут. Однако их удалось спасти.

Неожиданной и страшной трагедией стала для Юрия Мандельштама ранняя смерть жены. «Мир, в котором он жил, разрушился, из человека он превратился в парию», – пишет Ю. Терапиано. От смерти жены, от этого страшного удара Юрий не оправился никогда...

Разлука бьет тяжелыми крылами,
Крылами ночь охватывает нас,
И застывает медленно над нами
Прощанья поздний час.

Дорога ждет. Раскрыты настежь двери. –
И холодеет нежная рука.
И все-таки еще любовь не верит,
Еще любовь легка.

Но вот качнется время. Слишком мало.
Платок в руке – последний знак любви,

И шепот опустевшего вокзала.
Моя любовь, живи!

Скорбь его достигает самого высокого накала. Мучают воспоминания, и чем яснее эта память о светлых днях, проведенных с любимой, тем тяжелее для Юрия Владимировича разлука. Прощание с Микой, последние минуты, проведенные возле ее постели, оставили в тонкой, ранимой душе поэта неизменный вопрос: «А можно ли было ее спасти?» Он не может долго находиться в пустой квартире – все напоминает о жене. «Тоскую и глухо страдаю. / И все-таки труд мой безмерен, / И все-таки путь мой потерян...» Цикл его стихов «Памяти твоей» был опубликован в 69 номере «Современных записок». Образ жены не оставляет поэта. Он верил, «что вечный свет, а не могильный мрак», «покой» дарует ей Господь. Он верил в высшее благо, но принять разлуку с любимой не мог.

Я верю, Господи, что это знак,
В котором благодать Твоя и сила,
Что вечный свет, а не могильный мрак
Узнала днесь раба Твоя Людмила.

Я верю, что дарован ей покой,
Что Ты и жизнь ее, и воскресенье,
И от нее отвел своей рукой
Болезни, воздыханья и сомненья.

И даже то, что не могу понять,
Без ропота стараюсь я принять.
Лишь в долгие часы ночной тоски,
Забывшись, вдруг протягиваю руку –

И нет ответной, любящей руки...
Я все приму – но как принять разлуку?

Приходят длинные, бессонные ночи: «Сердце, сердце, ведь еще не время! / Только ты не отвечаешь, сердце, / Бьешься, обрываешься, трепещешь, / Мучаешь бессонницей меня». В эти бессонные ночи пишутся и такие строки:

И только ночью сонным ядом
Далекий Север напоит,
И одиночество над садом
Как купол огненный висит.

В это время Юрий Владимирович много работает. Пишет ряд критических статей для газеты «Возрождение» и других изданий. Большинство этих статей о поэзии и поэтах, не только русских, но и итальянских, немецких, персидских, а чаще всего – французских. Серьезный анализ, глубокое понимание духовного мира поэтов, о которых он пишет, придавали особую цельность и глубинность его критическим статьям.

Романтическая сторона жизни поэтов всегда привлекала и критиков, и читателей. Тема «Женщины в жизни поэтов» казалась Юрию Манделъштаму немаловажной для понимания творчества вообще. Так, например, великая любовь Данте и Беатриче всегда и во все времена являлась символом «верности, чистоты и невоплощенности любовных желаний на земле». Женщина должна была быть для поэта «не женой или любовницей, а идеальным объектом идеальной любви», – пишет Юрий Манделъштам. Недостижимая, обожествленная женщина, так страстно и платонически любимая Данте, была замужем. Были и другие женщины у Данте, но чистый образ Беатриче, его Музы, вдохновивший его на лучшие произведения, он сотворил и оставил потомкам на века как символ неумирающей любви.

Романтическая жизнь Виктора Гюго, Эдгара По и Альфреда де Виньи также была полна любовных драм. Знакомясь со статьями Ю. Манделъштама о жизни этих талантливых поэтов, невольно приходит на ум цитата английского писателя и поэта Оскара Уайльда: «Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить».

О романтической стороне жизни самого Юрия Манделъштама мы знаем немного, но любимые женщины, встретившиеся ему на жизненном пути, вдохновили поэта на прекрасные стихи – искренние, лишенные фальши и позы, чистые, добрые, открытые. В рецензии на Собрание сочинений Юрия Манделъштама (1990), изданный в Гааге после его смерти, Ирина Муравьева пишет: «Общеромантическое направление поэзии Ю. Манделъштама с его разочарованием в жизни, поисками идеальной любви и дружбы, с его запутавшимся в слове прекраснородушием, наивной добротой и открытостью неиспорченного сердца, с постоянным, в духе раннего и неустоявшегося Фета или Полонского, перепевами душевных движений, – все это представилось мне не фактом реальной жизни и не реальной поэзией, а скорее чьей-то мистификацией, стилизацией под знакомое, среднеромантическое, ушедшее в прошлое мировосприятие, ибо трудно представить, чтобы человек, живший в середине нелегкого нашего столетия и погибший в 1943 году в немецком концлагере, сумел сохра-

нить свою 'старинную' свежесть и наивность чувства и так бесхитростно запечатлеть почти юношеское, чудом залетевшее из иных времен в наше разочарованное, циничское и взрослое время – сердце».²⁰

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Документ хранится в личном архиве Мари Стравинской.
2. Порочный круг (*фр.*)
3. *Роцин Н. Я.* Парижский дневник / Сост., ред. и авт. предисловия Л. Г. Голубева. Рук. проекта Г. Р. Злобина; коммент. Е. В. Коротковой; подготовка указателей: Е. В. Короткова и И. Л. Решетникова. – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2015. – 488 с.
4. *Зернов, Николай.* За рубежом. – Париж. 1973. Сс. 123, 125.
5. Письмо Гюго Бодлеру от 6 октября 1859 года: «Vous créez un frisson nouveau» – «Ты создаешь новый трепет» (*фр.*)
6. Строки из стихотворения «Отъезд всегда отъезд...», не вошедшего в сборники стихов Юрия Мандельштама, напечатаны впервые в газете «Возрождение, том 9, № 3033, 21 сентября 1933 г.
7. Из архива Мари Стравинской.
8. Из архива Мари Стравинской.
9. Попич Сергей Георгиевич (1879-1974) – педагог, общественный деятель, член правления Союза русских преподавателей во Франции, инициатор создания Русской академической группы во Франции, организатор Дней русской культуры.
10. Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – адвокат, политический деятель, публицист, масон. Член Государственной думы II, III, IV созывов. С августа 1917 – член Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии. Посол Временного правительства во Франции (прибыл в Париж в октябре 1917, приступить к обязанностям не успел). Член Русского политического совещания. С 1924 возглавлял Эмигрантский комитет, представительство интересов русских эмигрантов во Франции. С 1932 г. глава Совета послов, организатор Русского бюро для юридической помощи эмигрантам в Париже. Короткое время после Второй мировой войны стоял на позициях сближения с СССР, однако быстро отказался от этих взглядов.
11. В. П. Недачин (1863–1936). Эмигрировал во Францию около 1918 года. В 1920 году становится во главе Русской средней школы (будущей Русской гимназии) в Париже. Организовал в 1923 году в Париже с Л. З. Родштейном Русские курсы заочного преподавания. Читал курс истории русского языка на Высших педагогических курсах для подготовки преподавателей средней школы (1921) и на Русских курсах заочного преподавания (с 1923), выступал с лекциями в Русском народном университете, в Русской академической группе. Вице-председатель Общества просвещения беженцев из России (с 1921). Член Союза русских преподавателей во Франции (1925), в 1926 избран

его председателем. Член правления Русской академической группы (с 1925). Участник Педагогического съезда во Франции (1929). В 1930 году награжден Министерством народного просвещения Франции Академическими пальмами.

12. Дуров Борис Андреевич (1879–1977) – русский военный инженер и артиллерист, педагог, администратор, полковник – один из основателей и бессменный директор Русской гимназии в Париже. Преподавал математику.

13. Татьяна Владимировна (1904–1984) печаталась сначала в парижской периодике под фамилией матери – Штильман, позже печаталась под фамилией Мандельштам-Гатинская (Мандельштам – девичья фамилия, Гатинский – фамилия мужа, поэта Леонида Гатинского, псевдоним – Леонид Ганский).

14. Григорий Леонидович Лозинский (1889–1942). Окончил юридический и филологический факультеты Петербургского университета, позже увлекся переводами. В начале 20-х годов тесно сотрудничал с издательством «Всемирная литература». Самым известным переводом стала «Переписка Фрадика Мендеша» (1923) португальского писателя Эса де Кейроша. Был известен как филолог-романист, переводчик.

15. Старинкович Константин Дмитриевич (1888–1926) – ботаник, педагог, профессор. В 1920 г. один из учредителей Русской гимназии в Париже, преподавал физику, естествознание, географию. Впоследствии работал в Пастеровском институте. С 1921 г. был членом правления Общества просвещения беженцев из России.

16. Лукьянов Сергей Сергеевич (1888–1938?) – филолог-классик, историк искусства, журналист, общественный деятель. Сын оберпрокурора Синода С. М. Лукьянова (1855–1935). После Октябрьской революции – участник антисоветского мятежа в Ярославле в 1918 г. С 1920 г. в эмиграции. Один из идеологов общественно-политического течения «сменовеховства»: один из авторов сборника «Смена вех», а также журнала «Смена вех» и газеты «Накануне» (соредактор); член правления берлинского Дома искусств. С лета 1924 в Париже, редактор журнала «Наш Союз» (1926–1927). Был одним из организаторов Русского народного университета в Париже. В 1927 году был выслан в СССР. Занимался журналистской деятельностью, работал главным редактором московского «Journal de Moscou». 5 августа 1935 г. арестован органами НКВД и «за активное участие в контрреволюционной группе» был отправлен в ГУЛаг на 5 лет. При отбытии срока тройкой НКВД СССР за «контрреволюционную агитацию и прославление фашистского режима» (ст. 58-10 УК РСФСР) приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 27 февраля 1938 г. по месту заключения. Реабилитирован в 1956–1957. Источники: <http://www.el-history.ru/node/618>; <http://baza.vgdru.com/1/19849/30.htm>

17. Андрэ Лирондель – известный французский ученый-славист, автор книги «Шекспир в России» (1912). Он прививал своим студентам любовь к русской

поэзии. В журнале «Revue des Etudes Slaves» за 1921 год Лирондель дает общий очерк русской поэзии с XVIII века до 1921 года, прослеживая струю чистой поэзии. Занимался также творчеством А. К. Толстого.

18. Из статьи П. Григорьева, напечатанной в газете «Возрождение», № 67, 8 августа 1925.

19. «Иллюстрированная Россия», №1 (503), январь 1935 г. С. 14.

20. «Новый Журнал», № 186, 1992. Сс. 370-375.

Филадельфия

Т. В. Гордиенко

Старший брат Ивана Бунина*

Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921), журналист, революционер, общественный деятель, был для младшего брата учителем и другом. Единственный в семье Буниных, получивший высшее образование, он на три года стал домашним учителем Ивана, который оставил Елецкую гимназию, пожелав заниматься дома. Юлий проявил редкий педагогический талант и прошел с ним курс за четвертый класс, познакомил с главными законами физики и астрономии, обратил внимание на историю, языки и литературу. «...Я сразу увидел в нем одаренность, похожую на одаренность отца. – рассказывал Юлий Алексеевич В. Н. Буниной. – Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти на равных вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны. <...> Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса.»**

Юлий читал первые произведения Ивана, радовался успехам, редактировал, поддерживал материально. По окончании университета Юлий Алексеевич работал статистиком, с 1897 г. жил в Москве и был редактором педагогического журнала «Вестник воспитания». В те времена Иван Алексеевич, бывавший в Москве наездами, всю деловую и дружескую почту перевел на адрес Юлия – Москва, Староконюшенный пер., д. 32.

Несмотря на разницу во взглядах (Юлий Алексеевич в молодости был народолюбивцем), между братьями никогда не было разногласий, душевно они всегда были близки. В одном из писем Иван Алексеевич писал: «Во всяком горе и страдании я надеялся не совсем потеряться, помня, что у меня есть человек, в дружбе и участии которого никогда не придется разочаровываться, с которым мне не будет *страшно*...»***

* Книга Т. В. Гордиенко «Ю. А. Бунин: материалы к биографии» выйдет в свет в издательстве «ИКАР» в начале 2017 года. Предлагаем фрагмент об учебе Ю. А. Бунина в Московском университете (1877–1881).

** *Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. 1870–1906. Беседы с памятью / Сост., предисл. и примеч. А. К. Бабореко. – М.: Советский писатель, 1989. Сс. 62–63.*

*** Письмо И. А. Бунина Ю. А. Бунину, середина октября 1891. Орел / Бунин И. А. Письма 1885–1904. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 118.

Юлий Алексеевич Бунин родился в июле 1857 г. в городе Усмань Тамбовской губернии, где его родители, орловские помещики, находились проездом. У Алексея Николаевича и Людмилы Александровны Буниных он был первенцем. В следующем году родился Евгений, через двенадцать лет после него – Иван, в 1873 – дочь Мария, в 1874 – Александра¹. Род Буниных был известен благодаря талантам его лучших представителей. В родословной отмечены достигшие особых успехов: гравер Оружейной палаты Московского Кремля Леонтий Бунин (7202/1694), поэтесса Анна Бунина (1774–1829), которую современники называли русской Саффо, поэт Василий Жуковский (1783–1852), внук сестры Анны Буниной, географ, путешественник и меценат Петр Семенов-Тянь-Шанский (1827–1914). В XX веке славу своих предков подкрепил Иван Бунин (1870–1953), дважды отмеченный премией им. А. С. Пушкина (1904, 1909), Почетный академик изящной словесности Императорской Академии наук (1909), первым среди русских писателей удостоенный Нобелевской премии по литературе (1933).

Несмотря на то, что предки и по линии Буниных, и по линии Чубаровых (фамилия матери) были богатыми помещиками и владели землями в Воронежской, Орловской, Тамбовской и других губерниях, Алексей Николаевич и Людмила Александровна почти ничего не унаследовали. Детство детей, старших – Юлия и Евгения, и младших – Ивана и Марии, согрето родительской любовью, но материального достатка в семье не было. В своих записках «Раскопки далекой темной старины» Евгений колоритно описал деревенскую глушь и «захолустные, заросшие хлебами и бурьянами хутора», в которых прошло их с братом детство: «Вначале жили в доме матери на хуторе Огнёвке, но вскоре отец продал Огнёвку и оттуда пришлось уехать. Мне было в то время три года, а брату Юлию – четыре. Помню, нам с Юлием очень не хотелось уезжать, помню, как нас одевали и завязали, как снопы, с растопыренными ручонками, и как сбрасывали с трубы кирпичи, но далее я уже не знаю, куда нас повезли, кажется, к тетке Варваре Николаевне. Потом жили у бабушки Чубаровой, но всегда бедствовали. Отсюда тоже пришлось уехать, поселились на хуторе Бутырки. Дети мы с братом Юлием часто ходили по нашей маленькой деревне Бутырки, состоящей всего из пяти дворов; крайний двор – Горячева, второй – Аникея, третий – Максима, четвертый – рыжего Фатюшки и последний – Наума по прозвищу «Ковыряй»².

Несмотря на трудности, родители старались дать детям образование и с этой целью в 1876 г. с двумя сыновьями-погодками уехали в Воронеж, где у них были родственники. После предварительной подготовки определили мальчиков в одно из лучших учебных заведе-

ний того времени – Воронежскую губернскую (1-ю мужскую) гимназию и остались здесь на несколько лет; в Воронеже родились их младшие дети – Иван, Мария и Александра; вскоре после ее рождения Бунины вернулись домой, в Орловскую губернию. Евгений гимназию вскоре оставил, а Юлий после восьми лет обучения закончил блестяще полный курс и был полон сил и желаний продолжить учебу. В июле 1877 г. он подал документы в Императорский Московский университет на математическое отделение физико-математического факультета и был принят без вступительных экзаменов.

В Биографическом списке студентов Московского университета за 1877/78 академический год по отделу математических наук физико-математического факультета он значится среди *своекоштных** студентов, далее указаны обязательные сведения о нем: фамилия, имя, из какого сословия происходит (*из дворян*), какого вероисповедания (*православного*), год и место рождения (*1857, г. Усмань Тамбовской губернии*), где получил подготовительное образование (*Воронежская классическая гимназия, золотая медаль*), не оставался ли двух лет на курсе (*нет*), год поступления в университет (*1877*), № личного дела (*77/62*)³. Все сведения подтверждены документами, копии которых представлены в личном деле и позволяют внести уточнения в биографические словари и справочники, а также в другие публикации о Ю. Бунине, где нередко указываются неверно год и место рождения, год окончания гимназии, год поступления в Московский университет, год окончания учебы.

Родители изыскивали возможность платить за обучение сына, ибо достоинство человека, чувство уважения к себе, входило в основную шкалу ценностей человеческой личности и было характерно для представителей всех сословий России. Бунины всячески поддерживали свой статус и гордились тем, что их сын стал студентом университета.

Юлий учился с удовольствием, у него были хорошие способности, он отличался любознательностью и охотно посещал не только занятия на своем факультете, но и на других – историко-филологическом и юридическом. «Во второй половине 70-х годов минувшего века, – писал он в 1910 г. в статье, посвященной памяти С. А. Муромцева, – на юридическом факультете Московского университета почти одновременно появилось несколько блестящих молодых ученых, сразу завоевавших себе огромную популярность среди студенчества

* Своекоштные студенты российских учебных заведений, в отличие от студентов казеннокоштных, сами содержали себя в период обучения, то есть не пользовались казенным коштом.

и обративших на себя серьезное внимание профессорской коллегии. Среди них особенно выделялись А. И. Чупров, М. М. Ковалевский и С. А. Муромцев. На их лекции массами стекались слушатели не только юридического, но и других факультетов. Живая и глубокая мысль, богатая эрудиция, стройность научного анализа молодых профессоров покоряла умы и сердца молодежи, но, быть может, наиболее привлекательными свойствами этих ученых в глазах студенчества было то, что на их лекциях молодежь находила отклики на наиболее животрепещущие вопросы, волновавшие тогда русское интеллигентное общество»⁴.

Юлия привлекала история, литература, юриспруденция, статистика. Нравилась оригинальность идей, высказываемых профессорами с кафедры, их умение увлечь, привить вкус к учебе и самостоятельной работе, приятно было испытывать с их стороны уважительное отношение к себе. Он понимал, что слушает лекции лучших профессоров, имеющих мировую известность, и очень ценил это. В своих заметках об университете с восторгом писал о многих: восхищался лекциями историка литературы, филолога Н. С. Тихонравова, в то время занимавшего пост ректора, и другими. «Теперь мне кажется, – писал он в воспоминаниях, – трудно себе представить, чтобы, например, на лекции такого специального предмета, как гистология, сходилась чуть не весь университет, а тогда было именно так. Профессором гистологии был знаменитый ученый А. И. Бабухин, читавший не более пяти-шести раз в году. По виду он напоминал гётевского Фауста, погруженного в решение мировых проблем. Его лекции касались всегда самых основных вопросов науки и философии»⁵.

Особо отметил Бунин плеяду блестящих физиков, математиков: «На нашем факультете были выдающиеся ученые: профессора Бредихин, Столетов, Цингер, Бугаев. Исключение представлял (Последнее слово Юлий подчеркнул. – *Т. Г.*) лишь профессор опытной физики Н. А. Любимов, сподвижник Каткова и Леонтьева. Чуть не все профессора, выражаясь нынешней терминологией, ‘бойкотировали’ его после того, как он в половине 70-х годов выступил противником академической автономии. Его курс мало чем отличался от гимназического, и студенты относились к нему пренебрежительно»⁶.

Первый курс Юлий Бунин закончил успешно, подтвердив свои гимназические успехи. На переходных экзаменах он получил пятерки по всем предметам, кроме физики, которую сдал на четверку. Второй академический год (1878–1879) в учебном плане оказался сложнее: активизировались другие интересы, потребовавшие немало сил и времени. Еще учась в воронежской гимназии, он увлекся идеями народников, и в университете, встретившись со старыми знако-

мыми, к концу первого курса стал активным членом кружка, организованного воронежским землячеством; как он сам позже отметил в анкете, «примкнул к революционным кругам».

На первый взгляд, в этом не было ничего особенного. Вся история Московского университета с самого основания свидетельствует не только о больших достижениях в становлении «русской учености и русского просвещения», но и неотделима от формирования «русского общественного сознания». Стремление к свободе и свободомыслию было характерной чертой каждого университетского поколения. «Служение науке Московский университет никогда не отделял от служения текущим духовным потребностям общества. Он всегда умел вводить свою научную работу в русло кардинальных вопросов, овладевших общественным вниманием, и отсюда проистекала глубокая духовная связь его со всем русским обществом. Его судьба тесно сплелась с судьбами всей России», – писал о Московском университете в своих воспоминаниях выпускник историко-филологического факультета (1884–1888) А. А. Кизеветтер⁷.

Для Юлия увлечение политикой оказалось слишком серьезным, едва ли не первостепенным делом. Он начал играть все более заметную роль в студенческом движении. Курсистка Е. В. Игнатова довольно полно охарактеризовала деятельность членов «кружка воронежцев»: «Мы – я и две моих кузины, Лидия и Мария Васильевны Игнатовы, – приехали во второй половине 70-х гг. в Москву (Из уездного города Белёва. – *Т. Г.*), поселились в Козицком переулке, вблизи Тверской улицы. Под нашей квартирой жили студенты, которых мы часто встречали на лестнице. Всего в нижней квартире помещалось человек пять студентов, которых связывало между собой воронежское ‘землячество’, потому что все они окончили гимназию в этом городе». Одного из них, который произвел большое впечатление, они выделили особо. Это был Юлий Бунин, «сын мелкого помещика Елецкого уезда Орловской губернии: небольшого роста, круглый, лет 18-20, с густым басом, вовсе не соответствовавшим всей его незначительной фигуре, он являлся живым, умным и начитанным. Среди членов этой компании, которая слыла под кличкой ‘воронежцев’, Юлий Бунин отличался наибольшей деловитостью, энергией и преданностью трудящимся массам. Во всякое общественное предприятие он вкладывал всю свою душу, проявлял находчивость, инициативу, предприимчивость: при этом был чрезвычайно искренен, добр, отзывчив. Своим веселым и открытым нравом он сразу привлекал каждого на свою сторону»⁸.

Благодаря Юлию, девушки приобшились к «новому миру», о котором до знакомства со студентами-воронежцами «только слышали

издалека». Теперь они участвовали в разных сходках, собраниях, вели разговоры и споры о политике, выражали сочувствие или возмущение, производили сборы пожертвований и сами отдавали что могли, устраивали приют для нелегальных, заботились об арестованных и высылаемых, хранили и распространяли нелегальную литературу. Об одной из сходок, которую организовал Юлий, Игнатова рассказала подробнее. Из ее воспоминаний понятно, что особое место кружковцы отводили агитационной работе. Выполняя поручения, Юлию приходилось выезжать в другие города – в Казань, Харьков, Петербург. Он занимался серьезными, политическими, делами; впрочем, в этом тоже не было ничего удивительного: «студенты приходили в университет, сплошь пропитанные политикой» (К. И. Солнцев)⁹, и «подразделялись главным образом на три группы – на политиков, на будущих обывателей и на будущих ученых» (А. А. Кизеветтер). Юлий примкнул к первой группе. Его духовными наставниками были Чернышевский, Михайловский, Лавров, он любил классическую литературу, много читал, и литература делала его мягче, эмоциональнее. Помыслы его были чисты, он искренне хотел помогать народу в его бедственном положении и верил, что сделать это можно «хождением в народ» с просветительскими целями, поэтому видел большой смысл в политической деятельности и посвятил ей лучшие студенческие годы. Он был не одинок, в политическом отношении студенты «взрослели» быстро, а Юлий к тому же некоторый опыт получил до университета.

П. Н. Милуков, двумя годами младше его, учившийся в те же годы (1877–1882) на историко-филологическом факультете, вспоминал: «В годы моего пребывания в университете Россия, несомненно, вступала в свой революционный период. И если в последних классах гимназии мы могли только догадываться, что за доступными нам предельными что-то происходит для нас непонятное, а в первые два года университета могли лишь урывками и без достаточного внимания следить за фактами, доходившими до нас больше в форме судебных процессов, то вторые два года, 1879–1880 и 1880–1881, составили в этом отношении решительный перелом...» Значительная часть общества и все либеральное общественное мнение втайне сочувствовали революционерам. Не могло такое настроение не задеть и университета, этого «барометра общества», как выразился Пирогов¹⁰.

В отличие от тех, кто только начинал сочувствовать революционерам, Юлий давно был приобщен к серьезным делам: летом 1879 года он принимал участие в работе съезда партии «Земля и воля» в Липецке, где решался вопрос о тактике революционной борьбы и произошел раскол: партия «Земля и воля» разделилась на две части –

«Народную волю», где большинство считало наиболее приемлемым способом борьбы с властью терроризм, и «Черный передел», где были его противники во главе с Г. В. Плехановым. Бунин только укрепился в правильности своего выбора¹¹. Вспоминая студенческие годы, он писал, что ко второму году обучения почти все студенты были вовлечены в политику и подчеркивал, что «активное студенчество» делилось тогда на две группы – «радикалов» и «либералов». Милуков принадлежал к более умеренной части студенчества, либеральной, которая больше внимания уделяла внутриуниверситетским проблемам, хотя «на общих сходках, как только они собирались, уже говорили открыто не о студенческих учреждениях, а о вопросах общей политики, и студенческая сходка превращалась в политический митинг»¹². «Радикал» Бунин, называя своих ближайших товарищей по учебе, прежде всего выделял старшекурсников, *убежденных революционеров, не изменивших своих взглядов до конца жизни*: «Много прекрасных и идеальных образов молодежи на всю жизнь запечатлелось в моей памяти. Я уверен, что их хорошо помнят и прочие мои сверстники. Назову покойного Н. Ф. Смирнова – автора петиции министру народного просвещения Сабурову, человека, заставлявшего своими речами плакать целые сходки, И. Ю. Старынкевича, пошедшего на двадцать лет в каторжные работы за распространение прокламаций среди гимназистов. Он жестоко пострадал только за то, что на суде держался с чисто юношеской откровенностью. Большую роль среди студентов играли еще П. П. Викторов, П. П. Кашенко (теперь оба врачи-психиатры), С. В. Мартынов и другие, наш кружок ‘воронежцев’ также пользовался большой популярностью. Несмотря на то, что большинство радикальной молодежи было преданно политике, они в то же время усердно занимались наукой»¹³.

Все чаще имя Юлия Бунина называлось в числе участников и даже организаторов сходок, митингов, но это не помешало ему приобрести разносторонние и глубокие знания не только по математике и физике, но и по литературе, экономике, статистике, которые не входили в учебный план математического отделения. Второй курс он завершил с двумя пятерками, тремя четверками и двумя тройками; по этим результатам был переведен на третий курс, хотя средний балл по сравнению с первым курсом несколько понизился. Наступал самый ответственный период, так как на третьем курсе заканчивался теоретический курс и предстояли текущие и переводные экзамены по основным предметам, а занятия политикой отнимали много времени. Нормальное течение учебного процесса нарушалось также диспутами, собраниями политического характера, превращая учебные аудитории в политический клуб.

В конце февраля 1879 г. по приговору Центрального революционного исполнительного комитета за шпионаж и предательство подпольщиками был убит некий Рейнштейн. Полиция в поисках злоумышленников провела обыски на даче Фивейского в Петровско-Разумовском и в других местах, где жили студенты. Было арестовано 90 человек, их заподозрили в причастности к убийству; взяли даже тех, кто был всего лишь знаком или хоть однажды встречался с Рейнштейном. У Юлия произвели обыск, среди арестованных оказались его ближайшие друзья – Мартынов, Лебедев, Викторов, Иванов. Во время обыска у него ничего серьезного не нашли, но взяли его на заметку, так как полиции стало известно об агитационной деятельности, которую он вел вместе с В. И. Яковенко и С. А. Гончаровым. После этого Юлий окончательно попал в число политически неблагонадежных студентов и оказался под постоянным всевидящим оком полиции. Административным и полицейским властям было рекомендовано «принимать меры против недозволенных сходок в учебных заведениях». Меры были ужесточены, но особых результатов это не дало. Среди рукописных листов, приложенных к воспоминаниям Ю. Бунина о жизни в Полтаве (время написания примерно 90-е годы XIX века), есть записи, содержащие тезисное изложение основных политических выступлений студентов университета в 1879–1880 гг., в которых он принимал участие. Эти сведения, поданные в телеграфном стиле, напоминают сводку военных действий¹⁴. В то время также широко обсуждался вопрос пересмотра Устава 1863 года.

Вопрос о введении нового устава рассматривался в течение нескольких лет, особенно остро он возник в 1879 году, когда были изданы «Временные инструкции для университетской инспекции» и «Правила для студентов», по которым в некоторых университетах вводилась независимая от ректора инспекция, а попечитель получал право делать выговоры, назначать и смещать профессоров¹⁵. Как и прежде, правительство делало все, «дабы изыскать надежные способы к обеспечению правильного развития университетского образования соответственно выяснившимся потребностям государства и в духе несомненного просвещения». Новые правила вызвали сопротивление студентов; они требовали расширить сферы самоуправления, добивались автономии путем легализации студенческих организаций, требовали предоставить им дополнительные льготы и непременно отразить это в новом уставе. Решили по возникшим вопросам обратиться к министру народного просвещения Сабурову, который готовил реформу устава и хотел услышать «организованное мнение студенчества». Несколько человек, среди которых был и Ю. Бунин, так называемые представители, отдали свою петицию ректору для пере-

дачи ее министру. Однако когда о петиции написали в газетах, появились правительственные сообщения, что такой документ никуда не поступал. Студенты возмутились и потребовали от ректора ответа. Встреча с ректором, позже описанная многими участниками, прошла бурно, но Тихонравову удалось во время сходки дать объяснения и дипломатично все уладить. Потом прошли еще некоторые акции, участником которых был Бунин, и он был взят на заметку инспектором курса, что в дальнейшем негативно сказалось на его участи.

11 октября 1880 г. на заседании Совета ИМУ рассматривались учебные дела студентов физико-математического факультета, выдержавших «переводные и окончательные экзамены» за третий курс, по результатам которых Юлий Бунин был переведен на четвертый, завершающий, курс. Для получения степени кандидата следовало подготовить сочинение на тему по выбору из числа главных предметов факультета и после экзаменов по главному предмету не позднее чем через 6 месяцев представить научную работу, после защиты которой решался вопрос о присуждении степени кандидата.

В начале декабря 1880 г. в одной из аудиторий проходила шумная сходка. Профессор Д. Н. Зёрнов, который читал лекцию в соседней аудитории, записал фамилии некоторых участников, их немедленно арестовали, а оставшиеся возмутились, повели себя вызывающе и устроили скандал Зёрнову, забросав его тухлыми яйцами, яблоками и громко выражая свой протест. Затем демонстративно отправились к квартире ректора, но по дороге их тоже арестовали, а так как дело шло к вечеру, то всех отправили в Бутырскую тюрьму; о коротком пребывании там Юлий оставил записи в цитируемых выше воспоминаниях: «В тюрьме мы расположились свободно и устроили новую сходку. Пели песни, причем в пении отличался В. С. Миролубов, впоследствии прекрасный оперный певец. Утром большинству студентов разрешили уйти по домам. Ночь с 5-го на 6-е декабря некоторые еще оставались в тюрьме. Было весело, 'с воли' передали пирожных, конфет, цветов. Утром всех отпустили, хотя студенты явно нарушили дисциплину, отреагировав беспорядками на справедливое замечание профессора беспорядками, и признавать свою вину никто не собирался».

Волнения возникали и в феврале 1881 г. по случаю кончины Ф. М. Достоевского. Собравшиеся в одной из аудиторий студенты говорили о масштабе личности писателя, о значении его произведений, о свободе и достоинстве. Возмущались тем, что Достоевский был несправедливо приговорен к смертной казни по делу Петрашевского, что в каторге его наказывали розгами. Затем разговор зашел об учреждении общестуденческих организаций – столовой,

читальни, кассы. Единства не было, сразу обнаружилось два непримиримых течения. Одни, более умеренные, избрали представителей от каждого курса и решили обсудить все в узком кругу. Для заседания им предоставили зал, и они ушли. Другая часть студенчества (более радикальная) стояла на том, что возникшие разногласия должна разбирать специальная комиссия, выбранная общестуденческой сходкой. Из-за противоречий, которые возникали постоянно, приходилось к одним и тем же вопросам возвращаться по нескольку раз. Проректор издал несколько приказов, призывающих студентов к порядку и предупреждающих об ответственности. Но это не подействовало.

Убийство 1 марта 1881 г. императора Александра II вывело из равновесия все общество и спровоцировало новые беспорядки в ИМУ. 7 марта 1881 г. студент Н. Зайончковский призвал участников студенческой сходки почтить память погибшего императора и послать венок на его могилу, но был освистан большинством, хотя некоторые поддерживали его и начали сбор денег. Правда, сдавали неохотно, а кто-то даже бросил в шапку пуговицу. Зайончковский донес об этом начальству, за донос над ним потребовали студенческого суда, который проходил под председательством студента Милюкова. «Мне подсказывали со стороны, – вспоминал Милюков, – что ректор согласен даже на увольнение Зайончковского из университета, если суд вынесет такое решение. Но мне оно казалось юридически спорным и политически опасным. И я убедил собрание ограничиться порицанием и запрещением Зайончковскому впредь принимать участие в студенческих делах.» 10 марта сходка вынесла Зайончковскому «нравственное порицание и лишила его права голоса в студенческих делах»¹⁶. 13 марта проректор С. А. Муромцев сделал новое письменное предупреждение по поводу все усиливающихся выступлений студентов, в котором писал, что в случае возникновения новых сходов все участники будут немедленно задержаны и дело их безотлагательно будет направлено в университетский Совет для наложения строгого взыскания.

Поводом для очередных выступлений студентов, участником которых был Юлий Бунин и которые привели к резкому повороту в его жизни, стала защита докторской диссертации И. И. Иванюковым, профессором Петровской земледельческой академии, который рассматривал «основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени». Защиты в университете проходили открыто, гласно и, как правило, собирали большую аудиторию. Диспут по защите Иванюкова состоялся 27 марта. «Наша компания, – писал Юлий, – зная взгляды Иванюкова (Иванюков очень развязно трактовал революционный социализм, называл его ‘уличным’ и т. п.), готовились к диспуту и в числе неофициальных оппонентов был

П.П. Викторов», который выступил очень аргументированно и опроверг основные положения, выдвинутые диссертантом. Это вызвало переполох, начался шум, шипение, свист. Председатель поспешно объявил постановление о признании Иванюкова доктором и закрыл заседание». Студенты не успокоились и вынесли свой протест. В результате их фамилии записали и завели дело. Викторова выслали из Москвы в тот же день, наказанию подверглись около 400 студентов, решение по каждому принималось индивидуально. Многие были исключены из университета на год с правом обратного поступления. Юлий в числе 30 зачинщиков был предан университетскому суду. Это было крайней мерой, но все-таки лучше, чем рассмотрение такого вопроса в других инстанциях. Университетский суд свидетельствовал об особом статусе ИМУ; благодаря ему профессора и студенты «изымались из общей подсудности, что подчеркивало автономию университета».

Процесс рассмотрения дела о беспорядках занял не более двух недель. Вначале дело рассматривалось в университетском суде в соответствии с существующей процедурой: были собраны все документы, служебные и докладные записки, объяснительные от провинившихся, характеристики и прочее (суд собрался впервые за несколько лет: ни в 1878, ни в 1879, ни в 1880 поводов для его заседаний не было). Суд заседал 3 апреля, и «после допроса обвиняемых и свидетелей по всем обстоятельствам дела, указанным в обвинительных актах Правления. держа в рамках своей компетенции и на основании фактов, обнаруженных судебным расследованием», вынес различные взыскания: некоторым был занесен выговор в штрафную книгу, выговор в присутствии Совета от ректора с объявлением, что в случае повторения они будут немедленно уволены из университета, кого-то исключили на один год с правом восстановления и проч. Постановление суда рассматривал Совет университета и ужесточил наказания. Нил Савицкий, Юлий Бунин, Герман Берков, Альфред Браун, Вольф Поляк, Максимилиан Герман, Руф Аппельберг были уволены без права обратного поступления в университет, но с правом к началу будущего академического года поступать в другие университеты. Более суровое наказание получили Илья Ромм и Петр Кашенко – они были исключены из Московского университета навсегда, но поступать в другие высшие учебные заведения могли только через два года. 11 апреля всем студентам выдали соответствующие решения и увольнительные университетские свидетельства, у них отобрали студенческие билеты и вид на жительство.

Жизнь усложнялась, оставшись без документов, Юлий вынужден был уехать из Москвы. Сделав попытку продолжить образование

в Новороссийском университете (Одесса), в итоге поступил на математический факультет Харьковского университета и закончил его в 1882 г.¹⁷.

Научная карьера, которую ему прочили, не состоялась. Он работал статистиком в Харькове, с 1883 по 1897 г. возглавлял Статистическое бюро Полтавского губернского ведомства, с 1897 года жил в Москве, редактировал один из лучших педагогических журналов «Вестник воспитания» вплоть до его закрытия в 1918 г. С братом не уехал, хотя И. А. и В. Н. Бунины звали его. Умер в нищете 17 июля 1921 г. в Москве, похоронен на кладбище Донского монастыря рядом с могилой своего учителя С. А. Муромцева.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. У Буниных родилось девять детей, пятеро умерли в младенческом возрасте. Младшая сестра, Александра, умерла в феврале 1879 года (Летопись жизни и творчества И. А. Бунина. Т. I (1870–1909) / Сост. С. Н. Морозов. – М.: ИМЛИ РАН, 2011. – С. 18).
2. *Бунин Е. А.* «Раскопки далекой темной старины»// Литературное наследство.– М., 1973. – Т. 84. Иван Бунин: В 2 кн. – Кн. 2. – Сс. 224-235.
3. Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 418. Оп. 515. Д. 11. Л. 8.
4. *Бунин Ю.* Сергей Андреевич Муромцев (некролог) // «Вестник воспитания», 1910, № 7, 1-й отд. Сс. 1-8.
5. *Бунин Ю. А.* Из студенческих воспоминаний / «Заря», 1914 № 1. С. 12.
6. И. И. Бабухин, каким его запомнил студент медицинского факультета (1879–1884) А. П. Чехов, изображен в рассказе «Скучная история» (1889).
7. Ф. А. Бредихин, выпускник физико-математического факультета, избрал своей специальностью астрономию; В. Я. Цингер – специалист по прикладной математике, механике и геометрии; А. Г. Столетов – профессор физики и математики; Н. В. Бугаев – профессор математики; Н. А. Любимов – профессор физики, публицист; М. Н. Катков – профессор философии. Существует много мнений, свидетельствующих об их профессионализме. В оценке Любимова и Каткова, возможно, отразились политические пристрастия Бунина.
8. *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий. Студенческие воспоминания. // Московский университет: 1755–1930. Юбилейный сборник. Париж. «Современные записки», 1930. Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) – историк, публицист, политический деятель. В 1922 г. он был выслан за границу. Жил в Праге. Читал лекции по отечественной истории в Русском юридическом институте, Народном и Карловом университетах. Член Союза русских академических организаций за границей, с 1932 года – 5-й председатель Русского исторического общества в Праге (1932–1933). Похоронен в Праге на Ольшанском кладбище.

8. *Игнатова Е. В.* Московские народники конца 70-х годов // Группа «Освобождение труда». Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич и Л. Г. Дейча. Сб. 5. – М.-Л.: Госиздат, 1926. – Сс. 45-52.
9. См. статью К. И. Солнцева «Университет и правительственная политика» // Двухсотлетие Московского университета, 1755–1955: Празднование в Америке. – Нью-Йорк, 1956.
10. *Милуков П. Н.* Воспоминания. Студенческие годы (1877–1882) // Московский университет в судьбе писателей и журналистов. – М.: Издательство «ВК», 2005. – С. 359. Впервые: Нью-Йорк: Издательство им. Чехова. Под редакцией М. М. Карповича и Б. И. Элькина. В 2-х тт. 1955.
11. Ю. Бунин знаком был с Андреем Желябовым, Софьей Перовской, Германом Лопатиным, Александром Михайловым, о каждом написал небольшие очерки, которые (кроме очерка о Желябове) так и не увидели свет (черновые автографы хранятся в государственных архивах).
12. *Милуков П. Н.* Указ соч. С. 361.
13. *Бунин Юлий.* «Из студенческих воспоминаний» / «Заря», 1914, № 1 (январь).
14. Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ. Ф. 612. К 1. Ед. хр. 1. ЛЛ. 25, 26 об.
15. Императорский Московский университет: 1755–1917.: энциклопедический словарь. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 748.
16. Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов. Воспоминания. Дневники. Письма. Статьи. Речи. – М. 2005. Сс. 361, 380.
17. РГАЛИ. Ф. 1292, Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 1.

Москва

Никита Кривошеин

Просвещения плоды

В нашем парижском храме на улице Петель (Московская Патриархия) с его основания в 1932 году поминают «Богохранимую страну нашу, власти и воинство ее», это поминание призывало снисхождение Благодати Небесной на т. Сталина и РККА, сейчас имеются в виду администрация РФ и воинские части, временно пребывающие в Сирийской Республике. Но насчет церковно-государственной «симфонии» и соотношения властей духовных и светских – лучше читать Апостолов и Соборы. Или не слишком вникать...

Несколько раз после службы ко мне этой зимой подходила талантливая молодая художница по тканям, сама из Украины, о Советах по году своего рождения знающая чуть более, чем я об интегральном исчислении. Она прочитала о «зигзагах» моего бытия и восприняла их, как уравнение с четырьмя неизвестными. «Никита Игоревич, как же так Ваши родители взяли советские паспорта после войны и оказались в Советском Союзе? Что их дернуло?» В две фразы не уложиться, мой малоучтивый ответ был: «Вот в следующее воскресенье расскажу».

После смерти отца в 1987 году всезнающий интернет мне напомнил, что Игорь Александрович уже в 1940-м вышел из РОВСА и прикнуд к «оборонцам», предтечам советских патриотов. Долголетняя активность мамы в Казем-Бековских младороссах («Царь и советь») готовила ее в скором будущем стать адептом культа личности И. В. Сталина. В 1955 году, когда Глава, таков был титул Александра Львовича Казем-Бека в созданной им промуссолиневской партии, сбежал из США в Москву от ФБР, почти хвалясь на четвертой полосе «Правды», что «всю жизнь торговал родиной оптом и в розницу», Нина Алексеевна отказалась с ним общаться.

Вероломное нападение 1941 года поставило многих и в стране, и в немалой части диаспоры перед необходимостью экзистенциального выбора: «my country, right or wrong» – «права или неправы, – моя страна». Избитые энкеведешниками политзеки из Магадана и Темняков стали проситься на фронт; было в том своеобразное осмысление до того безнадежно абсурдной их жизни. «Братья и сестры!» –

заговорил и Предсовнаркома! Первое напоминание о Кутузове для страны Советов стало возвращением к запрещенным до того словам.

Но ведь были массы крестьян, встретивших Вермахт с иконами, были военнопленные, записавшиеся в РОА к Власову, – они рассчитывали отплатить за поруганные коммунистами церкви, за коллективизацию, за сгинувших сосланных и арестованных близких.

Да и в эмиграции многим подумалось, что пришел день отбить Перекоп у Фрунзе и переиграть Октябрь. Петербургский историк Кирилл Александров недавно блестяще защитил докторскую диссертацию о личном составе генеральского и офицерского корпусов РОА. Александров отмечает, что немало белых эмигрантов (им было тогда около сорока лет) добровольно пошли к Власову продолжать борьбу с большевизмом. О Дахау и Треблинке они знали тогда не больше жителей самой Германии, а желтые звезды в городах оккупированной зоны Франции их мало смущали, – старые предрассудки.

Но все-таки, как же лукавому удалось потащить репатриантов к Генералиссимусу да на съедение ГБ? Предметы моего довоенного детства, плюс сызмальства ежевоскресные длинные обеды на улице Дарю, да слушания, когда бывали гости набоковской чистоты невской речи, – всё это пригодило меня к سموотожествлению с местами, покинутыми родителями в результате октябрьского путча.

В моей комнате с триколорной каемкой висел портрет Государя, на камине в гостиной в овальной рамке – невыцветшая фотография, сепия Олега Кривошеина, старшего брата моего отца. Считалось, что он в Гражданскую пропал без вести (в конце 1960-х в Москве от убежденного Небом не сумевшего эмигрировать кузена узналось, что взявшие Олега в плен красные пытками довели его до повешения в камере). В кладовке, вместе с мешками опилок (утрамбованными опилками топились в войну печки), находилась шашка, данная на вечное пользование папиным однополчанином Вельяшевым. На рукоятки холодного оружия большой вензель «Н П». Мне давали этой шашкой играть.

Мои первые воспоминания от Вермахта в Париже: сперва очень понравился ежедневный военный оркестр, марширующий в полдень на Елисейских полях, хоть преподавательница-эльзаска открыто проклинала «бошей».

Позднее последовал шок от того, как трое немецких офицеров 22 июня 1941-го у меня на глазах арестовали отца (тогда обошлось шестью неделями в Компьенском лагере), затемнение города и нетопленность – все вместе кристаллизовало во мне юного антинемца (позднее стал германофилом). Я уже был готов к любованию фотографией маршала Жукова, к родительскому умилению при слушании

в 1943-м на пятиламповом приемнике Михалковских гимнов-куплетов, подменивших «Вставай проклятием...» Как пишут в конвейерных романах, «кто бы мог знать», что тот же коротковолновый деревянный ящик нам с матерью будет вещать первые, еще неуклюже глушимые передачи радио «Освобождение», предтечи «Свободы», в безобразном Ульяновске и вселять надежду, что мы не одиноки?

С каким послекусием вспоминался «резмигрантами» ставший со временем хрестоматийно известным их обед 1947-го у посла Богомолова, с Молотовым во главе стола. А Ремизов плохо скрывавшему ошаление Молотову за этим обедом старательно рассказывал о мышке, а И. Бунин приглашения на обед не принял, хоть до того распил с Симоновым привезенную им поллитру и побывал в посольстве с коротким визитом. Темы тех встреч: возвращайтесь, убеждайте возвращаться всех вокруг себя. Как тут не похвалить себя: в отличие от многих подростков, «импортированных» эмигрантами-родителями в СССР, я проклял Советы очень скоро, еще до того как гэбэшники утром 20 сентября 1949 года пришли арестовывать отца, чтобы упрятать его на годы. Иные же мои сверстники из эмигрантов приложили все свои мимикрические силы, облачились в маскировочную спецодежду бесцветной окраски и стали, как все вокруг, советскими. Как в советских глухих городах парижские подростки Андрей Волконский, Ольга Чавчавадзе, Никита Вишневский, Михаил Терентьев воспринимали хождение после покинутых французских лицеев в школу, учрежденную Союзом советских граждан в Париже? Хотя преподаватели в ней были гимназического толка, мало что знающие о Павке Корчагине и Днепрогэсе.

В отличие от одноклассников, ослепших от патриотического восторга, я и в гимназии 16-го округа Парижа не оглох и вслушивался, когда вокруг меня речь шла о многих советских людях, делающих все, чтобы не попасться военной репатриационной миссии, которая бы доставила их на любимую родину. И военнопленные, и остербайтеры, и просто воспользовавшиеся оккупацией, чтобы покинуть СССР, – их во Франции сосредоточилось такое количество, что они стали смутительным фоновым шумом на еженедельных собраниях и кинопоказах Союза советских граждан. Для меня, четырнадцатилетнего увлеченного любителя периодики, Катюнь уже тогда была не «доказанным преступлением немцев», а тайной. Печать изобиловала статьями о великой книге великого Виктора Кравченко «Я выбрал свободу». Том я подержал в руках, и по обзорам мне начинало казаться, что фиалки пахнут не тем.

Лето 46-го мы проводили в русском пансионе в предгорье Альп,

замок Арсин. Владельцы замка – казанского корня старики Штранге. Их сын Михаил участвовал вместе с Эфроном и Н. Клепининым в организации убийства коминтерновского перебежчика Игнатия Рейсса. Но ни родители Михаила, ни полиция об этом тогда не знали. Летом 46-го там пребывал мой тезка Никита Струве, на два года меня старше. В 1972-м, когда я вернулся в Париж, он, человек в словах и памяти прецизный, вспомнил, как мы в Арсин гуляли вдвоем по горному лесу и он спросил о планах моих родителей. Я ответил ему, что меня там могут расстрелять. Я этого разговора не помню. И уже в Советском Союзе сие трезвоумие не помешало мне перелистывать «Огонек» и аплодировать фильмам «Свинарка и пастух» и «В шесть часов вечера после войны».

Елисейские поля еще со времен Бедеккеровских с красной обложкой путеводителей XIX века известны как «самый красивый проспект мира». И сегодня это так; в одну прямую километров на пять вмонтировались друг в друга арки Карусель и Триумфальная, а также примкнувшая к ним относительно недавно, рассчитанная под перспективу арка Дефанс. В 1938-39 гг. няня-полька, потом няня Варвара водили меня туда за руку кататься на деревянных лошадках. В 1941-42 – как не понять восьмилетнего мальчика! – я уже сам ходил к верхней части Полей, ближе к Триумфальной, любоваться ровно в полдень спускающимся к площади Согласия немецким военным оркестром с кавалеристом тамбурмажором. Парижане старались это зрелище манкировать, а любующихся подростков было много. Идти от нашего дома до Полей минут двенадцать, не более, тогда родители легко отпускали детей в город одних.

На Елисейских полях кинотеатров не менее пятнадцати. Первый фильм в жизни я посмотрел в 1939 году – «Белоснежка», конечно, с мамой. Сразу после войны со сверстницей Вероникой Рабинович (ее отец-адвокат был одним из юнкеров у Зимнего) ходили туда смотреть «Набережная Орфевр» с гипнотизирующим Жувэ. И впечатливший «судьбоносно» по сценарию Сартра фильм «Ставки сделаны» – там и потусторонность, и реинкарнация, и добро со злом вперемежку. И главное – доходчиво рассказано, что свобода существует и что ее надо любить.

По оккупационным продкарточкам из универсама «Юнипри» на Елисейских я помогал маме нести покупки, гастроном был богат выбором. По четвергам на примыкающей авеню Матиньон метров триста в ряд стояли филателисты, и у меня собрался альбом; марки удалось в Ульяновске продать за цену овсяной похлебки. На площади Согласия 25 августа 1944 (дата будущего моего ареста) – креще-

ние огнем: сбежал от матери, а там стреляют, берут приступом Морское министерство. Интересно, как в кино. А 8 мая 1945-го мы с Ниной Алексеевной долго стоим на Круглой площади Полей, у памятника Клемансо: счастье братающейся с союзниками толпы, колокола всех церквей, фейерверки, а для нас – знание, что отец неведомо где в Германии – и жив ли? Только дней десять спустя узнаем, что он освобожден из Дахау. К тому времени Поля стали для меня магнитным полюсом Земли!

И хоть теперь живем за десять остановок метро, хожу по ним до самой Триумфальной, возвращаюсь другим тротуаром. Через каждые пять каштановых деревьев восседает кочевник, прибывший из стран Центральной Европы (pays de l'Est, «страны Востока», говорят парижане), – кто с бумажной иконкой, кто с баяном, с котом или псом. Клянчат на еле понятном языке. Уходя вечером с рабочей смены, грутально опустошают содержимое помойных баков. Торговля роскошью в основном переместилась в переулки, а на самих Полях и палатка с гамбургерами может попасться... И в такой глобалистской ипостаси – как есть самый красивый проспект мира. Отечество лишь Елисейские поля, не зря местоположение Эдена у древних греков обозначено именно так...

В ноябре 1947 года – третий арест отца, на сей раз французской полицией; второй, промежуточный (гестапо), я прозевал, а четвертый, в Ульяновске – от него увижу лишь вещественные доказательства совершенного ГБ преступления: распоротого плюшевого мишку моего детства, разломанную рамку семейного портрета, неопишуемый хаос. Игоря Александровича и еще 23 эмигранта – советских патриотов – французская полиция немедля выслала в Восточную зону оккупации Германии. Потом недолгий этап в Москву – и отсылка в Симбирск-Ульяновск. Письма оттуда отец слал странно двумерные. Я поискал на карте: понравилось – широкая река.

Воссоединение семей высланных готовилось до конца апреля 1948 года. Мама и дядя Кирилл удвоили периодичность вождения меня в театры-музеи и на вопрос: «Откуда щедрость?» – объяснили: «Мало ли что, зато успеешь увидеть как можно больше». На мое здравомысленное возражение: «Буду приезжать летом. Все успею», – дядя Кира промолчал.

Оформление виз на «постоянное жительство». Увещевание тов. Абрамова, консула СССР, укладывающим багаж белоэмигрантам: «Не перегружайтесь, берите как можно меньше, приедете, все быстро купите». Лгалось им легче, чем дышалось... Нина Алексеевна наполнила большого объема плетеную из прочного тростника корзину. Отдельно чемодан фамильных предметов, фотоальбомы, картины,

ценности. Среди скарба – черная сверхместительная клеенчатая базарная сумка, антиномия советской авоськи, оказавшаяся столь же долголетней, как библейские патриархи. Сумке этой было суждено проявить себя магически почище, чем в толстовской пьесе о спиритизме.

Предотъездных прощаний минимум, родственники не столь близкие. Но с начинающей болеть Ольгой Васильевной, двоюродной бабушкой, – последняя встреча, она это прекрасно понимала, – душе-раздирающе. В начале 1920-х она успела побывать среди первых постояльцев Лубянки. Хоть и человек большой флегмы, в 1946-м она почти до слез умоляла отца сойти с рокового пути советского патриотизма. Все втуне. Об ульяновском аресте она, конечно, узнала. Господь не дал ей полгода дожить до благословенного 5 марта 1953 года. Теперь ее могила на Сент-Женевьев – одна из самых родных в моем все пополняющемся кладбищенском инвентаре.

Среди моих сверстников в группе «возвращенцев» знакомых не было, за исключением Татьяны Угримовой; ее отец оказался не в Ульяновске, а в Саратове (см. главу «Будь ты проклят, Саратов» в его книге «Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту»). О нем же и в солженицынских «Невидимках»). В отличие от меня, у Татиши (Татьяны) патриотизм был страстно-пламенным, доходил до полной отрицаловки милой Франции, знание языка которой позднее станет ей утешением и малой зарплатой. Сумма принятых ею несчастий в российскую часть жизни в энное количество раз весомее того, что было подарено Советами мне.

Примерно 20 апреля 1948 года ключи арендованной парижской квартиры переданы друзьям, ручной клади в межпланетный вояж не более чем на багажник такси. Спереди Нина Алексеевна, сзади я, один. И на дорогу не посидели, и не перекрестились в путь. А ведь в семье было принято.

От нас на машине до Круглой площади Елисейских полей – не более 3-4 минут. Поворачиваю голову назад – посмотреть до отъезда на любимую перспективу.

Все исчезает – и телесное ощущение автомобиля, и его шум, и любимой перспективы в поле зрения нет, нет и поля зрения, а только, простите за цитирование, сплошь вокруг – слепящая тьма! Никакого внутреннего голоса, никакой ословесенности. Одна овладевшая всем очевидность: впереди меня ждет нечто, близкое к гибели. Состояние – как смотрение с балкона девятого этажа или оторопь после слов пилота: «предстоит вынужденная посадка» или сообщения плохого диагноза. И мгновенно – понимание: могу спастись! Спасти прежде

всего себя, но, конечно, и маму. Всего-то стоит на следующем светофоре открыть дверь и пуститься бегом. Пока меня найдут, и поезд, и пароход уйдут, а когда следующие? Отец в этом микросекундном сценарии странно отсутствовал.

И свет, и тьма погасли, машина выехала уже к саду Тюильри, а у меня прозренчески увиденное сразу погрузилось в дальнюю память, как изгоняемое сновидение. Оно всплывет. Рассказ об испытанном не может не быть неуклюжим, но, пожалуйста, с поправками на приблизительность воспримите его как показания присягнувшего перед судом не врущего свидетеля. Такой бы непогрешимости предчувствия да за зеленым игорным ковром... После безупречного осуществления того, что меня пронзило, много позднее попробовал изыскать источник-детонатор испытанного в машине.

Орлеанская дева, наверное, была моей ровесницей, когда, перебивая бляние пасомых баранов, раздались (внутренние?) голоса, определившие ее участие в антианглийском Резистансе. Но при чем тут я? Претендовать ли мне на сверходаренность прорицательницы советской Джуну? Обошла меня и ныне ставшая доходной профессия экстрасенса. В столоверчении замечен не был.

Вспомним слова лагерника, крымского хирурга, преподобного Луки Войно-Ясенецкого: «Я провел многие сотни операций как грудной клетки, так и брюшины, огромное количество вскрытий, – нигде внутри человека никогда не обнаружил души». Какой же сценарист устрашающе приоткрыл будущее подростку-репатрианту?

Этим летом получилось одолеть немалый том француза-специалиста банковской конъюнктуры и внешнеторговых прогнозов Франсуа де Витта «Доказательство душой. Выпускник Политехнической Высшей школы доказывает наше бессмертие» (*La preuve par l'âme: Un polytechnicien démontre notre immortalité. – Guy Trédaniel éditeur, 2015*). Книгу загрузил после умно-хвалебной рецензии. И не салонная мистика, и не «поповщина», и не наукообразность. Целая глава посвящена истокам и плодам интуиции: тут и «случайное» открытие пенициллина Флемингом, и размышления Ньютона при виде падающего яблока, и Гёте, говоривший, что некоторые стихотворения будили его из сна уже сложившимися... Частоты интуиции исходят явно не из «подсознания», хоть фрейдова, хоть юнгова. Их генерирует та самая часть тела, которую не удалось изыскать преподобному Луке. Назовем ее традиционно – душой, и на том прекратим розыски.

Никогда более не испытывал подобного. Но «фоновая», почти шепчущая интуиция, как бы языком глухонемых, конечно же, она – а никакая не голова, не рассудительность, – часто, иногда день за днем,

не давали мне погибнуть там, где смертельный вердикт, казалось, не подлежал обжалованию. Примеров выживания против всех и вся в моем бытии – множество. Осознанный контакт с интуицией: 1965 год – падающий, переворачивающийся вокруг себя вертолет, село Гуниб, Дагестан. Я «знал», что это – не смерть.

Проще всего считать, что сверхинтуитивный Ангел-Хранитель мне был откомандирован в момент кесарева сечения, которому подверглась мама.

* * *

Такси довезло до Лионского вокзала. Ночной поезд в Марсель, оттуда утром отплытие в Одессу т/х «Россия» (бывший «Адольф Гитлер»). В вагоне человек из советского консульства, т. Рязанцев, провожающий группу до Марселя, завел со мной разговор: «Закончишь десятилетку, будешь учиться в Институте международных отношений». На мою просьбу объяснить – рассказал, что это за институт. Надеюсь, он этого своего сознательного вранья не забыл, представ перед Всевышним.

Из жизни предметов: кое-кто из них наверняка одушевлен лучше уличного котяры. В маминой плетеной корзине содержалось темно-защитного цвета американское солдатское одеяло, привезенное отцом из Дахау. Всем концлагерникам освободители подарили по такому одеялу. Добротная шерсть. Удивитель: сей зелено-бурый прямоугольник сейчас, весной 2016-го, отдыхает в двух метрах от компьютера. Вот только дырочки от изношенности зашиты Ксенией красными цветочками. Одеяло пережило бывший Симбирск, Москву, вернулось в Париж и согревает нас сейчас. Хранить вечно. Никто не забыт, ничто не забыто. Ни родителей, ни меня в вещизме нельзя заподозрить, а тем паче после целого цикла разоренностей; просто за десятилетия с некоторыми предметами возникла неразрывная взаимность.

В рассвет Первомая 1948 года т/х «Россия» причалил в Одесском порту. Группу возвращенцев, среди которых две белые генеральши, пересаживают в грузовик, с конвоем. «Транзитный лагерь» в десяти километрах от Одессы, поселок Люстдорф; на самом деле – зона как зона, никакой не «транзитный». Три недели спустя – погрузка в теплушку «40 человек, 8 лошадей», вояж в десять дней, из них пять – еле кормленных, первая ночь в ульяновской гостинице «Россия», с парой живых крыс.

Месяцев через шесть, к зиме 1948-го, во мне уже начали всходить импортированные, несмотря-вопреки парижскому чтению «Огонька» и фильмам с Ладыниной, ядовитые семена любви к сво-

боде. Да таким чертополохом взросли, что отец испугался, а у самого неудачно скрываемого страха было хоть отбавляй! Репатрианты, а их в этот областной центр распределили с полсотни, стали исчезать с интервалами в неделю или месяц. Оставшиеся при встречах на улице друг от друга отворачивались (не все, конечно).

Где-то в июне 1948-го, часов в семь утра раздался очень громкий стук во входную дверь, сапогом. Иду открывать. Более чем семидесятилетняя Надежда Владимировна Угримова (учила меня в Париже русской грамоте по «Войне и миру»), мать папиного коллеги по Резистансу, младоросса и как бы мистического патриота вечной России, Александра Александровича Угримова. Не взойдя на крыльцо, громко:

– Он арестован.

Уже в квартире договорила: одновременно с ее сыном, но не в Саратове, а под Москвой, взяли его супругу, ее сестру, ее мать и дочь Татьяну.

Ближе ударить не могло. Но садистическая гэбэшная разнарядка отвела арест отца на четыре месяца, и в этом зале ожидания Игорь Александрович пребывал таким молчаливым, каким больше я его не видел. Как-то вечером он достал две парижские записные книжки с адресами – и со словами: «Мало ли что...» сжег не в русской, а в голландской печи.

Второй мой учебный год в школе, где учился Ленин; восьмой класс. По ходу урока литературы Василий Иванович как бы между прочим рассказывает, глядя на меня, как он раскулачивал деревни в Языковском районе; там было имение Кривошеиных...

Удовольствия от обучения – нуль. В городе исчезновения репатриантов стали реже. Утром 20 сентября, во вторник (проверил в календаре того года: действительно был вторник, за 68 лет не забылось, значит и многие другие подробности аутентичны), отец говорит: «После уроков (они заканчивались около часа) зайди ко мне на завод, позвони из проходной, вынесу тебе сумку с продуктами, отнесешь домой». Так уже раза три бывало, городской базар находился впритык к заводу. Иду от школы к заводу мимо «Чугунной бабы» – так горожане обозначали музу истории Клио (она – персонаж красивого памятника Карамзину), потом кинотеатр «Пионер», переход через ул. Гончарова по мосту над глубоким оврагом, почти сразу за рынком – кирпичная проходная завода (п/я 650 Министерства электропромышленности СССР). Малое окошко с дежурным, у двери – вахтёр, на стене – телефон без диска. Позднее мне предстояло через этого вахтера начать ходить в инструментальный цех и быть там пло-

хим токарем. Снял трубку, попросил женщину на коммутаторе соединить с лабораторией. Не подходят. После пяти минут – то же самое. Через проходную выходит майор Григоренко, военпред, я его спрашиваю – не знает ли он, где отец. Что-то невнятное, ускорил шаг. Возникает Опальков, тот – из отдела кадров, френч, плоское лицо. Увидел, побагровел, без преувеличения, до прединфаркта, проскользнул. Во мне крепло желание поесть, и из-за этого росла причинно-следственная, редко во мне бывавшая, озлобленность на Игоря Александровича. Версии его отсутствия не складывались. Скорее всего, просто забыл. Проторчал я в проходной около получаса и по улице Федерации пошел обратно на Рылеева. Федерация – узкая, покарябанные фасады некогда почти красивых городских одно- и двухэтажных бревенчатых и дощатых домов. Узкие – в две, максимум в три доски помостки-тротуары. Осенью и в снеготаяние грязь на помостках достигала достаточной плотности, чтобы отсасывать с хлюпаньем не слишком плотно прилаженные галоши на сапогах, возвращать их на место получалось только с громкими ругательствами.

Шел быстро, был одолеваем оформившейся озлобленностью-досадой: забыт, обманут, хочется супа. Антиродительские чувства большой интенсивности.

По Рылеева направо, и через двор дома 21. Тоже с помостками. Подхожу к малоформатным окнам кухни, оттуда слышнее внутри, когда стучишь. На столе, прямо у окна – большая, черной блестящей клеенки парижская базарная сумка. Значит, отец дома и сам ее принес! Весь негатив-отрицаловка разом прошли. Зря злился. Сейчас все вместе пообедаем.

Щелк железного запорного крючка, в двери Нина Алексеевна, бездвижно, глядя мне в глаза: «Il est arrêté»... Он арестован.

Как Надежда Владимировна мне со двора рано утром, но по-русски, про сына сказала, так мама говорит то же самое изнутри по-французски.

Именно этот момент мне был недопоказан, не озвучен при вещем наваждении, постигшем меня в машине на Елисейских полях. Немало времени пошло на то, чтобы в уме эти два события взаимоувязались. Заснуть вечером 20 сентября 1949-го в Ульяновске не мог. В первый раз в мешанской малой коммуналке на ул. Рылеева, дом 21, ночь предстояла не на лежаке русской печи, а на одной из двух постелей в родительской комнате. Почти уверенность: больше отца не увижу.

Про то, как было 20-го сентября, уже в 1954 году рассказал сам Игорь Александрович. Около полудня трое чекистов (Гаврилов, Толмачев, Каталеев, фамилии у меня на вывезенных из Москвы протоколах обыска) на «Виллисе» – так обозначался джип – отца с заво-

да повезли в квартиру. Сам арест банален. Звонок в лабораторию: «Зайдите на минуту в отдел кадров». Там – два пистолета: «Руки вверх». Начальник отдела кадров, т. Опальков, был мертвенно-белым, его трясло. С сохранившимся в нем до конца его дней черным юмором Игорь Александрович утешил Опалькова: «Успокойтесь, ведь арестовывают меня, а не вас»...

* * *

После исчезновения отца в Ульяновске гэбэшниками были упрянтаны репатрианты Сабсай и Розенбах. С островов Архипелага ГУЛаг они на материк не вернулись.

Париж, 2016

«Верю: сближения не миновать!»

Интервью проф. Джона Боулта журналисту Юлии Горячевой

Джон Эллис Боулт – искусствовед, профессор кафедры славянских языков Университета Южной Калифорнии (USC), создатель и директор Института современной русской культуры при USC в Лос-Анджелесе (США). Родился в Лондоне в 1943 году. Опубликовал ряд книг и статей о русском искусстве. Среди последних монографий – «Моя душа открыта. Литературное и эпистолярное наследие Л. С. Бакста» (В соавторстве с Е. Теркель, искусствоведом Государственной Третьяковской галереи. 2012); «Moscow, St. Petersburg. Art and Culture During the Russian Silver Age» (2008). Куратор / сокуратор выставок: «Лев Бакст / Léon Bakst. К 150-летию со дня рождения» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (2016); «Русский авангард. Сибирь и Восток» для Палаццо Строцци, Флоренция (2013); «Видение танца: Сергей Дягилев и Русские сезоны» (Новый музей Монте-Карло, Монако, и Государственная Третьяковская галерея, Москва (2009–2010); «Космос русского авангарда», Фонд Марселино Ботина, Сантандер, и Государственный музей современного искусства, Салоники (2010). В 2010 году проф. Боулт был удостоен ордена Дружбы Российской Федерации за продвижение русской культуры в США.

Юлия Горячева: – Джон, с чего начался ваш интерес к русскому языку и русской культуре?

Джон Боулт: – С коллекционирования иностранных марок. Когда мне было 10 лет, папа сказал: «Джон, почему бы тебе не написать письма на почтамты Пекина, Кабула, Москвы с просьбой прислать марки их стран?» Я написал и получил письма с марками из Китая, Афганистана и, наконец, из России. В каждом письме было написано на английском: «Дорогой Джон, мы счастливы послать тебе несколько марок нашей страны». Из Москвы получил письмо на русском языке и без марок. До сих пор помню глубокое потрясение от странных букв. Особенно – замороженность от букв Ж и Щ... Это было первое визуальное впечатление от русской культуры. Решив, что обязательно выучу этот загадочный язык, в местной библиотеке раздобыл книгу «Учим русский язык за 6 месяцев» и выучил основу. И в конце концов года через три расшифровал письмо из Московского почтамта. Там было сказано: «Уважаемый г. Боулт, спасибо за Ваше письмо,

но мы не можем послать марки, потому что нужна экспортная лицензия...» Язык я не забросил. В нашу школу пришел математик – русский эмигрант. Узнав о моем интересе к России, начал давать мне бесплатные уроки. Многим ему обязан. Потом я поступил в университет на отделение славистики. А в 1962 году студентом приехал в Россию и, влюбившись в эту страну, добился стажировки в 1966–1968 годах в МГУ имени Ломоносова.

Ю. Г.: – *Где вы стажировались?*

Д.-Э. Б.: – Сначала на филфаке. Потом, покоренный русским визуальным искусством, перевелся к Сарабьянову Дмитрию Владимировичу на историю искусств. В те годы занятие этим направлением было очень заманчивым. Неизвестное искусство, запасники, частные лекционеры... Все это было так романтично! Так увлекательно! Было очень много загадочных моментов, понимаете? И с тех пор у меня две любви – моя жена Николетта и русское искусство.

Ю. Г.: – *Как вы, англичанин, оказались в США?*

Д.-Э. Б.: – В детстве не мог представить, что я свяжу свою жизнь с США! Для меня, как для многих англичан, Америка представлялась страной заманчивой, но очень далекой; богатой, но в чем-то и примитивной. К тому же, мой отец был простым рабочим с лейбористскими убеждениями, и я, скорее всего, разделял его опасения перед «читаделью капитализма».

Но дело в том, что после возвращения из Москвы, отработав год в Шотландии в Сент-Эндрюсском университете, я остался без работы. Сидел в Лондоне, давал частные уроки. И вдруг получил из Канзасского университета приглашение на работу сроком на год. Поехал в США – думал, что вернусь после завершения контракта. Но задержался, как видите, на всю жизнь. Во-первых, будучи очень наивным человеком, буквально влюбился в Америку (капитализм, корпоративная жизнь, все блещит: реклама потрясающая и все дела). Во-вторых, открылись такие перспективы! Ведь там мощные университетские инфраструктуры... И я стал американцем, отойдя от родины.

Сейчас я преподаю в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, читаю историю русского искусства XIX–XX веков.

Ю. Г.: – *Вам принадлежит честь создания Института современной русской культуры у Голубой Лагуны. Расскажите об истории его создания.*

Д.-Э. Б.: – Этот институт мы основали в 1979 году в Техасе вместе с американским славистом Сиднеем Моносом и молодыми филологами, историками литературы, эмигрировавшими из Санкт-Петербурга, – Константином Кузьминским и Ильей Левиным. Как я сейчас понимаю, проект был утопический. Наша основная цель была собрать

воедино все эмигрантские архивы, создать библиотеку и исследовательский центр. Грандиозного центра на сегодняшний день, конечно же, нет, но все-таки мы кое-что собрали – архивы, редкие книги, записи живых голосов, фотографии и грампластинки. Кстати, собраны лучшие русские голоса: Собинов, Нежданова, Смирнов. Начало прошлого века. Это очень редкая коллекция. Сейчас эти материалы в Лос-Анджелесе в Университете Южной Калифорнии. Выпускаем бюллетень два раза в год и ежегодный журнал «Эксперимент», часто устраиваем конференции, консультируем и профессуру, и студентов. Другими словами, вносим нашу маленькую лепту в общее дело сохранения русской культуры.

Ю. Г.: – *А чем вы в Институте современной русской культуры у Голубой Лагуны особенно гордитесь?*

Д.-Э. Б.: – Из ценных рукописей у нас дневник Александра Бенуа за 1916–1917–1918 годы. Мы его издали в Москве в издательстве «Русский путь» при Доме Русского Зарубежья имени А. Солженицына. В нашем архиве находится автобиография Никиты Балиева, бывшего импресарио кабаре «Летучая мышь». Мы и ее опубликовали в Москве. Еще, к примеру, из редких вещей – копия гостевой книги коллекционера Георгия Костаки. Там есть автограф Кеннеди. У нас и фотографий много винтажных.

В институте есть большой раздел, посвященный диссидентскому движению. Его существование – частично заслуга Константина Кузьминского и Ильи Левина. Весь архив открыт для студентов-славистов.

Ю. Г.: – *Вы упомянули Кузьминского. В России он известен, главным образом, девяти томной «Антологией новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны (1980–1986)», в создании которой вы играли существенную роль. А что вас привлекло в личности Константина Константиновича Кузьминского (ККК, как он сам себя называл) и в этом его литературном проекте?*

Д.-Э. Б.: – Я помню живо и ККК, и его супругу Эмму, и их собак. ККК был удивительной личностью, для которой искусство, точнее творчество, было все или почти все. Жил он поэзией, в поэзии и ради поэзии – и когда мы познакомились в Техасском университете в городе Остине (где в 1970-е годы я работал в качестве профессора), я был глубоко поражен не только его страстью к русской культуре, но и его экстравагантностью, его наплевательским отношением к властям, его феноменальной фонической памятью и его сугубо русским характером крайностей, психологических и эмоциональных перепадов настроения. Для меня, бывшего англичанина, сдержанного и «холодного», ККК представлял собой совершенно другой полюс и, следова-

тельно, очень меня привлекал. Работая день и ночь над своим опусом («Голубая Лагуна». – Ю. Г.), ККК спасал и продвигал многих и очень многих молодых русских поэтов, которые без него, без его энергии, без его памяти, канули бы в вечность.

Ю. Г.: – *Что вы планируете издавать в ближайшее время?*

Д.-Э. Б.: – В конце 2016 года в Италии выходит мой английский перевод исследовательской работы моей супруги Николетты Мислер. У нее в Москве в издательстве «Искусство – XXI век» вышла книга «В начале было тело». Это о ваших «пластичках», или, как их еще называют, – «босоножках», т. е. о танцовщицах – последовательницах Айседоры Дункан. Целая книга про эту волну в двадцатые годы. А через год я должен написать по заказу того же издательства книгу о русских художниках в США. Тема сложная. Тут имеются в виду российские художники, которые выехали после Октябрьской революции и очутились в Америке. Такие как Сергей Судейкин, Семен Лиссим, Николай Ремизов, Андрей Худяков – их было довольно много. Художники они были очень разные, разных возрастов и стилей, и судьбы их тоже были разные. Многие жили в Нью-Йорке или в Калифорнии, давая частные уроки или работая для театров. Некоторые жили в провинции, как, например, Николай Фешин в Нью-Мексике. Кто-то имел успех – как, например, Ремизов в Голливуде, но большинству было трудно и не все «чувствовали себя как дома». Поэтому монография непростая.

Ю. Г.: – *Вы с супругой издали замечательную книгу о Павле Филонове. Расскажите об истоках увлечения этим художником.*

Д.-Э. Б.: – С Николеттой мы занимались им по отдельности до 1980 года, до начала нашего союза. Мы, можно сказать, встретились на почве изучения Филонова, и он, конечно, нас сблизил. В 1983 году выпустили книгу на английском, посвященную ему. В 1990 году она вышла на русском в издательстве «Советский художник».

Филонов очень интригует! В осенний приезд в Москву я выступал на конференции в Институте искусствознания в Козицком переулке. Конференция была посвящена связям искусства и оккультизма. Говорил об отношении Филонова к атомной энергии. Это метафора, как вы понимаете...

Ю. Г.: – *Тема оккультизма и русского искусства для вас не нова. У вас есть работа, посвященная Кандинскому и теософии...*

Д.-Э. Б.: – Да.

Ю. Г.: – *Как часто вы приезжаете в Россию?*

Д.-Э. Б.: – Два-три раза в год. Мой интерес к России идет и от отца, как я уже говорил, простого лондонского рабочего с левыми взглядами. Для него Советский Союз в пятидесятые годы был неким симво-

лом свободы, пролетарского рая. И для меня долгое время. И парадоксально – Советы были и остаются страной, полной свободы. Вы не думайте, я не такой наивный. Конечно же, знаю, что в Советском Союзе были и жуткие тюрьмы, и сумасшедшие дома. Но ведь здесь не зря говорят: «Закон – как столб, всегда можно обойти». Мне очень нравится эта гибкость в Советском Союзе, да и в России. Всего можно со временем добиться! А во многих других странах нельзя, особенно там, где бюрократия сильна.

Ю. Г.: – *В продолжение темы бюрократического давления... Ваша работа во многом связана с архивами. В каких годах легче было в них работать – при Советской власти, в перестройку или же в современной России?*

Д.-Э. Б.: – Это сложный вопрос. Конечно, в 60–70-е годы было очень непросто, потому что была нужна рекомендация для допуска в архив. И не все могли ее получить. Правда, как я уже упоминал, у меня был очень хороший руководитель, Сарабьянов. Благодаря ему я получил доступ. А сегодня все упрощено, и многое есть в электронном виде в РГАЛИ.

Ю. Г.: – *Вы много общаетесь с коллекционерами и собирателями из Советского Союза и России. Чьи частные коллекции вы могли бы выделить?*

Д.-Э. Б.: – В Москве – Рубинштейн Яков Евсеевич, у него была замечательная коллекция живописи начала прошлого века, он очень симпатичный человек. Потом, конечно же, нельзя обойти Георгия Костаки. Была такая пара Мясниковых, которые тоже собирали начало XX века. Прекрасная коллекция у Валерьяна Дудакова. Он сейчас живет в Лондоне. Был такой переводчик Евгений Гунст. У него удивительные работы Судейкина, Сапунова. И, конечно, нельзя не выделить гиганта Илью Зильберштейна. Он, как говорится, воистину человек с глазом, со вкусом!

Ю. Г.: – *А можете назвать достойных коллекционеров и исследователей русского искусства из США? К примеру, из более молодого поколения?*

Д.-Э. Б.: – Есть Анатолий Беккерман, галерейщик из Нью-Йорка, родом из Советского Союза. У него большая и хорошая коллекция. Он часто в России ее выставляет. Как раз его выставка в Манеже завершилась... К примеру, в 2014 году в Русском музее было представлено около 48 живописных и скульптурных произведений, в числе авторов – ведущие мастера русского искусства второй половины XIX – начала XX века: Анисфельд, Антокольский, Бурлюк, Гончарова, Григорьев, Коровин, Судейкин, Фальк, Фешин, Экстер... Да и у Михаила Барышникова очень хорошая коллекция.

Ю. Г.: – Да, она выставлялась несколько лет назад у нас в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Д.-Э. Б.: – Познакомился я с Барышниковым в связи с этой выставкой. Писал предисловие к каталогу. Там хорошие вещи Бенуа, есть и добротные вещи Дмитрия Бушена.

А что касается американских исследователей, то, как ни странно, сейчас у меня более крепкие связи с английскими славистами. Потому что в Англии сейчас создано новое перспективное исследовательское сообщество – CCRAC: Cambridge Courtauld Russian Art Center. Courtauld – это институт искусствознания в Лондоне. Его профессора создали специализированную программу для студентов, интересующихся русским искусством. В результате выпускаются новые поколения искусствоведов, защищающих диссертации на темы, связанные с русским искусством. К примеру, «Творчество Филиппа Малявина и Дмитрия Стеллецкого в эмиграции». А в Америке, увы, сейчас меньший интерес к русскому искусству, нежели ранее...

Ю. Г.: – *Следовательно, курировать выставки русского искусства в США сейчас сложнее?*

Д.-Э. Б.: – Их везде курировать сложнее из-за санкций против России. Смотрите: я организовал выставку Бакста летом-осенью 2016 в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. И мы не имели права и возможности брать вещи из США из-за санкций. А в американских музеях и частных коллекциях очень много Бакста. И если мы хотим организовать выставку русского искусства в Америке, – то мы не можем брать вещи из России из-за санкций. Поэтому я давно не занимаюсь организацией русских выставок в Америке. В Европе – другое дело.

Ю. Г.: – *А в Европе какая самая любимая выставка, подготовленная вами?*

Д.-Э. Б.: – Три года назад во Флоренции мы с Николеттой подготовили необычную выставку «Русский авангард. Сибирь и Восток». Мы исследовали, как художники Кандинский, Сарьян, Бакст, Малевич и другие смотрели на Восток, на азиатские страны. Сопоставляли их работы с восточными. С атрибутами шаманизма, или с японскими гравюрами, или китайскими знаками. И показывали, что они смотрели на все эти вещи, как источник вдохновения. Это была очень интересная и резонансная выставка. А сейчас открыта подготовленная мною совсем другая выставка Бакста в Монте-Карло, где все внимание на текстиле.

Ю. Г.: – *Позволяет ли ваш сегодняшний образ жизни следить за тенденциями рынка российского искусства?*

Д.-Э. Б.: – По мере сил. Все эти цены очень интересны! Подумать

только: «Супрематическая композиция» Малевича ушла два года назад на Сотбисе за 27 миллионов долларов! Фантастика! Интересно также смотреть как растут, словно грибы после дождя, фальшивые вещи русских авангардистов. Это и забавно, и страшно... Может быть из-за того, что Россия стоит на перекрестке Запада и Востока, иногда в обществе есть симптомы шизофрении. Абсурда. Как говорится, герои Гоголя и Хармса – всегда с нами. (Кстати, именно они из всей русской литературы мои любимые писатели.)

С другой стороны, происходит много хорошего. К примеру, несколько лет назад в Москве создан частный музей Анатолия Зверева. Это – феноменально! Зверев мне очень импонирует. Важно, что художник был предельно искрещен. А вот за молодыми я не очень слежу.

Ю. Г.: – *У вас много интересных проектов, связанных с русским искусством, и в связи с этим вполне закономерно, что вы удостоены Ордена Дружбы Российской Федерации. Какой самый сложный российский проект для вас?*

Д.-Э. Б.: – Создание полного двухтомного каталога коллекции «Художники русского театра» Нины и Никиты Лобановых-Ростовских. Первый том вышел в 2011 году в Англии, спустя год – второй. Была проделана колоссальная работа! Коллекция – больше 1000 единиц – символизирует возрождение русского театрального дизайна сто лет тому назад. Входят в собрание эскизы к костюмам и декорациям не только для балета, оперы и драмы, но и для кино, кабаре, массового действия и так далее. Это собрание сейчас собственность Театрального музея в Санкт-Петербурге. Оно неповторимо. И не только в силу своей стоимости, поскольку цены на Бакста, Бенуа, Головина, Коровина, Шагала, Малевича и др. необыкновенно высоки. Дело в том, что такие работы невозможно более разыскать – иссякли источники для собирания такого рода коллекций и на Западе, и в России. Теперь чрезвычайно трудно найти высокохудожественную работу для, скажем, Русских балетов Сергея Дягилева или для конструктивистских спектаклей 20-х годов. Лишь потому, что они начали приобретать эскизы еще в 1960-е годы, Нина и Никита Лобановы-Ростовские смогли собрать такую уникальную коллекцию.

...Думаю, что мой грядущий междисциплинарный проект на Урале также будет сложным. На Урале между Челябинском и Екатеринбургом есть небольшой город Сатка. Он славен производственной группой «Магнезит», огромным карьером в центре города и заводами. «Магнезит» недавно учредил культурный фонд для превращения 50-тысячного города в Уральский культурный центр. И они приглашают Николетту и меня в консультанты этого проекта. Эта

идея местного бизнесмена и филантропа, который стремится многое делать на благо народа. Мне он кажется искренним, пытающимся создать большую культурную программу для Урала. И именно это намерение очень привлекает нас.

Ю. Г.: – Поражает, что даже в нынешние времена непростых отношений между нашими странами вы стремитесь к сотрудничеству..

Д.-Э. Б.: – Очень надеюсь, что «холодный» момент и абсурд пройдут и что наши страны опять сблизятся. Не секрет, что наши взаимоотношения всегда идут волнами. Верю: сближения не миновать!

Александр Кедрин

Встречи

Каждая встреча с Александром Кедриным превращается в удивительное путешествие в мир искусства. Специально темы мы не намечаем, жизнь сама их подсказывает. Для меня очень ценно то, что он сам знал людей, о которых говорит, и все его рассказы – от первого лица. Мы беседовали об Эрнсте Неизвестном и о тех, кто помогал ему на Западе или был рядом с ним в Москве или Нью-Йорке. О коллекционерах, приложивших неимоверные усилия для спасения русского авангарда...

Александр Кедрин – из потомственных дворян. Оба его прадеда воевали на стороне белых. Кедрин Евгений Иванович (1851–1921) был присяжным поверенным, защищал «цареубийц», был защитником Софьи Перовской. Состоял в партии кадетов, возглавлял ее левое крыло, правое возглавлял В. Д. Набоков, центр – П. Н. Милюков. Был министром юстиции у генерала Н. Н. Юденича в правительстве С. Г. Лианозова. Он был отправлен на новогоднем банкете в Париже. «Красный граф» Алексей Толстой вывел его в повести «Эмигранты», а Иван Бунин описал встречи с ним в «Дневниках». Кедрин Владимир Иванович был генерал-майором. Военный педагог, на службе с 1885 года. С 1918 года – в Народной армии Самарского Комуча, занимал пост начальника отдела военно-учебных заведений при Главном управлении Генерального штаба. Затем назначен временно исполняющим должность начальника отдела военно-учебных заведений при штабе Верховного главнокомандующего Директории генерала В. Г. Болдырева. В Русской армии адмирала А. В. Колчака исполнял должность начальника управления военно-учебных заведений при штабе Верховного главнокомандующего. Следующее назначение – генерал для поручений при военном министре, затем – при управляющем военным министерством правительства А. В. Колчака. Советская власть такие вещи крепко помнила и не прощала.

Отец, Вениамин Николаевич, знаменитый художник-график, спасаясь от сталинских репрессий, переехал в Ташкент; был одним из создателей Союза художников Узбекистана. Троюродным братом отца был знаменитый советский поэт Дмитрий Кедрин, погибший в 1945 году в Москве.

Александр Кедрин родился в 1940 году в Ташкенте. После окончания школы он поступил в Ташкентское художественное училище. В 1959 году, студентом третьего курса, Александр организует коллективную выставку семи молодых художников. В результате всех исключили из училища по идеологическим причинам. Александру помогают поступить в Ташкентский театрально-художественный институт, но вскоре исключают и оттуда. На Кедрину заводят дело о тунеядстве. Ему приходится поступить на работу на керамический завод. Его философские абстракции, выдаваемые за «узбекские национальные орнаменты», получают признание. Кедрин оканчивает отделение керамики Республиканского художественного училища, вступает в Союз художников.



Посещая столицу, он входит в круг московской творческой интеллигенции наряду с Эрнстом Неизвестным, Эриком Булатовым, Владимиром Немухиным и др. В 1995 году Александр с семьей переезжает в США, в Нью-Йорк. Его творческая жизнь складывается успешно; работы приобретают музеи, галереи и частные коллекционеры. Кедрину приглашают представлять США на Флорентийском биеннале современного искусства.

Сегодня мы предлагаем цикл эссе Александра Вениаминовича о друзьях – «Встречи»

Ю. Сандулов

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ (1926–2016)

Для меня, и не только для меня, он был камертоном чести и достоинства:

*...Он был из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком...*

Усталый голос в трубке сказал: «Юра, ты знаешь, Эрнст умер...» Да, я уже знал, Интернет с утра бурлил, обсуждая трагическую новость.

После короткой паузы Саша сказал: «Я написал стихотворение в память о Эрнсте, напечатай в своей энциклопедии о художниках-эмигрантах».

– Конечно, Саша, – ответил я, – сочту за честь.

Говорить было очень тяжело, разум не хотел принимать эту весть.

Но я попросил: «Саша, вашей дружбе с Эрнстом более пятидесяти лет, в какой-то мере он повлиял на вас как на художника, да и как на человека. Помните, вы рассказывали, как еще в 70-е годы в Ташкенте, когда вы с ним работали над восстановлением города, вы пытались обратиться к нему на ‘Вы’, а он отрезал: ‘Что ты мне выкаешь? Нам, как художникам, стоять рядом – ты на К, а я на Н’. Напишите о нем, каким вы его знали. Это очень важно для истории нашей эмиграции».

Через несколько дней Саша Кедрин сидел у меня в квартире и читал свои наброски. С собой он захватил последний номер (№ 32) журнала «Огонек», где была статья о выставке в Москве, в которой участвовал Кедрин, а на следующей странице – его статья об Эрнсте Неизвестном.

Прощаясь с Эрнстом, мы прощаемся с эпохой. Он был личностью планетарного калибра, это я понял сразу, едва переступив порог его мастерской в конце 60-х. И в Москве, и в Ташкенте, и в Нью-Йорке, и на Лонг-Айленде – он был замечательным собеседником, поражающим отточенностью формулировок и оригинальностью идей и оценок. Он был одновременно поэтом и художником, скульптором и философом, которому досталось жить в наше время, а времена не выбирают.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забуть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота – то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взвывается с криком воронье, –
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие твое!*

Познакомил меня с Эрнстом московский архитектор Андрей Косинский, знавший его со студенческих лет. Когда я впервые пришел к Неизвестному, в мастерскую в Большом Сергиевском переулке, меня поразила его пластика – ее мощность, оригинальность и грандиозность! Альбомы его рисунков, эскизы к Древу Жизни, офорты иллюстраций к Данте и Библии, – все, что я увидел, ошеломило меня однозначной силой таланта и мастерства! Это был уровень Буонаротти. Ничего подобного в отечестве своем до этого я не встречал, ничего соизмеримого с этим... Мы проговорили более часа, и он повел меня на Сретенку, во вторую свою мастерскую, забитую сверху донизу гипсовыми отливками, ждущими перевода в бронзу... Не удивительно, что я в своем подсознании запомнил его гигантом, сверхчеловеком.

После землетрясения 1966 года в Ташкент на 14 лет приехал Андрияша Косинский – отстраивать город заново. К сожалению, не все его проекты были воплощены в жизнь. Но он все же успел выстроить целую улицу Богдана Хмельницкого, ведущую из аэропорта в центр, и придумал сделать как бы въездом в город торец девятиэтажки, – активный, цветной рельеф (такой рельеф, но на цветном, Эрнст сделал в Ашхабаде). На рельефе должен был быть изображен младенец-богатырь, держащий в руках радугу, а из чрева его вырастает новая архитектура нового Ташкента. Эту работу архитектор решил поручить Эрнсту и мне. Эрнст вылетел в Ташкент, и в моей мастерской закипела работа. Мы сделали эскизы, модель, их утвердили на архитектурном совете и выплатили аванс. Но обстоятельства так сложились, что Эрнст срочно вылетел в Москву, где и подал заявление в ОВИР. Его выдавливали из страны... Работу остановили и передали другим художникам. Это уже был 1975 год. В Ташкенте

* А. Блок. «Рожденные в года глухие», 1914.

он много рассказывал мне о себе и своей семье: он родился в Свердловске в 1926 году в семье офицера – адъютанта белого генерала Анненкова, дед его тоже был офицером, а прадед – Николаевским кантонистом. После школы он поехал в Ленинград и поступил в художественное училище. Началась война, и училище эвакуировали в Самарканд. Эрнст запросился на фронт, но ему было только 17 лет (1943), и он, прибавив себе год, попал в ускоренный выпуск младших лейтенантов в город Кушку (самая южная точка СССР). А оттуда прямо на фронт, в самое пекло. Был многократно ранен, получил боевые награды – в общем, патриот из патриотов, – тем более парадоксальны его послевоенные мытарства, включая стычку с Хрущевым в Манеже... Но, вопреки всему, Эрнст окончил Суриковский институт и параллельно – философский факультет МГУ...

В чем-то наши судьбы схожи – мне тоже пришлось уехать из страны, на меня также постоянно писали доносы... Конечно, то, что он пережил, мне и не снилось!

Была весна 1974 года. Сидели мы с Эрнстом в ресторане гостиницы «Ташкент» и пили шампанское за успех нашей совместной работы в Ташкенте (так и не воплощенной впоследствии, но мы того не знали тогда). Эрнст рассказывал мне о своей нелегкой жизни в Москве, и я спяна тоже решил рассказать ему о своих мытарствах: что у меня нет своего угла (тогда я был женат на манекенщице, мы вынуждены были жить в квартире моих родителей), что я слепну, а хорошей светлой мастерской нет, как и у моего отца, что коллеги меня ненавидят, изводят скандалами и провокациями, что жена меня не понимает, что я очень страдаю от враждебности окружающих и одиночества, и т. д., и т. п... Эрнст меня оборвал и сказал примерно следующее: во-первых, одиночество – это единственный способ успеть что-либо сделать в жизни; во-вторых, перестань мне «выкаты» – я этого не люблю, и, в-третьих, непонятно – чего ты вообще хотел бы от жизни? Чтоб тебя на руках носили? Аплодисментов? Тогда нам с тобой не по пути! И сделал вид, что уходит... Я немедленно протрезвел и извинился.

Как же я был благодарен ему за эту отповедь! Я запомнил его слова на всю жизнь. Советские люди страдают от инфантилизма, особенно когда попадают на Запад: они все ждут, что кто-то им должен помочь, что кто-то им чего-то должен. А надо всего добиваться самому! И жизнь не всегда благоприятна – такова жизнь!.. Еще Уинстон Черчилль сказал: «Успех – это продвижение от одной неудачи к другой неудаче без потери оптимизма». Главное в жизни – это честная работа, в ладу со своей совестью. Если ты добиваешься в честной работе удачи и успеха, то жизнь прожита не зря! Как у Эрнста

Неизвестного, которого Бог не обидел талантом. Он старше меня на четырнадцать лет, его искалечила война, однако по мироощущению, по космогоничности творчества, его поэтическому преломлению у нас много общего – еще и потому, что он мне много дал, никогда не поучая меня.

Он говорил о себе: я существо асоциальное! Имея в виду, что он никогда не вел «светскую» жизнь, предпочитая с головой уходить в творчество, в работу. Тусовки богемы и интеллектуальной элиты его не интересовали: он был человек самодостаточный и счастливый в своем искусстве и работе художника. Этому он научил и меня. Обосновавшись в Нью-Йорке, он страдал от бесконечных паломничеств в его мастерскую в Сохо людей самого разного ранга. Ростропович, его близкий друг, свел его с сотнями людей – влиятельнейшими и именитыми, но Эрнста это тяготило... Кончилось тем, что он взял и сжег всю кучу визиток, решив вопрос радикально.

Добившись всемирного успеха и материальной независимости, он начал строить себе убежище вдали от суеты Манхэттена, в самой восточной части Лонг-Айленда, на Шелтер-Айленде: трехэтажный дом с громадной мастерской на берегу озера, – все по своему проекту, даже мебель. Когда мы возобновили общение в Нью-Йорке, он пригласил меня отдохнуть на недельку в свое убежище. Я, конечно, согласился. Там в мастерской у него стояла только что отлитая гипсовая модель «Древа Жизни» – в натуральную величину, эта работа в бронзе стоит сейчас в Москва-Сити. Каждый день с утра он влезал на леса зачищать швы гипсовой отливки. Я попросил разрешения помочь ему, чтоб прикоснуться к шедевру. Он разрешил. И вот чем кончилась история: когда я уезжал, он засунул мне в карман огромную пачку долларов, приговаривая: «Тебе они сейчас нужнее»... Как я ни отказывался, он настоял. Такой он был человек – необычайно щедрый и очень дорожающий своим временем, невероятно доброжелательный ко всем окружающим и бескомпромиссный к конформизму, невежеству и пошлости, беспредельно добрый и снисходительный к любому таланту и нетерпимый к дельцам, делегам и аферистам, которые всегда вьются вокруг гения.

Был он человеком широко образованным, с мощным интеллектом, который всегда катализировал меня. Он отучил меня от всякого рода кривляния и ерничества, мягко заметив мне, что это глупо и оскорбительно для миллионов погибших в Гражданскую, на Финской, Отечественной, замученных в лагерях и расстрелянных... Мне, как и всем мальчишкам – а рядом с ним я всегда чувствовал себя мальчишкой, хотелось показать власти фигу в кармане, высмеять власть в своих работах, как делали мои друзья шестидесятники. Он же дока-

зал мне, что соцреализм и «антисоветское» искусство – суть две стороны одной медали, к серьезному творчеству не имеющие никакого отношения; «искусство прославления» и «искусство протеста» – спекулятивные, недостойные затрат времени! Притом муза – дама брезгливая и не прощает любой фальши. У художника лишь одна крошечная по протяженности жизнь, за которую он обязан получить образование, овладеть ремеслом, в совершенстве изучить технологию и технику (что не одно и то же), найти свою нишу в жизни, стать Мастером, сформировать свою идею, постараться выразить ее честно и понятно. Любое творчество – исповедально, тем более изобразительное искусство. Тут все наглядно: по работе всегда видно, есть ли художнику что сказать зрителю или нет, подлинник это или имитация!

Общение с великим скульптором перевернуло мою жизнь: я совершенно иначе стал относиться к самому себе и к работе. В Ташкенте Эрнст, как говорится, вправил мне мозги, избавил меня от инфантилизма в жизни и творчестве. Буквально через год я выиграл конкурс на стометровый рельеф в правительственной санатории «Узбекистан» в Сочи и реализовал его в 1978 году. Тогда я работал в керамике, и до близкого знакомства с Эрнстом пробавлялся тарелками, орнаментами и сувенирами, скорее декоративно-прикладного жанра. И как Эрнст разглядел во мне потенциал монументалиста – для меня загадка.

Поздняя осень в Нью-Йорке. Заканчивается второе тысячелетие, в котором я прожил всю жизнь. Я с трудом адаптируюсь в новой, американской жизни. Жена и дети работают и учатся, зарабатывают деньги. Я же сижу дома и пишу холст за холстом...

Иногда мои новые друзья приглашают меня выставить вместе с ними свои работы в самых для меня неожиданных местах: в банках, ночных клубах, колледжах. Я хватаюсь за все предложения...

Неожиданный звонок: «Саша, привет! Я Оля Полевая. Ты еще помнишь меня?».

Ну как можно позабыть Ольгу! Тринадцать лет проработавшую на Ташкентском телевидении и хорошо всем знакомую в республике и во всей Средней Азии, ежедневно получавшую мешки писем из всех дальних гарнизонов Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Все мальчишки от 15 до 25 были влюблены в красавицу-блондинку... Мы с ней дружили, и она пропихивала материалы обо мне на Ташкентском телевидении. Она была настолько популярна (вела программу новостей) и обаятельна, что ей никто не мог отказать!

Оля сказала мне, что в Нью-Йорке она также работает на телевидении и делает цикл передач «Цвет нашей эмиграции».

– Когда тебе удобнее, чтобы я приехала? Давай через три дня, но

я приеду со съемочной группой, а ты пригласи пару друзей-художников, чтобы они сказали о тебе на камеру. Лады?

Я попросил приехать Жору Паладяна и Юру Абдурахманова – местных старожилов (по отношению ко мне, конечно). Отсняв материал в моей нью-йоркской квартире, Оля спросила, нет ли у меня еще кого-нибудь из известных художников? Я подумал и сказал, что я могу попробовать попросить Эрнста Неизвестного.

– О, это то, что надо! Но просить его я буду сама!

Потом Оля рассказала, как все произошло. Она позвонила Эрнсту и попросила его об интервью, не сказав предварительно, что интервью это обо мне. Когда она с оператором приехала, извинилась и попросила сказать, что он думает обо мне. Он согласился, сказав, что знает меня и интервью даст без подготовки, но недолго, потому что его ждет работа...

Передачу я увидел после Нового года, уже в 2001 году. Я был поражен словами Эрнста обо мне. Во-первых, так сжато и так по существу обо мне еще никто не говорил! Во-вторых, он не сказал ни об одном из моих недостатков, от которых я с таким трудом отделялся (с его помощью, в том числе). Он подметил то, что я и сам о себе не знал. И, в-третьих, кто из моих знакомых художников, договорившихся об интервью, стал бы говорить не о себе? Я на сто процентов уверен, что в такой ситуации художник бы обиделся (это народ самолюбивый и самовлюбленный), выгнал бы всю съемочную группу, несмотря ни на чье обаяние.

Я потом благодарил Эрнста, он ответил: «Пустяки, я всегда говорю, что думаю, и думаю, что говорю!» Такой вот он был человек – щедрый и великий, счастливый он был человек.

Мама Эрнста – известная поэтесса Белла Дижур – умерла в 102 года. Мне казалось бесспорным, что он перешагнет столетний рубеж. Его кончина – неожиданность и удар для меня. Светлая ему память.

АЛФЕРОВ СЕРЕЖА (1951–2004)

Сережа был моложе меня на 11 лет, и мне посчастливилось знать его в Ташкенте с отрочества, – он уже тогда был поэтом, писал неплохие стихи. В наш дом его привел товарищ моего отца, литератор Евгений Александрович Чернявский – один из последних обэриутов, друживший с моим отцом с конца 20-х годов. Он был соседом Сережиной бабушки Анастасии Семеновны, у которой жил и воспитывался Сережа. Стихов я не писал, но поэзией жил и дышал ею с пеленок. Евгений Александрович отрекомендовал мальчика как «человека с абсолютным поэтическим слухом». Поначалу я не знал, что Сережа еще и рисует.

Отец мой – петербургский художник-график, учившийся в Художественной академии у К. И. Рудакова и К. В. Лебедева, в юности был учеником Н. С. Гумилева, бывал в семье Ахматовой–Гумилева и без поэзии не мог прожить и дня. По вечерам мы собирались или у нас, или в семье художника Александра Сергеевича Волкова – великолепного живописца и автора необычайно колоритных стихов. На этих поэтических вечерах неизменно присутствовал Е. А. Чернявский, знавший наизусть Мандельштама, Олейникова, Введенского, Хармса, Заболоцкого, Ахматову, Гумилева, Дмитрия Кедрина, Пастернака и других опальных поэтов. Поэтические сборники запрещенных авторов хранить в доме было опасно, поэтому старались все держать в голове.

Когда началась хрущевская оттепель, все мы воспряли духом. Однако потепление оказалось иллюзией, идеологический климат в Ташкенте практически не изменился. Особенно консервативной, как ни странно, была среда художественной интеллигенции, группирующейся вокруг республиканского отделения Союза художников и Института искусствознания Академии наук Узбекистана, а также Художественного училища имени Бенькова и Театрально-художественного института имени Островского, где мне пришлось учиться. Это было сборище настоящих мракобесов от социалистического реализма. Гораздо либеральнее была среда архитекторов, журналистов и молодых поэтов.

Мои родители хотели, чтобы я стал архитектором, – настолько беспроблемной была атмосфера в среде художников. Однако окончив школу, я все же пошел в художественное училище, а подрабатывал у архитекторов. Зарабатывать на жизнь художником было нереально.

С той же проблемой столкнулся и Сережа. Его бабушка, вдова академика-геолога, у которой он жил и кормился, устроила его в художественное училище, где ему было невыносимо тяжело учиться. Поэтам всегда нелегко. Еще Кюхельбекер писал: «Горька судьба поэтов всех племен, / Тяжеле всех судьба казнит Россию».

Летом 1957 года ташкентский архитектор Игорь Плетнев привел в наш дом студента Суриковского института Эрика Булатова. Бывая в Москве, я заходил к нему в мастерскую. Мы подружился. Архитектор Андрей Косинский познакомил меня со своим другом Эрнстом Неизвестным. Моя московская кузина Света Кедрина познакомила меня с Беллой Ахмадулиной и Андреем Вознесенским, стихи которых я давно любил. Эрик Булатов познакомил меня со своими друзьями – художниками Борисом Биргером и Валентином Поляковым, а также со вдовой Роберта Фалька – искусствоведом Ангелиной

Васильевной Щекин-Кротовой. Я десятки раз приходил смотреть к ней прекрасную живопись Роберта Рафаиловича. Каждый раз, возвращаясь из Москвы, я рассказывал Сереже о своих московских друзьях, о том, что в столице идет совсем другая жизнь.

Каждую неделю Сережа приходил ко мне и приносил в подарок рукописные книжечки моих любимых поэтов: Мандельштама, Хармса, Олейникова, Заболоцкого – их невозможно было достать у букинистов. Эти подарки были необыкновенно трогательны и дороги.

В нашей среде была популярна эпиграмма Д. Кедрина на советского поэта Безыменского: «У поэта жребий странен – / Слабый сильного теснит: / Заболоцкий безымянен – / Безыменский знаменит!»

А. Безыменский сочинял ура-патриотические тексты для советских маршей и считался литературным генералом. Точно та же подмена ценностей, конечно, имела место и в среде художников: титанически талантливый скульптор Эрнст Неизвестный рубил в качестве подмастерья мрамор у мастодонта советской скульптуры Вучетича.

Позднее Сережа стал приносить и дарить мне свои рисунки. Интересно, что он никогда не показывал мне свои учебные работы, хотя как студент художественного училища, как и все мы, обязан был писать с натуры обнаженку, портреты, пейзажи, натюрморты, композиции на заданные темы и т. д. Ничего этого я у Сережи не видел, хотя и навещал его бабушку. Позже Сережа стал приносить гуаши и акварели, крайне редко – масло.

Сережины работы меня поразили. Сначала они показались мне похожими на Пауля Клее – любимого художника моего отца, но потом я разобрался, что сходство было чисто внешним.

Когда Алферова причисляют к дадаистам, мне это кажется безосновательным и неправильным. Да, он действительно интересовался и йогой, и дзен-буддизмом, и поэтами-суфиями, и русским авангардом, и модернизмом – какие-то элементы всего этого есть в его работах – но ведь они неизбежно присутствуют у всех современных художников. Кроме того, мы все родом из детства, а детство и юность прошли у Сергея в Узбекистане. Однако из этого же не следует, что он был узбекским художником. Хотя, конечно же, элементы восточной экзотики и символики, цвета и пластики, традиции и солнца, времени и места, синтез линии и рифмы, ритма и света, цвета и мелодии – у него налицо. Это, я думаю, у Сергея от Бога.

Работы любого настоящего художника – всегда исповедальны. Спекуляцию и фальшь никуда не спрячешь. Что есть в душе художника, то есть и в его работах. А вот чего нет – того нет.

Меня поразили уже первые увиденные работы Сережи. Меня удивила их зрелость, поэтичность, метафоричность, цельность и

насыщенность. Интересно, что певучесть его линий становилась раз от раза все внятнее, музыкальнее.

У нас на Востоке стихи не декламируют – их поют, подыгрывая себе на домбре или дойре. Сережа приносил с собой то дудочку, то губную гармошку или какой-нибудь экзотический музыкальный инструмент, на слух подбирая мелодию и мурлыча стихи.

Я рассказывал ему о моих друзьях, мастерах народного искусства Узбекистана: чеканщиках и ювелирах, гончарах и вышивальщицах, которые за работой обязательно поют стихи Хайяма и Хафиза, Джалаладдина Руми и Навои. Синтез линии и поэзии, музыки и цвета – это традиция Востока, органично присущая народному искусству Узбекистана, без которой я не мыслил своей живописи. К сожалению, эта традиция была утрачена профессиональными мастерами социалистического реализма из Союза художников. А у Сережи она присутствовала всегда, с самого начала, даже в его ранних работах. И дело не в том, что они были ритмизованны и безупречно завершены – поэтически и композиционно. Он использовал в графике чисто литературно-поэтическую фигуру речи – оксюморон. Это, конечно, крайне рискованно и в большинстве случаев низводит творчество художника до китча. Сереже же удавалось балансировать на грани – его работы никогда не были вульгарны или банальны.

Каждая его работа, каждый рисунок были поэтической притчей, насыщенной метафорами и как бы многослойной. В каждой из них есть тайна, элемент сакральности. Подражать Алферову (а сейчас у него неизбежно появятся подражатели – как известно, поле боя достается мародерам) – дело безнадежное. Подражать форме – занятие пустое, а подражать содержанию – кишка тонка, для этого надо быть настоящим поэтом, а такому нет нужды подражать кому-либо, у него свой напев и неповторимый голос, своя интонация и тембр.

Любимый нами Мандельштам эту проблему сформулировал так: тот, кому нечего сказать, все же может слагать стихи, дело это нехитрое – тут одно слово влечет за собой другое, и создается впечатление, что там что-то есть, а на самом деле – пустота. У Алферова нет «пустых» работ. Все его добрые черепахи и странные бабочки, таинственные башни и нелепые, но милые птички, карнавальные пляшущие человечки и загадочные балерины полны обаяния и тайны.

Его работы могли бы быть иллюстрациями к поэзии Хайяма и Хафиза, Хлебникова и Заболоцкого – при этом он никогда не впадал в эклектику или космополитизм, подражательность или зависимость от какой-либо школы.

Широта и глубина его интересов – от душевной щедрости и феноменальной одаренности. Он всегда оставался удивительным и

честным художником-поэтом. Часто повторял, что муза – дама брезгливая и измен не прощает. Он был неприкаянным бессребреником – как Хлебников и Мандельштам. Он нуждался в заботе и опеке не от инфантильности – от поэтичности. «Берегите нас, поэтов, берегите нас... / Будут вам стихи и песни, и еще не раз... / Только вы нас берегите, берегите нас», – призывал Булат Окуджава.

Не уберегли. Увы. Сережа рвался в Москву. В провинциальном Ташкенте он задыхался.

Я собрал ему немножко денег, написал 10 рекомендательных писем московским друзьям и дал два адреса, где можно ему переночевать на первое время: кухни Светы Кедринной, кузена Никиты Дьяконова; посадил в поезд Ташкент–Москва и благословил на дорогу.

В редких письмах из Москвы Сережа писал, что рекомендации сработали, друзья устроили его на работу – сначала дворником, а потом пожарным, что было большой удачей: сутки дежурство и трое суток свободны. Главное, что в его распоряжении был подвал, где он на веревках, как белье, развешивал сушить свои работы. Писал, что он свободен, доволен и много-много работает. Затем написал, что женился и тем самым решил свой квартирный вопрос.

Летом он привез в Ташкент жену-москвичку, свою ровесницу. Олечка Буракова писала стихи, много рисовала. Выглядели они счастливой и красивой парой. Замечательно, что Олечка сразу поняла, какой Сережа огромный художник. В 1984 году у них родилась дочка – тоже красавица и, буквально с пеленок, талантливый художник. Беда была в перманентном безденежье и нищете молодой семьи. Сережу все любили и сразу с радостью приняли в среду московской богемы, но заработков не было. Жена Сережи была точно такой же непрактичной, как и он сам. Возможно, если бы она была проницательной и пробивной «деловой женщиной», судьба Сережи не сложилась бы так тяжело, но представить его влюбленным в прагматичную пролазу я не могу.

Так Сережа стал москвичом. И уже не я его, а он меня знакомил с интересными художниками-москвичами. Осенью 1975 года я через Москву возвращался к себе в Ташкент с международного симпозиума по керамике. Конечно, заехал к Сереже в Теплый Стан. Сережа сообщил мне ошеломляющую новость. Через два дня на ВДНХ в Доме культуры открывается выставка 150 московских художников-нонконформистов.

Мы тут же поехали на место событий. Здание было оцеплено милицией, и нас не пустили, но мы влезли в окно, открытое нам по условному стуку друзьями-художниками, которые монтировали экспозицию. Я впервые увидел работы Целкова, Рабина, Немухина, Вечтомова, Зверева, Зеленина. Сережа меня со всеми перезнакомил.

Потом, когда я бывал в Москве, Сережа всякий раз водил меня то на квартирные просмотры к Нике Щербаковой или Аиде Сычевой, то на очередную выставку в Московский горком графиков, членом которого он стал. Осенью 1978 года я работал над большим керамическим рельефом для Хорезма. Сережа, приехавший навестить родных, вызвался помочь мне с монтажом. Я с большой радостью принял его предложение и дал ему возможность подработать. Мы с ним за месяц под звуки его дудочки успешно смонтировали мой рельеф. Сережа мне всегда с радостью помогал при развеске моих работ – в 1982 году в ЦДХ, на моей выставке 1983 года в Центральном доме архитектора, в Манеже на выставке «АртМиф» 1990 года.

Последний раз мы виделись с Сережей Алферовым поздней осенью 1993 года, а весной 1995-го я уехал в Америку. Я часто ему звонил, но его никогда не было дома. Затем я потерял его телефон и адрес, а когда нашел, оказалось, что его убили. Сережа никогда и ни к кому не был агрессивен. За всю жизнь он «и жучка не обидел в траве». Может, не стоило отпускать его в Москву, которая, как известно, «слезам не верит». Талант всегда был социально чужд власти, опасен для нее. Чем выше одаренность, чем больше калибр таланта, тем выше уровень риска смерти от рук «неустановленных лиц». Увы, убили и более защищенных. Что уж говорить о художниках и поэтах.

Сейчас, когда осмысливается громадное наследие Сергея Александровича Алферова, и его работы наконец дойдут до широкого зрителя, я надеюсь, что Алферов займет достойное его место и получит любовь благодарного ценителя. Еще Пушкин заметил, что «у нас любить умеют только мертвых». Россия – как та самая хрюшка, пожирающая собственных детей.

Читать сообщения разных собутыльников о том, что под конец жизни Сережа якобы спился и впал чуть ли не в безумие, мне неловко и горько: я запомнил его другим – в нарядной бархатной черной курточке с дудочкой в руках.

КОСТАКИ ГЕОРГИЙ ДЕНИСОВИЧ (1913–1990)

Осенью 1975 г. в Москве в Доме культуры ВДНХ планировали открыть выставку 150 московских художников-нонконформистов. Я узнал об этом от моего приятеля Сережи Алферова, который позвал меня посмотреть, как выставка монтируется. Мы приехали и обнаружили, что все оцеплено милицией, и войти невозможно, но Сережа отыскал нужное окно и постучал условным стуком. Нас пустили. Почти все было уже развешено – Целков, Рабин, Немухин, Вечтомов, Плавинский, Зверев... Все ждали приемочную комиссию, которая, как оказалась, снимет 10 наиболее вызывающих работ. Открытие должно

быть на следующий день. В Москве я жил тогда у Косинского, и он позвал меня на открытие, сказав, что его пригласил Владимир Брониславович Сосинский и что за ним заедут, за рулем будет знаменитый коллекционер и меценат Георгий Денисович Костаки, работающий в Канадском посольстве и имеющий канадское гражданство, друг Сосинского... Мы приехали с утра на белом «вольво» Костаки вчетвером – я, Костаки, Сосинский и Косинский. Так совпало, что здание, в котором состоялась выставка – ДК ВДНХ, – дипломный проект Андрея Косинского.

Встретила нас огромная очередь желающих попасть на выставку. Два милиционера пропускали только по двое, через каждые пять минут. Респектабельный Костаки пошел сразу ко входу, размахивая зеленым канадским паспортом, сказав, что «эти трое со мной», но его не пустили, объяснив, что порядок в СССР для всех одинаков. Пришлось нам воспользоваться все тем же окном. Художники-авторы окружили Костаки: «Георгий Денисович, вот там моя работа! Обратите внимание!..»

Закончив осмотр, мы гурьбой вывалили на улицу, отошли в сторону, где сидел Эдик Зеленин. Поздоровавшись, он сказал: «Вот меня выпустили (сидел 15 суток – якобы за хулиганство), вот оформляю документы на выезд в Париж»... На что ему Костаки сказал: «Ну и дурак – там же работать надо!»

Я, конечно, был ошарашен неожиданными словами «антисоветчика» и богатого коллекционера. Потом мы с Эдиком познакомились поближе и долго переписывались уже после его отъезда.

С Костаки мы «подружились». Сосинский меня ему рекомендовал как хорошего художника, которого затирают в Ташкенте. Костаки пригласил к себе посмотреть коллекцию. Обменялись телефонами... Но я так никогда и не решился пойти к нему в гости, зная, что он под колпаком у КГБ. Я был невыездной и тоже, по-видимому, был под колпаком. Я не хотел рисковать, зная репутацию Костаки. Мне приходилось быть предельно осторожным, хотя я тогда не собирался покидать СССР... Костаки и Сосинский уже умерли. Сережу Алферова убили в Москве, дело осталось нераскрытым. Мы с Андреем Косинским перезваниваемся. Он приезжал ко мне в Нью-Йорк в 1999 году.

НОРТОН ДОДЖ (1927–2011)

У нас с Машей трое детей. Мы прилетели в Нью-Йорк 5 мая 1995 года. Сначала жили у Машиной сестры Розы (11 человек в двухкомнатной квартире). Затем сняли неподалеку на Остин-стрит такую же. На углу нашего квартала стояла лютеранская церковь, которая с 10 утра звонила, собирая прихожан к службе.

Мы решили заглянуть внутрь и удивились малому количеству прихожан: семь старушек и все! По окончании службы, покидая церковь, мы увидели объявление на русском языке о том, что вечером проходят бесплатные курсы английского языка. Поскольку в школе, училище и институте я изучал немецкий, мы решили воспользоваться этой возможностью. Уроки английского вела дама, очень похожая на Джульетту Мазину. Она оказалась очень обаятельной и приветливой женщиной, сказав, что ее муж, Юра Абдурахманов, тоже художник. Жили они на Брайтоне, и я сразу воспользовался ее предложением зайти в гости. Очень радушные люди, знавшие всю богему Нью-Йорка. В следующий визит на Брайтон-Бич Юра повел меня к своему соседу и другу Косте Кузьминскому – личности легендарной, – предупредив меня, что тот весьма экзотичен.

В двухкомнатной квартире жили Костя (мой ровесник) с женой и тремя огромными собаками – чистокровными московскими борзыми, которые были очень красивы и очень прожорливы. Свою жену Эмилию Карловну Костя звал не иначе как «Мышь». Встретил он меня в кавказской бурке и папахе, усадил за стол, сам разлегся на диване, предварительно скинув бурку и папаху и оставшись совершенно голым. Он оказался нудистом.

Память у него была замечательная, человек он был умный и великодушный собеседник. Он был нафарширован стихами (своими и чужими). Слух к поэзии – почти совершенный (кроме своих стихов). Поэтические вкусы мои и ККК (Константина Константиновича Кузьминского) во многом совпадали. Мы с ним впоследствии переписывались, и он дарил мне свои сборники. Потом он переехал на север штата Нью-Йорк. Считаю, что он совершил гражданский подвиг: Кузьминский набрал на компьютере и издал за свой счет девять томов антологии русской поэзии в изгнании «Голубая Лагуна».

Я показал ему фото своих работ, и он сразу сказал, что меня нужно показать Нортону Доджу, – миллионеру, скупавшему русский авангард для своего музея в Нью-Брансвике – Зиммерли Арт-музей при университете Ратгерс. Костя сказал, что коллекция профессора Нортон Доджа насчитывает 15 тысяч холстов – это крупнейшая в мире коллекция наших шестидесятников, с хорошим каталогом, названным «От ГУЛага до гласности». Жил миллионер в Мэриленде, и Костя дал мне его телефон. С Доджем мы созвонились и договорились о встрече – он на ломаном русском, я – на ломаном английском. И вот раздается звонок Кости: «Саша, принимай гостей! Мы приехали с Нортон, сейчас паркуемся»... Нортон сказал, что работы ему понравились, что он обязательно купит в следующий визит с куратором. Через два дня он приехал (это было в 2001 году, под Новый год)

с куратором Джейн. Купил у меня три работы: «Тени прошлого» – масло, натюрморт – гуашь, и расписной алюминиевый поднос «Чаепитие». Он очень хорошо мне заплатил, сказав, что приедет еще раз и возьмет 10-15 холстов. Также мы договорились, что он напишет обо мне статью. Потом он заболел, мы перезванивались, но больше я его не встречал. Он умер несколько лет назад.

СОСИНСКИЙ ВЛАДИМИР (МАКИ) (1900–1987)

Сосинский Владимир Брониславович (Маки) был другом Эрнста Неизвестного. Герой французского Сопротивления. Белый офицер, по его же словам, «бравший Перекоп не с той стороны». Был женат на Ариадне Черновой, дочери известного эсера Виктора Чернова. У них было двое сыновей – Сергей и Алексей.

Владимир Брониславович был литератором, другом Набокова, Ремизова, Шарля де Голля, Альбера Скира, Пабло Пикассо. Он также был очень близок к семье Цветаевых. Из-за Марины Цветаевой дрался на дуэли. В 1961 году вернулся в Россию. Подарил ЦГАЛИ 150 писем Марины Цветаевой, 40 из которых были адресованы лично к нему. Масон, Мальтийский рыцарь, кавалер ордена Почетного легиона. Жил в Праге, Берлине, Париже. Работал в русском секретариате ООН, типографом у Альбера Скира. «Skira» – очень известное издательство книг по искусству, мы все на них выросли. Вернувшись в Россию, Сосинский привез 250 томов издательства с наклейками «авторский экземпляр». Получил двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте и 120 рублей пенсии. Жил практически впроголодь.

Владимир Брониславович был моим другом. Его квартира была завешана моей керамикой и офортами Неизвестного, которого он познакомил со своим другом Джоном Борджером, а тот написал книгу об Эрнсте. Живопись свою я Сосинскому не показывал, как и всем остальным. На выставку 1983 года он не смог прийти, но попросил книгу отзывов на один день и накатал обо мне громадный текст, завершив его фото: Скира и Пикассо с надписью «Пур ля ми Сосинский», т. е. «Любимому Сосинскому».

Из архива В. Б. Сосинского – его эссе «Метаморфозы» о первой встрече Альбера Скира с Пабло Пикассо.

МЕТАМОРФОЗЫ

В жизни Альбера Скира самой важной встречей, сделавшей его издателем, была встреча с Пабло Пикассо, дружба их длилась около 45 лет. Не просто дружба: они стали братьями, более родными, чем кровные. И умерли они оба в 1973 году с разницей в один месяц. Скира

еще успел о своем любимом старшем брате сказать несколько замечательных слов в прозе и в стихах (он писал стихи – короче воробьиного носика – шуливые, поздравительные лирические, эпистолярные, в 4, в 5, в 6 строк, стихи очень оригинальные, остроумные).

Впервые Скира появился в Париже в 1929 году. Денег, которые заработал в Лозанне перепродажей редких книг с иллюстрациями великих художников, он имел с собою всего на две недели жизни. Он рыскал по всем антикварам и букинистам за такими шедеврами, как «Фауст» (с иллюстрациями Делакруа), Рабле, Данте, Сервантес (с иллюстрациями Гюстава Доре), несколько позже – Гоголь Марка Шагала.

Зарабатывал в Лозанне Скира очень скудно, он был чужд коммерции. Но уже тогда в нем родилась мечта, которая не оставляла его в течение всей жизни и которая, по отзывам лучших людей века, не только превратилась в реальность, но превзошла самые смелые ожидания Скира – издавать книги по живописи.

В Париж Скира прибыл с одной мучительной идеей: добиться во что бы то ни стало у Пабло Пикассо согласия на иллюстрирование литературного произведения. И не просто литературного, а классического, и не любого, а именно «Метаморфоз» Овидия. Он был полон веры в себя настолько, что смело покинул родину и перебрался в Париж. Но он натолкнулся на непреодолимые трудности. К телефону художник не подходил, а другие голоса – и женские, и мужские – неизменно ему отвечали (конечно, после того, как он себя называл), что хозяйина нет и никто не знает, когда он будет. И не день, и не два, и не те две недели, когда деньги на жизнь кончились, и Альберу пришлось искать работу, – так продолжалось и лето, и осень, и целый год...

– Но однажды случилось чудо, – вспоминал Скира начало своей издательской деятельности. – Наглухо закрытая дверь в будущее вдруг широко раскрылась! Я случайно встретился с одним румыном по имени Руссо и поделился с ним своей бедой.

– Да это же очень просто, – сказал он. – Я хорошо знаю Жаклин Аполлинер, вдову поэта. Она устроит вам встречу с Пикассо в два счета!

И действительно, несколько дней спустя, трепеща, подымался Альбер Скира на четвертый этаж дома 23 по рю Ля-Бозе. Гостю было 24 года, хозяину – ровно в два раза больше.

Пикассо в это утро был в бодром и веселом настроении. Он внимательно выслушал своего застенчивого посетителя и после паузы заметил, улыбаясь, но без энтузиазма.

– Молодой человек, я слишком для вас дорог.

Настроение Скира от этого не улучшилось, но он не терял мужества.

– Сколько будет стоить одна страница?

– 20 тысяч франков.

Чудовищная сумма для Скира: 1000 долларов США по тогдашнему курсу.

– Великолепно! – ничуть не растерявшись, заявил новоявленный издатель, – Заказываю 15 офортов.

Пикассо был далек от мысли, что у этого юноши нет и никогда не было такой суммы, как 300 тысяч франков, что в кармане у него в данную минуту лишь счет за неоплаченную комнату в гостинице.

Когда Скира рассказывал о своей первой встрече с великим Пикассо, я спросил, кто выбрал у Овидия эпизоды для иллюстрирования – Пикассо или он? И тут выяснилась одна забавная подробность, в которой они признались друг другу лишь много лет спустя. Ни художник, ни издатель до этого не читали произведения целиком, и только после своего первого визита на улицу Ля Боэси Скира в тот же день сбежал в один из книжных магазинов Латинского квартала и на последние гроши, сбереженные на обед, купил дешевый учебник с текстом бессмертного шедевра. Скира прочел римского поэта и отчеркнул два десятка понравившихся ему мест.

Когда при следующей встрече Скира предложил составить договор, Пикассо возмущился:

– Договор? Контракт? Молодой человек! Неужели вы не знаете, что за всю свою жизнь я не подписал ни одного договора?! Ни одного! Будь то Амбруаз Воллар или сам Анри Канвайлер.

Скира рискнул тогда сказать Пикассо с той безграничной откровенностью, на которую при таких обстоятельствах не отважился бы ни один деловой человек: «Месье Пикассо! Подумайте, как я могу собрать деньги, чтобы вам заплатить, если не буду иметь вашей подписи? Никто не поверит, что я издаю книгу вместе с вами».

И тут совершилось новое чудо: Пикассо, в конце концов, согласился. Так впервые в его жизни – и в жизни Скира – был подписан договор – их общий договор!

И еще одна удача! Давно уже, в швейцарский период своей жизни в Давосе, Скира, перепродавая редкие книги, познакомился и даже подружился с одним коллекционером – богатым голландцем. И снова встретил его в одном из парижских кафе.

Ему первому Скира показал договор с подписью Пабло Пикассо и вдохновенно обрисовал блестящую будущность «Метаморфоз» Овидия в интерпретации великого художника. Сначала его собеседник, по-видимому на своем веку не раз слушавший таких мечтателей-романтиков, отнесся равнодушно и к Овидию, и к Пикассо, и к Скира. Но все-таки и тут римские боги помогли молодому издателю,

и он одержал еще одну победу в своей издательской деятельности. «Меценат» поддался. И вскоре Скира выложил перед ошеломленным Пикассо 20.000 долларов наличными. Но еще больше был ошеломлен сам Скира, когда Пикассо неожиданно заявил:

– Молодой человек, оставьте деньги у себя: вы мне заплатите, когда получите товар...

Скира встревожился, поняв этот жест как желание художника иметь свободные руки. Он не хочет, значит, брать на себя лишнее обязательство, и таким образом возникла грозная опасность, что Скира так никогда я не увидит офортов «Метаморфоз»! К тому же по неопытности своей он ни словом не обмолвился в договоре о сроках. Пикассо мог тянуть с работой всю жизнь! Осаду крепости «Пикассо» надо было вести более солидно и более смело, и – о, чудо, третье чудо в этой истории! Однажды, наведываясь к Пикассо, чтобы узнать, не начал ли тот работать над Овидием, Скира увидел на стене дома, где помещалось ателье художника, крохотное объявление: «Сдается небольшое меблированное бюро». Он немедленно его снял, заплатив за год вперед, конечно, вовсе не думая, что в ближайшие годы это скромное бюро превратится в редакцию самого знаменитого в Западной Европе журнала по искусству «Лабиринт», и дорогу к нему будут знать Мальро, Элюар, Арагон, Матисс, Брак, Руо, Батай, Бретон, Джакометти, Сартр, Камю...

Но вернемся к началу 30-х годов, когда на сцену явился еще один из героев (простите, мадам Скира, – героинь!). Это был настоящий бог из машины, не раз спасавший античных драматургов, когда они запутывались в сюжете трагедия. Наступил день, когда Пикассо сказал:

– Приходите, молодой человек, в будущую пятницу. Возможно, я покажу вам мой первый рисунок.

Полный нетерпения, Скира с трудом дождался назначенного дня и спозаранку бросился к Пикассо. Каково же было его удивление, когда у входа его задержала консьержка:

– Вы торопитесь к Пикассо? Не трудитесь: он вчера со всей семьей уехал в Жуан-ле-Пен. Уезжая, он что-то крикнул мне о вас, но я забыла что.

В тот самый день на своем стареньком, но еще довольно модном «бугатти» прикатила из Лозанны мамаша Скира. Мать, в противоположность щуплому и нерешительному сыну, обладала крепким сложением и бурным темпераментом.

– Садись в машину, мальчик мой, – решительно сказала она, – мы едем в Жуан-ле-Пен.

Перехватив Пикассо у гостиницы, преградив ему путь и потрясая в воздухе кулаками, мадам Скира обрушилась на него:

– Вы только посмотрите, что вы сделали с моим сыном! До чего его довели! Кожа да кости! Ни кровинки в лице! Живой труп!

Испуганный Пикассо согласился тотчас же сесть за работу.

Но у него ничего не было под рукой: ни досок, ни инструментов для гравирования. А здесь, в Жуан-ле-Пен, нет ни одного художественного магазина.

– Альбер, – сказала решительная дама, – едем в Ниццу. Пусть Пикассо продиктует, что там нужно достать.

И они – все на том же спортивном «бугатти» – помчались, не теряя ни минуты, в Ниццу.

...Через день перед восхищенным взором Скира предстала первая «Метаморфоза»! Через три дня – вторая! Была лишь одна оплошность, о которой Пикассо, конечно, знал, но предпочитал злорадно молчать, и о которой Скира узнал, лишь вернувшись в Париж. В Ницце со своей боевой мамашей они не смогли найти медных досок и легкомысленно, по предложению продавца, удовольствовались простыми цинковыми. Пикассо поленился или побоялся их отвергнуть. Вот потому технически гравюры на цинке оказались значительно хуже.

Книга вышла после двухлетней борьбы, после всех бед и катастроф. На белой обложке, завернутой в прозрачную бумагу размером in folio, значилось: «Овидий. Метаморфозы. Оригинальные офорты Пикассо. Лозанна. Альбер Скира, издатель». Ставшее в последние сорок лет одним из самых дорогих, издание красовалось в витринах лучших магазинов Парижа, Женевы, Лондона. Но... тираж его тихо и спокойно дремал на прилавках. Никто не хотел платить за Овидия десять долларов. Никого не волновало имя Пикассо. Было время финансового спада между двумя войнами. Людей волновали пушки фашизма и нацизма. Музы молчали.

Да, это была воистину самая крупная катастрофа в жизни Скира. Он погряз в долгах, он не мог заплатить ни типографу, ни брошюровщику, ни фабриканту бумаги. Он скрывался от судебных следователей, и если бы это происходило в Лондоне, он уже сидел бы в долговой яме. Но не могло же это блистательное дело закончиться так плачевно, и развязка пришла – счастливая развязка, happy end.

В бюро, что находилось «за спиной Пикассо», постучали. Очень живая и интересная американка пришла к грустному издателю, чтобы скупить у него «остатки» нераскупленных «Метаморфоз»! Это была самая последняя «метаморфоза». «Остатки» превратились в 5000 томов – в полный тираж, который был увезен в США.

Так в доме 23 по улице Ля Бозси в Париже родилось издательство Скира.

Вскоре оно перекочевало в Женеву, но это уже другая история.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Елизавета Петровна Глинка 1962–2016

25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи трагически погибла Елизавета Петровна Глинка, «доктор Лиза».

Л. П. Глинка родилась в Москве в семье военного и врача. В 1986 году окончила 2-й Московский медицинский институт по специальности «детский реаниматолог-анестезиолог». В том же году она эмигрировала в США с мужем Глебом Глинкой, американским адвокатом, потомком русских эмигрантов послевоенной волны. В 1991-м она получила второе образование по специальности «паллиативная медицина» в Дартмутском колледже. Гражданка США, Елизавета Петровна участвовала в организации первого хосписа в Москве; в 1999 году основала хоспис в Киеве. Переселившись в Москву с мужем, она занималась общественной работой: помогала бездомным, обреченным, жертвам военных конфликтов, занималась защитой гражданских прав в РФ. Она была членом правления фонда помощи хосписам «Вера», исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», учредителем и президентом американского фонда VALE Hospice International, Inc. В январе 2012 года стала одним из учредителей Лиги избирателей, осуществляющей контроль за соблюдением избирательных прав граждан. В ноябре того же года была включена в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. С началом вооруженного конфликта на востоке Украины организовывала гуманитарную помощь детям, оказавшимся в зоне боевых действий (см. интервью с Е. Глинкой – НЖ, № 276, 2014).

Редакция и корпорация «Нового Журнала» приносят свои глубокие соболезнования детям Елизаветы Петровны – Константину, Алексею, Илье – и ее мужу, Глебу Глебовичу Глинке, члену корпорации НЖ.

Скорбим вместе с вами.

Редакция и корпорация «Нового Журнала»

ПАМЯТИ ЕЛИЗАВЕТЫ ГЛИНКИ

Нет и не может быть слов. Только шок и боль при известии, что среди погибших во время катастрофы самолета ТУ-154, направлявшегося с мирной миссией в Сирию, оказалась и Лиза Глинка, известная всей России под именем «доктор Лиза». Она сопровождала гуманитарный груз с медикаментами для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Вместе с ней в самолете были солисты ансамбля Александрова, которые должны были дать концерт для российских солдат в Сирии, а также журналисты трех федеральных телеканалов. Их гибель стала трагедией национального масштаба.

Когда знаком с человеком лично, боль от этой трагедии увеличивается многократно. Я знал Лизу около трех десятков лет, с тех пор, как она приехала в Вермонт в качестве жены моего друга, вермонтского адвоката Глеба Глинки. Отец Глеба, известный поэт второй эмиграции Глеб Александрович Глинка, в свое время был постоянным автором «Нового Журнала», а его сын Глеб и Лиза – его читателями. Я часто бывал у них в гостях, они же навещали меня в Монреале. На моих глазах выросли их дети. В летние месяцы, когда неподалеку действовала Русская школа при Норвичском университете, Глинка гостеприимно распахивали двери своего вермонтского дома для гостей из этой школы. Их дом был кусочком России в Вермонте.

Лиза уже тогда занималась гуманитарной деятельностью. Она отправляла в Россию инвалидные коляски, лекарства, добывала средства тяжелобольным из России для операций в Америке... Дальнейшая ее деятельность в качестве «доктора Лизы» всем хорошо известна. Ее можно назвать доктором Гаазом нашего времени. По его заветам она спешила делать добро. Занималась хосписами, уходом за бездомными, помощью пострадавшим от лесных пожаров и наводнений. Главным ее делом в последние годы стало спасение детей Донбасса. Она вывезла на лечение в Россию около восьмисот детей, некоторые из которых до сих пор находятся в России, проходят реабилитацию и все еще нуждаются в услугах врачей.

Не так давно усилия Лизы Глинки были отмечены государственной наградой за достижения в области прав человека. В своей речи на церемонии вручения премии она произнесла фразу: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми».

Передо мной стоит фотография: Лиза с цветами, сделанными из обломков снарядов, которыми обстреливали мирные кварталы Донбасса. Бывали случаи, когда, несмотря на вроде бы достигнутую договоренность, машины с вывозимыми больными детьми кто-то намеренно обстреливал с украинской стороны, и тогда Лиза с детьми пели песни, чтобы побороть страх. Она могла погибнуть многократно, но смерть настигла ее самым нелепым образом – в авиакатастрофе.

В день общенационального траура по погибшим телеканал «Россия-24» передал записанное незадолго до смерти интервью с Лизой Глинкой. Она успокоилась, что, когда истечет срок лечения иностранных детей в России, его не продлят. Продолжение дела ее жизни было бы лучшим памятником этой удивительной женщине. Речь идет о детях не только Донбасса, но и Сирии, которых она тоже спасала и вывозила в Россию на лечение. Теперь спасенные ею дети осиротели. Некоторые, потерявшие родителей, – вторично. Осиротели все, кто лично знал Лизу Глинку. Вечная ей память!

Евгений Соколов, Монреаль

Господи, вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми.

ОБ АВТОРАХ

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Футурум АРТ», «Мосты» и др. Более двадцати лет работал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени», поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай 'А'», «Tempora mea», «Серебро ночи», «Земными путями» и др. С 1973 г. живет во Франции.

АНАНИЧ Татьяна Анатольевна (1985, Смоленск) – поэт, прозаик, член Пушкинского общества Америки. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Смоленск). Окончила школу актерского мастерства имени Стеллы Адлер в Голливуде; принимала участие в театральных постановках на английском языке. Автор сборника стихотворений «АнтиУтопия» (2016, «Либерти», США). С 2012 года живет в Лос-Анджелесе.

БОУЛТ Джон Эллис (1943, Лондон). Окончил Сент-Эндрюсский университет (Шотландия). Искусствовед, профессор кафедры славянских языков Университета Южной Калифорнии (USC), создатель и директор Института современной русской культуры при USC в Лос-Анджелесе. Автор многих книг и статей о русском искусстве; среди них – «Моя душа открыта. Литературное и эпистолярное наследие Л. С. Бакста» (в соавт. с Е. Теркель); «Moscow, St. Petersburg. Art and Culture During the Russian Silver Age». Куратор /сокуратор выставок: «Лев Бакст / Leon Bakst. К 150-летию со дня рождения» (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 2016); «Avant-Garde Theatre: War, Revolution and Design» (Музей Виктории и Альберта, Лондон. 2015.); и др. В 2010 году удостоен Ордена Дружбы РФ за продвижение русской культуры в США; в 2016 г. за выдающийся вклад в славистику, евразистику и изучение языков и культур стран Восточной Европы получил награду международной славистской организации ASEEEES.

ГОРДИЕНКО Тамара (1939, Украина). Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент. Работает в Университете туризма и сервиса (РГУТиС). Публикуется в российских и зарубежных изданиях. Автор более двухсот работ по истории литературы XX века (творчество писателей и поэтов русской эмиграции), по журналистике, методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Член Союза журналистов Москвы. Член ассоциации «Бунинское наследие». Живет в Москве.

ГОРЯЧЕВА Юлия Юрьевна. Междисциплинарный специалист. Окончила факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и магистратуру Норвичского

университета (США). Работала в журнале «Иностранная литература» и в «Независимой газете». Сотрудничает с отечественными и зарубежными изданиями. Член Союза журналистов Москвы. Автор книг по истории Русского Зарубежья: «Афон. Форт-Росс. Русское дело» (2011) и «Новая Россия – соотечественники Зарубежья: единое культурное пространство» (2012).

ДРУК Владимир (1957, Москва). Окончил факультет психологии МГПИ и отделение интерактивных коммуникаций факультета кино и телевидения NYU. Один из основателей Московского клуба «Поэзия» (1986). Создатель независимого Института Виртуальных Реальностей в Москве (1991), создатель инкубатора цифровых арт-проектов TEXTONICA в Нью-Йорке (2014). Стихи печатались в ведущих литературных журналах, переведены на 15 языков, вошли в несколько антологий современной русской поэзии. Автор шести поэтических книг. Победитель конкурса «Русская Америка» (2002). Дипломант премии «Московский Счет» (2009). Живет в Нью-Йорке.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград) – поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology» (2013). Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Состояла в редколлегии альманаха «Встречи» до его закрытия; гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Ее стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». В 2013 году награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ЗАЙЧИК Марк Меирович, (1947, Ленинград). Автор нескольких книг прозы. Публикации в газетах и литературных журналах Израиля, России, США, среди них «Менора», «22», «Иерусалимский журнал», «Звезда», «Континент». Лауреат премии СП Израиля за документальный роман «Жизнь Бегина». С 1973 года живет в Израиле.

ИОФФЕ Генрих Зиновьевич (1928, Москва). Доктор исторических наук, профессор. Окончил Московский ГПИ. Автор более 500 публикаций по проблемам истории России. Книги: «Февральская революция в английской и американской историографии», «Октябрь и эпилог царизма», «Белое дело. Генерал Корнилов», «Революция и судьба Романовых» и др. Живет в Канаде.

ИСАКЖАНОВ Дмитрий Константинович (1970, Омск). Учился в летно-техническом училище гражданской авиации в Омске. Окончил Новосибирский колледж связи, затем – академию МВД. После окончания академии уволился

и поступил в частную фирму рабочим. Первая публикация – газета «Класс», Омск. Стихи и рассказы публиковались в журналах «Арион», «Футурум-АРТ», «Новая Юность», «Знамя» и др.

КЕДРИН Александр (1940, Ташкент). Образование: Республиканское художественное училище имени П. Бенькова, Ташкентский художественный институт, отделение керамики. Член союза художников и Союза архитекторов. В 1983 присвоено звание заслуженного деятеля искусств. С 1995 года живет и работает в Нью-Йорке. Работы находятся во многих музеях мира.

КРИВОШЕИН Никита Игоревич (1934, Париже). Родился в семье белоэмигрантов. В 1948 репатрировался с родителями в СССР. Жил в Ульяновске, работал токарем по металлу. С 1952 г. жил в Москве, работал переводчиком. В 1957 осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на три года (Дубравлаг). В 1971 г. возвращается в Париж; работал синхронным переводчиком в Совете Европы, Юнеско, системе ООН. Публикует статьи в г. «Русская Мысль», а также в «Звезде», «Новом Журнале» и др. Автор книги интервью, очерков и мемуаров «Дважды француз Советского Союза» (2014).

ЛЕВИНЗОН Леонид (1958, Новоград-Волынский). Прозаик. Медик по образованию. Работает в университетском центре «Хадасса». Член редколлегии «Иерусалимского журнала». Автор книг прозы «Ленин-град-Иерусалим» (1997) и «Дети Пушкина» (2015). Лауреат «Русской премии» (2010), шортлисты премии Марка Алданова (2010, 2012). Лонг-лист премии «Рукопись года» за роман «Мужчины и женщины» (2013). Премия комитета по культуре Санкт-Петербурга за лучший зарубежный роман на русском языке «Дети Пушкина» (2015).

ЛИДСКИЙ Владимир (Михайлов Владимир Леонидович. 1957, Москва). Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий ф-т. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», повестей, рассказов, пьес, двух сборников стихов и нескольких киноведческих книг. Лауреат «Русской премии» (2015), премий им. Марка Алданова и «Вольный стрелок: Серебряная пуля» (США), премии «Арча», финалист «Национального бестселлера», премии Андрея Белого, Волошинского конкурса (проза и драматургия), конкурса «Баденвайлер» (Германия), лонг-листер премии «НОС» и др. Лауреат драматургического конкурса «Действующие лица». Публиковался в ж. «Знамя», «Дружба народов», альманахе «Менестрель». Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке.

МАШИНСКАЯ Ирина (Москва). Окончила географический факультет и аспирантуру МГУ; специализировалась в палеоклиматологии и теории ландшафта. Гл. редактор литературного проекта «СтоСвет» (основан вместе с Олегом

Вулфом). Автор девяти книг стихов. Соредактор (совместно с Р. Чандлером и Б. Дралюком) англоязычной Антологии русской поэзии (*The Penguin Book of Russian Poetry*. – London: Penguin Classics, 2015). Живет в США

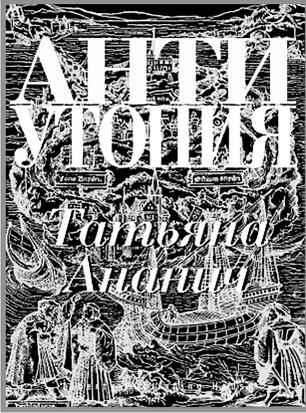
САНДУЛОВ Юрий (1953, г. Артемово) Окончил философский факультет Ленинградского университета, там же аспирантуру и докторантуру. Работал гл. редактором изд-ва «Лань», преподавал. Печатается в периодических изданиях Русского Зарубежья. Составитель книг по истории русской эмиграции, среди них – «Русские места захоронений в США» (2016). Президент общества «Северный Крест», занимается историей Русского Зарубежья.

СОСНОВСКИЙ Валерий (1967, Свердловск). Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Слово/Word», «Урал», альманахах «Воскресение» и «Связь времен». Живет в Екатеринбурге.

ШИНДИН Сергей (1963, Саратов). Литературовед. В 1986 году окончил Саратовский университет. С 1988 года – публикации в России и за рубежом. Принимал участие в нескольких исследовательских проектах сектора структурной типологии Института славяноведения и балканистики РАН. В 1999 году в Амстердамском университете защитил докторскую диссертацию о творчестве О. Мандельштама. Член редколлегии академического проекта «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта» и Совета Мандельштамовского общества.

ЭСКИНА Марина (Ленинград). Окончила физический факультет Ленинградского университета. Автор трех книг стихов. Лауреат Санкт-Петербургского поэтического конкурса «Критерии свободы» им. Иосифа Бродского (2014). Стихи и переводы публиковались в журналах «Звезда», «Интерпоэзия», «Крещатик», в «Новом Журнале» и др., а также в альманахах и антологиях. Живет в Бостоне.

ЮРКЕВИЧ Анастасия (Москва). Классический музыкант, поэт, переводчик. Псевдоним Юркевич взяла в честь прапрадеда, ученого-гуманиста, воспитывавшего детей С. Мамонтова. Закончила консерваторию г. Детмольда (Германия) и «Моцартеум», позднее международную школу менеджмента в Зальцбурге (Австрия). 8 лет работала в ООН. Публикуется с 2013 года в журналах «Гвидеон», «Плавучий мост»; финалист конкурса «Поэт года 2014». В настоящее время живет в Берлине.



"Девушка она думающая, начитанная.
Видны хорошие влияния в её стихах.
Я думаю, выдвигать её можно..."

Дмитрий Бобышев

LIBERTY PUBLISHING HOUSE

SOS

*...и как ракушка, выброшенная морем на сушу,
неизменно храню в себе Твою душу.
Выверяя культурный шум и барьер
раковиной ушной, я, как Лагеньер,
свои мысли на берег Твой посылаю, –
что сама ловлю, что теряю.*

*Нет нужды кричать "ау" или "SOS",
мой стенающий аулос
запускает звуковой осмос
сквозь мембрану ушную в разряженный космос...*

Татьяна Ананич – поэт оригинального мышления и большой интуиции, требующий вдумчивого чтения. Насыщенные яркими метафорами, аллюзиями, охватывающими как современность, так и истоки культуры, эти стихи вызывают у читателя массу ассоциаций, философских обобщений и раздумий.

Лирическому герою Т. Ананич свойственно ощущение экзистенциальной обреченности. Он дистопист, он не выдвигает иллюзорных требований миру... Здесь преобладают мотивы одиночества, безнадежности, абсурдности бытия.

Цена книги – \$15, включая пересылку в США

Электронная версия (e-book) – \$3,95

Заказы направлять по адресу:

Liberty Publishing House

POB 1058 New York, NY 10024

**Заказы по кредитным карточкам:
звоните 212.213.2126**

LibertyPublishingHouse.com

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Benefactors: The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine; Mr. & Mrs. I. Vechesloff;
Sponsors: Russian Nobility Association in America, Inc.; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. S. Hollerbach;
Fellows: The Orthodox Hospitaller Knights, Countess Tatiana Bobrinskoy; Mr. A. Neratoff; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. & Mrs. R. Colacicchi; Mr. & Mrs. V. Galitzine; Ms. Molchadskaya; Mr. A. Moussaian; Mrs. L. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff, Mrs. M. Sechkarev, Mrs. V. Sinkevich.

It requires the support of loyal friends for year 2016:

Patron –	\$ 5,000 and up
Benefactor –	\$ 2,000 and up
Sponsor –	\$ 1,000 and up
Fellow –	\$ 500 and up
Friend –	\$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined, in a letter on March 9, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to The NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-812-579-7581
Монреаль, Канада: Генрих Иоффе – тел.: 514-279-1045
Париж, Франция: Виталий Амурский – e-mail: vitaly.amoursky@gmail.com
Израиль: Рина Левинзон – тел.: 2-586-2333
Альберт Фейгельсон – e-mail: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка), через **PayPal**
Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 2016

- 1.Publication title – The New Review
- 2.Publication No. – 596680
- 3.Filing date – [as published]
- 4.Issue frequency – Quarterly
- 5.Number of issues published annually – 4
- 6.Annual subscription price – \$ 60.00
- 7.Complete mailing address of known office of publication – 611 Broadway # 902, New York, NY 10012
- 8.Complete mailing address of headquarters or general business office of the publishers – 611 Broadway #902, New York, NY 10012
- 9.Names and complete address of publisher, editor, managing editor:
 Publisher – The New Review Inc., 611 Broadway # 902, New York, NY 10012
 Managing Editor – Marina Adamovitch, 611 Broadway # 902, New York, NY 10012
10. Owner – The New Review Inc., 611 Broadway # 902, New York, NY 10012
11. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1% or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities – None
12. Tax status (For completion by nonprofit organization authorized to mail at nonprofit rates) The purpose, function, nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income tax purposes: Has not changed during preceding 12 months
- 13-14. Issue date for circulation data – September 2016
15. Extent and nature of circulation

	Average number of copies each issue during preceding 12 months	Copies of Single issue published nearest to filing date
a) Total number of copies	600	600
b) Paid circulation (by mail and outside)		
(b1) Mailed outside-county paid subscriptions stated on Form 3541	168	156
(b2) mail in-county subscriptions stated on Form 3541	23	19
(b3) sales through dealers and carriers, other non-USPS paid distribution	218	225
(b4/ other classes mailed through the USPS	127	118
c/ Total paid and/or requested circulation	536	518
d/ Free distribution by mail		
(d1) outside county (Form 3541)	0	0
(d2) in-county (Form 3541)	0	0
(d3) other classes mailed through the USPS	55	68
e/ Free distribution outside the mail	0	0
f/ Total free distribution	55	58
g/ Total distribution	591	586
h/ Copies not distributed	9	14
i/ Total	600	600
j/ Percent paid and/or	98.5	97.6

I certify that the statements made by me above are correct and complete – (Signature of editor, publisher, business manager or owner) – Marina Adamovitch, Business Manager